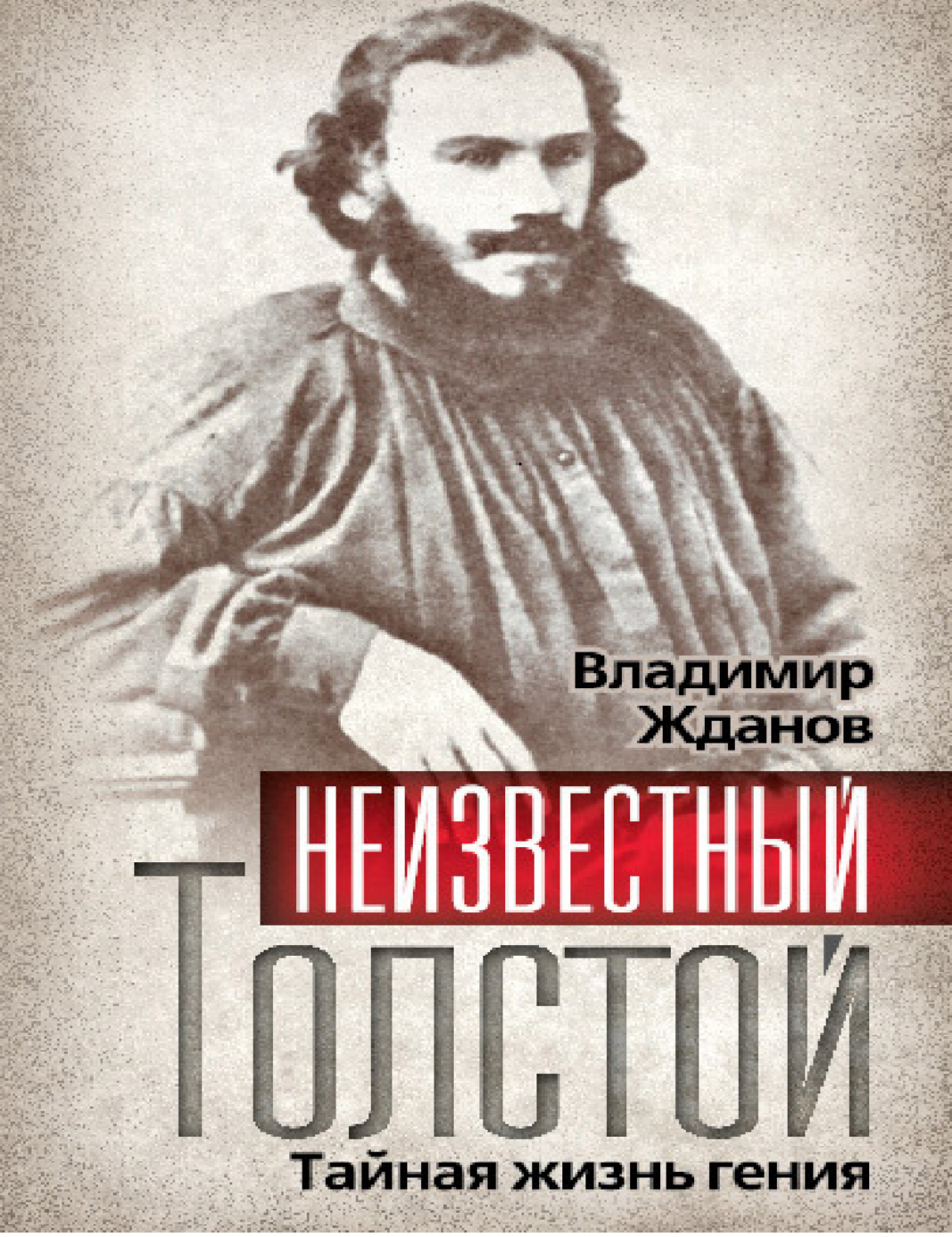

Владимир Жданов

Неизвестный Толстой

Тайная жизнь гения

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга исследователя творчества Льва Толстого В. А. Жданова (1898–1974) затрагивает сложнейшие и интимные стороны жизни русского гения. Впервые изданная в 1928 году с привлечением неопубликованных дневниковых записей писателя, она вызвала немало споров и неприятий. Увлечения и любовь, взаимоотношения с женой, чувственные переживания и борьба с ними… Классик мировой литературы предстает здесь во всей полярности своей непостижимой личности, со всеми метаморфозами души прожитых лет. В конце жизни Толстой, всегда жаждущий идеальной любви, назовет это чувство низменным, а его семейное счастье обернется семейным разладом.

- Владимир Александрович Жданов
  - От автора

Владимир Александрович Жданов Неизвестный Толстой. Тайная жизнь гения

От автора

Рассказать не о внешних событиях жизни, а о современных душевных переживаниях – задача почти невыполнимая для исследователя. Это сделает тот биограф, в котором счастливо сочетаются интуиция большого художника с точностью беспристрастного историка.

Но это дело будущего, и мое намерение было много скромнее. Я собирал разбросанные документы и систематизировал их, стараясь, насколько возможно, вести изложение не от своего имени, а словами действующих лиц. Эту книгу следует рассматривать как первую попытку систематизации материалов для будущей биографии, а те выводы, которые я осторожно намечал, занимают второстепенное место. Эта особенность моей работы и дает мне право на ее опубликование.

В архивных материалах особенности правописания и пунктуации подлинников мною не сохранены. Сокращенные слова по возможности приведены полностью. В сомнительных случаях окончания включены в прямые скобки. Иногда, в случаях и не сомнительных, но ради сохранения колорита, эти сокращения оставлены или так же отмечены прямыми скобками.

Многоточие подлинников оговорено в примечании. В нескольких больших цитатах наше многоточие взято в прямые скобки и многоточие подлинников не оговорено.

По вопросу о датировке следует отметить, что даты писем Л. Н. Толстого к жене взяты со второго издания этих писем (М., 1915). Даты писем С. А. Толстой к мужу проставлены были на тех хранящихся в Ясной Поляне собственноручно переписанных Софьей Андреевной копиях, которые использованы для этой работы. В письмах к Т. А. Кузминской и в других приведенных здесь документах из архива Татьяны Андреевны датировка проверена и установлена М. А. Цявловским и мною. Часть этих писем была датирована при их написании. Даты опубликованных писем и писем из архива В. Г. Черткова мною не изменялись.

Письма Толстого к Фету исправлены и дополнены по новым данным, опубликованным Н. Н. Гусевым в журнале «Печать и Революция» (1927, кн. 6). Дневники Л. Н. Толстого по возможности проверены по лучшим, подготовленным к печати копиям. Цитаты из опубликованных ранее дневников исправлены по выверенным копиям. Печатными материалами – книги, журналы, газетные статьи – я пользовался преимущественно из библиотеки Толстовского музея.

Приношу глубокую благодарность всем лицам,

содействовавшим моей работе. Особенно же благодарю за просмотр книги в рукописи, ценные указания и внимательное отношение С. А. Стахович, М. М. Чистякову, Г. А. Волкова, М. А. Цявловского и К. С. Шохор-Троцкого.

В. Жданов Москва, 20 февраля 1928 г.

Книга первая

Часть первая Молодость

Введение

Первая часть этой книги представляет попытку описать интимные переживания Толстого в юности и молодости, переживания «ужасных 20 лет [1] , или периода грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, похоти» [2] .

Биографические работы о Толстом, более или менее полные, с той или иной точки зрения освещающие отдельные моменты его жизни и ступени его духовного роста, не уделяли этому вопросу достаточного внимания. Одни считали, возможно, эти переживания незначительным явлением жизни, не оказавшим серьезного влияния на жизненный опыт Толстого; другими, вероятно, руководило заслуживающее уважения и вполне понятное чувство деликатности перед памятью великого человека.

«Никакой род преступлений людских против нравственного закона не скрывается с такой тщательностью людьми друг перед другом, как преступления, вызываемые половой похотью; и нет преступления против нравственного закона, которое было бы так обще всем людям, захватывая их в самых разнообразных и ужасных видах; нет преступления против нравственного закона, на которое смотрели бы так несогласно люди, – одни, считая известный поступок страшным грехом, другие – тот же поступок самым обычным удобством или удовольствием; нет преступления, на счет которого было бы выказываемо столько фарисейства; нет преступления, отношение к которому показывало бы так верно нравственный уровень человека, и нет преступления более губительного для отдельных людей и для движения вперед всего человечества» [3] , – писал в старости Лев Николаевич. И вполне понятно то чувство робости и стесненности, которое охватывает исследователя, когда он доходит до этой интимной стороны жизни Толстого.

Но обойти ее молчанием, общими фразами или краткими цитатами после того, как сам Толстой неоднократно обращал наше внимание на условия его холостой жизни, все же нельзя. В этом вопросе, вызывающем столько различных толков и голословных утверждений, нужна полная ясность – замалчивать его не следует.

За последнее время уделяется серьезное внимание половой проблеме и все больше уясняется значение полового инстинкта в жизни человека. Как же можем мы обходить этот вопрос при

изучении жизни и творчества Толстого?

Толстой принадлежит человечеству. Толстой – исключительное по яркости явление, и, проникая в тайны этого явления, мы постигаем скрытые, глубокие законы жизни.

Толстой не нуждается в нашем оправдании. Память его не будет омрачена добросовестным изучением его поступков; не оскорбит ее и нездоровое любопытство случайного читателя.

Лев Николаевич думал одно время сам написать свою биографию. Об этом он рассказывает в своих «Воспоминаниях»: «Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна бы была произвести такая биография… [Но] если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей». А в дневнике 1895 г. (27 марта), намечая свое первое завещание, он записывает: «Дневники моей прежней холостой жизни, выбрав из них то, что стоит того, я прошу уничтожить… не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь: жизнь моя была обычная дрянная жизнь *беспринципных молодых* людей, но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучило меня сознанием греха, производят ложно-одностороннее впечатление и представляют… А впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть. Из них видно, по крайней мере, то, что, несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен Богом и хоть под старость стал немного понимать и любить Его».

То же предостережение о возможности ложно-одно стороннего представления о его молодости Лев Николаевич делает в «Воспоминаниях детства»: «В этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями».

Эти свидетельства Толстого особенно важны для нас, так как в первой части этой книги в значительной мере использованы дневники холостой жизни. Мы сознательно ограничили тему и опустили другие не менее интересные и яркие моменты молодости Толстого. Возможно, что биографический материал, подобранный на такую ответственную тему, произведет на мало знакомого с жизнью Толстого читателя ложно-одностороннее впечатление. Такой читатель, желающий ознакомиться с остальными событиями внутренней жизни Льва Николаевича,

может обратиться к крупным биографическим работам Н. Н. Гусева и П. И. Бирюкова. Перед нами другая задача: восполнить пробел в жизнеописаниях Толстого и наметить первую предпосылку для разрешения проблемы личной жизни Льва Николаевича, его семейного счастья, семейной трагедии и величественного конца. Мы не сумеем постигнуть психологические причины его переживаний, нам не удастся разгадать смысл такого необычайного явления в истории человечества, каким мы все считаем жизнь Толстого, если мы не учтем ее полностью и не используем выводов, вытекающих из изучения фактов его молодости.

Увлечения и любовь, жажда семейной жизни и чувственное влечение к женщине – вот два основных настроения, держащих в своей власти молодого Толстого, вот содержание первой части нашей книги.

Кроме дневников, использованы письма 1848–1862 гг. и художественные произведения с ярко выраженным автобиографическим содержанием. Однако к последней категории материалов приходится относиться с большой осторожностью, так как несомненно, что автобиографические данные в значительной мере изменены силою художественного творчества. Сам Толстой по поводу «Детства» говорит: «Замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей, оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства».

Подобные же оговорки следует, вероятно, сделать и относительно других произведений, использованных для этой работы. И, тем не менее, мы не допустим ошибки, если будем рассматривать эти произведения не в качестве бесспорных документов, а только как фон, выделяющий ярче отрывистые записи дневников и цитат из писем. Думается, что мы немногим уклонимся от истины, если сочтем переживания героев отчасти совпадающими с переживаниями автора.

Художественными произведениями мы воспользовались только для описания первых лет юности Толстого; факты остальных десяти лет его молодости, до женитьбы, мы полностью берем из дневников, писем и воспоминаний.

Избранная нами тема обязывает к исключительно осторожному подходу, почему интимные записи дневника приведены здесь не все.

В нашу задачу не входит описание внешней картины жизни Толстого. Записями дневника мы пользуемся только как свидетельством внутренних переживаний, дающим возможность со всей тщательностью проследить эти переживания, чтобы расчистить путь для понимания всего Толстого.

I

Наш обзор начинается тем периодом, когда в Толстом половое чувство добудилось, громко заговорило, впервые предъявило свои права. Новые настроения проникли в детскую душу и произвели в ней смятение. Они были безотчетны и непреодолимы. Они сыграли исключительную роль, послужив гранью между двумя периодами жизни. Через многие годы Толстой с волнением вспоминал этот роковой перелом, и в одном автобиографическом произведении точно определил роковой возраст: 14 лет. Он писал: «Четырнадцати лет, когда я узнал порок телесного наслаждения, и ужаснулся ему. Все существо мое стремилось к нему, и все же существо, казалось, противилось ему»1. Но в этих словах душевное состояние подростка не совсем верно передано: в них отразилась мысль зрелого человека. А в те, отроческие, годы главное: его занимало неосознанное тяготение к чему-то, и для мучительной рефлексии мало было оснований. Первой ступенью к раскрытию этой новой стороны было для Толстого его изменившееся отношение к горничной, о чем он говорит в «Отрочестве».

«Ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так разительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть *женщину,* от кото1 «Записки сумасшедшего».

рой могли зависеть в некоторой степени мое спокойствие и счастие.

С тех пор, как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда, до случая, переменившего совершенно мой взгляд на нее… я не обращал на нее ни малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша… необыкновенно бела, роскошно развита и была женщина, а мне было четырнадцать лет…

Я по целым часам проводил иногда на площадке без всякой мысли, с напряженным вниманием прислушиваясь к малейшим движениям, происходившим наверху; но никогда не мог принудить себя подражать Володе, несмотря на то, что мне этого хотелось больше всего на свете. Иногда, притаившись за дверью, тяжелым чувством зависти и ревности слушал возню, которая поднималась в девичьей, и мне приходило в голову: каково бы было мое положение, ежели бы я пришел наверх и, так же, как Володя, захотел бы поцеловать Машу? что бы я сказал со своим широким носом и торчавшими вихрами, когда бы она спросила у меня, чего мне нужно? Иногда я слышал, как Маша говорила Володе: «вот наказанье! что же вы в самом деле пристали ко мне,

идите отсюда, шалун этакий… Отчего Николай Петрович никогда не ходит сюда и не дурачится… Она не знала, что Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницей и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна Володи.

Я был стыдлив от природы, но стыдливость моя еще увеличивалась убеждением в моей уродливости».

Через несколько лет влечение достигло высшего напряжения, оно вполне определилось и требовало удовлетворения. Наступил трагический, переживаемый многими юношами момент, который несет с собой и муки и новые желания. Тело впервые побеждает и наносит первую глубокую рану. Вот здесь-то все существо стремится к пороку и все существо противится ему. Борется и уступает.

В «Юности» автор так говорит про себя: «Нет, – отвечал я, подвигаясь на диване… я и просто не хочу, а если ты советуешь, то я ни за что не поеду. Нет, – прибавил я потом, – я неправду говорю, что мне не хочется с ними ехать, но я рад, что не поеду».

О первом падении есть намеки в «Записках маркера». Этот рассказ, без сомнения, содержит скрытый автобиографический материал. Он написан с большим подъемом, в три-четыре дня, без поправок и переделок. «Пишу с таким увлечением, что мне тяжело даже: сердце замирает», – тогда же отметил Лев Николаевич в дневнике. А эти строки о трагедии невинного юноши – самые горячие, вырвавшиеся из души.

«Приехали часу в первом… И все Нехлюдова поздравляют, смеются… А он красный сидит, улыбается только… Приходят потом в биллиардную, веселы все, а Нехлюдов на себя не похож: глаза посоловели, губами водит, икает и все уж слова не может сказать хорошенько… Подошел он к биллиарду, облокотился, да и говорит:

– Вам… смешно, а мне грустно. Зачем… я это сделал; и тебе… князь, и себе в жизнь свою этого не прощу. – Да как зальется, заплачет» [4] .

Картину эту дополняет трогательное признание, сделанное Львом Николаевичем другу его Марии Александровне Шмидт. «Когда он писал «Воскресенье», жена его, Софья Андреевна, резко напала на него за главу, в которой он описывал обольщение Катюши.

– Ты уже старик, – говорила она, – как тебе не стыдно писать такие гадости.

Лев Николаевич ничего ей не сказал, а когда она ушла, он, обращаясь к бывшей при этом М. А. Шмидт, едва сдерживая рыдания, подступившие ему к горлу, сказал:

– Вот она нападает на меня, а когда меня братья в первый раз

привели в публичный дом, и я совершил этот акт, я потом стоял у кровати этой женщины и плакал!» [5]

Но не одну эту жестокую сторону жизни открыла Толстому его молодость. Та же новая сила породила совсем иные настроения. В них не было ничего постыдного, Толстой не только не старался избегать их, но весь отдавался новой мечте. Появилось стремление к личному счастью и противопоставило себя бурному потоку грубой мужской силы. Мечты о «поэтическом, сладостном счастии», которое казалось ему тогда «высшим счастьем жизни», заполонили воображение юноши: «В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства [и одно из них –] любовь к *ней,* к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить» [6] .

«После ужина и иногда ночной прогулки с кем-нибудь по саду… я уходил один спать на полу на галерею… Наконец… я оставался совершенно один и, зорко оглядываясь по сторонам, не видно ли где-нибудь подле клумбы или подле моей постели белой женщины, рысью бежал на галерею. И вот тогда я ложился на свою постель… смотрел в сад, слушал звуки ночи и мечтал о любви и счастии.

Тогда все получало для меня другой смысл… смысл слишком большой красоты и какого-то недоконченного счастия. И вот являлась *она* с длинною черною косой, высокой грудью, всегда печальная и прекрасная, с обнаженными руками, с сладострастными объятиями. Она любила меня, я жертвовал для одной минуты ее любви всею жизнью. Но луна все выше, выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и, вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорила мне, что *она* с обнаженными руками и пылкими объятиями – еще далеко-далеко не все счастие, что и любовь к ней – далеко-далеко еще не все благо; и чем больше я смотрел на высокий полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище и ближе и ближе к нему, к источнику всего прекрасного и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза» [7] .

Так кончился «чудный… невинный, радостный, поэтический период детства», когда «невинная веселость и беспредельная потребность любви были главными побуждениями в жизни». Раскрылись глаза на новую, доселе не известную сторону человеческих отношений, тело стало предъявлять свои

требования, душа стремилась к неизведанному счастью новой любви. Детское неведение сменилось острою борьбою слепого инстинкта, сознания и чувства.

II

72-летним стариком Лев Николаевич записал в дневнике: «Вспомнил свое отрочество, главное – юность и молодость. Мне не было внушено никаких нравственных начал – никаких; а кругом меня большие с уверенностью курили, пили, распутничали (в особенности распутничали), били людей и требовали от них труда. И многое другое я делал, не желая делать, только из подражания большим». – «Можно смотреть на половую потребность как на тяжелую повинность тела (так смотрел всю жизнь) и можно смотреть как на наслаждение (я редко впадал в этот грех)».

Мы видели страдания, следовавшие за первыми проявлениями «половой потребности». Но острая реакция не уменьшила силы влечения, оно оставалось непреодолимым, и «тяжелая повинность тела» захватила юного Толстого. Равнодушное одобрение окружающих, сочувствие и поощрение сверстников помогали работе инстинкта. Но Толстой подчинялся не без борьбы. Он чувствовал, что его юношеские порывы парализованы слепой силой, и чем больше падал, тем сильнее желал освободиться от этого тяжкого гнета.

Перед отъездом из Казани перед Львом Николаевичем, 19-летним юношей, уже встает вопрос об изменении направления всей его жизни. Он заболевает (быть может, беспорядочная жизнь была причиной этой болезни), поступает в клинику и здесь делает первую запись в дневнике: «Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, и вот шесть дней, как я почти доволен собой. *Les petites causes produisent de grands effets*… [8] Я стал на ту ступень, на которую я уже давно поставил ногу, но никак не мог перевалить туловище… Главная же польза состоит в том, что я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимает за следствие молодости, есть ничто иное, как следствие раннего разврата души».

В таком настроении Лев Николаевич оставляет университет и уезжает в Ясную Поляну, полный жизни и увлекательных планов бескорыстного служения народу. Отныне мелкие интересы личной жизни не должны более мешать проявлению высших требований совести. Влечение к женщине поглощало силы и внимание – теперь же, на новой Ступени, это главное препятствие к подлинной радости должно быть безоговорочно устранено.

Толстой записывает в дневнике: «Вчера я был в хорошем расположении духа и остался бы, верно, к вечеру доволен собой,

ежели бы приезд Дунечки [9] с мужем не сделал бы на меня рокового большого влияния, что я сам лишил себя счастья быть довольным собою».

На следующий день он вырабатывает новое «правило»: «Я начинаю привыкать к первому правилу, которое я себе назначил. И нынче назначаю себе другое, именно следующее: смотри на общество женщин, как на необходимую неприятность жизни общественной, и, сколько можно, удаляйся от них. – В самом деле: от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всем и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват тому, что мы лишаемся врожденных в нас чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и других – как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас. В теперешний же развратный, порочный век – они хуже нас».

Вся жизнь молодого Толстого проходит в выработке строгих «правил» поведения, в стихийном уклонении от них и упорной борьбе с личными недостатками. Временами, под влиянием безудержных порывов молодости, суровые заповеди заменяются практическими нормами, но усиливающаяся страсть заставляет вновь подчеркнуть строгое требование.

Однажды правило: «удаляйся от женщин» уступило место другому, более снисходительному. – «Второй день ленюсь, не исполняю назначенного. Отчего? – Не понимаю. Однако, не отчаиваюсь, буду себя принуждать. Вчера, кроме неисполнения назначенного, еще изменил своему правилу. Теперь уже не изменю тому, чтобы у себя в деревне не иметь ни одной женщины, исключая некоторых случаев, которых не буду искать, но не буду и упускать»… Через два дня – упрек: «Вчерашний [день] прошел довольно хорошо, исполнил почти все: недоволен одним только: не могу преодолеть сладострастия, тем более, что страсть эта слилась у меня с привычкою».

И в дневнике появляется новое правило: «Каждый день моцион. Сообразно закону религии, женщин не иметь».

Как ни сильны были чувственные переживания и борьба с ними Толстого, они не заполняли всецело личной жизни. Другие «затаенные, невыраженные порывы юности» волновали его, и он страдал от избытка какого-то смутного, неопределенного чувства, не находя выражения ему.

«То со всею прелестью неизвестного юное воображение его предоставляло ему сладострастный образ женщины, и ему казалось, что вот оно, невыраженное желание. Но какое-то другое, высшее чувство говорило: *не то,* и заставляло его искать чего-то другого… «Какая глупость все то, что я знал, чему верил и что

любил», – говорил он сам себе. «Любовь, самоотвержение – вот одно истинное, независимое от случая счастие!»…

«Со всех сторон прикладывая эту мысль к жизни и находя ей подтверждение в жизни и в том внутреннем голосе, говорившем ему, что это то, он испытывал новое для него чувство радостного волнения и восторга… «И кроме этого, – в то же время думал он, – кто мне мешает самому быть счастливым в любви к женщине, в счастии семейной жизни?» И юное воображение рисовало ему еще более обворожительную будущность. «Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть, со старухой теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение – добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу ферму, сберегательные кассы, мастерские; а она, с своею хорошенькою головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройною ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает… Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю и крепко обнимаю ее и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы». Мечты Толстого о семейной жизни не находили своего воплощения, и порою он начинает думать о женитьбе как о прозаическом, деловом шаге: «Приехал я в Москву с тремя целями: 1) играть, 2) жениться, 3) получить место… Второе, благодаря умным советам брата Ник[оленьки], оставил до тех пор, пока принудит к тому или любовь или рассудок, или даже судьба, которой нельзя во всем противодействовать!»

Но любовь, рассудок и судьба еще на долгие годы лишают Толстого счастья семейной жизни, а «тяжелая повинность тела» предъявляет свои требования, более реальные и непреодолимые. Борьба с ними продолжается беспрерывно. Дневник помогает в этой борьбе. Каждое падение, каждое влечение Толстой добросовестно отмечает в своих записях, «себе в наказание»: «Нахожу для дневника, кроме определения будущих действий, полезную цель – отчет каждого дня с точки зрения тех слабостей, от которых хочешь исправиться». «Приходила за паспортом Марья… Поэтому отмечу *сладострастие»*… «После обеда и весь вечер шлялся и имел *сладострастные вожделения».* Через день новая запись: «Мучает меня сладострастие, не столько

сладострастие, сколько сила привычки». На другой день: «Не мог удержаться, подал знак чему-то розовому, которое в отдалении казалось мне очень хорошим, и отворил сзади дверь. Она пришла. Я ее видеть не могу, противно, гадко, даже ненавижу, что от нее изменяю правилам. Вообще, чувствую очень похожее на ненависть, которую питаешь к тем людям, которым не можешь показать, что не любишь, и которые имеют право полагать в вас к себе хорошее расположение. – Чувство долга и отвращение говорили против, похоть и [страсть] [10] говорили за. Последние одолели. Ужасное раскаяние; никогда я не чувствовал его так сильно. Это шаг вперед».

«Вчера я почти всю ночь не спал; пописавши дневник, я стал молиться богу. Сладость чувства, которую я испытал на молитве, передать невозможно… Я желал чего-то высочайшего и хорошего, но чего, я передать не могу, хотя и ясно сознавал, чего я желаю. – Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим, я просил его простить преступления мои, но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил, и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил его, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединил все, и мольбу и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло… Нет, вот оно чувство, которое испытал я вчера, – это любовь к Богу – любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающее все дурное. – Как страшно было мне смотреть на всю мелочную, порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня. Как от чистого сердца просил я Бога принять меня в лоно свое. Я не чувствовал плоти… но нет, плотская, мелочная сторона опять взяла свое, и не прошло часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни; знал откуда этот голос, знал, что он погубит мое блаженство, боролся – и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не могу». Религиозный подъем влечет за собой стремление к нравственной чистоте; в то же время и другое чувство – возвышенная любовь к женщине – помогает Толстому освобождаться от чувственных порывов тела. «Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она», – вспоминает Лев Николаевич в рассказе «После бала». «В моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью» [11] .

Жажда идеальной, бесплотной любви к женщине, такой любви, которая устранила бы все низшие стремления и дала бы душевную радость, духовный подъем и нравственное

удовлетворение, неотступно преследует молодого Толстого. Движение сердца, легкое увлечение он возводит в своем воображении на степень серьезной, глубокой любви. Встреча с девушкой дает лишь толчок идеальным порывам. Переживания эти на время заполняют жизнь и устраняют низшие страсти. Любимая женщина теряет свой облик, и Толстого занимает не столько эта женщина и ее судьба, сколько собственные мечты и сердечные переживания.

Так было с Зинаидой Модестовной Молоствовой.

Лев Николаевич познакомился с нею еще студентом в Казани у начальницы Родионовского института Е. Д. Загоскиной (Молоствова была воспитанницей этого института). По дороге на Кавказ он заезжает в Казань и снова видится с Молоствовой. «Ей было 21–22 года и она была почти невестой Н. В. Тиле. Несмотря на это, она почти все мазурки танцевала со Львом Николаевичем и, видимо, интересовалась им» [12] . Встреча эта производит на Толстого большое впечатление, и мысль о любви не покидает его. Через два месяца он записывает в дневнике:

«Любовь и религия, вот два чувства чистые, высокие. Не знаю, что называют любовью. Ежели любовь то, что я про нее читал и слышал, то я ее никогда не испытывал. Я видал прежде Зинаиду институточкой, она мне нравилась, но я мало знал ее (фу, какая грубая вещь слово, как площадно, глупо выходят переданные чувства). Я жил в Казани неделю. Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, что мне было так приятно? Отчего я был так счастлив? Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это-то незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. *Как морально легко мне было в это время! Я не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которая портит все наслаждения жизни.* Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла. Все порывы души чисты, возвышенны в своем начале. Действительность уничтожает невинность и прелесть всех порывов.

Мои отношения с Зинаидой остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу.

– Но, может быть, ты сомневаешься, что я тебя люблю, Зинаида? Прости меня, ежели это так, я виновен, одним словом мог бы и тебя уверить.

«Неужели никогда я не увижу ее? Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-нибудь Бекетова? Или, что еще жалче, увижу ее в чепце, веселенькой и с тем же умным, открытым, веселым и влюбленным глазом? Я не оставлю своих

планов, чтобы ехать жениться на ней, *я недовольно убежден, что она может составить мое счастие, но все-таки я влюблен.* Иначе, что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня, что этот взгляд, в который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное. Не написать ли ей письмо? Не знаю ее отчества и от этого, может быть, лишусь счастия… Теперь Бог знает, что меня ждет… Предаюсь в волю его! Я сам не знаю, что нужно для моего счастия, и что такое счастье?

– Помнишь Архиерейский сад, Зинаида, боковую дорожку? На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего мне кажется, я ничего не сказал? Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое… не свое, а наше счастье.

Лучшим воспоминанием в жизни останется навсегда это милое время. А какое пустое и тщеславное создание – человек. Когда у меня спрашивают про время, проведенное мною в Казани, я небрежным тоном отвечаю: «Да, для губернского города очень порядочное общество, и я довольно весело провел несколько дней там».

«Подлец! Все осмеяли люди! Смеются над тем, что с милым рай и в шалаше, и говорят, что это неправда. Разумеется, правда; не только в шалаше – в Крапивне, в Старом Юрте – везде. С милым рай и в шалаше, и это правда, правда, сто раз правда!»

И после этой восторженной записи в дневнике нет больше упоминаний о Молоствовой. Трудно предположить, что только случайность или застенчивость Толстого помешали этим «веселым, почти детским отношениям» принять более серьезный характер. Скорее можно допустить, что со стороны Льва Николаевича было только минутное увлечение, а неудовлетворенная жажда поэтической, «высокой» любви, мечта о чистой девушке, освобождающей от тяжести «всех мелочных страстей», воспитали это чувство и на время овладели вниманием.

Через год Толстой записывает в дневнике: «Зинаида выходит замуж за Тиле. Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня».

Жизнь на Кавказе, новые впечатления, литературные интересы и бурные устремления молодости скоро рассеяли впечатление от встречи с Молоствовой, но вытеснить мечты о любви и семейной жизни они не могли.

III

Кавказ оставил в Толстом самые дорогие воспоминания. Он считал это время «одним из лучших периодов своей жизни, несмотря на все уклонения от смутно сознаваемого им идеала»

[13] .

«Хотя все это время я о себе очень мало думал, но мысль о том, что я стал гораздо лучше прежнего, как-то закралась в мою душу и даже сделалась убеждением», – отмечает Толстой в дневнике и о том же пишет в Ясную Поляну: «Мне кажется, что сумасбродная мысль поехать на Кавказ внушена мне свыше. Эта рука Божия ведет меня, и я непрестанно благодарю его. Я чувствую, что здесь я стал лучше (это еще немного, потому что я был очень дурен), и я твердо уверен, что все, что может со мной случиться здесь, будет мне на пользу, потому что сам Бог этого хочет» [14] . И он, «видящий сокровенную глубину моей души и направляющий ее, знает, что благодаря Ему я никогда не жил более безупречно и не чувствовал себя нравственно более удовлетворенным, чем за эти восемь месяцев» [15] .

Спустя семь лет в одном из писем к А. А. Толстой Лев Николаевич так описывает это время: «Я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда… Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в это время, продолжавшееся два года. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением… Из двух лет умственной работы я нашел простую, старую вещь… я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно».

Мечты о семейной жизни вполне отвечают общему настроению и умственным запросам. Напряженная работа интеллекта не вытеснила их. Наоборот, Толстому кажется, что только личная любовь даст полноту радости и нравственного удовлетворения. Тяготение к созданию семьи не покидает его, и в одну из своих поездок по Кавказу, на станции Моздок, в письме к «тетушке» Т. А. Ергольской, Лев Николаевич рисует увлекательную картину близкого счастья.

«После некоторого количества лет, не молодой, не старый я в Ясной Поляне, дела мои в порядке, у меня нет ни беспокойства, ни неприятностей. Вы также живете в Ясной. Вы немного постарели, но еще свежи и здоровы. Мы ведем жизнь, которую вели раньше, – я работаю по утрам, но мы видимся почти целый день… Я женат, моя жена тихая, добрая, любящая; вас она любит так же, как и я; у нас дети, которые вас зовут бабушкой; вы живете в большом доме наверху, в той же комнате, которую прежде занимала бабушка. Весь дом содержится в том же порядке, какой был при отце, и мы начинаем ту же жизнь, только переменившись ролями. Вы заменяете бабушку, но вы еще лучше ее, я заменяю отца, хотя и не надеюсь никогда заслужить эту

честь. Жена моя заменяет мать, дети – нас… Будет три новых лица, которые будут иногда появляться среди нас – это братья, особенно один, который часто будет с нами, Николенька, старый холостяк, лысый, в отставке, всегда такой же добрый, благородный.

Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки, как дети будут у него целовать сальные руки (но которые стоят того), как он будет с ними играть, как жена моя будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общие воспоминания о давно прошедшем времени, как вы будете сидеть на своем обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас; как вы нас, старых, будете называть по-прежнему «Левочка, Николенька» и будете бранить меня за то, что я руками ем, а его за то, что у него руки не чисты.

Если бы меня сделали русским императором, если бы мне дали Перу, одним словом, если бы волшебница пришла ко мне со своей палочкой и спросила меня, чего я желаю, я, положа руку на сердце, ответил бы, что желаю, чтобы эти мечты могли стать действительностью».

Однако в действительности, насколько ее можно проследить по дневнику, продолжается настойчиво все та же борьба человека с низшими страстями. Каждая уступка телу вызывает острую реакцию и ряд новых самоограничений. Временами волна сладострастия уничтожает сопротивление, и Толстой сознательно отдается стихийному влечению, находя себе оправдание в условиях ненормальной бивуачной жизни. Но вслед за тем раздаются новые призывы к перерождению.

«Сладострастие сильно начинает разыгрываться – надо быть осторожным», – замечает Толстой в дневнике. И через день там же записывает составленную им новую молитву:

«Отче, Богородица (помянуть родных живых и усопших – потом). Избави меня, Господи, от тщеславия, нерешительности, лености, сладострастия, болезней и беспокойства душевного; дай мне, Господи, жить без греха и страданий и умереть без отчаяния и страху – с верой, надеждой и любовью. Предаюсь воле твоей. Матерь Божия и Ангел-хранитель, помолите обо мне Господа».

«С некоторого времени меня сильно начинает мучить раскаяние в утрате лучших годов жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог сделать что-нибудь хорошее… Меня мучит мелочность моей жизни, – я чувствую, что это потому, что я сам мелочен, а все-таки имею силу презирать и себя, и свою жизнь».

На другой день – предписание: *«Нужно стараться как можно*

меньше возбуждать сладострастие… Презираю все страсти и жизнь, а увлекаюсь страстишками и тешусь жизнью».

И дальше, каждое уклонение от нормальной жизни и малейший успех в преодолении страсти он отмечает в своих записях.

«О, срам! Ходил стучаться под окна К. К счастью моему, она меня не пустила». «Ходил стучаться к К., но, к моему счастью, мне помешал прохожий». «Я чувствовал себя нынче лучше, но морально слаб и похоть сильная». – «Застал в кухне молодую хозяйку и сказал с ней несколько слов. – Она решительно со мной кокетничает; перевязывает цветы под окошком, караулит рой, поет песенки, и все эти любезности нарушают покой моего сердца. Благодарю Бога за стыдливость, которую он дал мне; она спасает меня от разврата».

Эти записи относятся к 1852 году. В следующем, 1853 году в настроении замечается некоторая перемена. Сладострастие с еще большей силой захватывает Толстого. Подчинение страсти производит обычное угнетенное состояние. Но чувственное влечение достигает иногда такого напряжения, что Толстой уступает ему и удовлетворение «половой потребности» вносит в список срочных дел, наравне с литературными заданиями и практическими работами.

«Мне необходимо иметь женщину. Сладострастие не дает мне минуты покоя». Следующая запись: «Хочу приняться и вступить опять в колею порядочной жизни – чтение, писание и порядок, и воздержание. Из-за девок, которых не имею, и креста, которого не получу, живу здесь и убиваю лучшие годы своей жизни. Глупо!»

После новых падений, через месяц, он снова записывает в дневнике: «Мне вдруг непонятно стало, как мог я все это время так дурно вести себя. Ежели я буду ожидать *обстоятельства], в к[отором] я легко буду добродетелен и счастлив, я никогда не дождусь; в этом я убежден.* Д[евки] *сбили* меня с толку. Постараюсь делать добро, сколько могу, быть деятельным и уж наверное не поступать легкомысленно и не делать зла. Благодарю Бога за такое настроение и прошу тебя, поддержи его. Я много делал дурного за это время: подговаривал девок, тратил деньги на пустяки и время, которое бы мог употребить с пользой, тщеславился, спорил, сердился».

«Воздерживайся от вина и женщин. Наслаждение так мало, неясно, а раскаяние так велико!» На другой день запись иного характера: «Это насильственное воздержание, мне кажется, не дает мне покоя и мешает занятиям, а греха мало, ибо он извиняется неестественным положением, в которое меня поставила судьба… После обеда ленился. Мог бы, ежели не

писать, то обдумать. Девки мешают. Завтра утром обдумаю «Отрочество» и буду писать его до обеда. Ежели не будет мыслей, то буду писать правила. После обеда искать доброе дело и писать». Через 2 дня: «После ужина ходил ко всем девкам и везде неудачно. Завтра писать с утра до вечера и употребить все средства, чтобы иметь девку». – «Завтра пересилить свой стыд и решительно действовать насчет Ф. Писать «Отрочество» утро и вечер».

Подчиненность физиологическим требованиям организма не останавливает работу мысли Толстого. Он обуреваем чувственными вожделениями, но в более спокойные минуты ум занят разрешением сложнейших отвлеченных вопросов. 7 июля он отмечает: «Завтра писать и непременно решить дело с Ф.» А на другой день выступает недовольство «бесцельной, беспорядочной жизнью», и в дневнике появляется серьезная запись. «Не могу доказать себе существования Бога, не нахожу ни одного дельного доказательства и нахожу, что понятие не необходимо. Легче и проще понять вечное существование всего мира с его непостижимо прекрасным порядком, чем существо, сотворившее его. Влечение плоти и душа человека к счастию есть единственный путь к понятию тайн жизни. Когда влечение души приходит в столкновение с влечением плоти, то первое должно брать верх, ибо душа бессмертна так же, как и счастие, которое она приобретает. Достижение счастия есть ход развития ее… Не понимаю необходимости существования Бога, а верю в него и прошу помочь мне понять его».

Причины особо повышенной чувственной устремленности Толстого этого периода заключаются преимущественно в ненормальных условиях военной жизни на Кавказе. Но были другие причины, и одна из главных – отсутствие объекта любви. Мы уже видели, как страстно мечтает Толстой о любви к женщине, о семейном уюте, какой восторг и нравственный подъем вызывает в нем воображаемое увлечение Молоствовой. В записной книжке 1853 года есть запись: «Когда человек бывает искренно влюблен», то испытывает «чудное состояние души». Но стремления Толстого к целомудренной любви не находят своего применения в жизни и не освобождают его от «тяжести мелочных страстей».

В литературе установился взгляд на увлечение Оленина Марьяной, как на эпизод из личной жизни Толстого. Сам Лев Николаевич упоминает об этой любви в одном из писем к П. И. Бирюкову. И, тем не менее, трудно согласиться с этим.

В дневнике молодости Толстой отмечает все события своей жизни, но там нет ни одного намека, ни одного упоминания об

этой любви. В дневнике встречается ряд женских имен, скрытых за инициалами, но записи эти имеют один и тот же определенный смысл, не оставляющий никаких сомнений. Первые очерки о Кавказе задуманы в 1852 году, и 19 октября этого года Лев Николаевич записывает программу: «1) Нравы народа: а) история Сол[омониды?] в) рассказ Балты, с) поездка в Мамакай Юрт».

Если правильна наша расшифровка этой записи, если за сокращенным словом действительно скрывается женское имя, то у нас есть основание допустить, что именно Соломониду Толстой первоначально предполагал описать в «Казаках». В дневнике за два года есть ряд записей, касающихся Соломониды и его отношения к ней. Но эти отношения лишены всяких поэтических прикрас, и настроения Оленина далеко не совпадают с переживаниями автора.

«Пьяный Епишка вчера сказал, что с Соломонидой дело на лад идет. Хотелось бы мне ее взять». – «После обеда был у Епишки и говорил с Соломонидой. Груди у нее подурнели, однако мне еще очень нравится. Впрочем, весна [?] сильно действует на меня. Каждая женская голая нога, мне кажется, принадлежит красавице». – «Ходил несколько раз к Епишке. Насчет Соломониды дело не подвигается вперед, а Мих. уже намер[евается], кажется, подкарауливать. Я решился во что бы то ни стадо иметь ее». «Непоследователен насчет Соломониды. Епишка, кажется, надует меня. Завтра… после обеда, что бы ни было, пойти искать д[оброе] д[ело] и о Соломониде».

По некоторым данным, «Марьяна» была родственницей «Ерошки» – Епишки [16] . В дневнике все записи о Соломониде связаны с Епишкой, – это еще раз подтверждает, что прообразом Марьяны, возможно, и была Соломонида.

В неизданной статье «Внук дяди Ерошки у Льва Толстого» есть интересные сведения об этой казачке. «Образ ее в повести «Казаки» в общем не представляет из себя определенного точного портрета, – говорится в этой статье, – Толстой намеренно сделал из нее положительный, собирательный тип гребенской девушки» [17] .

Настоящее имя Марьяны скрыто от нас. Выше были изложены предположения относительно Соломониды. Но, чтобы рассмотреть этот вопрос до конца, приводим другие выдержки, отчасти намекающие на историю любви Оленина.

«С. при мне сказал Ок., что я ее люблю. Я убежал и совсем потерялся».

– Два раза имел Кае. Дурно. Я очень опустился». – «Ходил к К., хорошо, что она не пустила».

«С[оломонида?] уехала совсем, а Ф[едосья], в которую я,

к[ак] б[удто] влюблен, не соглашается под предлогом, что я уезжаю… Завтра пересилить свой стыд и решительно действовать насчет Ф.» – «Зовут в Пятигорск. Кажется, поеду, однако, это решит Ф[едосья], к[оторая] уехала в Кизляр». – «Ничего не говорил с Федос[ьей], несмотря на представлявшиеся случаи. У нее рожа разбита». – «Решить во что бы то ни стало дело с Ф[едосьей]».

Хотя в этих записях и имеются выражения, заслуживающие нашего внимания, но весь тон отношения Толстого к этим лицам настолько определен, что предположения биографов и даже свидетельства самого Льва Николаевича о полном отражении в «Казаках» личных переживаний автора невольно вызывают большие сомнения. Повесть эта закончена в 1862 году, через много лет после ее первоначального замысла. Кавказская жизнь, собственные настроения той эпохи оставили в Толстом лучшие воспоминания. Время сгладило шероховатости и впечатлениям придало грустный, поэтический тон. В то время, когда Лев Николаевич писал «Казаков», все существо его искало личного счастья, и, быть может, под влиянием этих настроений одна из случайных связей холостого юнкера была претворена художником в глубокую всепоглощающую страсть [18] .

Последние месяцы пребывания Толстого на Кавказе и на Дунае, т. е. около полутора лет, исключаются из поля нашего наблюдения; в дневнике отсутствуют записи интимного характера. Отсутствие записей не может указывать на отсутствие событий и переживаний. Но с несомненностью говорит это о том, что определенные интересы и влечения играют теперь меньшую роль.

Толстой занят разрешением отвлеченных вопросов, увлекается историей, ежедневно в дневнике резюмирует прочитанное, по-прежнему настойчиво вырабатывает «правила» жизни, с обычным для него упорством отмечая все уклонения от них. Здесь мы видим переходы от удовлетворения и радости к самоосуждению и отчаянию.

«Я был бы счастлив все это время!» – пишет Лев Николаевич по поводу своего приезда в Ясную Поляну перед отправкой в Дунайскую армию. А через несколько месяцев он отмечает: «Ровно… три месяца праздности и жизни, которой я не могу быть доволен… В последний раз говорю себе: ежели пройдет три дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя. Помоги мне, Господи!» Еще через месяц: «Я очень весел, и дай Бог, как мне кажется, чтобы веселье это происходило от самого меня; от желаний всем быть приятным, скромности, необидчивости и внимательности за вспышками. Тогда бы я

всегда был весел и почти всегда счастлив». И после этого, в течение нескольких месяцев, почти в ежедневных записях он ставит себе задачей «исправление от трех пороков: раздражительности, бесхарактерности и лени».

Но такая жизнь, полная умственных интересов и порывов к самосовершенствованию, не вытеснила окончательно чувственных влечений. Они остались, но временно изменилось отношение к ним. В этом периоде сладострастие играет незначительную роль, оно не мешает жизни, и сопротивление ему не входит в перечень «правил». – «Упрекаю себя за лень и в последний раз. Ежели завтра я ничего не сделаю, я застрелюсь. Еще упрекаю за непростительную нерешительность с девками».

И эта «непростительная» нерешительность с точки зрения морали не оценивается, и нет стремления к преодолению примитивного влечения к женщине. Толстой не осуждает его; наоборот, его огорчают недостатки, которые мешают проявлению инстинкта: «Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других; нескромен, нетерпим (intolerant) и стыдлив, как ребенок». – «Хозяйская прехорошенькая замужняя дочь, которая без памяти, глупо кокетничала со мной, подействовала на меня – как я ни принуждал себя – как и в старину, т. е. я страдал ужасно от стыдливости».

В то же время и другая сторона личной жизни – жажда семейного счастья – не оставляет Толстого. В дневнике нет записей о любви, другие интересы занимают внимание, но в письме к брату Сергею он жалуется: «Одно беспокоит меня: я четвертый год живу без женского общества, я могу совсем загрубеть и не быть способным к семейной жизни, которую я так люблю». В этом же году Лев Николаевич пишет «Роман русского помещика» [19] и в жизни филантропа-помещика любви к жене уделяет первое место.

Пребывание в осажденном Севастополе вызывает новую волну чувственности с такими же проявлениями, с такими же переживаниями, как и прежде. Состояние это не покидает Толстого до конца военной службы, и с этим «настроением он уезжает в Петербург в ноябре 1855 года.

IV

В Петербурге Лев Николаевич встречается с Александрой Алексеевной Дьяковой, сестрой своего друга. Еще в юности он был увлечен ею, но до нас не дошло никаких свидетельств об этой любви. Уже три года, как Александра Алексеевна замужем за А. В. Оболенским, но при встрече чувство вновь захватывает Толстого. В дневнике есть об этом несколько упоминаний.

«Обедал у Дьяковой. Не узнал А. О. [20] , так она переменилась. Я не ожидал ее видеть, поэтому чувство, которое она возбудила во мне, было ужасно сильно. От них ездил к Аксакову [21] , слушал 4-й отрывок [22] . Хорош, но старика захвалили. Вернулся к Д[ьяковым], там танцовали немного, и выехал оттуда с А. Сухотиным [23] , страстно влюбленным человеком. Да и теперь мне ужасно больно вспоминать о том счастье, которое могло быть мое и которое досталось отличному человеку Андрею Оболенскому. Сухотину рассказал свое чувство, он понял его, тем более, что его, кажется, разделяет» [24] .

– «У А. больна дочь. Она сказала А. Сухотину [25] при мне, что когда она была невестой, не было влюбленных. Мужа ее тут не было. Неужели она хотела сказать мне, что она не была влюблена в него. Потом, прощаясь со мной, она дала мне *вдруг руку,* и у нее были слезы на глазах от того, что она только что плакала об болезни пиндигашки; но мне было ужасно хорошо. Потом она нечаянно проводила меня до дверей. Положительно, со времен Сонечки [26] у меня не было такого чистого, сильного и хорошего чувства. Я говорю, «хорошего», потому что, несмотря на то, что оно безнадежно, мне отрадно расшевеливать его. Писать ужасно хочется *«Юность»,* кажется, от того, что с этим чувством она пережита». «Звали к Дьяковым, и я был у них и три часа проговорил с А., то один на один, то с мужем. Я убежден, что она знает мое чувство, и что оно ей приятно. Я был счастлив ужасно». «Оболенский заезжал, и я бы мог пробыть еще вечер с А. Кто знает, не было ли бы это к худшему».

Но Толстого не могла удовлетворить сложная любовь к замужней женщине, и он прошел мимо нее [27] . Лев Николаевич ждет счастья семейной жизни и вполне созвучных отношений. «Любовь к женщине он [Левин-Толстой] не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для [него] это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастие» [28] .

Окончание военной службы с возвращением к нормальной жизни в мирной обстановке дает, наконец, возможность осуществить лелеянную с юности мечту. Толстой записывает: «Четыре чувства с необыкновенной силой овладели мной: любовь, тоска, раскаяние (однако, приятное), желание жениться». С некоторого времени я серьезно думаю о браке, и на всех барышень, которых вижу, смотрю невольно с точки зрения брака». «Решаюсь ехать в деревню, поскорей жениться».

28 мая 1856 года Лев Николаевич выезжает в Ясную Поляну. В деревне он возобновляет знакомство с семьей Арсеньевых. Встреча с Валерией Владимировной Арсеньевой ставит перед Толстым практически вопрос о женитьбе. Он часто посещает имение Судаково, Арсеньевы приезжают в Ясную Поляну. Мысль о Валерии, как о будущей жене, серьезно занимает Льва Николаевича. «Мечты о семейной жизни, о любви к жене не оставляли меня всю мою молодость, с 15 лет», – писал Толстой в первоначальной редакции «Исповеди». Но только на 28-м году мечты эти обещают стать действительностью.

Роман с Арсеньевой – одна из самых любопытных страниц жизни Толстого [29] . В завязке его нет никаких элементов стихийности. Лев Николаевич ставит перед собой неотложную задачу – женитьбу – и объектом выбирает Арсеньеву. «Шлялись с Дьяковым [30] . Много советовал мне дельного об устройстве флигеля, а, главное, советовал жениться на В[алерии]. Слушая его, мне кажется, тоже, что это лучшее, что я могу сделать».

После такого решения Толстой в течение трех с половиной месяцев изучает девушку, а свои впечатления и сомнения заносит в дневник. Приводим здесь в последовательности и без комментария выдержки из дневника за это время.

«16 июня. – В[алерия] мила.

18 июня. – В. болтала про наряды и коронацию. Фривольность есть у нее, кажется, не преходящая, но постоянная страсть.

21 июня. – Я с ней мало говорил, тем более, она на меня подействовала.

26 июня. – В. в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни. Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? Вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе.

28 июня. – В. ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа.

30 июня. – В. славная девочка, но решительно мне не нравится. А ежели этак часто видеться, как раз женишься.

1 июля. – Провел весь день с В. Она была в белом платье с открытыми руками, которые у ней нехороши. Это меня расстроило. Я стал щипать ее морально и до того жестоко, что она улыбалась недокончено. В улыбке слезы. Потом она играла. Мне было хорошо, но она уже была расстроена. Все это я узнаю.

2 июля. – Опять в гадком, франтовском капоте… Я сделал ей серьезно больно вчера, но она откровенно высказалась, и после маленькой грусти, которую я испытал, все прошло… Очень мила.

10 июля. – В. очень мила, и наши отношения легки и

приятны.

12 июля. – В. была лучше, чем когда-нибудь, но фривольность и отсутствие внимания ко всему серьезному – ужасающие. Я боюсь, это такой характер, который даже детей не может любить. Провел день, однако, очень, очень приятно.

25 июля. – В первый раз застал ее *без платьев,* как говорит Сережа. Она в десять раз лучше, главное, естественна… Кажется, она деятельно-любящая натура. Провел вечер *счастливо.*

28 июля. – Странно, что В. начинает мне нравиться как женщина, тогда как прежде, как женщина именно, она была мне отвратительна.

30 июля. – В. совсем в неглиже. Не понравилась очень.

31 июля. – В., кажется, просто глупа.

1 августа. – В. была в конфузном состоянии духа и жестоко аффектирована и глупа.

10 августа. – Мы с В. говорили о женитьбе, она не глупа и необыкновенно добра.

12 августа. – Она была необыкновенно проста и мила. Желал бы я знать, вл[юблен] ли или н[ет].

16 августа. – Все эти дни больше и больше подумываю о Валериньке.

4 сентября. – О В. думаю очень приятно.

24 сентября. – В. мне противна.

26 сентября. – Мила, но ограничена и фютильна невозможно.

28 сентября. – Нравилась мне вечером.

29 сентября. – В. неспособна ни к практической, ни к умственной жизни… В первый раз я испытал к ней что-то вроде чувства.

1 октября. – Ничего не делал, но, слава Богу, меньше думал о В. Я не влюблен, но эта связь будет навсегда играть большую роль в моей жизни. А что, ежели я не знал еще любви, тогда, судя по тому маленькому началу, которое я чувствую теперь, я испытаю с ужасной силой. Не дай Бог, чтоб это было к В. Она страшно пуста, без правил и холодна как лед.

8 октября. – Не могу не колоть В. Это уж привычка, но не чувство. Она только для меня неприятное воспоминание.

19 октября. – Я решительно не имею к ней никакого [чувства].

24 октября. – В. была прелестна, я почти влюблен в нее.

25 октября. – Говорил с ней. Очень хорошо. Чувствовал даже слезливое расположение духа.

27 октября. – Не слишком мне нравилась, но она милая, милая девушка, честна и откровенна.

28 октября. – Она была *для меня* в какой-то ужасной прическе

и порфире. Мне было больно, стыдно, и день провел грустно, беседа не шла. Однако я совершенно невольно сделался что-то вроде жениха. Это меня злит.
31 октября. – Она не хороша. Невольность моя злит меня больше и больше. Поехал на бал, и опять была очень мила… Они меня проводили, я был почти вл[юблен]».

Чтобы разобраться в своем отношении к Арсеньевой, посмотреть со стороны на создавшееся положение и спокойно обдумать его, Толстой покидает Валерию и уезжает в Петербург. Отсюда он пишет ей пространные письма, рисует их будущую жизнь, излагает свой взгляд на значение брака, дает советы о поведении, словом, подготовляет ее к новой, совместной жизни. Но за это время для него становится очевидной полная невозможность этого брака. Переписка их после объяснений прерывается, и Лев Николаевич, не возвращаясь в Ясную Поляну, уезжает за границу.

Можно выставить много причин неудачи первой попытки женитьбы Толстого. Несомненно, он и Арсеньева были люди с совершенно различным отношением к жизни. Валерия Владимировна – провинциальная девушка, увлекавшаяся блеском света, флигель-адъютантами и коронацией, тогда как перед Толстым стояли неразрешенные вопросы совести, его преследовала ответственность перед жизнью. И возможно, что отсутствие согласия в главном – в стремлении к добру – послужило основанием разрыва. Но эти основания, вернее, заключаются не в различии взглядов и интересов, а в полном отсутствии живой любви со стороны Толстого.

Встреча произошла в то время, когда внешняя жизнь изменилась и на очередь встал практически вопрос о браке. В своем воображении Лев Николаевич давно уже составил идеальный образ будущей жены [31] , и, решаясь жениться на Арсеньевой, он начинает воспитывать ее, пытается создать воплощение идеала. В письмах он дает ей самые подробные советы, определяет каждый ее шаг.

«Занятия ваши радуют меня, но мало, ей-богу, мало, вечера пропадают, принуждайте себя… Точки означают разные нежные имена, которые я даю вам мысленно, умоляя вас больше работать». – «Вечера, пожалуйста, не теряйте. Возьмите на себя. Не столько для того, что вам полезны будут вечерние занятия, сколько для того, чтобы приучить себя преодолевать дурные наклонности и лень… Ваш главный недостаток – это слабость характера, и от него происходят все другие мелкие недостатки. Вырабатывайте силу воли. Возьмите на себя и воюйте упорно с своими дурными привычками… Ради Бога, гуляйте и не сидите

вечером долго, берегите свое здоровье».

Всякая непосредственность близких отношений Толстым строго изгоняется, и порывы любящего сердца он стремится заменить благонамеренными отношениями.

«Ваш фаворит, глупый человек, во все время дороги совершенно вышел из повиновения, рассуждал такой вздор и делал такие нелепые, хотя и милые планы, что я начинал бояться его. Он дошел до того, что хотел ехать назад с тем, чтобы вернуться в Судаково, наговорить вам глупостей и никогда больше не расставаться с вами. К счастью, я давно привык презирать его рассужденья и не обращать на него никакого внимания… Глупый человек говорил, что глупо рисковать будущим, искушать себя и терять хоть минуту счастия. «Ведь ты счастлив, когда ты с ней, смотришь на нее, слушаешь, говоришь? – говорил глупый человек. – Так зачем же ты лишаешь себя этого счастия, может, тебе только день, только час впереди; может быть, ты так устроен, что ты не можешь любить долго, а все-таки это самая сильная любовь, которую ты в состоянии испытывать, ежели бы ты только свободно предался ей. Потом, не гадко ли с твоей стороны отвечать таким холодным, рассудительным чувством на ее чистую, преданную любовь». – Все это говорил глупый человек, но хороший человек, хотя и растерялся немного сначала, на все это отвечал вот как: «Во-первых, ты врешь, что я с ней счастлив; правда, я испытываю наслаждение слушать ее, смотреть ей в глаза, но это не счастье и даже не хорошее наслаждение… Потом, часто даже мне тяжело бывает с ней, а главное, что я нисколько не теряю счастия, как ты говоришь, я теперь счастлив ею, хотя не вижу ее. Насчет того, что ты называешь моим холодным чувством, я скажу тебе, что оно в 1000 раз сильнее и лучше твоего, хотя я и удерживаю его. Ты любишь ее для своего счастия, а я люблю ее для ее счастья»… Я уже люблю в вас вашу красоту, но я начинаю только любить в вас то, что вечно и всегда драгоценно – ваше сердце, вашу душу. Красоту можно узнать и полюбить в час и разлюбить так же скоро, но душу надо узнать. Поверьте, ничто в мире не дается без труда – даже любовь, самое прекрасное и естественное чувство».

В другом месте Лев Николаевич пишет: «Вы говорите, что за письмо от меня готовы жертвовать *всем.* Избави Бог, чтобы вы так думали, да и говорить не надо. В числе этого *всего* есть *добродетель,* которой нельзя жертвовать не только для такой дряни, как я, – но ни для чего на свете. Подумайте об этом. Без уважения, выше всего, к добру нельзя прожить хорошо на свете… работайте над собой, крепитесь, мужайтесь, учитесь и любите меня все так же, только немножко поспокойнее». «Помогай вам

Бог, мой голубчик, идите вперед, любите, любите не одного меня, а весь мир Божий, людей, природу, музыку, поэзию и все, что в нем есть прелестного, и развивайтесь умом, чтобы уметь понимать вещи, которые достойны любви на свете. Любовь – главное назначение и счастие на свете». Она не в том, чтобы у пупунчика целовать руки (даже мерзко выговорить), а в том, чтоб друг другу открывать душу, поверять свои мысли по мыслям другого, вместе думать, вместе чувствовать». – Вы гневаетесь, что я *только умею читать нотации…* Это все мысли и чувства самые дорогие для меня, которые я пишу чуть не с слезами на глазах (верьте этому), а для вас это *нотации* и *скука…* Смотря по развитию, человек и выражает любовь. Оленькин жених выражал ей любовь, говоря о том, как они будут целоваться, вы выражаете любовь, говоря о высокой любви; но меня хоть убейте, я не могу говорить об этих вздорах».

Та же особенность увлечения Толстого – его «программность» – помогает ему заранее определить их будущие отношения. «Я не в состоянии дать вам того же чувства, которое ваша хорошая натура готова дать мне». «Нам надо помириться вот с чем: мне – с тем, что большая часть моих умственных, главных в моей жизни интересов останутся чужды для вас, несмотря на всю вашу любовь, вам – надо помириться с мыслью, что той полноты чувства, которое вы будете давать мне, вы никогда не найдете во мне… Одно, что может прочно соединить нас, это истинная любовь к добру, до которой я дошел умом, а вы дойдете сердцем».

Однако правдивая натура Толстого не позволила ему долго обманывать себя. Вскоре он понял, что не было любви, что он «увлекся нехорошим желанием внушить любовь».

«Я бы желал и очень желал мочь сказать, что я влюблен или просто люблю ее, но этого нет». «Я мог делать опыты с собой, не увлекая вас, – писал Лев Николаевич Арсеньевой из Парижа, – но в этом я отдал дань своей неопытности и каюсь в этом, прошу у вас прощенья, и это мучает меня; но не только бесчестного, но даже в скрытности меня упрекать не следует».

Толстому было не легко расстаться со своей мечтой. Все силы, все упования он возлагал на любовь к женщине – своей помощнице [32] , на полную, счастливую семейную жизнь. «Ежели я не найду совершенного счастья, то я погублю все, свой талант, свое сердце, сопьюсь, картежником сделаюсь, красть буду, ежели не достанет духу зарезаться», – писал Лев Николаевич в одном из писем к Арсеньевой. Но любви нет, «поправить дело невозможно, и теперь ничто не может возобновить этого» [33] .

Оборвавшиеся отношения с Арсеньевой возвращают Льва Николаевича в круг прежних соблазнов. Но они не оставляли его

и в то время, когда он мечтал о счастливой семейной жизни с понравившейся ему девушкой.

Из Севастополя Толстой вернулся полный чувственных вожделений. «Это уже не темперамент, а привычка разврата», – записал он по приезде. – «Похоть ужасная, доходящая до физической болезни». – «Шлялся по саду со смутной, сладострастной надеждой поймать кого-то в кусту. Ничто мне так не мешает работать. Поэтому решился, где бы то и как бы то ни было, завести на эти два месяца любовницу». – «Очень хорошенькая крестьянка, весьма приятной красоты. Я невыносимо гадок этим бессильным поползновением к пороку. Лучше бы был самый порок».

А в тот самый день, когда он разговаривал с Дьяковым об устройстве флигеля и о возможности женитьбы на Арсеньевой, вечер провел он в Судакове, «был в духе», а потом «приехал домой и послал к С[олдатке?]. С. не пришла».

И затем в течение месяцев, когда Толстой почти ежедневно виделся с Арсеньевой, увлекался ею и строил планы новой жизни, чистой и радостной, иногда в дневнике он записывал: «Пробыл целый день один дома, и вечером б[ыла] С. Отвратительно». – «Вечером была С. Наверно, последний раз». – «Ездил со сладострастными] целями верхом, – безуспешно». – «Наткнулся на хорошенькую бабу и сконфузился».

Это обстоятельство еще раз убеждает, что в романе с Арсеньевой не было всепоглощающей силы влечения, которая уничтожает примитивное сладострастие и требование инстинкта представляет в виде поэтического влечения к избранному объекту.

Толстой не любил, но искал любви и не нашел ее.

V

После неудачной попытки жениться, Толстой отдается светским увлечением. – «Тютчева [34] , Свербеева, Щербатова [35] , Чичерина [36] , Олсуфьева, Ребиндер – я во всех был влюблен», – записывает Лев Николаевич через год после разрыва с Арсеньевен [37] . К этому списку следует прибавить баронессу Е. И. Менгден [38] и сестер Львовых!

«Менгден замечательная женщина», – отмечает Толстой в дневнике 25 января 1857 года. Спустя несколько дней: «С Менгден неловко наедине». 3 февраля: «Она прелесть, и какие могут быть отрадные отношения. Отчего с сестрой я не нахожу такого наслаждения? Может, вся прелесть состоит в том, чтобы стоять на пороге любви».

С кн. Екатериной Владимировной Львовой [39] Толстой знакомится в Дрездене. «Она мне очень нравится, – записывает он

в дневнике, – и, кажется, я дурак, что не попробую жениться на ней. Ежели бы она вышла замуж за очень хорошего человека, и они были бы счастливы, я могу придти в отчаяние». Через несколько месяцев он делится своими переживаниями с А. А. Толстой: «Я был в наиудобнейшем настроении духа для того, чтобы влюбиться… К[атерина] Львова красивая, умная, честная и милая натура; я изо всех сил желал влюбиться, виделся с нею много и никакого!.. Что это, ради Бога? Что я за урод такой? Видно, у меня недостает чего-то?» [40]

Следующие отрывистые записи, вероятно, уже относятся к младшей сестре, Александре Владимировне [41] . 1 марта 1858 г.: «Глупости наговорил Львовой, зачем она ездит». 9 апреля 1859 г.: «В Москве опять два раза видел Львову. Поднялось, но не с такой силой». 9 октября того же года: «Был у Львовых, и как вспомню этот визит – вою. Я решился, было, что это последняя попытка женитьбы, но и то ребячество» [42] .

В дневнике мы встречаем еще новые имена, например, имя кн. Е. Н. Трубецкой [43] , но лица эти не производили, должно быть, большого впечатления; о них нет почти никаких подробностей. Только на Екатерине Федоровне Тютчевой (дочери поэта) внимание Толстого задерживается на несколько месяцев.

Краткие записи дневника восстанавливают полную картину.

«29–31 декабря 1857 г. – Тютчева начинает спокойно нравиться мне.

1 января 1858 г. – К[атерина] очень мила.

7 января. – Тютчева вздор!

8 января. – Нет, не вздор. Потихоньку, но захватывает меня серьезно и всего.

19 января. – Т. занимает меня, неотступно. Досадно даже, тем более, что это не любовь, не имеет ее прелести.

20 января. – М. Сухотину [44] с язвительностью говорил про К. Т. И не перестаю думать о ней. Что за дрянь! Все-таки я знаю, что я только страстно желаю ее любви, а жалости к ней нет.

21 января. – К. Т. любит людей только потому, что ей Бог приказал. Вообще она плоха. Но мне это не все равно, а досадно.

26 января. – Шел с готовой любовью к Тютчевой. Холодна, мелка, аристократична. Вздор! Чичерина мила, очень неразвита, кажется.

1 февраля. – Бал в Собрании. Чичерина мила. С Тютчевой уже есть невольность привычки [45] .

8 февраля. – Т. Очень я проврался… про удобство жены не аристократки, г Она наводила речь на П. Щ[ербатову]. За чем стоит дело, не знаю [46] .

8-10 марта. – Был у Тютчевой. Ни то ни се, она дичится. В

концерте видел Щерб[атову] и говорил с ней. Она мила, но меньше.

28 марта. – Увы, холоден к Т. Все другое даже вовсе противно.

31 марта. – Тютчева положительно не нравится».

И затем, спустя 5 месяцев: «Я страшно постарел, устал жить в это лето. Часто с ужасом случается мне спрашивать себя: что я люблю? – Ничего, положительно ничего. Такое положенье бедно. Нет возможности жизненного счастья, но зато легче быть вполне человеком духом, «жителем земли, но чуждым физических потребностей». Я в Москве. Дело задержит меня с неделю. Виделся… с Тютчевой. Я почти был готов без любви спокойно жениться на ней; но она старательно холодно приняла меня».

Еще через полгода он пишет А. А. Толстой: «К. Тютчева была бы хорошая, ежели бы не скверная пыль и какая-то сухость и неаппетитность в уме и чувстве… Иногда я езжу к ним и примериваю свое 30-летнее спокойствие к тому самому, что тревожило меня прежде, и радуюсь своим успехам».

Стремление Толстого к личному счастью всякий раз, как приближается оно к осуществлению, не вызывает живого непосредственного отклика в сердце. На своем пути также не встречает он женщины, которая дала бы ему иллюзию любви, благодаря совпадению жизненных целей. И это различное мировосприятие помогает Толстому разобраться в его отношении к Е. Ф. Тютчевой. Она «слишком оранжерейное растение, слишком воспитана на «безобязательнвм наслаждении», чтобы не только разделять, но и сочувствовать моим трудам. Она привыкла печь моральные конфетки, а я вожусь с землей, с навозом. Ей это грубо и чуждо, как для меня чужды и ничтожны стали моральные конфетки», – через несколько лет написал о ней Лев Николаевич.

Раньше, чем перейти к описанию новой страницы жизни, необходимо отметить, что после разрыва с Арсеньевой чувственные проявления инстинкта некоторое время остаются такими, как и прежде. Даже впечатления от первого путешествия за границей не вытесняют вожделений, и в записях о поездке по Швейцарии Толстой подчеркивает свое особое внимание к женщине.

В Кларане записывает: «Служанка тревожит меня. Спасибо стыдливости». – «Сл[адострастие] мучает ужасно меня».

В другом месте: «Красавицы везде с белой грудью». – «Еще красавицы… Доехал до Берна». – «Красавица с веснушками. Женщину хочу – ужасно. Хорошую». – «Несмотря на головную боль, пошел ходить. Жалкое созданье… И я скотина!» – «Красавица на гулянье – толстенькая». – «Поехал верхом. Духи

сена, круглые фруктовые деревья; на деревьях женщины и мужчины рвут вишни и поют по-тирольски, небо все необстоятельное, лазурь разлита повсюду. Зугское озеро сине. Дома любовался хозяйской дочерью, даже было что-то легкое, сладкое воспоминание о ней, когда я вернулся в комнату. У нее милая физиономия и улыбка, и она умна, даже рефлектерка немножко». Через день: «Пошел пешком, кретины. Милый народ, шутливо кретинически добродушный. Старушка с зонтиком. *Девочки. Две девочки* из Штанца заигрывали, и у одной чудные глаза. Я дурно подумал и тотчас же был наказан застенчивостью. Славная церковь с органом, полная *хорошеньких.* Пропасть *общительных* и *полухорошеньких*… Пошел пешком по ореховой аллее до Бекенрида. Встреча с молодым красивым немцем у старого дома на перекрестке, где *две хорошенькие».* Еще спустя день: «Встал в 3. Грязная постель с клопами. Тот же глупый вид на природу и на людей… Ай! когда солнце показалось! Вчера, впрочем, была одна поэтическая минута, когда среди беспредельного моря тумана остановился зачем-то тут, а не там огненный шар солнца. Чудные виды внизу. Доехали на лодочке. *Хозяйская дочь* вертится. Слишком величественна… Спал, выкупался и поехал в Люцерн на лодке. Англичанка вычистилась и мила, прелесть. Потом встретил *маленькую,* но убежал от нее. Ужинал с пастором и его семейством. Славный человек».

Через несколько месяцев по возвращении из-за границы, в период своих светских увлечений, Толстой вступает в связь с замужней крестьянкой Аксиньей А. Связь эта продолжается долго и оставляет в Толстом большой след. Через многие годы она находит отражение в «Дьяволе» – в одном из самых страстных художественных произведений Льва Николаевича. Отдельные записи дневника дают представление о характере этой связи.

«Чудный Троицын день. Вянущая черемуха в корявых рабочих руках; захлебывающийся голос Вас[илия] Дав[ыдкина]. Видел мельком А[ксинью]. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно. Нынче в большом старом лесу. Сноха. Я дурак, скотина. Красный загар, глаза… Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. *Завтра все силы».*

Через месяц: «Она мне постыла».

Через год после этого: «Об А. вспоминаю только с отвращением, о плечах».

Еще через полгода: «А. продолжаю видать *исключительно».* После этого спустя полгода: «Ее не видал. Но вчера… мне даже страшно становится, как она мне близка». «Ее нигде нет – искал. Уже не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщенья и не могу. Равнодушие

трудовое, непреодолимое – больше всего возбуждает это чувство».

Последняя запись очень интересна. Она указывает на большую перемену, происшедшую в настроениях Толстого. Прежде желание распространялось на многих женщин, которых случайно встречал он, и, несмотря на упорную мысль о близком, полном духовного смысла браке, несмотря на возвышенный идеал будущей жены, оно доходило иногда до физической боли. Теперь же обычная безответственная связь помещика с крестьянкой постепенно достигает такой силы, что начинает поглощать все внимание, сосредоточивать всю силу страсти на одном объекте, не вызывая прежнего негодования и протеста совести. Раньше сознание пыталось осуществить идеал целомудренной любви, а непосредственные проявления инстинкта были в полном противоречии с этим стремлением. На этот раз сознание не ставит перед собой больших задач. Оно готово рассматривать случившееся как один из эпизодов холостой жизни, но сама природа, помимо сознания, придает этой связи повышенную ценность и теплоту.

Инстинкт проявляется в этом периоде не как «чувство оленя», а как отношение «мужа к жене». Прекратилось мучительное разделение инстинкта на две силы: силу любви и силу чувственности. Наконец, и в непосредственном проявлении, а не только в сознании сладострастие потеряло свое преобладающее значение.

Силы половой жизни перегруппировались таким образом, что главенствующим *непосредственным* переживанием стало *чувство* любви к жене, а не «сладострастие». Сама природа подготовила близкую женитьбу Толстого.

Мы знаем, как страстно, с 15 лет, мечтает Лев Николаевич о браке. Все попытки в этом направлении были неудачны, а ушедшие годы для счастья не вернутся. «Уж у меня мог бы быть такой сын», – записывает он, увидав у знакомых мальчика. Известия о свадьбах возбуждают в нем «грусть». Ему завидно и радостно «смотреть на… семейное счастье» Фета. И не один раз он окончательно решает: «жениться надо, надо и жить в своем уголке», «надо жениться в нынешнем году, или никогда». Но любовь не приходит, не «вяжет его по рукам и ногам», «любви нет», и «холостая жизнь, т. е. отсутствие жены, и мысль, что уж становится поздно», мучает его.

VI

Однажды Лев Николаевич сказал своей сестре Марии Николаевне:

«– Машенька, семья Берс мне особенно симпатична, и если бы я когда-нибудь женился, то только в их семье» [47] .

Сестры Берс давно уже обращали на себя внимание Толстого. По возвращении из Севастополя он посещает их семью и в дневнике записывает: «Обедали у Люб [очки] Берс [48] . Дети нам прислуживали. Что за милые, веселые девочки» [49] . Через два года, в день именин Л. А. Берс, он обедает у них и снова отмечает: «Милые девочки!» [50] Позднее их дом «стал посещать Лев Николаевич всякий раз, как он приезжал в Москву». Его «частые посещения… вызывали в Москве толки, что он женится на старшей сестре Лизе [51] . Пошли намеки, сплетни, которые доходили и до нее… Лиза сначала равнодушно относилась к сплетням, но понемногу и в ней заговорило не то женское самолюбие, не то как будто и сердце», – пишет ее сестра Т. А. Кузминская. Она утверждает, что эти намеки и сплетни воспитали в Елизавете Андреевне любовь к Толстому, и опускает вопрос, – был ли он сам увлечен ею.

«Лев Николаевич ни на кого из нас не обращал исключительного внимания и ко всем относился равно. С Лизой он говорил о литературе, даже привлек ее к своему журналу «Ясная Поляна», – сообщает Т. А. Кузминская. Но еще за год до женитьбы Толстой заносит в дневник: «Не писал дней 10… Забыл день у Берсов, приятный, но на Лизе не смею жениться». Через несколько месяцев: «Л[иза] Б [ерс] искушает меня; но этого не будет. Один расчет недостаточен, а чувства нет». Я «почти влюбился», – пишет он А. А. Толстой в начале 1862 года, а в мае месяце записывает: «У Берсов свободнее – меня немного отпустили на волю».

И позднее, когда определилось его отношение к Софье Андреевне, Лев Николаевич несколько раз отмечает в дневнике о натянутых отношениях со старшей сестрой: «Бедная Лиза!» «Боже мой! Как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой. Вечером она долго не давала мне нот. Во мне все кипело». Ее «я начинаю ненавидеть вместе с жалостью». «Лиза жалка и тяжела, она должна бы меня ненавидеть».

В воспоминаниях Т. А. Кузминской есть много подробностей того исключительного расположения, которое оказывала Толстому Елизавета Андреевна. Вероятнее предположить, что перемена в нем самом вызывала эту стесненность.

Весною 1862 года Лев Николаевич едет лечиться на кумыс, к башкирам. В августе возвращается в Москву и тут впервые обращает внимание на среднюю из сестер Берс – Софью Андреевну. О ней первая запись в дневнике – *23 августа 1862 г.:* «Ночевал у Берсов. Ребенок! Похоже! А путаница большая. О, коли бы выбраться на ясное и честное кресло!.. Я боюсь себя; что ежели и это желанье любви, а не любовь? Я стараюсь глядеть

только на ее слабые стороны и все-таки оно. Ребенок! Похоже».

16 сентября – предложение.

23 сентября – свадьба.

Не будем описывать историю женитьбы Толстого. Его роман с С. А. Берс подробно освещен в биографиях и особенно – в воспоминаниях С. А. Толстой и ее сестры Т. А. Кузминской. Цель нашей работы другая: проследить, насколько отличается эта любовь от других увлечений Льва Николаевича; попытаться выяснить, действительно ли была это любовь, закономерно завершившаяся браком, или только «желание любви», причем особые качества Софьи Андреевны и минутная слабость 34-летнего холостяка понудили его на роковой шаг.

При оценке этого события, равно и других эпизодов личной жизни молодого Толстого, следует остерегаться большого соблазна – строить доказательства на основе тех настроений, которые были у него в старости. Возможно, что исследователь совершенно бессознательно перенесет характерные для этой эпохи черты на другой период жизни или, зная отношение Толстого к определенному вопросу в старости, разрешит проблему в соответствии с этим отношением. Для иллюстрации приводим выдержку из дневника 1893 г. (23 мая; курсив мой): *«Вспоминал: что мне дал брак? Страшно сказать».* И вот, сознательно или бессознательно подчиняясь такому настроению, мы стали бы утверждать, что брак Льва Николаевича был только недоразумением, что еще в самом начале была ясна его нелепость и что определенные цитаты и события вполне подтверждают наше положение. Учтя эти выводы, мы прекратили бы объективное изучение фактов и допустили бы не отвечающую действительности тенденциозность. Чтобы избежать ошибки, мы не принимаем теперь в расчет последствия этого брака, тяжелую семейную обстановку последних лет и отношение Льва Николаевича к его женитьбе и к Софье Андреевне в последующие годы. Рассмотрим непосредственные переживания Толстого, которые нашли отражение в дневнике того периода, и по этим бесспорным свидетельствам сделаем наши заключения.

Прежде всего поражает темп, в котором развиваются события. Шесть лет тому назад, когда Лев Николаевич собирался жениться на Арсеньевой, он несколько месяцев потратил на изучение ее характера и предъявлял к ней самые высокие требования. Теперь же все произошло в несколько недель.

Ни Арсеньева, ни Тютчева, ни Львова, ни другие не дали Толстому ощущения живой радости. Беспощадный анализ оттенял отрицательные стороны и указывал на полную невозможность осуществления планов женитьбы. На этот раз он

мало анализирует, но непосредственно чувствует, что выбор вполне совпадает с его общим настроением. «Накануне я не спал ночь, так ясно представлялось счастье». «Никогда так ясно, радостно и спокойно не представлялось мне будущее с женой… Главное, кажется, так бы просто, в пору, ни страсти, ни страху, ни секунды раскаяния».

Но Льву Николаевичу уже 34 года, а Софье Андреевне только 18 лет. Он некрасив, «безобразен», она – «прелестна, во всех отношениях». Разница в возрасте мучает его, и минутами он думает, что личное счастье ему недоступно. «Скверная рожа, не думай о браке, твое призванье другое и дано зато много». «Дурак, не про тебя писано, а все-таки влюблен, как в С[оничку] К[олошину] и в А.» [52] . «Крепко сидит 3-я и последняя. Не про тебя, старый черт, пиши критические статьи!» [53] «Ныне один дома, и как-то просторно обдумывается собственное положение. Дублицкий [54] , не суйся там, где молодость, поэзия, красота, любовь… Монастырь, труд, – вот твое дело, с высоты которого можешь спокойно и радостно смотреть на чужую любовь и счастие, – и я был в этом монастыре и опять вернусь».

Подготовляя свою будущую жизнь с Арсеньевой, Лев Николаевич определял каждый шаг, изгонял всякую непосредственность отношений, считал преступлением необдуманное движение сердца, и брак рассматривал как один из самых сознательных поступков жизни.

При встрече с С. А. Берс он также пытается изучать свою будущую жену, анализировать создавшееся положение, но все эти попытки теряются, исчезают под напором непреодолимой силы стихийного влечения. «Ничего нет в ней для меня того, что всегда было и есть в других – условно-поэтического и привлекательного, а неотразимо тянет».

Толстой не задается больше мыслью, насколько выбор отвечает его запросам и тому идеалу, который он давно уже создал себе. Он не обдумывает, не критикует, он чувствует себя во власти непонятной силы, сознает свое бессилие бороться с ней и понимает, что только взаимная любовь избавит его от страданий и приведет к душевному успокоению.

«Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться». «Уехать из Москвы не могу, не могу… До 3-х часов не спал. Как 16-летний мальчик мечтал и мучился». «Господи! помоги мне, научи меня. Опять бессонная и мучительная ночь, я чувствую, я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеешься, тому и послужишь… Господи, помоги мне, научи меня. Матерь Божия, помоги мне». «Каждый день я думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым, и каждый день

я становлюсь безумнее… Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье, и такое, мне кажется, невозможно. Боже мой, помоги мне». «Никто не может помочь мне, кроме Бога». «Но надо, необходимо надо разрубить этот узел». «Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится».

После объяснения с Софьей Андреевной Лев Николаевич настаивал, чтобы свадьба была через неделю, и настаивал так упорно, что ему уступили, и свадьба была назначена на 23 сентября. В этот день он не спал ночь, мучился сомнениями и был полон «страха, недоверия и желания бегства».

Какая разница настроений при встрече с В. В. Арсеньевой и при встрече с С. А. Берс! Здесь впервые контролирующее сознание уступает место безотчетному стремлению. Действие развивается вне зависимости от личной воли. Личные интересы подчиняются требованию неосознанного закона.

Внимание Толстого было обращено на двух сестер Берс. Если Арсеньева и Тютчева оттолкнули своей духовной бедностью, то почему старшая Берс точно так же не могла удержать его расположения? У нее были повышенные требования к жизни, она стремилась к образованию, сотрудничала в журнале «Ясная Поляна», могла бы, вероятно, отвечать на многие запросы Льва Николаевича, но все же он оставляет ее и все силы стремления переносит на Софью Андреевну, в сущности, ничем не выделявшуюся над общим уровнем и, наверное, далеко не удовлетворявшую всем требованиям, которые предъявляло к жене сознание Толстого.

Нам известны факты личной жизни Льва Николаевича, его представления о любви, его требования к жене. Мы, казалось, имели основание утверждать, что он женится только в том случае, если его будущая жена удовлетворит тем-то и тем-то условиям, и что выбор его никогда не остановится на той женщине, которая не будет отвечать таким-то его запросам. Опыт с Арсеньевой мог бы, казалось, убедить нас, что воля Толстого руководит всей его жизнью, не исключая области сексуальной. Мы видели, что увлечения его не находили своего завершения и, видимо, потому, что объекты не удовлетворяли основным требованиям его сознания. Но холостая жизнь закончилась совершенно неожиданным образом. Выработанные нормы были забыты, воля бессильна выставить свои требования и отстаивать свои желания. Вернее, она отсутствовала здесь и, в этом вопросе личной жизни, быть может, в первый раз.

Такой конец может навести на мысль, что Толстой поддался минутному настроению и настолько был захвачен страстью, что духовные силы его ослабели, и он, ослепленный вниманием

молодой девушки, потерял руководящую нить разума и совершил один из самых необдуманных, ничем не обоснованных и внутренне не оправданных поступков своей жизни. Недаром же, в последнюю минуту хотел он бежать, но было поздно; Софья Андреевна плакала, разрыв компрометировал молодую девушку, и Лев Николаевич, как бы начиная сознавать нелепость своего поступка, волей-неволей пошел на роковой шаг.

Разделив эту точку зрения, мы допустили бы большую ошибку. Трудно предположить, что Толстой, с каждым днем увеличивавший свое духовное содержание, вдруг на 34-м году жизни проявил полную несостоятельность. К тому же Лев Николаевич, со свойственной ему откровенностью и прямолинейностью, не стал бы долго обманывать себя, скоро признал свою ошибку и стремился бы так или иначе исправить ее. Но не сбежал он и на другой день после свадьбы, а через три месяца записал в дневнике, что счастья «такого не было и не будет ни у кого».

Необычное поведение Толстого будет понятным, если допустить разделение человеческой энергии на два отличных друг от друга вида энергии – индивидуальную и родовую. Последняя недоступными нашему сознанию путями осуществляет беспрерывность органической жизни. Она не укладывается в рамки логики индивидуума, и ее отличительный признак – ее иррациональность.

Двадцать лет мечтал Толстой о любви к женщине, о семейной жизни. Он чувствовал и понимал, что жизнь его не будет содержательной, если эта сторона ее не будет заполнена. Он искал, строил планы, пытался осуществить их, но был бессилен их выполнить, ибо на помощь его непосредственному желанию приходило только сознание, а любви не было. Мы видели, как пришла любовь. Она все устранила с своего пути и одна, без всякой помощи разума, осуществила свое назначение.

Часть вторая Семейное счастье

I

После свадьбы, не останавливаясь в Москве, Толстые уезжают в Ясную Поляну.

Свои первые впечатления от новой жизни Лев Николаевич отмечает в дневнике и в восторженных письмах к друзьям. На другой день по приезде он записывает: «В Ясной. Утро, кофе, неловко. Студенты озадачены. Гулял с ней и Сережей. Обед. Она слишком рассмелилась. После обеда спал, она писала. Неимоверное счастье! И опять она пишет подле меня. Не может быть, чтоб это все кончилось только жизнью».

Еще через два дня он делится своими впечатлениями с А. А. Толстой: «Любезный, дорогой друг и бабушка! Пишу из деревни, пишу и слышу наверху голос жены, которая говорит с братом и которую я люблю больше всего на свете. Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым. Когда буду спокойнее, напишу вам длинное письмо – не то, что спокойнее, – я теперь спокоен и ясен, как никогда не бывал в жизни, – но когда буду привычнее. Теперь у меня постоянно чувство, как будто я украл незаслуженное, незаконное, не мне назначенное счастье. Вот она идет, я ее слышу, и так хорошо».

Извещая Фета о женитьбе, Толстой пишет в том же приподнятом, радостном тоне: «Фетушка, дяденька и просто милый друг Афанасий Афанасьевич! Я две недели женат и счастлив, и новый, совсем новый человек. Хотел я сам быть у вас, но не удается. Когда я вас увижу? Опомнившись, я дорожу вами очень и очень, и между нами слишком много близкого, незабываемого – Николенька, да и кроме того. Заезжайте познакомиться со мной».

И еще письмо к А. А. Толстой, – через неделю после первого: «Ваше письмо… приходится в тон того счастливого, нового счастливого положения, в котором я живу теперь два месяца. Куда это идет? Не знаю, только с каждым днем мне спокойнее и лучше. Я было уже устал делать счеты с собою, начинать новые жизни (помните), было примирился с своей гадостью, стал себя считать, хоть не положительно, но сравнительно хорошим, теперь же я отрекся от своего прошедшего, как никогда не отрекался, чувствую всю свою мерзость, всякую секунду примериваясь к ней, к Соне, «но строк печальных не смываю». Вот 2 недели и я как будто чувствую себя чистым еще и всякую секунду дрожу за себя: вот-вот спотыкнешься. Так страшно ответственно жить вдвоем. – Я вам все это пишу от того, что я вас всей душой люблю. Это

святая правда. Ужасно страшно мне жить теперь, так чувствуешь жизнь, чувствуешь, что всякая секунда жизни в правду, а не такая, как прежде была – так покамест».

Чтобы дополнить эту картину радости от осуществленной любви и внутреннего обновления, приведем еще несколько выдержек из дневника. Записи сделаны в разное время: в ноябре и в январе.

«Еще месяц счастья… Теперь период спокойствия в отношении моего чувства к ней… Черты теперешней жизни – полнота, отсутствие мечтаний, надежд, самосознания, зато страх, раскаяние в эгоизме».

«Часто мне приходит в голову, что счастье и все особенные черты его уходят, а никто его не знает и не будет знать, а такого не было и не будет ни у кого, и я сознаю его… Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу: она смотрит на меня и любит. И никто, – главное, я не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем, и она скажет: «Левочка», и остановится – «отчего трубы в камине проведены прямо?», или: «лошади не умирают долго?» и т. п. Люблю, когда мы долго одни и я говорю: «что нам делать? Соня, что н[ам] д[елать]?». Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня, и вдруг, в мгновенье ока у ней и мысль и слово иногда резкое: «оставь, скучно». Через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык. Люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное, и испуганное, и детское, и страстное лицо. Люблю, когда…»

Но все это только фон, на котором развертывается совместная жизнь Толстых в первые месяцы. В действительности она не всегда так радостна и бодра: случайные недомолвки, серьезные несогласия, разочарования, мучительная ревность врезываются в нее.

Для иллюстрации воспользуемся материалом из художественного творчества Толстого. Как известно, в характере Левина много автобиографического. А Левин «был счастлив, но совсем не так, как ожидал. На каждом шагу он находил разочарование в прежних мечтах и новое неожиданное очарование. Он был счастлив, но, вступив в семейную жизнь, на каждом шагу видел, что это было совсем не то, что он воображал… Бывало холостым, глядя на чужую супружескую жизнь, на мелочные заботы, ссоры, ревность, он только презрительно улыбался в душе. В его будущей супружеской жизни

не только не могло быть, по его убеждению, ничего подобного, но даже все внешние формы, казалось ему, должны были быть во всем совершенно не похожи на жизнь других. И вдруг вместо этого жизнь его с женой не только не сложилась особенно, а, напротив, вся сложилась из тех самых ничтожных мелочей, которые он так презирал прежде, но которые теперь, против его воли, получали необыкновенную и неопровержимую значительность. И Левин видел, что устройство всех этих мелочей совсем не так легко было, как ему казалось прежде. Несмотря на то, что Левин полагал, что он имеет самые точные понятия о семейной жизни, он, как и все мужчины, представлял себе невольно семейную жизнь только как наслаждение любви, которой ничто не должно было препятствовать и от которой не должны были отвлекать мелкие заботы… [Он] никогда не мог себе представить, чтобы между ним и женой могли быть другие отношения, кроме нежных, уважительных, любовных, и вдруг с первых же дней они поссорились, так, что она сказала ему, что он не любит ее, любит себя одного, заплакала и замахала руками» [55] .

Эта первая ссора, ярко описанная в романе, видимо, взята из жизни. В дневнике Толстого есть запись, сделанная через неделю после свадьбы: «Я себя не узнаю. Все мои ошибки мне ясны. Ее люблю все так же, ежели не больше. Работать не могу. Нынче была сцена. Мне грустно было, что у нас все, как у других. Сказал ей, она оскорбила меня в моем чувстве к ней. Я заплакал. Она еще нежнее. Прелесть. Я люблю ее еще больше. Но нет ли фальши?»

Впечатление от первой размолвки подробно изложено в «Анне Карениной»: «Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого и надо перенести и утешить боль. Никогда он с такою силой после уже не чувствовал этого, но в этот, первый раз он долго не мог опомниться… Они помирились. Она, сознав свою вину, но не высказав ее, стала нежнее к нему, и они испытали новое удвоенное счастие любви».

В самом деле, легко представить себе удивление и испуг Толстого. В течение многих лет мечтал он о совершенной супружеской жизни, об ее идеальных формах, которые не вкладываются в шаблонные рамки, и вдруг – в ближайшие же дни – жизнь вносит свой жестокий корректив. Неожиданное открытие порождает сомнение, и Толстой спрашивает себя, несмотря на всю трогательность примирения: «нет ли фальши?».

Документы не дают прямого ответа на этот вопрос, но фон, который мы осветили выше, и сделанный автором анализ переживаний Левина позволяют утверждать, что это – одно из временных, преходящих настроений и что из него нельзя делать обобщающих заключений.

«Сцена» эта – не последняя. Их было много, особенно в первое время. Записи дневника говорят о них: «Было у нас еще два столкновенья: 1) за то, что я был груб, и 2) за ее в[?]. Я еще больше и больше люблю, хотя другой любовью. Были тяжелые минуты. Нынче пишу от того, что дух захватывает, как счастлив».

«Мы в Москве. Как всегда, я отдал дань нездоровьем и дурным расположением. Я очень был недоволен ей, сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался, но знал, что это временно, и выжидал, и прошло».

Дневник Софьи Андреевны, который она возобновила вскоре после замужества, также освещает многие, скрытые от постороннего взгляда переживания супругов, только что вступивших в новую жизнь. Если судить только по письмам Льва Николаевича и Софьи Андреевны, то можно подумать, что безоблачное, спокойное счастье воцарилось в Ясной Поляне. Но было далеко не так. В письмах подводились итоги, а в самом процессе жизни настроения были переменчивы, появлялись шероховатости, рождались недоумения, и жизнь шла с перебоями.

Дневник Софьи Андреевны, подчас детски-наивный (ей в то время было 18 лет), все же дает богатый биографический материал и своими подробными записями дополняет краткие заметки Льва Николаевича.

В этом дневнике также видны постоянные переходы от одного настроения к другому, ему противоположному, душевная неуравновешенность, наивность, порою и ребячество молодой женщины. Мы не стесняемся давать обширные выписки, так как записи Софьи Андреевны полны интересных подробностей, вводящих нас в живой круг ее печалей и радостей.

«Ужасно, ужасно грустно. Все более и более в себя ухожу. Муж болен, не в духе, меня не любит. Ждала и этого, да не думала, что так ужасно. Кто это думает о моем огромном счастии. Никто не знает, что я его не умею создавать ни для себя, ни для

него. Бывало, когда очень грустно, думаешь: так зачем жить, когда самой дурно и другим нехорошо. И теперь страшно: все приходит мне эта мысль. С каждым днем он делается холоднее, холоднее, а я, напротив, все больше и больше люблю его. Скоро мне станет невыносимо, если он будет так холоден. А он честный, обманывать не станет. Не любит, так притворяться не станет, а любит, так в каждом движении видно. И все меня волнует… А Левочка отличный какой, я чувствую, что я во всем кругом виновата, и я боюсь показать ему, что я грустная, знаю я, как это глупой тоскою мужьям надоедают. Бывало утешаешься, все пройдет, обойдется, а теперь нет, ничего не обойдется, а будет хуже. Папа пишет: муж тебя страстно любит. – Да, правда, любил, *страстно,* да страсть-то проходит, этого никто не рассудил, только я поняла, что увлекся он, а не любил. Как я не рассудила, что за это увлечение он же поплатится, потому что каково жить долго, всю жизнь, с женою, которую не любишь. За что я его, милого, которого все так любят, погубила; эгоистически поступила я на этот раз, что вышла за него замуж. Смотрю я на него и думаю то, что он про меня думал: хотел бы я ее любить, да не могу больше.

Вот уже прошло как сон это все время. Подразнили меня, сказали: видишь, как бывает хорошо, да и не думай об этом. И все, что сначала было у меня энергии на занятия, жизнь, хозяйство, – все пропало. Сидела бы себе целый день, сложа руки, молчала бы, да думала горькие думы. Работать хотела, да не могла, ну что рядиться в глупый чепчик, который только давит меня. Ужасно хочется поиграть, да тут так неудобно, наверху со всех сторон слышно, а внизу фортепьяно плохо. Сегодня предложил остаться, а он в Никольское поедет. Надо бы было согласиться, избавить его от своей особы, а у меня не хватило сил. Он, кажется, наверху играет с Ольгой [56] в 4 руки. Бедный, везде ищет развлечения, чтобы как-нибудь от меня избавиться. Зачем я только на свете живу».

Эта запись сделана спустя несколько недель после свадьбы. А вот запись совсем иного характера, через три месяца: «Никогда в жизни я не была так несчастлива сознанием своей вины. Никогда не воображала, что могу быть виновата до такой степени. Мне так тяжело, что целый день слезы меня душат. Я боюсь говорить с ним, боюсь глядеть на него. Никогда он не был мне так мил и дорог, и никогда я не казалась себе так ничтожна и гадка. И он не сердится, он все любит меня, и такой у него кроткий, святой взгляд. Можно умереть от счастия и от унижения с таким человеком. Мне очень дурно. От причины нравственной я больна физически… Я стала как сумасшедшая. Я целый день молюсь, как

будто от этого легче будет моя вина и как будто этим я могу возвратить то, что я сделала. Мне легче, когда его нет. Я могу и плакать и любить его, а когда он тут, меня мучает совесть, мучает его милый взгляд и лицо его, на которое я уже не смотрела со вчерашнего вечера и которое так мне мило. И как я могу только делать ему что-нибудь неприятное. Все думала я, как бы мне загладить, или не загладить, это глупое слово, и как бы мне сделаться лучше для него. Любить его я не могу больше, потому что люблю его до последней крайности, всеми силами, так что нет ни одной мысли другой, нет никаких желаний, ничего нет во мне, кроме любви к нему. И в нем ничего нет дурного, ничего, в чем я хоть подумать бы могла упрекнуть его. Он мне все не верит, думает, что мне нужны развлечения, а мне ничего не нужно, кроме его. Если б он только знал, как я радостно думаю о будущности, не с развлечениями, а с ним и со всем тем, что он любит. Я так стараюсь полюбить даже все то, что мне и не нравилось, как Ауэрбах [57] . А вчера я была в ударе капризничать, прежде этого не было до такой степени. Неужели у меня такой отвратительный характер, или это пошлые нервы и беременность? Пускай так лучше будет, потому что я знаю, что теперь буду *беречь наше счастье,* если я еще не очень испортила его. Это ужасно, могло бы быть так весело и хорошо. Он теперь здоров; что я наделала… Как я жду его. Господи, если он ко мне охладеет? Ну все, решительно, теперь держится на нем. А я какая ничтожная, как тяжело это нравственное ничтожество. Он спохватится, наверное, какая я перед ним жалкая и гадкая».

Новая ссора. Записи Софьи Андреевны и Льва Николаевича.

«Я опять одна, и скучно опять. Но между нами все опять уладилось. Не знаю, на чем он помирился и на чем – я. Устроилось само собой. Только я одно знаю, что счастие опять воротилось ко мне. Мне хочется домой. У меня такие планы иногда, мечты, как я буду жить в Ясной *с ним*… [58] Живу вся в нем и для него, а часто тяжело, когда чувствуешь, что я-то не *все* для него, и что, если теперь меня не стало бы, он утешился бы чем-нибудь, потому что в нем самом много ressources [59] , а я очень бедная натура: отдалась одному чему-нибудь и никогда бы не сумела найти себе, помимо этого, другой мир».

Запись Льва Николаевича: «Мы дружны. Последний раздор оставил маленькие следы (незаметные) или, может быть, – время. Каждый такой раздор, как ни ничтожен, есть надрез любви. Минутное чувство увлеченья, досады, самолюбия, гордости – пройдет, а хоть маленький надрез останется навсегда и в лучшем, что есть на свете, – в любви».

Но и надрез забывается: 8 февраля Лев Николаевич отмечает

в дневнике: «Мне так хорошо, так хорошо, я так ее люблю…»

Чтобы дополнить картину этой интересной страницы жизни Толстого, позволяем себе еще раз сослаться на роман Левина. Анализируя семейные неурядицы, автор дает объяснения их причин:

«[Первое примирение] не помешало тому, чтобы столкновения эти не повторялись, и даже особенно часто, по самым неожиданным и ничтожным поводам. Столкновения эти происходили часто и от того, что они не знали еще, что друг для друга важно, и от того, что все это первое время они оба часто бывали в дурном расположении духа. Когда один был в хорошем, а другой в дурном, то мир не нарушался, но когда оба случались в дурном расположении, то столкновения происходили из таких непонятных, по ничтожности причин, что они потом никак не могли вспомнить, о чем они ссорились. Правда, когда они оба были в хорошем расположении духа, радость жизни их удвоялась. Но все-таки это первое время было тяжелое для них время.

Во все первое время особенно живо чувствовалась натянутость, как бы подергиванье в ту и другую сторону той цепи, которою они были связаны. Вообще тот медовый месяц, т. е. месяц после свадьбы, от которого, по преданию, ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминании их обоих самым тяжелым и унизительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые, постыдные обстоятельства этого нездорового времени, когда оба они редко бывали в нормальном настроении духа, редко бывали сами собой.

Только на третий месяц супружества… жизнь их стала ровнее» [60] .

Насколько можно судить по документам, особенно по дневникам, Толстой, при описании первых месяцев супружеской жизни Левиных, широко пользовался своим личным опытом. Но рамки художественного произведения заставляли автора давать лишь общие определения, ограничиться несколькими деталями и опустить остальные, не менее существенные, но которые не соответствовали бы общему ходу развития романа, загромождали бы его построение или, наконец, составляли семейную тайну.

И мы, обращаясь с литературным материалом, всегда должны помнить об этом и пользоваться им лишь при помощи исправлений и дополнений по «личным» документам.

II

«Личные» документы дополняют страницы, посвященные в «Анне Карениной» описанию переживаний Левина и его молодой жены.

Были особые причины, вызывавшие грустные перебои в настроениях Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Мы их рассмотрим, продолжая опираться на свидетельства самих действующих лиц.

Софья Андреевна вышла замуж 18 лет. Юность свою она провела в родительском доме, в интеллигентной хорошей семье. Сестра ее, Т. А. Кузминская, – в воспоминаниях – светлыми, радостными красками описывает эту среду. Беспечное веселье царствует среди детей Берс, все низкое, режущее глаз, устранено от них, «проклятые вопросы» не доходят, интересы сосредоточены в личной, сердечной области, дом полон любовью, мечтой о ней. Эти мечты создают в воображении девушки представление о грядущем безоблачном счастье, о женихе идеально чистом. Действительность больно поразила ее.

Перед свадьбой Софья Андреевна ознакомилась с дневником своего будущего мужа. В нем он добросовестно записывал свои интимные переживания, свою борьбу и падения. И неожиданное открытие произвело на Софью Андреевну угнетающее впечатление.

Вспомним Левина и Кити. «Левин не без внутренней борьбы передал ей свой дневник. Он знал, что между ним и ею не может и не должно быть тайн, и потому он решил, что так должно; но он не дал себе отчета о том, как это может подействовать, он не перенесся в нее. Только когда в этот вечер он приехал к ним перед театром, вошел в ее комнату и увидел заплаканное, несчастное от непоправимого, им произведенного горя жалкое и милое лицо, он понял ту пучину, которая отделяла его позорное прошедшее от ее голубиной чистоты, и ужаснулся тому, что он сделал».

Софья Андреевна, как и Кити, старалась простить и принять прошлое мужа, но не могла сразу пережить его, острота боли не заглушалась любовью. Сам Лев Николаевич вполне сознавал свою вину и ответственность перед юною женой за свою холостую жизнь. Порою он отказывался верить, что она может теперь любить его. «С тех пор он еще более считал себя недостойным ее, еще ниже нравственно склонялся перед нею и еще выше ценил свое незаслуженное счастие».

В одну из тяжелых минут, когда прошлое затемняло настоящее, Софья Андреевна возобновила дневник – на 16-й день после свадьбы. Он с точностью передает ее настроение и отражает настроение Льва Николаевича.

«Эти две недели я с ним, мужем, мне так казалось, была в простых отношениях, по крайней мере, мне легко было, он был мой дневник, мне нечего было скрывать от него. А со вчерашнего

дня, с тех пор, как сказал, что не верит любви моей, мне стало серьезно страшно. Но я знаю, отчего он не верит. Мне кажется, я не сумею ни рассказать, ни написать, что я думаю. Всегда, с давних пор, я мечтала о человеке, которого я буду любить, как о совершенно целом, новом, *чистом* человеке. Я воображала себе, это были детские мечты, с которыми до сих пор трудно расстаться, что этот человек будет всегда у меня на глазах, что я буду знать малейшую его мысль, чувство, что он будет во всю жизнь любить меня одну, что, не в пример прочим, мы оба, и он и я, не будем перебешиваться, как все перебесятся и делаются *солидными* людьми. Мне так милы были все эти мечты… Теперь, когда я вышла замуж, я должна была все свои прежние мечты признать глупыми, отречься от них, а я не могу. Все его (мужа) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним. Разве когда будут другие цели в жизни, дети, которых я так желаю, чтоб у меня было целое будущее, чтоб я в детях своих могла видеть эту чистоту, без прошедшего, без гадостей, без всего, что теперь так горько видеть в муже. Он не понимает, что его прошедшее – целая жизнь с тысячами разных чувств, хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная Бог знает на кого и на что. И не понимает он еще того, что я ему отдаю все, что во мне ничего не потрачено, что ему не принадлежало только детство. Но и то принадлежало ему. Лучшие воспоминания, мое детское, но первое чувство к нему, которое я не виновата, что уничтожили; за что? Разве оно дурно было? Он протратил свою жизнь, свои силы и дошел до этого чувства, пройдя столько дурного; оно ему кажется так сильно, так хорошо, потому что давно, давно прошла та пора, когда он сразу мог стать на это хорошее, как стала я теперь. И у меня в прошлом есть дурное, но не столько.

Ему весело мучить меня, видеть, как я плачу оттого, что он мне не верит. Ему бы хотелось, чтоб и я прошла такую жизнь и испытала столько же дурного, сколько он, для того, чтоб и я поняла лучше хорошее. Ему инстинктивно досадно, что мне счастие легко далось, что я взяла его, не подумав, не пострадав. А я не буду плакать из самолюбия. Не хочу, чтоб он видел, как я мучаюсь, пусть думает, что мне всегда легко. Вчера, у дедушки [61] я пришла сверху нарочно, чтоб его увидать, и, когда я увидала его, меня обхватило какое-то особенное чувство силы и любви. Я так любила его в ту минуту, хотела подойти к нему, но мне показалось, что если до него дотронусь, то мне уж так хорошо не будет, что это будет святотатство. Но я никогда не покажу и не могу показать, что во мне делается. У меня столько

глупого самолюбия, что если я увижу малейшее недоверие или непонимание меня, то все пропало. Я злюсь. И что он делает со мной; мало-помалу я вся уйду в себя и ему же буду отравлять жизнь. И как жаль мне его в те минуты, когда он не верит мне, и слезы на глазах и такой кроткий, но грустный взгляд. Я бы его задушила от любви в ту минуту, а так и преследует мысль: *не верит, не верит.* И стала я сегодня вдруг чувствовать, что он и я делаемся как-то больше и больше сами по себе, что я начну создавать себе свой печальный мир, а он свой – недоверчивый, деловой. И в самом деле показались мне пошлы наши отношения. И я стала не верить в его любовь. Он целует меня, а я думаю: «не в первый раз ему увлекаться». И так оскорбительно, больно станет за свое чувство, которым он не довольствуется, а которое так мне дорого, потому что оно последнее и первое. Я тоже увлекалась, но воображением, а он – женщинами, живыми, хорошенькими, с чертами характера, лица и души, которые он любил, которыми он любовался, как и мной пока любуется. Пошло, правда, но не от меня, а от его прошедшего. Что же мне делать, а я не могу простить Богу, что он так устроил, что все должны прежде, чем сделаться порядочными людьми, *перебеситься.* И что же мне делать; когда мне горько, больно, что мой муж попал под эту общую категорию. А он еще думает, что я не люблю его; так что же бы мне за дело было, если бы я не любила его, кто и что занимало его прежде, теперь, или будет занимать когда-нибудь потом. Дурно, безвыходное положение; как доказать любовь человеку, который с тем женился, что я иначе не могу, а она меня не любит. А есть ли минутка в моей жизни теперь, где бы я вызвала что-нибудь из прошедшего, чтоб я пожалела о чем-нибудь, или есть ли минутка, когда бы я не только не любила его, но могла бы подумать о возможности разлюбить его? И неужели, в самом деле, хорошо ему, когда я плачу и начинаю чувствовать сильнее, что у нас есть что-то очень не простое в отношениях, – которое нас постепенно совсем разлучит в нравственном отношении? Вот, кошке – игрушки, а мышке – слезки. Да игрушка-то эта не прочна, сломает, сам будет плакать. А я не могу выносить того, что он меня будет понемножку пилить, пилить. А он славный, милый. Его самого возмущает все дурное, и он не может переносить его. Я, бывало, как любила все хорошее, всей душой восхищалась, а теперь все как-то замерло; только что станет весело, пристукнет он меня».

На другой день Софья Андреевна продолжает писать на ту же тему:

«Вчера объяснились, легче стало, совсем даже весело… Муж, кажется, покоен, верит, дай Бог. Я вижу, это правда, что я ему даю

мало счастия. Я вся как-то сплю, и не могу проснуться. Если б я проснулась, я стала бы другим человеком. А что надо для этого, не знаю. Тогда бы он видел, как я люблю его, тогда я могла бы говорить, рассказывать ему, как я его люблю, увидела бы, как бывало, ясно, что у него на душе, и знала бы, как сделать его совсем счастливым. Надо, надо скорее проснуться».

Помимо призраков прошлого, омрачавших жизнь Софьи Андреевны, ее сильно мучило чувство ревности. В автобиографическом «Дьяволе», касаясь семейной жизни героя, Толстой говорит, что «одно, что не то, что отравляло, но угрожало их счастью, была ее ревность, – ревность, которую она сдерживала, не показывала, но от которой она часто страдала».

Софья Андреевна ревновала Льва Николаевича ко всему окружающему. Она вся была полна своею любовью к мужу и его отношением к ней. Как увидим ниже, она не допускала в Льве Николаевиче никаких интересов, кроме тех, которые непосредственно и явно служили во благо этой любви. Она ревновала его даже к духовной работе, боясь, что в ней он почерпнет силы прожить без ее любви.

Софья Андреевна ревновала мужа ко всем женщинам и к своей любимой младшей сестре. Эту ревность к сестре она старательно скрывала, но иногда проговаривалась [62] .

Это свойство характера Софьи Андреевны повлияло на ее особое отношение к прошлому мужа. Ей неожиданно пришлось болезненно столкнуться с отзвуками этого прошлого.

В последние годы холостой жизни Толстой имел длительную связь с яснополянской крестьянкой и, кажется, имел от нее сына. Выше мы подробно коснулись этого эпизода и отметили, между прочим, серьезность чувства Льва Николаевича. Перед женитьбой связь была прервана навсегда.

Спустя несколько месяцев после свадьбы эта женщина вместе с другой крестьянкой была прислана в барский дом мыть полы. Софье Андреевне ее показали. Мучительная ревность поднялась в жене Льва Николаевича, она вспомнила записи его дневника и долгое время не могла освободиться от этого тяжелого чувства.

Первая встреча произошла, вероятно, в декабре, 16 декабря 1862 г. есть такая запись в дневнике Софьи Андреевны:

«Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности. «Влюблен, как никогда» [63] . И просто баба, толстая, белая, – ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар – легко. Пока нет ребенка. И он тут, в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая. Ему кататься. Могу ее сейчас же увидать. Так вот как он любил ее. Хоть бы сжечь журнал его и все его прошедшее.

Приехала – хуже, голова болит, расстроена, а душу давит, давит. Так хорошо, привольно было на воздухе, широко. И думать хочется широко, и дышать широко, и жить. А жизнь такая мелочная. Любить трудно, а любишь так, что дух захватывает, что всю жизнь бы душу положила, чтоб не прошла она ни с чьей стороны. И тесен, мал тот мирок, в котором я живу, если исключить его. А соединить нам мирки наши в один нельзя. Он так умен, деятелен, способен, и потом это ужасное, длинное прошедшее. А у меня оно маленькое, ничтожное… Читала начала его сочинений, и везде, где любовь, где женщины, мне гадко, тяжело, я бы все, все сожгла. Пусть нигде мне не напомнится его прошедшее. И не жаль бы мне было его трудов, потому что от ревности я делаюсь страшная эгоистка. Если б я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то сделала бы с удовольствием».

Своим горем Софья Андреевна не делилась ни с кем из близких, по крайней мере, в письмах. Но она сама позднее признавалась, что никогда не забыла его, и, конечно, в первые месяцы оно сильно отражалось на всем тоне семейной жизни.

Софья Андреевна вскоре еще раз затрагивает эту тему в дневнике.

«Я сегодня видела такой неприятный сон. Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходит откуда-то одна за другой, последняя вышла А. в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребенка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову – все оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Левочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, это кукла. Я посмотрела, и, в самом деле, вместо тела все хлопки и лайка. И так мне досадно стало. Я часто мучаюсь, когда думаю о ней, даже здесь, в Москве. Прошедшее мучает меня, а не настоящая ревность. Не может он мне отдаться вполне, как я ему, потому что прошедшее полно, велико и так разнообразно, что если бы он теперь умер, то жизнь его была наполнена достаточно. Только не испытал он еще отцовского чувства. А мне теперь вдруг жизнь столько дала, чего я прежде не знала и не испытала, что я хватаюсь за свое счастие и боюсь потерять его, потому что не верю в него, не верю, что оно продолжится, благо, не знала его прежде. Я все думаю, что это случайное, проходящее, а то слишком хорошо. Это ужасно странно, что только один человек своею личностью, безо всякой другой причины, исключая своих личных свойств, мог бы так вдруг взять меня в руки и сделать полное счастие».

Здесь уместным будет коснуться другого вопроса, хотя это и нарушит ход нашего изложения. О первой встрече с Аксиньей Софья Андреевна впоследствии рассказывала своим близким знакомым, и сообщенный ею эпизод во многих деталях совпадает с тем, который дан Толстым в «Дьяволе». Софья Андреевна познакомилась с этой повестью только в 1909 году, через двадцать лет после того, как она была написана [64] ; следовательно, на рассказ Софьи Андреевны повесть повлиять не могла. Это обстоятельство подтверждает исключительную автобиографичность «Дьявола». Без сомнения, Лев Николаевич взял за основу повести свою первую после женитьбы встречу с этой крестьянкой и свое последующее душевное состояние. Но и здесь, при обсуждении этого вопроса, следует проявить особую осторожность. Повесть написана в тоне горячего самобичевания, «залпом», в несколько дней, как раз в тот год, 1889-й, когда некоторые стороны человеческих отношений были сознанием Толстого впервые подвергнуты исключительно строгому осуждению. И будет уместным поставить теперь вопрос, не является ли эта своеобразная исповедь скорее материалом для позднейшей эпохи, нежели автобиографическим документом для изучаемого периода.

Не будем излагать содержания «Дьявола», всем хорошо известного, а только отметим, что весь тон, в котором Толстой описывает связь героя с крестьянкой, характер их отношений, противоречит тому настроению Льва Николаевича, которое нашло отражение в его дневнике.

Приведем примеры: «Евгению и в голову не приходило, чтобы эти отношения его имели какое-нибудь для него значение. Об ней же он и не думал… Сношения же – он даже не называл это связью – с Степанидой было нечто совсем незаметное. Правда, что когда приступало желание видеть ее, оно приступало с такой силой, что он ни о чем другом не мог думать. Но это продолжалось недолго: устраивалось свидание, и он опять забывал ее на недели, иногда на месяц». «Так у него решено было, что это было нужно для здоровья, он платил деньги, и больше ничего; связи какой-нибудь между ним и ею нет, не было, не может и не должно быть».

Эти определения плохо согласуются с теми намеками, которые даны в дневнике Толстого того времени. Он писал тогда: «Влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли». «Уже не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщения и не могу».

За отсутствием данных нельзя в дальнейшем провести такой же параллели между художественным произведением и личными документами. Но достаточно сказанного, чтобы подвергнуть

сомнению, в смысле автобиографичности, переживания Иртенева после встречи со Степанидой.

Толстой представляет их, как дьявольское сладострастие, повторившееся похотливое влечение к этой женщине. Но мы знаем, что таким оно не было, а под конец скорее походило на любовь. Может быть, и теперь возобновилось именно это чувство. Нет доказательств, но по одному намеку можно допустить, что увлечение Толстого крестьянкой было настолько сильно, что внешний разрыв не совпал сразу с внутренним и что в первое время после женитьбы воспоминания были живы в нем. На другой день после свадьбы Лев Николаевич отметил в дневнике: «Ночь[ю] тяжелый сон. Не она». Быть может, то была Аксинья.

А спустя несколько месяцев, когда любимая жена при болезненной беременности потеряла часть своего обаяния, случайная встреча могла всколыхнуть старое и на некоторое время занять внимание Льва Николаевича. Но его прямолинейная натура, вероятно, тут же осудила это незаконное чувство, а позднее, в старости, под влиянием установившегося мировоззрения, Толстой вынес ему свой окончательный приговор [65] .

Мы не можем разрешить наши сомнения, но все же склонны полагать, что затронутая в «Дьяволе» тема скорее отображает настроения Толстого в конце восьмидесятых годов, нежели является точной иллюстрацией его переживаний в первые дни семейной жизни.

III

Женитьба сразу изменила весь строй жизни Толстого. В последние годы холостой жизни большая часть его внимания сосредоточилась на общественных интересах: посредничество, школа, педагогический журнал. Теперь же все это отходит на задний план или заменяется новыми увлечениями. Хотя Лев Николаевич и возобновляет школу, но занимается далеко не с таким воодушевлением, как прежде, и вскоре школа совсем закрывается. Издание журнала тяготит Толстого, и он решается приостановить его. На первый план выступают личные интересы, хозяйство, «заботы об увеличении средств жизни». Даже художественное творчество, на первых порах, теряет свое прежнее значение.

«С студентами и с народом распростился», – записывает Толстой в дневнике через неделю после женитьбы. «Я пристально работаю и кажется пустяки. Кончил «Казаков» 1-ю часть», – отмечает он в конце 1862 года. В мае месяце следующего года в письмах к Фету Лев Николаевич подробно описывает свое новое состояние.

«Я живу в мире столь далеком от литературы и ее критики, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое – удивление. Да кто же такое написал *«Казаков»* и *«Поликушку»?* Да и что рассуждать о них? Бумага все терпит, а редактор за все платит и печатает. Но это только первое впечатление; а потом вникнешь в смысл речей, покопаешься в голове и найдешь там, где-нибудь в углу, между старым забытым хламом, найдешь что-то такое неопределенное, под заглавием *художественное.* И, сличая с тем, что вы говорите, согласишься, что вы правы, и даже удовольствие найдешь покопаться в этом старом хламе и в этом когда-то любимом запахе. И даже писать захочется. Вы правы, разумеется. Да ведь таких читателей, как вы, мало. *«Поликушка»* – болтовня на первую попавшуюся тему человека, который «и владеет пером», а *«Казаки»* – «с сукровицей», хотя и плохо. Теперь я пишу историю пегого мерина; к осени, я думаю, напечатаю. Впрочем, теперь как писать – теперь незримые усилия, даже зримые, и притом я в юхванстве опять по уши. И Соня со мной. Управляющего у нас нет, есть помощники по полевому хозяйству и постройкам, а она одна ведет контору и кассу… И все идет понемножку, хотя, разумеется, плохо сравнительно с идеалом».

В другом письме: *«Мы юхванствуем* понемножку. Я сделал важное открытие, которое спешу вам сообщить. Приказчики и управляющие и старосты есть только помеха в хозяйстве. Попробуйте прогнать все начальство и спать до десяти часов, и все пойдет, наверное, *не хуже.* Я сделал этот опыт и остался им вполне доволен».

Но эта перемена проходит далеко не гладко. Когда отброшено старое и не оформлены новые стремления, неизбежны бездействие, апатия, и они омрачают настроение Толстого. Некоторые его записи носят следы грусти и раздражения.

Меньше, чем через месяц после свадьбы, Лев Николаевич записывает: «Все это время я занимаюсь теми делами, которые называются практическими только. Но мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать. И потому собой не доволен и не ясен в отношениях с другими. Журнал решил кончить, школы тоже, кажется. Мне все досадно, – и на мою жизнь и даже на нее. *Необходимо работать».*

И во многих других записях мы находим отражение этого состояния. Через несколько месяцев – в январе 1863 г. – он отмечает: «Я просто холоден и с жаром хватаюсь за всякое дело». Спустя неделю: «Также недоволен часто собой и также твердо верю в себя и жду от себя… Еще бы я не был счастлив! Все условия счастья, моего счастья, совпали для меня. Одного часто мне не достает (все это время): сознания, что я сделал все, что

должен был, для того, чтобы вполне наслаждаться тем, что мне дано и отдать[ся] другим *всему,* своим трудом за то, что они [крестьяне?] мне дали».

С 11 апреля по 2 июня 1863 г. Лев Николаевич не делает никаких записей в дневнике. Но в дневнике его жены от 24 апреля мы читаем:

«… Лева или стар, или несчастлив. Неужели, кроме дел денежных, хозяйственных, винокуренных, ничего и ничто его не занимает. Если он не ест, не спит и не молчит, он рыскает по хозяйству, ходит, ходит, все один. А мне скучно – я одна, совсем одна. Любовь его ко мне выражается машинальным целованием рук и тем, что он мне делает добро, а не зло».

Возобновляя дневник, Лев Николаевич пишет: «Все это время было тяжелое для меня время физического и оттого ли, или самого собой нравственного тяжелого и безнадежного сна. Я думал и то, что нет у меня сильных интересов] или страсти (как не быть? отчего не быть?). Я думал и что стареюсь и что умираю, думал, что страшно, что я не люблю. Я ужасался над собой, что интересы мои – деньги, или пошлое благосостояние. Это было периодическое засыпание. Я проснулся, мне кажется. Люблю ее и будущее, и себя, и свою жизнь. Ничего не сделаешь против сложившегося. В чем кажется слабость, в том может быть источник силы».

Такой крутой перелом, резкий разрыв с былыми увлечениями не может не смутить нас. А те намеки, которые мы находим в личных документах – глухой протест против новых условий жизни, против сужения масштаба ее, – могут поставить перед нами вопрос о той роли, какую сыграла здесь молодая жена Толстого.

Известно, как резко расходились взгляды Толстых в старости, как твердо противопоставляла Софья Андреевна свои эгоистически-семейные обязанности духовным запросам мужа. Мы не можем этого забыть и часто готовы все более ранние события объяснять в строгом соответствии с конечным результатом семейного опыта Толстых.

А разница во взглядах обнаруживается, как будто, с первых же шагов. В дневнике Софьи Андреевны, в заметке, которую она делает спустя месяц после свадьбы, мы читаем: «Он мне гадок со своим народом. Я чувствую, что или я, т. е. я пока представительница семьи, или народ, с горячей любовью к нему Л[евочки]. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь, и я сегодня убежала, потому что мне все и все стало гадко. И тетенька [66] , и студенты, и Н[аталья] П[етровна] [67] , и стены, и жизнь, и я чуть

не хохотала от радости, когда убежала одна тихонько из дому. Л[евочка] мне не был гадок, но я вдруг почувствовала, что он и я по разным сторонам, т. е., что его народ не может меня занимать *всю,* как его, а что его не может занимать *всего я,* как занимает меня он. Очень просто. А если я его не занимаю, если я кукла, если я только *жена, а не человек,* так я жить так не могу и не хочу. Конечно, я бездельная, да я не по природе такая, а еще не знаю, главное, не убедилась, в чем и где дело. Он нетерпелив и злится. Бог с ним, мне сегодня так хорошо, свободно, потому что я сама по себе, а он, слава богу, был мрачен, но меня не трогал. Я знаю, он богатая натура, в нем много разных сил, он поэтический, умный, а меня сердит, что это все занимает его с мрачной стороны».

Эти документы могут склонить к резко отрицательной оценке влияния Софьи Андреевны на развитие и духовный рост Толстого. Но правильна ли такая оценка?

Разобраться в скрытом ходе развития духовного организма Толстого очень трудно, и еще более трудно по отдельным цитатам, случайно и не случайно брошенным фразам делать какие-либо категорические заключения. Но несомненным остается одно: отношение Льва Николаевича к жизни, к окружающему резко изменилось. Можно ли это объяснить тем, что присутствие жены, ее интересы отрицательно повлияли на Толстого и он, оберегая свой семейный уют, желая сохранить свое «семейное счастье», бессознательно стал сторониться той деятельности, которой прежде посвящал все внимание, весь пыл своей души.

В «Исповеди», где Лев Николаевич так резко осуждает годы своей женатой жизни, мы находим объяснение этой внезапной перемене.

«В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась моя деятельность в школах, так противно мне стало мое влияние в журнале, состоявшее все в одном и том же – в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, бросил все и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животного жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился. Новые условия счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию,

подмененное уже прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше».

В «Исповеди» Толстой отрицает свою прежнюю жизнь, отвергает ее положительное значение, объясняя все стремления эгоистическими побуждениями. Эта оценка служит иллюстрацией другого периода, и мы не будем основываться на текстах «Исповеди». Но здесь есть одно чрезвычайно важное свидетельство. – Лев Николаевич еще раньше женитьбы разочаровался в общественной деятельности и в педагогике. Не интересы семьи, не личные свойства Софьи Андреевны заставили его отказаться от прежних увлечений. Наоборот, женитьба вывела Толстого из тупика, направив энергию в другое русло. «Я бы тогда [до женитьбы], может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел через пятнадцать лет, если бы у меня не было еще одной стороны жизни, неизведанной еще мною и обещавшей мне спасение, – это была семейная жизнь», – писал Толстой в «Исповеди».

Всякие переоценки, перегруппировки влекут за собой мучительные сомнения, рефлексию и временный упадок сил; новые настроения постепенно занимают первый план. Все это мы видели в Толстом. Но перемена произошла не под влиянием *несчастного брака,* а в результате логического развития сознания Толстого. И бессознательное участие его жены в этом процессе было не только не отрицательным, но, может быть, и положительным, – по крайней мере, в оценке самого Толстого.

Он понимал, конечно, что 18-летней женщине чужды все те волнения и сомнения, которые владели им, мало интересны *главные* вопросы жизни, что она оценивает все со своей узкой, *женской* точки зрения. Но ее присутствие, участие в личной жизни создавали необходимое ему настроение для выработки тех форм жизни, которые ему неизбежно надо было пройти.

Очень интересен в этом отношении конец уже цитированного письма Льва Николаевича к А. А. Толстой.

«Главный вопрос, интересующий вас во мне, увы, – еще не тронут, но я чувствую себя мягким, восприимчивым на все. Пишите мне, пожалуйста, по-старому. Прощайте».

«Она читает это письмо и ничего не понимает и не хочет понимать, и не нужно ей понимать; то самое, до чего наш брат доходит целым трудовым, болезненным кругом сомнений, страданий, для этих счастливых иначе не может быть».

[Приписка С. А-ны]:

«Я не могу, милая тетенька, оставить все это так. Он ошибается, я все понимаю, все решительно, что до него касается,

а письмо его так мрачно оттого, что у него болит голова, и он не в духе».

[Приписка Л. Н-ча]:

«Ну вот видите».

В дневнике Толстого от 8 февраля 1863 года находим новое подтверждение нашему положению: «Хозяйство и дела журнала хороши. Студенты только тяготят неестественностью отношений и невольной завистью, в которой я их не упрекаю. Как мне все ясно теперь. Это было увлечение молодости – фарисейство почти, которое я не могу продолжать, выросши большой. Все она. Она не знает и не поймет, как она преобразовывает меня без сравнения больше, чем я ее. Только не сознательно. Сознательно и я и она бессильны».

В чем же состоит эта перемена? – Тема очень большая и требует специального исследования. Но мы коснемся ее в нескольких словах.

Можно выставить предположение о некоторой зависимости между тем конфликтом чувственности и любви, который тяготел над Толстым все годы его холостой жизни, и той нервностью его духовных исканий, которые всегда были окрашены тоном глубокой неудовлетворенности, общим душевным беспокойством. Этот конфликт, возможно, отражался в тоне страстного самобичевания, недовольства своею жизнью, в жажде собственного обновления, в искании новых путей.

В те годы у Толстого не было вполне установившегося религиозно-философского мировоззрения, и на его попытки общественной деятельности можно смотреть, как на инстинктивное стремление к активному добру и, быть может, как на неосознанную потребность использовать весь тот огромный запас любви, который скопился в нем и требовал своего применения.

Практическая деятельность дает удовлетворение только тогда, когда она есть следствие определенных убеждений. В деятельности же Толстого не было такой предпосылки, он брался за одно дело, оставлял его и увлекался другим, но не мог ничего довести до конца, так как в нем не было безусловной веры в правильность взятого пути. Он разочаровался в практической деятельности, а жизненная энергия звала к ней, и Толстой готов был прийти к полному отчаянию. Чтобы разрешить этот кризис, нужны были два условия: дать, хотя бы временно, новое применение этой энергии, освободить внимание и поставить на очередь чисто теоретические общие вопросы жизни, создав благоприятную обстановку для их изучения. Толстой нашел ее в новых условиях семейной жизни.

Потребность в сердечных переживаниях была впервые удовлетворена, и под влиянием этих настроений перегруппировка душевных сил стала быстро осуществляться.

«Главная перемена во мне за это время, что я начинаю любить слегка людей, – записывает Толстой в дневнике 23 января 1863 года. – Прежде все или ничего, а теперь настоящее место любви занято и отношения проще».

«Доказывает ли это слабость характера или силу – я иногда думаю – и то и другое, но я должен признаться, – пишет он А. А. Толстой осенью того же года, – что взгляд мой на жизнь, на *народ* и на *общество* теперь совсем другой, чем тот, который у меня был в последний раз, как мы с вами виделись. Их можно жалеть, но любить, мне трудно понять, как я мог так сильно. Все-таки я рад, что прошел через эту школу; эта последняя моя любовница меня очень формировала. – Детей и педагогику я люблю, но мне трудно понять себя таким, каким я был год тому назад. Дети ходят ко мне по вечерам и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был во мне и которого уже не будет… Я не копаюсь в своем положении (grübeln – размышлять) и в своих чувствах и только чувствую, а не думаю, в своих семейных отношениях. Это состояние дает мне ужасно много умственного простора. Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня… Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и [не] обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтоб все шло по-прежнему» [68] .

Мы имели возможность проследить, как не ровно, не спокойно проходило это разграничение, сколько тревог и сомнений испытал Толстой, отдаваясь новому течению жизни. Перемена произошла не сразу. Отбросив старое, он не нашел, где применить свои силы, и вынужденное бездействие порою раздражало его. Он не всегда мог примириться с ограниченным кругом чисто семейных интересов, и контраст с прежним размахом не мог не беспокоить его. Софья Андреевна, создавая семью, не понимала его запросов, ревниво относилась к общественным склонностям мужа, его интеллектуальным запросам. По этому поводу Лев Николаевич записал в дневнике 23 января 1863 г.: «С ж[еной] самые лучшие отношения. Приливы и отливы не удивляют и не пугают меня. Изредка и нынче все страх, что она молода и многого не понимает и не любит во мне и что многое в себе она задушает для меня и все эти жертвы инстинктивно заносит мне на счет».

Но, преодолевая сомнения и временное бездействие, Толстой принял всю совокупность семейных интересов, инстинктивно направив свою энергию на те следствия, которые вытекали из самого факта его женитьбы. На первых порах он не только оставил общественную деятельность, но и потерял вкус к художественному творчеству. Все его внимание было сосредоточено на личных переживаниях, а творческая сила не выходила за пределы семьи, распространив свою деятельность на хозяйство, на создание «гнезда». Но и здесь Толстой был верен своей природе. Он не остался помещиком-рутинером, а сразу же стал искать новых путей, усложнять хозяйство новыми планами и затеями, стремясь во всем достигнуть совершенства. «Все идет понемножку, хотя, разумеется, плохо сравнительно с идеалом», – писал Толстой Фету в начале 1863 года по поводу своих хозяйственных успехов.

Но даже «идеал» в этой области не мог бы удовлетворить Толстого: в нем уже шла работа, о которой он намекал в письме к А. А. Толстой. 23 января 1863 года он отмечает в дневнике: «Правду сказал мне кто-то, что я дурно делаю, пропуская время писать. Давно я не помню в себе такого сильного желания и спокойно-самоуверенного желания писать. Сюжетов нет, т. е. никакой не просится особо, но заблужденье или нет, кажется, что всякой сумел бы сделать».

Эмоциональные порывы локализировались, благополучно разрешился конфликт между чувственностью и любовью, жизненная энергия нашла применение все в том же кругу семейных интересов, и мысль освободилась для творчества. Скоро наметилось первое отслоение, и быстро проходит все последующее развитие. К концу первого года женатой жизни вполне определился характер будущей работы.

«Эпический род мне становится один естественен», – записывает Толстой в дневнике 3 января 1863 года.

«Читаю Гёте, и роятся мысли», – там же отмечает он в июне.

К созданию «Войны и мира» Толстой был внутренне вполне готов.

Дальнейшее размежевание не прекращалось, и спустя два года, в эпоху расцвета его творческих сил, он писал Фету, что перепрег хозяйство «из оглобель на пристяжку, а мысль и художество… в корень… и гораздо покойнее поехал».

Наша задача – не только дать обзор семейной жизни Толстого, но по возможности показать связь между творчеством и этой жизнью. Установив, что отсутствие стройного миросозерцания едва не было роковым для холостого Толстого, мы должны теперь, хотя это и нарушит ход нашего изложения,

коснуться тех положительных результатов, к которым Лев Николаевич пришел через несколько лет после женитьбы. Эти результаты даны в «Войне и мире». Вся мощь Толстого, мыслителя и художника, выявилась в этой грандиозной эпопее.

Беспристрастно, спокойно, как классический философ-систематик, наблюдает он события, изучает основные законы истории, делает логические заключения.

Здесь он прежде всего философ, а художественная форма избрана потому, что, согласно убеждению Толстого, только художнику доступен настоящий смысл, настоящая правда дела; «историки же по самому свойству своих приемов и исследований могут изображать события только в ложном и превратном виде» [69] .

Толстой создает свою философию истории, и все содержание романа является художественной иллюстрацией к его философской теории. Но ему мало одних художественных образов, и он дополняет их отвлеченными рассуждениями.

Толстой ставит вопрос о Высшей Воле и, как вывод отсюда, вопрос о человеческой воле. Он признает свободу воли, как радостное приятие и следование общим законам жизни, и решительно осуждает всякое своеволие. Все, что совпадает с естественным ходом жизни, описано с особенной любовью, и, напротив, чем дальше от природы, фальшивее, искусственнее, тем противнее такая жизнь и такие люди автору «Войны и мира». Толстой показывает несколько ослепительных примеров неожиданного просветления некоторых действующих лиц романа, которые под влиянием исключительных обстоятельств узнают истинное направление жизни и обретают счастье от слияния с общим ее процессом. – Кн. Андрей в Аустерлице и на Бородинском поле; Пьер в плену, и даже «один из этих живых мертвецов – самый худший из них» [70] , кн. Василий, в минуту просветления чувствует весь ужас, всю бессмысленность жизни, оторванной от вечности. – «Сколько мы грешим, сколько мы обманываем и все для чего?… Все кончится смертью, все. Смерть ужасна».

Толстой дает философскую систему, но приемы его мышления решительно отличаются от тех, которые установились у него впоследствии. Он только художник-философ, он ищет для того, чтобы знать, мало заботясь о применении этих знаний, – не так, как впоследствии, когда знание играет служебную роль в единственно важной работе – борьбе со смертью.

Толстой изобразил немало темных сторон человеческих отношений, на страницах романа разбросан целый ряд убийственных оценок войны, но все это не имеет строго

обличительного характера и не выходит из рамок эпического повествования.

В «Войне и мире» можно подобрать большое количество ясно сформулированных положений, почти тождественных с теми, которые Толстой вырабатывал в последний период, но он ни к чему здесь не призывает, и религиозный взгляд на жизнь, пронизывающий все сочинение, не есть взгляд проповедника-апостола, а только настроение созерцающего законы жизни художника-философа.

Создавая свой крупный литературный труд, он ни на одну минуту не становится литератором-профессионалом. Еще по приезде из Крыма он не захотел сойтись с писательским миром, держится от него в стороне и теперь, когда все его умственные силы направлены на художественное творчество. Его главная цель – философская, и ради нее он сознательно пренебрегает успехом. В статье по поводу критики на «Войну и мир» (оставшейся ненапечатанной), он писал: «Все, что я высказываю, не есть плод фантазии или желания получить известность посредством смелых парадоксов (историческая теория моя только может уменьшить, а никак не увеличить мою известность), а необходимый, *неизбежный вывод, к которому я, напрягая все свои умственные усилия,* пришел после долгих трудов».

Перед Толстым одна цель – «познание истины». Он ищет ее, и его размышления принимают формы философской системы. В романе приведены теоретические положения, а вслед за этим даны практические выводы. В цитированной статье Толстой излагает «некоторые соображения о приложении» его теории «к религии и этике, то есть к вопросам о Божестве и душе, о свободе и ответственности».

Здесь Л. Н. Толстой впервые дает законченную систему мировоззрения. Она во многом сходна с его будущими взглядами, но существенно отличается от них и, главным образом, тем, что остается на ступени чистого умозрения, даже самый способ выражения напоминает терминологию школьной философии.

IV

Новые условия жизни, новые обязанности, новые интересы застали врасплох не только Льва Николаевича, но и его жену. Они не могли сразу найти для себя устойчивое положение, и неопределенность тяготила их. Каждый по-своему примеривался к жизни, старался в меру своих сил заполнить досуг, выработать житейский план и не прощал себе праздности.

Мы познакомились достаточно подробно со сложной гаммой настроений Толстого. Проследим теперь по дневнику Софьи Андреевны, как переживалось ею стремление к деятельности.

«Хочется изо всех сил хозяйничать и делать *дело.* Не умею и не знаю, как взяться. Все придет. А хлопотать и обманывать себя и других, что *занимаюсь,* – гадко. Да и кого обманывать, для чего? Иногда так мне сделается ясно, что делать, как полезно время проводить, а потом забудешь, рассеешься. Как мне стало легко, просто жить. Так чувствую, что тут *мой долг,* моя жизнь, что мне ничего не нужно. И когда сделается тесно, то и тогда, если б спросили, чего тебе надо – я не знала бы, что отвечать».

«Дело найти не трудно, его много, но надо прежде увлечься этими мелочными делами, а потом заводить кур, брянчать на фортепьяно, читать много глупостей и очень мало хороших вещей и солить огурцы. Все это придет, я знаю, когда я забуду свою девичью праздную жизнь и сживусь с деревнею. Не хочу попадать в общую колею и скучать, да и не попаду… Вот так-то, через несколько лет я создам себе *женский,* серьезный мир и его буду любить еще больше, потому что тут будет муж, дети, которых больше любишь, чем родителей и братьев. А пока не установилась. Качаюсь между прожитым и настоящим с будущим. Муж меня слишком любит, чтоб уметь сразу дать направление, да и трудно, сама выработаюсь, а он тоже чувствует, что я не та. Вот терпение, я буду прежняя, но не дева, а женщина, опять проснусь, и он и я, мы будем довольны мной».

«Погода летняя, чудная, расположение духа летнее – грустное; какая-то пустота, одиночество. Лева озабочен делами, хозяйством, а я не озабочена ничем… На что я способна? А так прожить нельзя. Хотела бы я побольше дела. Настоящего только. Бывало всегда весною, в такое чудное время чего-то хочется, куда-то все нужно, Бог знает, о чем мечтаешь. А теперь ничего не нужно, нет этого глупого стремления куда-то, потому что чувствуешь невольно, что все нашел и искать больше нечего, а все-таки немного скучно иногда. Много счастия – мало дела. И от хорошего устаешь. Надо дельного для противоположности. Что прежде замещалось мечтаниями, жизнью воображения, то теперь должно заместиться делом каким-нибудь, жизнью настоящего, а не жизнью воображения. Все глупо – я злюсь».

«Занялась хозяйством. Лева серьезно, я покуда будто бы. Все это весело, хорошо, не мелочно. Меня все сильно интересует и часто радует… Купили пчел, – меня радует; все это так интересно, а трудно хозяйство».

«Ужасно хочется и за пчелами ходить и за яблонями, и хозяйничать, деятельности хочется – и беспрестанно тяжесть, усталость, нечто вроде немощности напоминает мне, что сиди, мол, смирно – береги свой живот. Досадно. И скучно, что Лева смотрит на эту немощность как-то неприязненно – как будто я

виновата, что беременна. Ни в чем я и помогать ему не могу».

Лев Николаевич действительно сердился на жену за ее бездействие. Его горячая натура не допускала ни минуты покоя ни для себя, ни для нее. В «Анне Карениной» он касается этого момента и, как чуткий художник, приводит оправдывающие объяснения.

«Ни интереса к своему делу, к хозяйству, к мужикам, ни к музыке, в которой она довольно сильна, ни к чтению. Она ничего не делает и совершенно удовлетворена». Левин в душе осуждал это и не понимал еще, что она готовилась к тому периоду деятельности, который должен был наступить для нее, когда она будет в одно и то же время женой мужа, хозяйкой дома, будет носить, кормить и воспитывать детей. Он не понимал, что она чутьем знала это и, готовясь к этому страшному труду, не упрекала себя в минутах беззаботности и счастия любви, которыми они пользовались теперь, весело свивая свое будущее гнездо».

В приведенных документах Софья Андреевна ссылается на свою болезненную беременность. И, приступая теперь к описанию этой важной стороны семейной жизни Толстых, мы еще раз особенно сильно чувствуем основной недостаток нашего изложения. Выбирая каждый раз определенную тему, мы изолируем связанные с ней переживания от совокупности всех остальных, в то время, как в жизни все тесно переплетено, взаимно дополняет друг друга, одно служит невидимой причиной многих других, внешне ему чуждых явлений, и самая жизнь, в своей цельности, не допускает точного деления.

Софья Андреевна забеременела через месяц после свадьбы. Беременность протекала очень болезненно. Почти все, что описано выше, происходило в эти месяцы, и трудно, почти невозможно разграничить, что имело самостоятельное значение и что явилось следствием этого состояния, – следствием не только в отношении Софьи Андреевны, но также и Льва Николаевича. Его восприятие беременности жены, его настроение, связанное с этим, могло влиять и, конечно, влияло на весь его душевный строй.

Приступая с такой оговоркой к описанию этой стороны жизни, мы подчеркиваем, что остановимся лишь на моменте наиболее значительном – на том не всегда осознанном конфликте между мужем и женой, который вытекал из их природных различий.

Чтобы ближе подойти к теме, приведем полностью письмо Л. Н. Толстого к его свояченице Т. А. Кузминской, известное под названием «Сказки о фарфоровой кукле». В этой художественной

шутке-импровизации есть скрытый глубокий смысл.

Рукою С. А. Толстой. «21 марта 1863 г… Что ты, Танька, приуныла?… – Совсем мне не пишешь, а я так люблю получать твои письма, и Левочке ответа еще нет на его сумасбродное послание. Я в нем ровно ничего не поняла».

Рукою Л. Н. Толстого: «23 марта. Я[сная]. Вот она начала писать и вдруг перестала, потому что не может. И знаешь ли отчего, милая Таня. С ней случилось странное, а со мной еще более странное приключение. – Ты знаешь сама, что она всегда была, как и все мы, сделана из плоти и крови и пользовалась всеми выгодами и невыгодами такого состояния: она дышала, была тепла, иногда горяча, дышала, сморкалась (еще как громко) и т. д.; главное же, владела всеми своими членами, которые, как то – руки и ноги, могли принимать различные положения; одним словом, она была телесная, как все мы. Вдруг 21 марта 1863 года в 10 часов пополудни с ней и со мной случилось это необыкновенное событие. Таня! я знаю, что ты всегда ее любила (теперь неизвестно уже, какое она возбудит в тебе чувство), – я знаю, что во мне ты принимала участие, я знаю твою рассудительность, твой верный взгляд на важные дела жизни и твою любовь к родителям (приготовь их и сообщи им), я пишу тебе все, как было.

В этот день я встал рано, много ходил и ездил. Мы вместе обедали, завтракали, читали (она еще могла читать). И я был спокоен и счастлив. В 10 часов я простился с тетенькой (она все была, как всегда, и обещала прийти) и лег один спать. Я слышал, как она отворила дверь, дышала, раздевалась, все сквозь сон… Я услыхал, что она выходит из-за ширм и подходит к постеле. Я открыл глаза… и увидал Соню, но не ту Соню, которую мы с тобой знали, – ее, Соню – *фарфоровую!* Из того самого фарфора, о котором спорили твои родители. Знаешь ли ты эти фарфоровые куколки с открытыми холодными плечами, шеей и руками, сложенными спереди, но сделанными из одного куска с телом, с черными выкрашенными волосами, подделанными крупными волнами, и на которых черная краска стерлась на вершинах, и с выпуклыми фарфоровыми глазами, тоже выкрашенными черным на оконечностях и слишком широко, и с складками рубашки крепкими и фарфоровыми из одного куска. Точно такая была Соня, я тронул ее за руку, – она была гладкая, приятная на ощупь, и холодная, фарфоровая. Я думал, что я сплю, встряхнулся, но она была все такая же и неподвижно стояла передо мной. Я сказал: ты фарфоровая? Она, не открывая рта (рот как был сложен уголками и вымазан ярким кармином, так и остался), отвечала: да, я фарфоровая. У меня пробежал по спине мороз [71]

, я поглядел на ее ноги: они тоже были фарфоровые и стояли (можешь себе представить мой ужас) на фарфоровой, из одного куска с нею дощечке, изображающей землю и выкрашенной зеленой краской в виде травы. Около ее левой ноги немного выше колена и сзади был фарфоровый столбик, выкрашенный коричневой краской и изображающий, должно быть, пень. И он был из одного куска с нею. Я понял, что без этого столбика она бы не могла держаться, и мне стало так грустно, как ты можешь себе вообразить, – ты, которая любила ее. Я все не верил себе, стал звать ее, она не могла двинуться без столбика с земли и раскачивалась только чуть-чуть совсем с землей, чтобы упасть ко мне. Я слышал, как донышко фарфоровое постукивало об пол. Я стал трогать ее – вся гладкая, приятная и холодная фарфоровая. Я попробовал поднять ее руку – нельзя. Я попробовал пропустить палец, хоть ноготь между ее локтем и боком – нельзя. Там была преграда из одной фарфоровой массы, которую делают у Ауэрбаха и из которой делают соусники. Все было сделано только для наружного вида. Я стал рассматривать рубашку – снизу и сверху все было из одного куска с телом. Я ближе стал смотреть и заметил, что снизу один кусок складки рубашки отбит и видно коричневое. На макушке краска немного сошла, и белое стало. Краска с губ слезла в одном месте, и от плеча был отбит кусочек. Но все было так хорошо, натурально, что это была все та же наша Соня. И рубашка, та, которую я знал, с кружевцом, и черный пучок волос сзади, но фарфоровый, и тонкие милые руки, и глаза большие, и губы – все было похоже, на фарфоровое. И ямочка на подбородке, и косточки перед плечами. Я был в ужасном положении, я не знал, что сказать, что делать, что подумать, а она бы и рада была помочь мне, но что могло сделать фарфоровое существо. Глаза полузакрытые, и ресницы, и брови – все было как живое издалека. Она не смотрела на меня, а через меня на свою постель; ей, видно, хотелось лечь, и она все раскачивалась. Я совсем потерялся, схватил ее и хотел перенести на постель. Пальцы мои не вдавились в ее холодное фарфоровое тело, и, что еще больше поразило меня, она сделалась легкою, как стекляночка. И, вдруг она как будто вся исчезла и сделалась маленькою, меньше моей ладони, и все точно такою же. Я схватил подушку, поставил ее на угол, ударил кулаком в другой угол и положил ее туда, потом я взял ее чепчик ночной, сложил его вчетверо и покрыл ее до головы. Она лежала там все точно такою же. Я потушил свечку и уложил у себя под бородой. Вдруг я услыхал ее голос из угла подушки: «Лева, отчего я стала фарфоровая?» Я не знал, что ответить. Она опять сказала; «Это ничего, что я фарфоровая?» Я не хотел огорчать ее и сказал, что

ничего. Я опять ощупал ее в темноте, – она была такая же холодная и фарфоровая. И брюшко у ней было такое же, как у живой, конусом кверху, немножко ненатуральное для фарфоровой куклы. – Я испытал странное чувство. Мне вдруг стало приятно, что она такая, и я перестал удивляться, – мне все показалось натурально. Я ее вынимал, перекладывал из одной руки в другую, клал под голову. Ей все было хорошо. Мы заснули. Утром я встал и ушел, не оглядываясь на нее. Мне так было страшно все вчерашнее. Когда я пришел к завтраку, она была опять такая же, как всегда. Я не напоминал ей об вчерашнем, боясь огорчить ее и тетеньку. Я никому, кроме тебя, еще не сообщал об этом. Я думал, что все прошло, но во все эти дни, всякий раз, как мы остаемся одни, повторяется то же самое. Она вдруг делается маленькою и фарфорового. Как при других, так все по-прежнему. Она не тяготится этим и я тоже. Признаться откровенно, как ни странно это, я рад этому, и, несмотря на то, что она фарфоровая, мы очень счастливы.

Пишу же я тебе обо всем этом, милая Таня, только затем, чтобы ты приготовила родителей к этому известию и узнала бы через папа у медиков: что означает этот случай, и не вредно ли это для будущего ребенка. Теперь мы одни, и она сидит у меня за галстуком, и я чувствую, как ее маленький острый носик врезывается мне в шею. Вчера она осталась одна; я вошел в комнату и увидал, что Дора (собачка) затащила ее в угол, играет с ней и чуть не разбила ее. Я высек Дору и положил Соню в жилетный карман и унес в кабинет. Теперь, впрочем, я заказал, и нынче мне привезли из Тулы деревянную коробочку с застежкой, обитую снаружи сафьяном, а внутри малиновым бархатом с сделанным для нее местом, так что она ровно локтями, головой и спиной укладывается в него и не может уж разбиться. Сверху я еще прикрываю замшей.

Я писал это письмо, как вдруг случилось ужасное несчастье. Она стояла на столе, Н. П. толкнула, проходя, она упала и отбила ногу выше колена с пеньком. Алексей [72] говорит, что можно заклеить белилами с яичным белком. Не знают ли рецепта в Москве. Пришли, пожалуйста».

Это загадочное письмо после его первой публикации [73] вызвало большой шум. Им заинтересовались представители психоаналитической школы, исследователи и биографы. В двух номерах Ленинградской газеты [74] тут же по опубликовании письма были помещены интервью с В. Г. Чертковым, В. И. Срезневским и Н. Н. Гусевым.

Н. Н. Гусев в редакционном примечании к тексту пишет, что «здесь под формою шутки скрывается изображение

действительности, действительного душевного состояния, пережитого тогда Софьей Андреевной и больно отозвавшегося в душе Льва Николаевича». В интервью он более подробно высказывает свое мнение: «Это письмо – письменный след глубочайшего переживания Льва Николаевича в его взаимоотношениях с Софьей Андреевной в первый период его брака с ней. И это психологически вполне естественно. Каждому известно, что во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной такой период, когда его спутница жизни представляется ему, хотя на время, неодушевленной, «фарфоровой», совсем не столь редкое явление. Каждый женатый переживал то же, что Л. Н. Толстой. Разница лишь в интенсивности переживания и ощущения отчужденности, потери или превращения в «фарфоровую» жены каждым. Ясно, у Льва Николаевича, как у гения художественных образов, это свойственное каждому мужчине в любви к женщине переживание вылилось в соответствующую по диапазону эпически-художественную форму».

Наоборот, В. Г. Чертков и В. И. Срезневский категорически утверждают, что это – только шутка, что не следует выводить отсюда какие-то глубокие заключения, что это смешно и не соответствует реальности, тем более, что Толстой не стал бы посвящать юного адресата в свою семейную «драму». В. И. Срезневский не соглашается с мнением Н. Н. Гусева, «усматривающего в письме Льва Николаевича зародыш будущей семейной драмы Толстого… Первый период брака Толстого не был омрачен ни одной тучкой, отношения молодых супругов были безоблачные, и такая шутка в письме к Т. А. Кузминской вполне вероятна».

Мы не можем согласиться ни с тем ни с другим мнением.

На первый взгляд, это шутка. Так письмо было воспринято семейными [75] , и никому и в голову не приходило придавать ему глубокий смысл. Трудно, разумеется, найти в нем следы надвигавшейся семейной драмы, но сопоставление с некоторыми намеками, разбросанными в документах, позволяет допустить, что это действительно не шутка, что здесь, быть может, бессознательно отразилась интимная сторона отношений.

С. А. Толстую можно отнести к категории тех женщин, которые в первые месяцы замужества очень болезненно воспринимают физические проявления любви.

В дневнике Л. Н. Толстого, в первой записи после женитьбы, мы читаем: «Торжество обряда. Она заплаканная. В карете. Она все знает и просто. В Бирюлеве [76] . Ее напуганность. Болезненное что-то».

Через две недели Софья Андреевна заносит в дневник: «Так

противны все физические проявления».

В месяцы беременности эта сторона отношений вызывает сильный протест, а свойственное большинству беременных женщин неуравновешенное душевное состояние заставляет с особой тревогой, подозрительностью, требовательностью относиться к настроениям мужа. – Софья Андреевна вся сосредоточена на их взаимных отношениях, она теряет объективность оценки, не замечает сложной, мучительной духовной работы мужа, коренной ломки его взглядов, – не то ей сейчас нужно. Не чувствует также она всей принципиальной разницы половых устремлений ее, женщины, и мужа. Точно так же и Лев Николаевич часто применяет мужской масштаб в отношении своей жены.

«Скучающий» дневник Софьи Андреевны раскрывает перед нами будничную сторону счастливой семейной жизни, душевное одиночество супругов в эти значительные дни.

«Лева все больше и больше от меня отвлекается. У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно; у меня никакой, напротив. Но нравственно он *прочен* – это главное».

«Всему виновата беременность, но мне невыносимо и физически и нравственно. Физически я постоянно чем-нибудь больна, нравственно страшная скука, пустота, просто тоска какая-то. Я для Левы не существую. Я чувствую, что я ему несносна – и теперь у меня одна цель, оставить его в покое и, сколько можно, вычеркнуться из его жизни. Ничего веселого я не могу ему приносить, потому что я беременна. Какая горькая истина, что тогда узнаешь, как любит муж, когда жена беременна. Он на пчельнике, я бы Бог знает что дала, чтоб идти туда, но не иду, потому что у меня сильнейшее сердцебиение, а там сидеть неловко, и гроза скоро, у меня голова болит, и мне скучно – плакать хочется, и я не хочу ему быть неприятна и скучна, тем более, что и он болен. Мне с ним большею частью неловко. Если он со мной минутно еще бывает хорош, то это больше по привычке, и он чувствует себя как будто обязанным поддержать, не любя, прежние отношения. Да и страшно, верно, ему было бы сознаться искренно, что когда-то он любил; и недавно еще, но что все это уж прошло. А если б он только знал, как он переменился, если б он побывал в моей коже, он понял бы, каково жить так на свете. А помочь тут нельзя никак. Он проснется еще раз, когда я рожу. Ведь это всегда так бывает. Это та ужасная *общая колея,* по которой все проходят и которую мы прежде так боялись. А я еще, к несчастию, очень люблю его, больше, чем когда-либо. Когда-то я попаду в эту несчастную колею» [77] .

«Любовь проверяешь именно в такое время, как теперь. Воротится хорошая погода, воротится здоровье, порядок будет и радость в хозяйстве, будет ребенок, воротится и [2] – гадко. А он подумает, что любовь вернулась, а она не вернулась, а вспомнилась только. А потом опять нездоровье, опять неудачи, а ко всему еще ненавистная жена, и как смеет она тут постоянно торчать на глазах, и опять скука. Вот она жизнь-то ему какая предстоит. А моей уж нет, только и было, что любила я его, да утешалась, что он меня любить будет. Дура я, поверила, – только мученье себе готовила. И все мне кажется таким скучным» [78] .

Не случайно в одной какой-нибудь записи Софья Андреевна касается интимных отношений. Она, как женщина, инстинктивно протестует против них, но страстная мужская натура Толстого настаивает, и Софья Андреевна боится, что ее положение охладит мужа; в каждом его шаге она ищет тому доказательств.

Перечтите теперь «Сказку о фарфоровой кукле», и вы, быть может, почувствуете, что Толстой в замаскированной шутливой форме отразил протест жены против физических проявлений любви. Письмо составлено в очень светлом, радужном тоне. Так вышло, вероятно, потому, что написано оно в один из наиболее радостных периодов – как раз в то время, когда Лев Николаевич занес в дневник только что цитированную в примечании запись, когда он испытывал «чувство уничтожения» перед женой, а Софья Андреевна писала сестре, что они «очень дружны. Изо всех сил» [79] .

Можно было бы не затрагивать этой деликатной темы, если бы освещенные здесь отношения не имели влияния на дальнейшую судьбу семьи Толстых. Но в развитии семейной трагедии они играли видную роль, и в дальнейшем снова придется вернуться к ним.

Чтобы не усложнять изложения, не приводить снова использованного материала, опускаем личные документы Льва Николаевича, иллюстрирующие его состояние в эти месяцы [80] . Вспомним только, как неровен он был в своем отношении к жене, переходя от переоценки к раздражению и обратно, как минутами возмущала его непонятная пассивность жены, ее нервное состояние; как по-своему, по-мужски, он требовал активности во внешней деятельности и в половой сфере. Вспомним также, как в то время, когда беспечное веселье первых дней сменилось тревожным состоянием беременности, мужская природа Толстого однажды испытала раздвоение: он наслаждался душевной близостью с больной женой (это хорошо описано в XIV главе «Дьявола»), и вдруг неожиданно проснулось в нем влечение к другой женщине. Все это так по-человечески – без прикрас.

Ожидание первенца дает еще новый оттенок внутренней жизни Толстого. На очередь встает вопрос о воспитании, и мысль об этом Лев Николаевич принимает очень серьезно, основательно. В отношениях супругов звучат искренние счастливые нотки. Он «начитался медицинских книг и имел намерение воспитывать ребенка по всем правилам науки», – говорит Толстой о герое повести «Дьявол».

Софья Андреевна в нескольких письмах вводит сестру в круг своих семейных интересов:

«Он [Л. Н-ч] постоянно свидетельствует мое брюшко… считаем мы, сколько времени до родов. Уж я, признаться, хотела бы поскорее. Так тяжело дюже» [81] .

«Мы очень хорошо живем. Он все уверяет, что никогда в Москве он не мог меня так – в четверть – любить, как здесь. Отчего это, Татьяна? И вправду, как любит, ужас… А сегодня еще выдумал. Читал медицинскую книгу Бока, пришел, я думаю, – дело, а он говорит: «Ведь у него уж ногти есть». Я думаю, у кого? – а это у ребенка, в животе. Глуп человек. Я сегодня очень в духе, и он говорит – я хорошенькая… Лева пресерьезно целый день сегодня рассчитывал, когда кувырнется, и вообрази, – через десять дней. Мы совсем делаемся помещиками: скотину закупаем, птиц, поросят, телят. Приедешь, все покажу».

Сам Лев Николаевич пишет за границу сестре, Марии Николаевне: «Я великая свинья, милая Маша, за то, что не писал тебе давно. Счастливые люди эгоисты. Ты это прими во внимание и не пеняй на меня… Я счастливый человек, живу, прислушиваюсь к брыканию ребенка в утробе Сони, пишу романы и повести и приготавливаюсь к постройке винокуренного завода… Письмо твое первое мне с Соней и читали и перечитываем. Пиши нам, пожалуйста. Дети меня, я думаю, знать не хотят. Смотрите, канальи, не разлюбите меня. А мне так хочется теперь всех любить и всеми быть любимым».

Первые роды С. А. Толстой описаны в бессмертной художественной сцене родов Кити Левиной. Насколько автобиографично это описание, можно судить по дневнику Льва Николаевича, по неоконченной записи, которую он сделал через месяц после рождения сына Сергея.

«Я пишу теперь не для себя одного, как прежде, не для нас двух, как недавно, а для него. – 27 июня ночью мы оба были особенно взволнованы… У нее болел живот, она металась, мы думали только, что это – последствия ягод. Утром ей стало хуже, в 5 часов мы проснулись, еще с вечера решившись – мне ехать навстречу к нашим. Она была разгорячена, в халате и вскрикивала, потом проходило, и она улыбалась и говорила:

«ничего». Я послал за Анной [82] больше для того, чтобы сделать, что можно, но не верил. Я был взволнован и спокоен, занят мелочами, как бывает перед сраженьем или в минуты близкой смерти. Мне досадно было на себя, что я мало чувствую. Мне хотелось ехать в Тулу и все сделать поаккуратнее. Мы ехали с Таней и Сашей [Берс], нам было неестественно. Я был спокоен и не позволял себе этого. В Туле мне странно было, что Копылов хочет, как всегда, говорить о политике, аптекари запечатывают коробочки. Мы поехали с Марьей Ивановной (акушерка Сережи) [83] . Дома подъехали, – никого нет, Тетенька, которая сначала не хотела, чтоб я ехал и боялась, вышла ко мне расстроенная, оживленная, испуганная, с добрыми глазами. «Ну что?» – «Как ты мил, mon cher [84] , что приехал! Были схватки». Я пошел. Милая, как она была серьезно, честно, трогательно и сильно хороша. Она была в халате распахнутом, кофточка с прошивками, черные волосы спутаны, – разгоряченное шероховато-красное лицо, горящие большие глаза, она ходила, посмотрела на меня. «Привез?» – «Да. Что?» – «Ужасно сильные схватки». – «Анны Петровны нет, тут Аксинья». – Она просто спокойно поцеловала меня. Пока копошились, с ней сделалось еще. Она схватилась за меня, как и утром, я целовал ее, но она про меня не думала, и серьезное, строгое было в ней. Марья Ивановна ушла с ней в спальню и вышла. «Роды начались», – сказала она тихо, торжественно и с нескрываемой радостью, какая бывает у бенифицианта, когда занавес поднялся. Она все ходила, она хлопотала около шкапов, приготавливала себе, приседала, и глаза все горели спокойно и торжественно. Было еще несколько схваток, и всякий раз я держал ее и чувствовал, как тело ее дрожало, вытягивалось и ужималось; и впечатление ее тела на меня было совсем, совсем другое, чем прежде – и до и во время замужества. В промежутках я бегал, хлопотал уставлять диван, на котором я родился, в ее комнату и др., и во мне было все то же чувство равнодушия, укоризны за него и раздражения. Все хотелось поскорей, побольше и получше обдумать и сделать. Ее положили, она сама придумывала»…

На этом обрывается описание родов.

V

Рождением первого ребенка закончился *подготовительный* период семейной жизни Толстых.

Оглядываясь на пройденный ими путь, мы не можем не заметить, что на этом пути не было ничего исключительного, – узколичная жизнь Толстого вполне отвечала житейским нормам, и нормы эти не только не мешали, но содействовали духовному развитию мыслителя и художника.

В дальнейшем мы ускорим изложение и коснемся лишь нескольких основных данных, из которых слагалась их семейная жизнь.

28 июля 1863 г. родился сын Сергей, 4 октября 1864 г. – дочь Татьяна и 22 мая 1866 г. – сын Илья.

Несмотря на свое намерение уделять детям большую часть внимания и забот, Толстой, как и подобает интеллектуально активному мужчине, на первых порах не испытывает к ним непосредственной любви. Сергею уже больше года, а Лев Николаевич признается в дневнике, что «сын очень мало близок» ему. Дети не представляют еще для него самостоятельной ценности, и детский мир интересует его лишь постольку, поскольку он связан с любимой женой.

Как-то с охоты он пишет Софье Андреевне, говорит о сыне, но холодно: «Выеду завтра утром и вечером почувствую твой арбуз [85] и увижу твое лицо милое. Прощай, голубчик, Сереже кланяйся и не вели капризничать, а атата, атата…»

В одном задушевном письме он уверяет жену, что любит сына; и действительно, любовь понемногу пробуждается в нем, он начинает больше любить не жену, а жену-мать, входит в интересы «детской».

Ряд выдержек из писем Толстого к Софье Андреевне раскрывает эту эволюцию. «Грустно, что о Сереже все ты не пишешь; что понос, прошел ли? Не говори и не думай, что я их не люблю. Одно из главных желаний моих, чтоб Сережа был совсем здоров. Больше я бы ничего не попросил у волшебницы. А я не люблю их в сравнении с тем, как я тебя люблю». «… Милая моя душенька Соня, кормящая за ширмами, какою я тебя всегда вижу». «… Целую тебя в детской, за ширмами, в сером капоте». «Как в житье нашем оказалось, что нам дома не надо, а достаточно одной детской». «Так Сережа к клеенке лицо прикладывает и агу кричит? Посмотрю я. Ты меня так удивила, объявив, что ты спишь на полу, но Любовь Александровна сказала, что и она так спала, и я понял. Я и люблю и не люблю, когда ты подражаешь ей. Я желал бы, чтобы ты была такая же существенно хорошая, как она; но хочется, чтобы ты была (как оно и есть) более тонкой работы и с большими умственными интересами. Оно так и есть. После послезавтра на клеенчатом полу в детской обойму тебя, тонкую, быструю, милую мою жену».

В начале 1865 года отношение Толстого к сыну вполне определилось. «Сережа очень болен, кашляет. Я его очень начинаю любить. Совсем новое чувство», – отмечает он в дневнике.

Опять характерный «мужской» штрих: он нежен к

подрастающему сыну и равнодушен к трудной дочери, чем немало огорчает мать. Она пишет об этом сестре. Сережа «бегает, пляшет, начинает говорить. Левочка к нему стал очень нежен, и все с ним занимается. На Таню он даже никогда не глядит, мне и обидно и странно. А она такая милая и хорошенькая, покойная и здоровая девочка. Вот уже ей пять месяцев, скоро зубы, скоро ползать, говорить, ходить. И так она и вырастет незамеченная. Таня, заметь ее, пожалуйста, и люби».

Совсем по-другому раскрывался материнский инстинкт Софьи Андреевны. Она сразу растворилась в любви к детям, она любит сына не для мужа, – он с первых же дней представляет для нее самостоятельную ценность. Но любовь к мужу и сыну неразделимы, являясь как бы двумя ипостасями одного чувства.

После первой болезни Сережи – был сильный ложный круп – Софья Андреевна пишет вдогонку Льву Николаевичу уехавшему в Никольское по делам. В этом письме сказалась вся сила ее любви и к сыну и к мужу.

«У нас все просветлело, и меня мучает, что ты едешь и ужасно беспокоишься о нас всех. Я тебе скоро все лично буду рассказывать, а пишу, чтоб время прошло скорее, и все-таки как будто говорю с тобой. Что это только было вчера, я вспомнить не могу! Совершенно неожиданно, сидим за чаем, вдруг Сережа закашлял, я встала, посмотрела, мне показалось, что ничего особенного. Потом все пошло сильнее; я писала и услыхала опять кашель, пошла в детскую, и тут его начало душить. С первых минут я совсем растерялась, не помню даже ничего об окружающих. Он кашлял, как из бочки, и задыхался; но я скоро опомнилась, хотя все плакала. Одно знаю, что было очень серьезно и, верно, опасно… Если б ты только видел, как он был жалок! Плакал, задыхался, горчица его щипала; он сучил ножками и хватался все за мои волосы, серьги, воротник, – точно он в меня влезть хотел или просил, чтоб его спасли. Я все держала его на руках, и чем больше он мучился, тем живее мне представлялись его щелчки, его любовь ко мне, все его мины, и я думала, что он умрет. Вспоминала еще, что ты бы отнял его у меня и сердился бы на меня, а я бы отдала Бог знает что, чтоб ты все-таки был со мной. Думая о смерти Сережи, мне еще страшнее стало без тебя. Ты не можешь себе вообразить это чувство осиротелости, которое я испытываю без тебя, и испытала особенно вчера с больным Сережей… А ты мне ужасно нужен, я так измучилась, и отдохнуть не с кем… Как много я передумала в эту ночь! Как любила тебя, как я хорошо понимала и чувствовала, какой ты отличный и как я тебя люблю… Его [Сережина] нежность ко мне сводит меня совсем с ума. Мне все хочется плакать, да и нервы расстроены, может быть, оттого. Он похудел и стал еще больше похож на тебя. Тебя я не вижу, и мне все хочется в его личике увидеть твои черты, найти сходство.

Когда уехал доктор, я легла и спала часа 11/2 в детской. Все мне представлялось в тумане: и ночь прошедшая, и природа вся, и люди, – ты знаешь, как после бессонной ночи; а когда я думала о тебе, то ужасная пустота, скука, и все кажется, как будто не для меня, что я умерла и что только здоровье Сережи и ты опять меня

оживят.

Сереже делалось все лучше и лучше, тетенька спала. Таня бегала везде, и в сад, и еще куда-то, и я все у Сережи, и все с самыми радостными, но тревожными мыслями о тебе… Встретила Ивана Ивановича [86] , Таню и Анатоля [87] . Таня была блестяща просто. В бархатной курточке, в своей шляпке с пестрыми перышками, беленькая, свеженькая – прелесть! Немножко завидно было, и я подумала, что и ты ею поразишься, страшно немножко стало. А я дурная, с измятым лицом, жалкая, чересчур неэлегантная… Приедешь ли? Я не дождусь, кажется, тебя, а как хочется увидаться скорей с тобой!»

С рождением первого ребенка весь темп жизни Софьи Андреевны сразу изменился. Куда делись раздражавшие Льва Николаевича пассивность и неопределенность. Она забыла прежние тревоги – их сменили новые, и она действительно вступила в тот период деятельности, когда стала «в одно и то же время женой мужа, хозяйкой дома», начала «носить, кормить и воспитывать детей». Ее предсказание сбылось. Ее не смущает больше будничная работа, деревенское одиночество. Все делает она с увлечением и основательно. Она вся преобразилась, она вся в детях, в муже, в хозяйстве. Она «зарылась в болезнях детей, в пеленках, в поносах… в детской со своими беспокойными детьми. И на ночь и на день [ей] их оставить никак нельзя». «Свободных минут не очень много. То корми, а то держи на руках». Для первого ребенка Софья Андреевна, заболев, вынуждена взять кормилицу, других же кормит с большими мучениями, но все же «легко и радостно». А когда «отняла, наконец, свою Танюшу, [то сделала это] с большим горем и даже слезами, что очень глупо». Одним словом, она «погружена в сиски, соски и соски», – как писала о том сестре в 1866 году – «то отсасываюсь, то кормлю, то прижигаю, то промываю, а кроме того, дети, варенье, соленья, грибы, пастилы, переписыванье для Левы, а для beaux arts [88] еле-еле минутку выберешь, и то, если дождь идет».

Вместе с мужем она утверждает, что у них «какой-то совсем особенный мир в детской», и прекрасно сознает происшедшую в ней перемену. «Кто такая была Сонечка Берс в Кремле, уж осталось одно только предание, а ее уж и помину нет, – пишет она Льву Николаевичу. – Мне хочется теперь дойти до идеала моего хорошей хозяйки, главное, деятельной и способной на все, не говоря уже о заботах о детях».

И трогателен, жизнен минутный протест молодой женщины, только что вступившей в новую жизнь, протест беспечной любви и молодости против земного труда. В конце 1863 г. Софья Андреевна записывает в дневнике: «Он стар и слишком

сосредоточен. А я нынче так чувствую свою молодость, и так мне нужно чего-нибудь сумасшедшего. Вместо того, чтобы ложиться спать, мне хотелось бы кувыркаться. А с кем?» «Что-то старое надо мной, вся окружающая обстановка стара. И стараешься подавить всякое молодое чувство, так оно здесь при этой рассудительной обстановке неуместно и странно… О Льве у меня составляется мало-помалу впечатление существа, которое меня только останавливает. Эта сдержанность, которая происходит от этого останавливания, сдерживает также всякий порыв любви. И *как* любить, когда все так спокойно, рассудительно, мирно».

Через год, однажды вечером, Софья Андреевна так пишет мужу в Москву: «Сижу у Тебя в кабинете, пишу и плачу. Плачу о своем счастье, о тебе, что тебя нет; вспоминаю все свое прошедшее, плачу и потому, что Машенька заиграла что-то, и музыка, которую я так давно не слыхала, разом вывела меня из моей сферы детской, пеленок, детей, из которой я давно не выходила ни на один шаг, и перенесла куда-то далеко, где все другое. Мне даже страшно стало. Я в себе давно заглушила все эти струнки, которые болели и чувствовались при звуках музыки, при виде природы, и при всем, чего ты не видел во мне, за что иногда тебе было досадно. А в эту минуту я все чувствую, и мне больно и хорошо. Лучше не надо всего этого нам, матерям и хозяйкам. Если б ты видел, как я теперь плачу, ты бы удивился, потому что я сама не знаю, о чем. Я всегда раскаиваюсь, что мало во мне понимания всего хорошего, а теперь, в эту минуту, я желаю, чтобы никогда не пробуждалось во мне это чувство, которое тебе, поэту и писателю, нужно, а мне – матери и хозяйке – только больно, потому что отдаваться ему я не могу и не должна.

Левочка, когда увидимся, никогда не спрашивай меня, что со мной было и о чем я плакала; теперь я все тебе могу сказать, а тогда мне будет стыдно. Теперь я слушаю музыку, у меня все нервы подняты, я люблю тебя ужасно, я вижу, как заходит красиво солнце в твоих окнах. Шуберта мелодии, к которым я бывала так равнодушна, теперь переворачивают всю мою душу, и я не могу удержаться, чтобы не плакать самыми горькими слезами, хотя и хорошо. Левочка, милый, ты будешь надо мной смеяться, скажешь, что я с ума сошла. Сейчас зажгут свечи, меня позовут кормить, я увижу, как дурно марается Сережа, и все мое настроение пройдет разом, как будто ничего со мной не было. Машенька стоит в спальне у окна, я сейчас прошла мимо, и сморкается. Мне кажется, что и она плачет. Что с нами сделалось? Я к ней не подошла, но мне показалось.

Оглядываю все твой кабинет и все припоминаю, как ты у

оружейного шкапа собирался на охоту, как Дора прыгала и радовалась около тебя [89] , как ты сидел и писал у стола, и я приду, со страхом отворю дверь, взгляну, не мешаю ли я тебе, и ты видишь, что я робею, и скажешь: «Войди!» А мне только этого и хотелось. Вспоминаю, как ты больной лежал на диване, вспоминаю тяжелые ночи, проведенные тобою после вывиха, и Агафью Михайловну [90] на полу, дремлющую в полусвете, – и так мне грустно, что и сказать тебе не могу. Не дай Бог еще раз расстаться. Еще почти неделю я не увижу тебя, мой милый голубчик».

Но сентиментальное настроение уже не в силах заглушить новых интересов, и Софья Андреевна продолжает в том же письме: «Теперь тебе кажется, что хорошо дома, в Ясной Поляне, а приедешь, поживешь, я опять тебе надоем; и поносы, и дети – все покажется скучно. Кстати, о Сереже скажу тебе, что понос все продолжается безо всяких перемен уже несколько дней…» – Дальше следует подробное описание семейных тревог.

Временами, и среди новой любимой работы, Софью Андреевну охватывает мрачное настроение.

«Сережа болен. Вся я как во сне. Только впечатления. Лучше, хуже, это все, что я понимаю. Левочка молодой, бодрый, с силой воли, занимается и независимый. Чувствую, что он – жизнь, сила; а я только червяк, который ползает и точит его. Боюсь быть слабой. Нервы плохи после болезни и стыдно. С Левочкой последний *надрез* чувствуется сильно. Жду сама виновата, и боюсь ждать; ну как никогда не воротится его нежность ко мне. Во мне благоговение к нему но сама так низко упала, что сама чувствую, как иногда хочется придраться к его слабости. Мне так все странно весь вечер. Он пошел гулять, я одна, и тихо все было. Дети спали, лежанка топится, тут наверху так чисто, пусто и так некстати цветы нарядные, яркие, и сильный запах померанцевого дерева, и страшно звука собственных шагов и дыхания даже. Левочка пришел, и все на минуту стало весело и легко. От него запахло свежим воздухом, и сам он мне делает впечатление свежего воздуха» [91] .

«Все не в духе, все мне дурно. Вчера я Левочку так обидела, просто ни за что, что теперь вспоминать страшно. Потом мне все скучно, я ровно ничего не делаю. Такая скука, такая тоска, что что бы я ни вздумала для утешения своего, ничего не поможет. Таня, видишь, – пишет она сестре, – и с жиру люди бесятся, и я сама за это так упала в своих глазах, что стараюсь все забывать о себе. Мне мысль, что я могу попасть в категорию *Mme* [92] Дьяковых и прочих скучающих в деревне дам, до того ненавистна, что пройдет еще два-три дня, и я выйду сама над собой

победительницей и найду, что в деревне опять все так же хорошо и весело, как и находила это до сих пор. Это на меня только нашло. Вот ровно год, что я не была нигде решительно, ну и пришло в голову, что папа долго не видал детей, что вот пройдет жизнь, и так я ничего и никого не увижу… А сама в хорошие, настоящие минуты понимаю и говорю, что моя жизнь – настоящая, и все нам должны завидовать и любоваться нами. Левочка более чем когда-либо нравственно хорош, пишет; и такой он мудрец, никогда он ничего не желает, ничем не тяготится, всегда ровен, и так и чувствуешь, что он вся поддержка моя и что только с ним я и могу быть счастлива».

Софья Андреевна права. Эти годы -1864-1866 – были особенно радостны. Первые шероховатости сгладились, мучительная растерянность и неопределенность первого периода исканий кончилась, жизнь заполнена. Каждый нашел свою сферу деятельности, прошлое не волнует больше, интересы гармонически объединены. Ненадежный ураган любви сменился спокойным семейным счастьем.

«Скоро год, как я не писал в эту книгу. И год хороший, – отмечает Лев Николаевич в дневнике 16 сентября 1864 г. – Отношения наши с Соней утвердились, упрочились. Мы любим, то есть дороже друг для друга всех других людей на свете, и мы ясно смотрим друг на друга. Нет тайн, и ни за что не совестно».

«Нам все делается лучше и лучше жить на свете вместе», – заявляет Слфья Андреевна в письме-дневнике.

Об отношениях Толстых можно судить также по их переписке. Приводим в выдержках.

Однажды Лев Николаевич с охоты из Чернского уезда пишет жене: «Нынче встал, – все спят, и вот достал тетрадь какую-то и пишу к Соне, без которой мне жить плохо… Ты говоришь, я забуду. Ни минуты, особенно с людьми. На охоте я забываю, помню об одном дупеле; но с людьми – при всяком столкновении, слове я вспоминаю о тебе, и все мне хочется сказать тебе то, что я никому, кроме тебя, не могу сказать».

Софья Андреевна ему отвечает: «Когда Сережа спит, я нигде себе места не нахожу, так и тянет все к тебе, и все я тебя жду, как будто ты только ушел ненадолго. Первую жертву я сыну сделала, что не поехала с тобой. Мне теперь весело думать о том, как бы мы с тобой вдвоем, совсем одни куда-нибудь поехали пожить, как молодые. Но теперь это уж кончено, никогда этого не будет».

«А я-то тебя как люблю! Голубчик милый, – пишет Лев Николаевич. – Всю дорогу ехал до Черни и думал: нет, непременно произойдет какая-нибудь путаница с письмами, и я не получу в Черни. Приезжаю, и бывший приказчик Томаса –

какое милое лицо у этого приказчика – говорит: а вы не изволили получить письма? А я так проголодался, занялся супом, что еще не спросил. Какое письмо милое, и ты милая!.. В этот раз я чувствую, как ты мне много еще ближе стала».

Осенью 1864 года Л. Н. Толстой сломал на охоте руку. Ее плохо вправили, и рука неправильно срослась. Ему пришлось ехать в Москву, жена осталась с детьми в Ясной. Переписывались они почти каждый день. Приведем из этих писем еще несколько цитат.

Софья Андреевна пишет Льву Николаевичу на другой день после его отъезда: «Вчерашний вечер, и наше с тобой прощанье, – твой отъезд, все это мне представляется теперь как сон, такая я сама-то была сонная, и в неестественном, напряженном состоянии. А как нам хорошо было последнее время, так счастливо, так дружно! Надо же было такое горе: грустно без тебя ужасно, и все приходит в голову: его нет, так к чему все это? Зачем надо все так же обедать, зачем так же печи топятся, и все суетятся, и такое же солнце яркое, и та же тетенька и Зефироты [93] и все».

В Москве Льву Николаевичу сделали операцию вновь вправленной руки, после чего он не мог писать и диктовал письма свояченице.

В одном из них: «Соня, милая моя, совсем я без тебя расстроился, ни спокойствия, ни решительности, ни деятельности – никаких, а все оттого, что без тебя я теряю equilibre [94] , все равно, как все время на одной ноге стоишь».

Едва рука поджила, как он старается лично приписать несколько нежных слов:

«Прощай, моя милая, душечка, голубчик. Не могу диктовать всего. Я тебя так сильно всеми Любовями люблю все это время. Милый мой друг. И чем больше люблю, тем больше боюсь».

Она отвечает: «Вот счастье-то было читать твои каракульки, написанные больной рукой. *Всеми Любовями*… Я то уж не знаю, какими я тебя Любовями люблю, да всегда воздерживаюсь говорить о них, потому что ты когда-то сказал: «Зачем говорить; об этом не говорят».

Из другого письма Софьи Андреевны: «Хоть мне и весело писать тебе, милый мой Левочка, а все-таки я желала бы, чтоб этого уж не нужно было. Тянешь, тянешь день за день, и все делаешься нетерпеливее, и все больше и больше хочется тебя видеть, милый мой друг… Всякий раз, как подумаю о том, что, может быть, ты скоро приедешь, со мной делается радостное содрогание, а жизнь впереди представляется такой счастливой, радостной.

Нынче у меня руки отнимаются писать с гори, что нет от тебя письма. Верно, что-нибудь на почте не так, я уверена, что ты пишешь всякий день. То приходит мне в голову, что это письмо я пишу напрасно, а что ты теперь с болью в руке, в тяжелой шубе едешь домой. Если б ты видел, как Сережа мил. Ползает по полу, дует на бумажку и ползает за ней; опять дует, опять догоняет. Девочка спит, а я все горюю о своем одиночестве, мечтаю о будущем, люблю тебя ужасно, и так грустно, Левочка, на душе, так хотелось бы быть с тобой, мой милый друг».

«Прощай, милый мой друг, – приписывает Лев Николаевич больной рукой в другом письме. – Как я тебя люблю и как целую. Все будет хорошо, и нет для нас несчастья, коли ты меня будешь любить, как я тебя люблю».

Трогательные отношения, взаимная уверенность рассеяли страхи и сомнения и позволили с особенной бережливостью относиться друг к другу, заглушить природную ревность. Софья Андреевна боится, что мужу будет скучно в Москве, и она его спрашивает: «Хорошо ли тебе? Ты обо мне не думай, ты все делай, чтоб тебе весело, и в клуб езди, и к знакомым, к кому хочешь; я теперь насчет всего так покойна, так счастлива тобой и так в тебе уверена, что ничего в мире не боюсь. Это я тебе говорю искренно, и самой приятно в себе это чувствовать».

Через несколько дней она снова убеждает его: «Что ты все дома сидишь; ты бы съездил кое к кому, все бы рассеялся. Я так боюсь, что ты, пожалуй, думаешь, что мне неприятно, а мне, право, ничего, хоть даже к самой А. О.[боленской]».

И Толстой платит жене тем же. Он не позволяет себе ничего, что могло бы хоть немного быть неприятно Софье Андреевне. Работая в Москве над материалами к роману, он узнал, «что у графа Уварова есть переписка его дяди, командовавшего корпусом в 1805 году; поехал к нему, но не застал дома. Предмет же мой прежний, – сообщает он жене, – мне сказали, что принимает, но я, разумеется, не пошел, потому что мне скучно бы было и тебе, может быть, неприятно».

Эти письма 1864 года. А 10 апреля 1865-го Лев Николаевич отмечает в дневнике: «Соню очень люблю, и нам так хорошо!»

26 сентября: «Мы очень хорошо вернулись с Соней домой. Мы так счастливы вдвоем, как, верно, счастлив один из миллиона людей».

Подтверждают эту запись несколько выдержек из переписки того времени.

Лев Николаевич пишет жене с охоты: «Я рад, что в этот день меня развлекли, а то дорогой мне уже становилось за тебя страшно и грустно. Смешно сказать: как выехал, так

почувствовал, как страшно тебя оставлять… Никогда мы перед разлукой не были так равнодушны, как этот раз, и потому мне все о тебе щемит. Прощай, душенька. Пиши все дневником подробнее, хоть по приезде прочту».

«Из чего ты взял, что мы были равнодушны друг к другу перед разлукой, – отвечает ему Софья Андреевна. – Я не была равнодушна; мне было грустно, что ты едешь, а, главное, едешь больной. А твое равнодушие я считала за желчное, нездоровое расположение, в котором ничто не мило и ничто не трогает».

Из другого письма Льва Николаевича: «Я не жалею, что я поехал, и не нарадуюсь. Особенно, когда приеду и увижу тебя и детей, – тебя с твоей улыбкой, и тебя, здоровую, счастливую и спокойную. Только чтоб с тобой ничего не случилось во все это время… Прощай, душенька, Христос с тобой».

Уезжая в Тулу, Лев Николаевич оставляет жене записку: «Я тебя не стал будить; авось, сном ты избавишься от боли. Я уезжаю в 11, стало быть, раньше 6 не приеду. Ежели же что-нибудь интересное, – что очень сомнительно, – задержит, то останусь и вечер. И я паинька, и ты будь паинька, и Сережа будь паинька, не будет…

Я все медлю, хотелось бы тебя поцеловать перед отъездом».

Весеннее письмо Софьи Андреевны к сестре говорит о настроении Толстых в следующем, 1866 году:

«Как у нас теперь в Ясной хорошо, Таня. Просто чудо! Соловьи в эту минуту со всех концов свистят и щелкают. Дождь нынче шел, но тепло, тихо, прелесть. Везде молодая зелень, и так все растет, такая благодатная весна. Сад наш вычистили, и на кругу и на первой дорожке новые лавочки поделали, а то ты бы рассердилась, что все погнило, и сидеть бы негде было. Детки мои, с кабриолетиком, тележками, разными ребятами, целый день по дорожкам бегают, а уж особенная partie de plaisir [95] – это ходить в лес. Они очень поправились и развились. А я страшная такая стала, худая, а спереди целая гора. Смотреть страшно. На тягу я хожу с Левой почти каждый раз, и мы таки бивали в начале весны довольно много вальдшнепов. Очень было хорошо».

Приводим два отрывка из переписки между Ясной и Москвой, куда Лев Николаевич осенью уехал по делам «Войны и мира».

«После обеда еще получил твое первое письмо. И мы оба с мама так принялись хвалить тебя, что самим стало совестно. Как грустна о Машеньке. А Таню маленькую я так и вижу, и сияю при мысли о ней. Прочти им: *«Сережа милый, и Таня милая, и Илюша милый, я их люблю. Сережа теперь большой, он будет писать папаше».* – И вели ему написать и Тане, то есть нарисовать что-нибудь мне».

Так писал Лев Николаевич. Софья Андреевна ответила: «Знаю, милый, и уверена, что ты думаешь о нас всех; а я-то как и думаю и мучаюсь о тебе и как люблю тебя. Нынче всю ночь, решительно, не спала и все мучилась, что письма не было вчера. Если б ты знал, какая была длинная, мучительная и страшная для меня ночь. Надеюсь, что ты мне напишешь, в какой день намерен воротиться домой. То-то я ждать тебя буду!»

Из ее дневника: «Я так радостно вспоминаю 17 сентября с музыкой, которая меня так удивила и обрадовала, за обедом, и при этом милое, любящее выражение Левы, и этот вечер на террасе при свете фонарей и огарочков, и оживленные, молодые фигуры барышень в кисейных белых платьях, маленький добродушный Колокольцев [96] , а, главное, везде и надо всем оживленное, любимое лицо Левочки, который так старался и достигал того, что нам всем было так весело. Я сама удивлялась, что я, солидная, серьезная, танцевала с таким увлечением. Погода была такая чудная, и всем нам было так хорошо… Мы ужасно счастливы во всем. И в наших отношениях, и в детях, и в жизни».

Спешим оговориться, что в этом, 1866 году минутами уже ясно звучали мотивы нового настроения Толстого. Проскальзывали они и раньше, не изменяя общего радостного состояния. Но мы не остановимся пока на этом явлении – ниже посвятим ему особую главу.

А то, что прошло перед нами, – трогательно и поучительно. Молодая женщина поглощена детьми и своею любовью к мужу. Автор «Войны и мира» рисует бессмертные художественные образы, создает новую философскую систему, черпая в любимой семье силы к творчеству. «Мне только то весело, что я делаю, и знаю, что ежели бы ты была, ты бы со мною делала и одобряла. Я не вспоминаю тебя, а сознание тебя всегда при мне. Это не фраза, а это именно так», – пишет Толстой жене из Москвы, куда он уехал работать над материалами к роману.

Интеллектуально Софья Андреевна стоит неизмеримо ниже своего мужа, она не может, разумеется, помогать ему в его умственной работе, но она с семьей создает ту обстановку жизни, которая вдохновляет Толстого к творчеству.

Софья Андреевна не идет дальше технической помощи – переписыванья – и сама признается, что тут «думать не надо, а следишь и пользуешься разными мыслями другого, близкого человека, и оттого хорошо». Но она чутьем угадывает настроение автора, ревниво оберегает его интересы.

«Какая ты умница, что пишешь, чтоб я никому не давал читать моего романа; ежели бы даже это было не так умно, я бы исполнил потому, что ты хочешь» [97] . «Как ты мила, что поняла

мое чувство, отдавая рукописи». (Письмо жене, 7 декабря 1864 г.)

Софья Андреевна вся в муже, которого любит, вся в детях, которых они оба любят [98] . В первые месяцы замужества она боялась, что духовное богатство мужа может дать ему силы жить без ее любви. Но теперь она видит, что его творчество созвучно семейной жизни, и радостно принимает его. На роман она в первую очередь смотрит глазами жены-матери.

«До обеда сидела в бане, окруженная всеми частицами тебя, т. е. детьми и писаньем твоим, которое переписывала. Только такая жизнь мне и возможна без тебя», – пишет Софья Андреевна в 1865 году от М. Н. Толстой, отпустив мужа на охоту.

«Левочка, я больше ни о чем не могу тебе писать, – письмо 1866 года, – потому что вся моя жизнь теперь в англичанке [99] , и все старания употреблены на то, чтобы приучить к ней детей как можно скорее… Что-то ты в Москве, как живешь? Как решился с нашей святыней – твоим романом? Я теперь стала чувствовать, что это твое, стало быть, и мое детище, и, отпуская эту пачку листиков твоего романа в Москву, я точно отпустила ребенка и боюсь, чтобы ему не причинили какой-нибудь вред».

По существу, Софья Андреевна, как женщина, интересуется в произведении больше «миром», чем «войной». Ей более понятен круг интересов, нежели общие вопросы, занимавшие мужа [100] . Она говорит с ним об этом. Он ее хвалит. «А я так и не сказал, за что ты умница. Ты, как хорошая жена, думала о муже, как о самой себе, а я помню, как ты мне сказала, что мое все военное и историческое, о котором я так стараюсь, выйдет плохо, а хорошо будет другое – семейное, характеры, психологическое. Это так правда, как нельзя больше, и я помню, как ты мне сказала это, и всю тебя помню. И, как Таня, мне хочется закричать: «Мама, я хочу в Ясную, я хочу Соню!» Начал писать тебе не в духе, а кончаю совсем другим человеком. Душа моя милая! Только ты меня люби, как я тебя, и все мне нипочем, и все прекрасно» [101] .

«Мир» создан изумительно. Полнота личного счастья породила единственную в мировой литературе семейную хронику. Справедливо отметил критик Н. Н. Страхов, что «никогда еще не было на свете подобного описания супружеской жизни… Любовь между мужем и женою в полном расцвете их сил, чистая, нежная, твердая, незыблемо-глубокая, – в первый раз изображена нам во всей ее высокой силе и без единой прикрасы».

Удовлетворенный семьей Толстой нежными красками описал семейную жизнь своих предков и родственников. Не 50-ти лет, как обещал [102] , а теперь же дал светлый образ свояченицы и жены.

По поводу Наташи Ростовой Л. Н. Толстому приписываются слова: «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа». Редактор мемуаров прототипа «Наташи» М. А. Цявловский полагает, что образ целиком списан с сестры Софьи Андреевны – Т. А. Кузминской. Это не верно.

Мы познакомились с настроением и укладом жизни Толстых в первые годы. Кто не узнает в Софье Андреевне Наташу Ростову после замужества? Сестра Софьи Андреевны вышла замуж в 1867 году, и Лев Николаевич при писании романа не имел возможности наблюдать Татьяну Андреевну в новой ее обстановке. Но жену свою он знал хорошо: ее быструю перемену, когда пошли дети, ее ревность ко всему, что не относилось к семье, ее сочувствие к работе мужа, пока она была тоже в семье, наконец, ее поглощение детской, этот коробящий постороннего зрителя восторг перед желтым, а не зеленым пятном на детской пеленке, – все это узнал Толстой в своей жене и перенес в роман. Толстой оценил Наташу и признал ее жизнь единственно правильной жизнью женщины [103] .

«Война и мир» создана в семье, она вышла из нее. Семья ничем, казалось бы, не способствовала творчеству, а вместе с тем именно она порождала его. Эта полоса духовной деятельности была необходимой для перехода в следующую полосу, и здесь семья помогла Толстому. Нельзя говорить о неудачном соединении жизни обыденной женщины с жизнью гениального Толстого, – мы видели как благотворно влияла эта «обыденность» на его творчество. И разгадку влияния надо искать не в личных достоинствах или недостатках, а в таинственной сущности любви, – отношений между *мужчиной* и *женщиной,* тех самых, которые заставили Толстого опровергнуть прежние увлечения, остановить выбор на Софье Андреевне, получить от близости с ней полное удовлетворение и, вопреки логике, черпать из этой любви силы к творчеству. Разгадка эта – в таинственной сущности тех отношений, которые, породив плодотворное счастье, потом разбили его и привели к семейной трагедии.

Сторонники «несчастного» брака могут обвинить нас в тенденциозном подборе материала. Как можно, – скажут они, – обойти очевидную разницу характеров мужа и жены; ясно, что Лев Николаевич из опасения нарушить семейный строй, скрепя сердце, отказался от многого, чему прежде служил. В дневнике Софья Андреевна сама признается, что ненавидит народ за то, что он отвлекает от нее внимание Толстого, и мы как будто не придали этому значения. Почему, доведя описание до 1866 года, мы не привели записи Льва Николаевича, сделанной им еще в 1863 году; – в ней он подписывает смертный приговор своему

«семейному счастью»! По ней одной очевидно, что в действительности было далеко не так благополучно, как представлено в нашей книге. Вот эта запись.

«Где я, – тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает? Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю. Все писанное в этой книжке почти вранье – фальшь. Мысль, что она и тут читает из-за плеча, уменьшает и портит мою правду. Нынче ее видимое удовольствие болтать и обратить на себя внимание Эрленвейна [104] и безумная ночь вдруг подняли меня на старую высоту правды и силы. Стоит это прочесть и сказать: «да, знаю – ревность» и еще успокоить и еще что-нибудь сделать, чтобы успокоить меня, чтобы скинуть меня опять во всю с юности ненавистную пошлость жизни. А я живу в ней вот 9 месяцев. Ужасно. Я игрок и пьяница. Я в запое хозяйства погубил невозвратимые 9 месяцев, которые могли бы быть лучшими и которые я сделал чуть ли не из худших в жизни. Чего мне надо? Жить счастливо, то есть быть любимым ею и собою, а я ненавижу себя за это время. Сколько раз я писал: нынче кончено. Теперь не пишу. Боже мой, помоги мне. Дай мне жить всегда в этом сознании Тебя и своей силы. Безумная ночь. Я Тебя ищу, чем бы обидеть невольно. Это скверно и пройдет, но не сердись, я не могу не любить Тебя.

Должен приписать для нее – она будет читать – для нее я пишу не то, что неправду, но, выбирая из многого то, что для себя одного я не стал бы писать. То, что ей может другой человек – и самый ничтожный – быть приятен, понятно мне и не должно казаться несправедливым для меня, как ни невыносимо, потому что я за эти 9 месяцев самый ничтожный, слабый, бессмысленный и пошлый человек.

Нынче луна подняла меня кверху, но как, этого никто не знает. Недаром я думал нынче, что такой же закон тяготенья, как материи к земле, существует для того, что мы называем духом, к духовному солнцу…

Опять в третий раз сажусь писать. Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с материальными условиями – жена, дети, здоровье, богатство. Юродивый прав. Могут быть жена, дети, здоровье и др., но не в том. Господи, помилуй и помоги мне».

Этой выдержки мы не приводили сознательно, чтобы теперь, на общем фоне, рельефнее выделить ее и осмыслить ее содержание.

Здесь можно различить два момента: ревность (Лев Николаевич был очень ревнив) [105] и угнетенное состояние духа

переходного времени. На этом, последнем, вопросе мы останавливались выше и знаем, как временами тяжело было Толстому, пока не определился твердо его новый путь. В 1863 году такое состояние могло быть вызвано еще тем, что внешние формы нового образа жизни уже давно обозначились (довольство состоятельной дворянской семьи, интересы хозяйства и дома), а внутреннее содержание (интенсивная интеллектуальная деятельность художника-философа) еще не определилось, и внешний голый остов временами коробил совесть Толстого.

На этот раз угнетенное состояние было довольно продолжительно. Еще 2 июня 1863 г. он писал в дневнике о «тяжелом [для него] времени физического и – оттого ли или самого собой – нравственного тяжелого и безнадежного сна». И это настроение под влиянием порыва ревности вызвало такую исключительную запись.

Говоря о спокойной жизни Толстых в первые годы, нельзя, разумеется, представить ее, как безболезненную быструю смену состояний. Одно отходило, другое по инерции оставалось дольше, но не имело прежнего значения. Школа закрыта была вскоре, и, хотя педагогические вопросы продолжали интересовать Толстого, он уже не увлекался этой работой и смотрел на нее, как на *долг*.

Отрешившись от общественной деятельности, Лев Николаевич не мог все же равнодушно проходить мимо жизни и реагировал на ее явления. Он защищал на суде отданного под расстрел солдата Шибунина, тяжело переживал надвигавшийся в 1865 году голод [106] . Но это было далеко от того, что было раньше, когда Толстой инстинктивно порывался к деятельности, растворяясь в ней, и от того, что будет через несколько лет, когда, вырабатывая цельное мировоззрение, он войдет в новую жизнь.

В это переходное время Лев Николаевич сузил свой масштаб до обычных житейских рамок, и в нем не было протеста против них, так как по результатам они оказались далеко не бесценными. Сам Толстой в те годы признавал за этим периодом своей жизни большое содержание; он не только не жалел о перемене, но дорожил новым как единственно важным. Он не тяготился им, а с удовлетворением брал из него то, что в этот переходный момент ему было нужно.

Приведенная выдержка из дневника отражает временное состояние, а общий итог, конечная оценка этого периода дана в нескольких письмах к А. А. Толстой. В них подчеркнута полная удовлетворенность Льва Николаевича его душевным настроением, отмечавшим гармоническое объединение интересов семьи и интеллектуального творчества.

Письма 1865 года: «Я как-то раз вам писал, что люди

ошибаются, ожидая какого-то такого счастья, при котором нет ни трудов, ни обманов, ни горя, а все идет ровно и счастливо. Я тогда ошибался: такое счастье есть, и я в нем живу 3-й год, и с каждым днем оно делается ровнее и глубже. И материалы, из которых построено это счастье, самые некрасивые – дети, которые (виноват) мараются и кричат, жена, которая кормит одного, водит другого и всякую минуту упрекает меня, что я не вижу, что они оба на краю гроба, и бумага и чернила, посредством [которых] я описываю события и чувства людей, которых никогда не было… Я страшно переменился с тех пор, как женился, и многое из того, что я не признавал, стало мне понятно и наоборот».

По поводу женитьбы Аксакова [107] Лев Николаевич сказал ему: «Женитесь. Не в обиду вам будь сказано, я опытом убедился, что человек неженатый до конца дней мальчишка. Новый свет открывается женатому».

«А как переменяешься от женатой жизни, я никогда бы не поверил. Я чувствую себя яблоней, которая росла с сучками от земли и во все стороны, которую теперь жизнь подрезала, подстригла, подвязала и подперла, чтобы она другим не мешала и сама бы укоренялась и росла в один ствол. Так я и росту; не знаю, будет ли плод и хорош ли, или вовсе засохну, но знаю, что росту правильно».

«Я и всегда был понятен, а теперь еще более, – теперь, как я вошел в ту колею семейной жизни, которая, несмотря на какую бы то ни было гордость и потребность самобытности, ведет по одной битой дороге умеренности, долга и нравственного спокойствия. И прекрасно делает! – Никогда я так сильно не чувствовал всего себя, свою душу, как теперь, когда порывы и страсти знают свой предел. Я теперь уже знаю, что у меня есть и душа и бессмертная (по крайней мере, часто я думаю знать это), и знаю, что есть Бог».

Прибавить к этому нечего.

VI

Описывая в предыдущих главах первые годы счастливой семейной жизни Толстых, мы неоднократно подчеркивали, что в этот период ничто не нарушало согласия, жизнь была очень бодрой и удовлетворенной. Недоразумения носили случайный характер, и не было тех роковых разногласий, которые существенно изменяли бы радостный строй.

В эти годы Л. Н. Толстой переживал временами угнетенное настроение, но это состояние вызывалось не разочарованием в семье или в жене, а другими причинами общего порядка.

В «Исповеди» он говорит, что, начиная с 1874 года, он испытывал порою мучительные «остановки жизни» – терялся, не

знал, как ему жить, что делать, и впадал в уныние. Основной вопрос: «есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожился бы неизбежной, предстоящей мне смертью» – не получил еще ясного разрешения. Но этот ужас перед смертью, лишающий жизнь всякой прелести и смысла, стал преследовать Толстого много раньше, еще до женитьбы. Впервые особенно остро почувствовал он недоумение, возмущение против жестокой жизни в 1860 году, после смерти любимого брата Николая, умершего на его руках. – «Страшно оторвало меня от жизни это событие. Опять вопрос: зачем? Уж недалеко до отправления туда. Куда? Никуда», – записал Лев Николаевич в дневнике через месяц после кончины брата [108] .

Призрак смерти, преследовавший молодого Толстого, не оставил его даже и в первые годы семейной жизни, когда он полностью растворился в своей творческой любви, когда он чувствовал себя вполне удовлетворенным. Мысль о смерти вызывала мрачное состояние, и оно в том или ином виде отражалось на семейных отношениях. Не эти отношения – в то время вполне гармоничные – порождали тяжелое настроение. Причиной их был основной вопрос жизни, стоявший вне зависимости от нового уклада жизни Толстых.

Через полгода после женитьбы, 1 марта 1863 года, он записывает в дневнике: «Мы недавно почувствовали, что страшно наше счастье. Смерть, и все кончено. Неужели кончено? Бог. Мы молились. Мне хотелось чувствовать, что счастье это – не случай, а *мое».*

Вскоре после рождения первого ребенка, когда душевное состояние Льва Николаевича было подавленным, та же мысль о смерти усилила это настроение, и оно сразу сказалось на его отношении к жене. В одну из таких минут он начал трогательное описание родов (приведено выше), но потом на полуфразе оборвал, обратись к изложению своего нового состояния, стал писать «о настоящем, мучительном». «Ее характер портится с каждым днем. Я узнаю в ней и Полиньку [109] и Машеньку [110] , с ворчаньем и излобленными колокольчиками. Правда, что это бывает в то время, как ей хуже; но несправедливость и спокойный эгоизм пугают и мучают меня. Она же слыхала от кого-то и затвердила, что мужья не любят больных жен, и вследствие этого успокоилась в своей правоте. Или она никогда не любила меня, а обманывалась? Я пересмотрел ее дневник – затаенная злоба на меня дышит из-под слов нежности. В жизни часто то же. – Если это так, и все это с ее стороны ошибка, то это ужасно. Отдать все – не холостую кутежную жизнь у Дюссо [111] и метресок, как другие женившиеся, а всю поэзию любви, мысли и деятельности

народной променять на поэзию семейного очага, эгоизма ко всему, кроме как к своей семье, и на место всего получить заботы кабака [?], детской присыпки, варенья, с ворчаньем и без всего того, что освещает семейную жизнь, и без любви и семейного тихого и гордого счастья. А только порывы нежности, поцелуи и т. д. Мне ужасно тяжело. Я еще не верю. Я не болен, не расстроен был целый день – напротив. С утра я прихожу счастливый, веселый и вижу *графиню,* которая гневается и которой *девка Душка* расчесывает волосики, и мне представляется Машенька в ее дурное время, и все падает, и я, как ошпаренный, *боюсь* всего и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично. Мне дают поцелуи по привычке нежные, и начинается придиранье к Душке, к тетеньке, к Тане, ко мне, ко всем, и я не могу переносить этого спокойно, потому что все это не просто дурно, но ужасно в сравнении с тем, что я желаю. Я не знаю, чего бы я не сделал для нашего счастия, а сумеют обмельчить, опакостить отношения так, что я как будто жалею дать лошадь или персик. Объяснять нечего. Нечего объяснять… А малейший проблеск понимания и чувства – и я опять весь счастлив и верю, что она понимает вещи, как и я. Верится тому, чего сильно желаешь. И я доволен тем, что только меня мучают. И та же черта, как и у Машеньки, какой-то болезненной и капризной самоуверенности и покорности своей мнимой несчастной судьбе. Уже 1 [час] ночи, а я не могу спать, еще меньше идти спать в ее комнату с тем чувством, которое давит меня, а она постонет, когда ее слышат, а теперь спокойно храпит. Проснется и в полной уверенности, что я несправедлив, и что она несчастна, что она несчастная жертва моих переменчивых фантазий – кормить, ходить за ребенком. Даже родитель того же мнения. Я не дам ей читать своего дневника, но не пишу всего. Ужаснее всего то, что я должен молчать и будировать, как я ни ненавижу и не презираю такого состояния. Говорить с ней теперь нельзя, а может быть, еще все бы объяснилось. Нет, она не любила и не любит меня. Мне это мало жалко теперь, но за что было меня так больно обманывать».

На общем фоне удовлетворенной жизни запись эта очень интересна. Она показывает, как сильно отражается душевное состояние Толстого на его личной жизни. В эти месяцы мысль о смерти, о приближающейся развязке мучает Льва Николаевича, и скрытые подземные удары заставляют его с особенной нервностью и подозрительностью относиться к окружающему, отвергать то, что прежде полностью принимал, находить во всем лишь отрицательные стороны.

Перед лицом смерти его коробит мелочность семейных забот, барские замашки жены. Он видит, как далеки ее интересы от его

мучительной тоски, как мало ей близки его глубокие волнения, и он опять сомневается, обвиняет жену и не отдает себе отчета в том, что именно эта тоска заставляет его так раздраженно относиться к жене, не чувствует, что при нормальном, спокойном настроении он, вероятно, воспринимал бы и все оценивал иначе.

В этой записи отразились также разногласия Толстых в вопросе о кормлении сына. Оно причиняло Софье Андреевне большие физические мучения, и она вынуждена была взять кормилицу. Лев Николаевич протестовал [112] . Но не в этом главная причина раздраженного отношения и минутного охлаждения Толстого к жене. Все объясняется общим подавленным состоянием, лишившим его возможности спокойно принимать жизнь. В следующей записи, сделанной уже в октябре (два месяца был перерыв в дневнике), Лев Николаевич сам признается, что «все это прошло и все неправда. Я ею счастлив; но я собою недоволен страшно. Я качусь, качусь под гору смерти и едва чувствую в себе силы остановиться. А я не хочу смерти, а хочу и люблю бессмертие. Выбирать незачем. Выбор давно сделан. Литература-искусство, педагогика и семья» [113] .

Неизвестно, повторялись ли эти переживания в следующем, 1864 году, об этом не осталось никаких документов, но по одному рассказу Т. А. Кузминской можно судить, какая глубокая подсознательная работа происходила в нем. Зимою, после несчастья на охоте, когда Лев Николаевич сломал руку, он уехал для лечения в Москву. Все его интересы, все его мысли были в то время дома, в семье и в творчестве. Все было ясно для него, все было открыто перед ним; счастливая семья и искусство заполняли его внимание. Но в одну критическую минуту, в полубреду, Лев Николаевич вскрыл свою подсознательную жизнь, свои сомнения, которых, быть может, сам не подозревал.

В Москве пришлось делать операцию под хлороформом. Татьяна Андреевна присутствовала, и в воспоминаниях вот что она, между прочим, рассказывает: «Лев Николаевич очень спокойно приступил к операции, но не мог заснуть от хлороформа. Возились долго. Наконец, он вскочил с кресла, бледный, с открытыми блуждающими глазами; откинув от себя мешочек с хлороформом, он в бреду закричал на всю комнату:

– Друзья мои, жить так нельзя… Я думаю… Я решил…

Он не договорил. Его посадили в кресло, подливая еще хлороформ. Он стал окончательно засыпать».

Но еще много предстояло Толстому пережить и перечувствовать, прежде чем прийти к окончательному выводу. Что-то подготовляло минутные вспышки тревоги, но они быстро сглаживались, не оставляя большого следа, и ничто пока не

нарушало нормального течения жизни.

Нет возможности проследить, как постепенно зарождались в душе Толстого эти сомнения, – не всегда находят они отражение в документах, – но в одной записи дневника 1865 года снова встречаются уже звучавшие жалобы.

«Я неспокоен. Я не знаю, болен ли я и от болезни не могу думать правильно и работать, или я распустился так, что не могу работать. Ежели бы я мог правильно трудиться, как бы я мог быть счастлив. Целый день был дома, пытался работать – нейдет. Недоволен своей работой [114] . И мрачные мысли не дают покоя. У меня мало [осталось жизни?] – нет надежды. Как будто я не надеюсь на будущее. Предчувствие это или распущенность? Против распущенности употреблю все, что в моей власти».

На другой день: «Все то же лихорадочное состояние».

Это настроение повторялось в следующем, 1866 году. В письмах к жене Лев Николаевич пишет: «Спал я отчего-то дурно; проснулся в 7-м часу, знаешь, в том нервном раздражении, которое предшествует моему 70-летнему состоянию, которое и было». «Утро точь-в-точь то же, что и прежние дни. Но плохо, что немного 70 лет все эти дни».

Даже в самую счастливую пору семейной жизни время от времени Толстого охватывают томительные минуты тоски, ужаса перед бессмысленным концом. И это состояние возникает само собой, изнутри, без каких-либо внешних поводов. Оно резким диссонансом звучит в общем радостном строе и быстро замирает. Но когда к этому душевному предрасположению присоединяются неожиданные потрясения – смерть, ничем не оправдываемый уход из жизни, – душевное смятение с невероятной силой вновь охватывает Толстого.

В начале 1867 года хворала жена близкого друга Толстого Дарья Александровна Дьякова. А. Е. Берс сообщал в Ясную Поляну, что «ей плохо, было получше, а теперь опять нехорошо». 17 марта она скончалась. В день смерти «в 5 часов села она обедать, и, поевши суп, она почувствовала дурноту; Дмитрий Алексеевич [муж] отнес ее на диван, где она и впала в совершенное беспамятство и хрипение. Это продолжалось около двух часов… Переход в смерть был едва заметен».

Лев Николаевич уехал в Москву на похороны и здесь узнал о новой смерти – умерла в Италии сестра А. А. Толстой.

Смерть эта не могла не вызвать негодования на человеческую судьбу: Александра Андреевна, «оставшаяся в Петербурге, получила телеграмму, что Елизавета Андреевна подавилась костью и умирает. Не успела она еще собраться в дорогу, как получила другую телеграмму, что она уже умерла».

Обе смерти произвели удручающее впечатление на Льва Николаевича, о чем он писал А. А. Толстой: «Бывает время, когда забудешь про нее – про смерть, а бывает так, как нынешний год, что сидишь со своими дорогими, притаившись, боишься про своих напомнить и с ужасом слышишь, что она [то] там, то здесь бестолково и жестоко подрезывает иногда самых лучших и нужных».

Это настроение не покидало Толстого несколько месяцев, и оно заметно отразилось на семье. Здесь что-то не ладилось. Лев Николаевич часто жаловался на нездоровье, хандрил и был болезненно раздражителен, говорил часто о смерти… Это желчное раздражение повлияло на их отношения, другой причины к этому не было, как он сам сознавал позднее. «Так как моя комната была рядом с его кабинетом, – рассказывает Т. А. Кузминская [115] , – то и меня не менее Сони поразил неожиданный гнев его.

Соня рассказывала мне, что она сидела наверху у себя в комнате на полу у ящика комода и перебирала узлы с лоскутьями. (Она была в интересном положении.) Лев Николаевич, войдя к ней, сказал:

– Зачем ты сидишь на полу? Встань!

– Сейчас, только уберу все.

– Я тебе говорю, встань сейчас, – громко закричал он и вышел к себе в кабинет.

Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услыхала падение чего-то, стук разбитого стекла и возглас:

– Уйди, уйди!

Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитые посуда и термометр, висевший всегда на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку. Мне стало и жалко и страшно – я никогда не видала его таким, Я ни слова не сказала ему и побежала к Соне. Она была очень жалка. Прямо как безумная, все повторяла: «За что? что с ним?»

Она рассказала мне уже немного погодя: – Я пошла в кабинет и спросила его: «Левочка, что с тобой?» – «Уйди, уйди!» – злобно закричал он. Я подошла к нему в страхе и недоумении, он рукой отвел меня, схватил поднос с кофеем и чашкой и бросил все на пол. Я схватила его руку. Он рассердился, сорвал со стены термометр и бросил его на пол.

Так мы с Соней никогда и не могли понять, что вызвало в нем

такое бешенство. Да и как можно узнать эту сложную внутреннюю работу, происходящую в чужой душе. Но такая бурная сцена была единственной в их жизни, и никогда, насколько я знаю, больше не повторялась».

Здесь подобраны документы за несколько лет. В общей гамме переживаний мрачные мотивы носили случайный характер, они быстро растворялись в основной радостной теме, но все же эти зародыши, грозные предвестники грядущего душевного кризиса, почти всегда отражались на семейных отношениях. Они ненадолго перебивали их, равновесие быстро восстанавливалось, и по-прежнему спокойно протекала нормальная жизнь мыслителя-художника, помещика и доброго семьянина.

В предыдущих главах наше описание доведено до 1866 года. Приведенный выше рассказ Т. А. Кузминской относится к маю 1867 года.

Душевные потрясения обычно осложняются у Толстого физическим недомоганием; он становится мнителен, жалуется на нездоровье. В июне этого года он отправляется в Москву, к профессору Захарьину и по делам издания «Войны и мира». Здесь он советуется с докторами (ничего серьезного не оказалось), живо интересуется материальным успехом издания, увлечен покупкой коровы для хозяйства. В письмах к жене он излагает подробные расчеты денежной стороны издания, пишет и о корове [116] .

Гнетущая мысль о смерти понемногу рассеивается. Льву Николаевичу «самому жить хочется», и он снова отдается интеллектуальному творчеству и любви к жене.

«Кроме мысленных потребностей нет ничего на свете, чтобы хоть немножко занимало меня и отвлекало от мысли о тебе и доме, – пишет он Софье Андреевне. – Это вчера мне показал театр. Ушел от скуки, не доглядев новую пьесу и игранную прекрасно. Скучно стало». А «подъезжая к Москве, как я увидал эту пыль и толпу и почувствовал жар и шум, так страшно и гадко стало, что захотелось скорее бежать к тебе под крыло. Я всегда тебя еще больше люблю, когда от тебя уезжаю… Что твои зубы? Неужели ты купаешься? Как ты мне мила; как ты мне лучше, чище, честнее, дороже, милее всех на свете. Гляжу на твои детские портреты и радуюсь. Я, верно, скоро уеду: и потому, что мне все удачно идет… и потому, что без тебя нет во мне никакой экспрессии». «Сижу один в комнате во всем верху; читал сейчас твое письмо, и не могу тебе описать всю нежность, до слез нежность, которую к тебе чувствую, и не только теперь, но всякую минуту дня. Душенька моя, голубчик, самая лучшая на свете! Ради Бога, не переставай писать мне каждый день до субботы… Без тебя мне не то, что грустно, страшно, хотя и это бывает, но

главное – я мертвый, не живой человек. И слишком уж тебя люблю в твоем отсутствии. Так, что глупо. Прощай, милая, голубчик».

Вполне счастлива в любви и Софья Андреевна. Она сравнивает свою супружескую жизнь с отношениями ее младшей сестры и А. М. Кузминского, – они повенчались в этом году, – и ее выводы не в пользу Кузминских. Она пишет мужу в Москву:

«То ли дело у нас с тобой, как все ясно и хорошо; а любви слишком много, уж очень трудно расставаться, и все за тебя страшно. Неужели Таня сумеет удовольствоваться такой малой и молодой любовью Саши? Я понять этого не могу. Вот я знаю, что ты меня любишь, а все-таки часто думаю: «еще, еще». И сомневаюсь, и нужны доказательства, и отыскиваю в тебе озлобление к себе, чтоб ты все мне говорил: «любишь, любишь и любишь».

Левочка, я нынче очень глупа весь день, оттого, что не спала ночь, и мое письмо глупое, и я не умею писать ясно то, что думаю, но это так и быть.

Воображаю, как ты деятельно принялся за свои дела; как-то ты их кончишь? Ради Бога, будь спокойнее, веселее, не ссорься ни с кем, здоровье береги, обо мне побольше думай, и насчет нас будь покоен, я всех сберегу и сама глупостей делать не буду. А если приедешь пораньше, то ты знаешь, какое это для меня будет счастье. Боюсь тебя об этом просить, но не могу [не просить?], потому что это составляет мою самую задушевную мысль.

Завтра еду в церковь причащать детей с мама. Я вообще без тебя буду очень деятельна и подвижна, особенно буду отдавать себя больше детям… Левочка, милый, пиши мне аккуратнее всякий день, а то я, право, с ума сойду, если не получу от тебя ни одного письма… Я тебя жду в субботу au plus tard [117] . Это на словах. А в душе жду в среду, четверг, пятницу и т. д. Прощай, голубчик милый, целую тебя крепко и нежно и страстно».

В 1868 году Лев Николаевич «спокоен и счастлив, как только можно, и внешними условиями жизни и своим трудом, и, главное, семьей». Счастлива и Софья Андреевна. «Скоро 6 лет я замужем, – записывает она в дневнике. – И только больше и больше любишь. Он часто говорит, что уж это не любовь, а мы так сжились, что друг без друга не можем быть. А я все так же беспокойно и страстно, и ревниво, и поэтично люблю его, и его спокойствие иногда сердит меня… Смешно читать свой журнал, – замечает она по поводу своих мрачных записей. – Какие противоречия, какая я будто несчастная женщина. А есть ли счастливее меня? Найдутся ли еще более счастливые, согласные супружества? Иногда останешься одна в комнате и засмеешься

своей радости и перекрестишься: дай Бог долго, долго так».

Но в 1869 году снова бьет грозная тревога, в необычайной форме, с невероятной силой.

В феврале Лев Николаевич уезжает в Москву, «оживленный и веселый». Все время он занят окончанием своего художественно-философского произведения и основательным изучением европейских мыслителей. Об этом он пишет в августе Фету.

«Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? – Не перестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (прочел и Канта). И верно ни один студент в свой курс не учился так много и столь много не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр – гениальнейший из людей. Вы говорили, что он так себе кое-что писал о философских предметах. Как кое-что? Это весь мир в невероятно ясном и красивом отражении. Я начал переводить его… Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться имя его неизвестным? Объяснение только одно, то самое, которое он так часто повторяет, что, кроме идиотов, на свете почти никого нет».

Но что-то уже нарушило спокойную жизнь. Лев Николаевич опять тревожен. Он снова возвращается все к тому же вопросу о смерти, пишет о ней А. А. Толстой, получает от нее сочувственный ответ. Жена не понимает его настроения, ей неприятно дружеское участие Александры Андреевны, и она даже ревнует к ней.

«Получила письмо к тебе от Alexandrine [118] из Ливадии, писанное в день твоего рождения. Она тебе много нежностей пишет, и мне досадно. Поет на мотив твоего последнего к ней письма и твоего последнего настроения – приготовления к смерти, и я подумала, что, может быть, лучше было бы, если б ты на ней женился во время оно, вы бы лучше понимали друг друга, она же так красноречива, особенно на французском языке. Одно, что она справедливо заметила, что она от своей несчастной любви пришла к тому, что смотрит на все с точки зрения смерти, но пишет, что не понимает, каким путем дошел до этого ты, и, кажется, думает, что не тем же ли путем и ты к тому пришел, и я усомнилась с ней вместе, что не от несчастной любви, а от того, что тебе любовь слишком мало дала, ты дошел до этой успокоительной точки зрения на жизнь, любовь и счастье. Я нынче как-то в себя ушла, и из себя высматриваю, где моя успокоительная дорожка, и захотелось мне выйти как-нибудь из моей житейской суеты, которая меня всю так поглотила; выйти на свет, заняться чем-нибудь, что бы меня больше удовлетворяло и

радовало, а *что* это такое – я не знаю».

Равномерный ход жизни, однако, не нарушен. Лев Николаевич прилежно «учится», подготовляет к печати VI том «Войны и мира», предпринимает поездку в Пензенскую губернию для покупки нового имения. И вот здесь, в пути, он испытывает странное состояние. О нем он с дороги пишет жене.

«Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай Бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть без семьи. В эту поездку я в первый раз почувствовал, до какой степени я сросся с тобой и с детьми. Я могу оставаться один в постоянных занятиях, как я бываю в Москве, но как только без дела, я решительно чувствую, что не могу быть один» [119] .

Подробно Толстой рассказывает об этом событии в автобиографических «Записках сумасшедшего».

«Меня очень занимало, как и должно быть, увеличение нашего состояния и желание увеличить его самым умным способом, – лучше, чем другие. Я узнавал тогда везде, где продаются имения, и читал все объявления в газетах. Мне хотелось купить так, чтобы доход или лес с именья покрыл бы покупку, и я бы получил именье даром. Я искал такого дурака, который бы не знал толку, и, как мне показалось, что я нашел такого.

Именье с большими лесами продавалось в Пензенской губернии. По всему, что я разузнал, выходило, что продавец именно такой дурак, и леса окупят ценность имения. Я собрался и поехал.

Ехали мы сначала по железной дороге (я ехал с слугою), потом поехали на почтовых, перекладных. Поездка была для меня очень веселая. Слуга, молодой, добродушный человек, был так же весел, как и я. Новые места, новые люди; мы ехали, веселились. До места нам было двести с чем-то верст. Мы решили ехать, не останавливаясь, только переменяя лошадей. Наступила ночь, мы все ехали. Стали дремать. Я задремал, но вдруг проснулся: мне стало чего-то страшно. И, как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный, – кажется, никогда не заснешь. «Зачем

я еду?» пришло мне вдруг в голову. Не то, чтобы не нравилась мысль купить дешево имение, но вдруг представилось, что мне не нужно, незачем в эту даль ехать, что я умру тут, в чужом месте. И мне стало жутко. Сергей, слуга, проснулся; я воспользовался этим, чтоб поговорить с ним. Я заговорил о здешнем крае; он отвечал, шутил, но мне было скучно. Заговорил о домашних, о том, как мы купим. И мне удивительно было, как он весело отвечал. Все ему было хорошо и весело, а мне все было постыло. Но все-таки, пока я говорил с ним, мне было легче. Но, кроме того, что мне скучно, жутко было, я стал чувствовать усталость, желание остановиться. Мне казалось, что войти в дом, увидать людей, напиться чаю, а главное, заснуть – легче будет.

Мы подъезжали к городу Арзамасу.

– А что, не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко?

– Что же, отлично.

– Что, далеко еще до города?

– От той версты – семь.

Ямщик был степенный, аккуратный и молчаливый. Он и ехал нескоро и скучно.

Мы поехали. Я замолчал, мне стало легче, потому что я ждал впереди отдыха и надеялся, что там все пройдет. Ехали-ехали в темноте, – ужасно мне казалось долго. Подъехали к городу. Народ весь уж спал. Показались в темноте домишки, зазвучал колокольчик и лошадиный топот, особенно отражаясь, как это бывает, около домов. Дома пошли кое-где большие, белые. И все это невесело было. Я ждал станции, самовара и отдыха – лечь.

Вот подъехали, наконец, к какому-то домику с столбом. Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Так что жутко даже стало. Я вылез потихоньку.

Сергей бойко, живо вытаскивал, что нужно, бегая и стуча по крыльцу. И звуки его ног наводили на меня тоску. Я вошел.

Был коридорчик; заспанный человек с пятном на щеке, – пятно это мне показалось ужасным, – показал комнату. Мрачная была комната. Я вошел – еще жутче мне стало.

– Нет ли комнатки, отдохнуть бы?

– Есть нумерок. Он самый.

Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон, и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что, когда я

очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге. Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то, страшного, и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я – вот он, я весь тут. Ни пензенское, никакое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться, и не могу. Не могу уйти от себя.

Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, думал уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило все. Мне так же, еще больше страшно было.

Да что это за глупость, – сказал я себе. – Чего я тоскую, чего боюсь?

– Меня, – неслышно отвечал голос смерти. – Я тут. Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она – вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный со свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, – все говорило то же. Ничего нет в жизни, есть смерть, а ее не должно быть.

Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, об жене. Ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, – такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотреть на спящих, еще раз попытался заснуть; все тот же ужас, – красный, белый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало…

К ночи мы приехали на место. Весь день я боролся с своей тоской и поборол ее; но в душе был страшный осадок: точно случилось со мной какое-то несчастие, и я только мог на время забывать его, но оно было там, на дне души, и владело мной…

Мы приехали вечером. Старичок-управляющий, хотя не радостно (ему досадно было, что продается именье), но хорошо принял меня. Чистые комнатки с мягкой мебелью. Новый, блестящий самовар, крупная чайная посуда, мед к чаю. Все было хорошо. Но я, как старый забытый урок, неохотно спрашивал его об именьи. Все невесело было. Ночь, однако, я заснул без тоски. Я приписал это тому, что опять на ночь молился.

И потом начал жить по-прежнему, но страх этой тоски висел надо мной с тех пор всегда. Я должен был, не останавливаясь и, главное, в привычных условиях жить. Как ученик, по привычке, не думая, сказывает выученный наизусть урок, так я должен был жить, чтобы не попасть опять во власть этой ужасной, появившейся в первый раз в Арзамасе тоски».

VII

Дальнейшее изложение встречает на своем пути большие трудности: нет регулярных дневников ни Софьи Андреевны, ни Льва Николаевича. Отдельные записи случайны и незначительны. Таким образом, от читателя скрыт внутренний процесс жизни, и как раз в те годы, которые представляют наибольший интерес. По оставшимся документам – по переписке – трудно воссоздать полную и точную картину переживаний, так как она захватывает отдельные моменты, да и письма предназначены всегда для другого лица, а от корреспондента, хотя бы самого близкого, часто скрывается подлинное настроение, отношения идеализируются или, под влиянием минуты, подвергаются искажению в обратную сторону. Но документы эти – *первоисточник;* мимо него нельзя пройти, хотя бы он и не давал исчерпывающего ответа.

И теперь, за неимением более точного материала, мы обращаемся к письмам – они помогут нам разрешить стоящий на очереди нашего исследования сложный вопрос.

12 февраля 1871 года родился у Толстых пятый ребенок – дочь Мария.

Роды были очень тяжелые, и мать, заболев родильной горячкой, была при смерти. Эта болезнь сильно повлияла на Софью Андреевну, ее пугала возможность повторения физических страданий при следующих родах, и у нее явилось желание избежать новой беременности. Такое решение жены было совершенно неприемлемо для Льва Николаевича. Брак без деторождения представлялся ему явлением уродливым, порочным, и у него возникала даже мысль о разрыве. Об этом и Лев Николаевич, и Софья Андреевна много позднее, уже в старости, рассказывали близким, относя разногласия именно к году рождения Марии Львовны. С этими свидетельствами почти

совпадает запись Льва Николаевича в дневнике, сделанная 7 июня 1884 года: «Началось с той поры, 14 лет, как лопнула струна, и я сознал свое одиночество».

Некоторые лица, знакомые с интимной жизнью Толстых, полагают, что отмеченное выше обстоятельство сыграло роковую роль в отношениях супругов, что оно послужило основанием к дальнейшему охлаждению и что семейный разлад так повлиял на Льва Николаевича, что он физически заболел и принужден был уехать лечиться на кумыс.

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы должны с особой внимательностью изучить сохранившиеся документы и по ним проследить действительность.

Физическое недомогание и угнетенное состояние появились у Толстого много раньше рождения Марии Львовны. Мы отметили, что Лев Николаевич даже в эпоху радостного увлечения интеллектуальным творчеством и семейными интересами переживал порою тягостное настроение и отчаяние перед основным неразрешимым вопросом жизни. В год окончания «Войны и мира», в тот самый, когда он испытал ужас «арзамасской тоски», Лев Николаевич продолжал занятия философией, «восхищался Шопенгауэром, считал Гегеля пустым набором фраз. Он сам много думал и мучительно думал, говорил часто, что у него мозг болит, что в нем происходит страшная работа, что для него все кончено, умирать пора и прочее. Потом эта мрачность прошла. Он стал читать русские сказки и былины» [120] . В следующую зиму Толстой «очень много читал Шекспира, Гёте, Пушкина, Гоголя, Мольера». «Я ничего не пишу, – сообщает он Фету, – но поговорить о Шекспире, о Гёте и вообще о драме очень хочется. Целую зиму нынешнюю я занят только драмой вообще. И как это всегда случается с людьми, которые до 40 лет никогда не думали о каком-нибудь предмете, не составили себе о нем никакого понятия, вдруг с 40-летней ясностью обратят внимание на новый ненанюханный предмет, им всегда кажется, что они видят в нем много нового… Хотелось бы мне тоже почитать. Софокла и Еврипида». В конце года Толстой начинает изучать греческий язык. «С утра до ночи учусь по-гречески, – снова сообщает он Фету. – Я ничего не пишу, а только учусь… Можете торжествовать: без знания греческого – нет образования. Но какое знание? Как его приобретать? Для чего оно нужно? На это у меня есть ясные как день доводы». Эти занятия происходили, однако, в обстановке далеко не спокойной. О душевном состоянии Толстого есть указания в записках Софьи Андреевны. «Все это время бездействия, по-моему, умственного отдыха, его очень мучило. Он говорил, что ему совестна его

праздность не только передо мной, но и перед людьми и перед всеми. Иногда ему казалось, что приходит вдохновение, и он радовался. Иногда ему кажется – это находило на него всегда вне дома и вне семьи – что он сойдет с ума, и страх сумасшествия до того делается силен, что после, когда он мне это рассказывал, на меня находил ужас».

Мрачное настроение совпало с физическим недомоганием. Лев Николаевич «всю зиму хворал: боль в коленке… лихорадка… сухой, короткий и редкий кашель». К весне это состояние ухудшилось. «То было и так и сяк, – писал он брату Сергею, – а теперь недели три не выхожу даже из дома. Род лихорадки и боль зубов и коленки. Страшная ревматическая боль, не дающая спать». «Мое нездоровье все скверно, никогда в жизни не испытывал такой тоски. Жить не хочется… Ничего не делаю, кроме греческого чтения, и ничего не хочется делать». «Был и есть болен, сам не знаю чем, но похоже что-то на дурное, или хорошее, смотря по тому, как называть конец. – Упадок сил и ничего не нужно и не хочется, кроме спокойствия, которого нет. Жена посылает меня на кумыс в Самару или Саратов на два месяца. Нынче еду в Москву и там узнаю куда».

Лев Николаевич уехал с братом жены, Степой Берс, в Самарскую губернию и пробыл 6 недель на кумысе, около реки Каралык, в 90 верстах от Бузулука.

Нет оснований расценивать тоску Льва Николаевича и его физическое недомогание как следствие семейных несогласий, возникших вскоре после рождения дочери Марии. Состояние это появилось у Толстого много раньше, оно прогрессировало и к лету 1871 года достигло особой остроты. До сего времени в семье было благополучно. Софья Андреевна пишет, что в начале декабря 1870 года Лев Николаевич «воротился из Москвы. Он [там] покупал куклы, игрушки к елке, полотна и проч. Вернувшись, он все говорил: «Какое счастье быть дома, какое счастье дети, как я ими наслаждаюсь». Но эта радость не устраняла переживаний, следствием которых было чувство тоски. Имеющиеся документы опровергают возможность предположения, что семейные несогласия были последним толчком, доведшим Толстого до болезненного состояния. Переписка между Самарой и Ясной Поляной так убедительна, что трудно поверить, чтобы она происходила как раз в то время, когда семейные отношения были особенно усложнены, когда Толстой думал даже о разводе. Чувствуется, что причины душевного и физического недомогания лежали совсем в другой плоскости и не затрагивали семейного круга.

Еще до отъезда Льва Николаевича в Самару Софья Андреевна

пишет ему в Москву, вслед: «Пока ты в Москве, я еще чувствую твою близость, как будто вот-вот вернешься, а когда уедешь далеко, тогда, что буду чувствовать, не знаю. Если б ты вдруг очень соскучился и если будешь чувствовать, что тоскливое состояние вредно тебе, тогда или нас вызови, или приезжай. Но я надеюсь, что ты выдержишь легко разлуку, ты так способен сам в себе находить утешение. Обо мне не тревожься; я думаю, что я тверда буду и благоразумна во всем: и с собой и с детьми… Думай больше о себе, о своем здоровье и спокойствии, меньше о нас. Прощай, милый, целую тебя крепко. Я чувствую, что у меня утешение – дети, а у тебя – твоя внутренняя духовная жизнь. Ради Бога, не допускай себя до страха, до тоски, до беспокойства. Все, что ты будешь делать для своего спокойствия и развлечения, – все я буду находить хорошим. День за днем будет проходить; ничего, – вынесем, Бог даст. Прощай, пиши чаще и всю правду о здоровье и душе своей».

Лев Николаевич – жене, с дороги на кумыс: «Отчего мы не все едем вместе? Так легко и просто и покойно. А какое бы веселье! А уж Петя [121] где бы устал, я не знаю. Ну, да только дай Бог в Ясной ему поправиться.

Когда ты делала планы поездки в Ходынино [122] без меня, я очень легко смотрел на это, а теперь боюсь. Но это не значит, что не езди. Поезжай, я знаю, что тебе приятно будет, но я боюсь. Не скучай моим отъездом. Я теперь чувствую, что я прокладываю дорогу для наших будущих поездок, которые будут наслажденье. И так все время буду смотреть и прилаживать на Тананыке [123] . Прощай, милая душенька, пиши как можно чаще, все мелочи, – все мне дорого знать. – Как всегда, кто похвалит кого из моих детей, на того я больше обращаю внимание. Урусов [124] похвалил Илюшу, и я все его вспоминаю. Спроси их, что они велят себе привезти».

Из письма Софьи Андреевны: «Без тебя у нас ужасное движение: то купаются, то катаются, то игры, то пенье, гулянье… Но во всем этом шуме без тебя все равно как без души. Ты один умеешь на все и во все вложить поэзию, прелесть, и возвести все на какую-то высоту. Это, впрочем, я так чувствую, для меня все мертво без тебя. Я только без тебя то люблю, что ты любишь, и часто сбиваюсь, сама ли я что люблю или только оттого мне нравится что-нибудь, что ты это любишь… Будь, пожалуйста, тверд, живи на кумысе подольше, и, главное, не напускай на себя страха и тоски, а то это помешает твоему выздоровлению».

Лев Николаевич пишет жене: «Двое суток мы ехали по Волге; очень занимательно, но беспокойно. Я бы сказал, что совсем здоров, коли бы не бессонницы и очень унылое расположение

духа. Действительно, Степа мне полезен, и я чувствую, что с ним у меня арзамасской тоски не сделается. Кумысники так расплодились, что 4 заведения около Самары набиты битком, и больше ни квартир, ни кумысу нет. Боюсь, чтоб того же не было на Каралыке. Неудобство Каралыка главное в том, что туда нет почты, и я без ужаса не могу подумать о том, что и ты и я можем пробывать по две недели без писем… Ты пиши, как я говорил, чем чаще, тем лучше, но не менее двух раз в неделю. Не знаю, что будет дальше, но до сих пор я не выходил из тоски».

«Я поместился в кибитке, купил собаку за 15 рублей и собираюсь с нетерпением выдержать свой искус. Но ужасно трудно. Тоска, и вопрос: зачем занесло меня сюда, прочь от тебя и детей; и найду ли я тебя и их такими, какими оставил. Впрочем, ныне устал и не в духе. Каждую неделю надеюсь получать известия».

«Приятного ничего не могу написать тебе. Здоровье все не хорошо. С тех пор как приехал сюда, каждый день в 6 часов вечера начинается тоска, как лихорадка, тоска физическая, ощущение которой я не могу лучше передать, как то, что душа с телом расстается. Душевной тоске по тебе я не позволяю подниматься. И никогда не думаю о тебе и детях, и оттого не позволяю себе думать, потому что всякую минуту готов думать, а стоит только задуматься, то сейчас уеду. Состояния я своего не понимаю: или я простудился в кибитке первые холодные ночи, или кумыс мне вреден, но в 3 дня, которые я здесь, мне хуже. Главное – слабость, тоска, хочется играть в милашку и плакать, а ни с башкирцами, ни со Степой это не удобно… Я насчет себя решил, что жду до воскресенья, 27-то, и если не пройдет тоска и лихорадка, то поеду домой… Больнее мне всего на себя то, что я от нездоровья своего чувствую себя одной десятой того, что есть. Нет умственных, а главное – поэтических наслаждений. На все смотрю, как мертвый, – то самое, за что я не любил многих людей. А теперь сам только вижу, что есть; понимаю, соображаю, но не вижу насквозь, с любовью, как прежде. Если и бывает поэтическое расположение, то самое кислое, плаксивое, хочется плакать. Может быть, переламывается болезнь.

Что дома? Пиши все подробнее обо всем. Думать я о тебе себе не позволяю наяву; зато во сне вот две ночи вижу тебя. Вчера ты куда-то очень развязно уезжала, а я тебя всякими хитростями старался удержать и был в отчаянии. А нынче Таня, сестра, в бархатном платье куда-то ехала, и мы с тобой ее удерживали. Прощай, душенька. Пиши больше. Целуй всех».

Софья Андреевна пишет в ответ: «Твои бессонницы и унылое расположение духа не от того, что ты уехал, а, вспомни, то же

самое было дома. А теперь, по крайней мере, есть причина быть унылым, – ты нас не видишь, а дома та же тоска была без причины. Все это обойдется, как только ты вольешь в себя известное число ведер хорошего кумыса, но нашел ли ты его наконец, – вот что меня со вчерашнего дня страшно мучает. Конечно, если твоя тоска стала продолжаться и дошла бы до высшей степени, то и кумыс пользы не принесет. Я тебе говорила, что лучше бы всего было мне ехать с тобой. Сегодня, как подумаю о том, что ты уныл, почувствую такой прилив нежности к тебе, и так мне кажется, что я бы тебя и утешила, и устроила, и развеселила. Но ведь я ничего не могла этого сделать, когда ты был тут, а только сама заражалась твоим унынием. Если ты занимаешься греками, то брось их. Наверное, это на тебя больше всего действует. Брось, пожалуйста, верь Урусову, верь Фету, верь моей глупой голове и любящей душе, что это занятие тебе вредно».

«Если ты все сидишь над греками, ты не вылечишься. Они на тебя нагнали эту тоску и равнодушие к жизни настоящей. Недаром это мертвый язык, он наводит на человека и мертвое расположение духа. Ты не думай, что я не знаю, почему эти языки называются мертвыми, но я сама им придаю это значение… Прощай, друг мой милый; уж я теперь тебе ничего не советую, ни на чем не настаиваю. Если ты тоскуешь, то это вредно. Делай что хочешь, только бы тебе было хорошо. Старайся быть благоразумен и ясно видеть, что тебе может быть хорошо. Ты был уставши, ты вдруг переменил весь образ жизни; может быть, поживши, ты будешь в состоянии быть опять не одной десятой самого себя, а цельным. Бог с тобой, мой милый друг, обнимаю и целую тебя. Если б я могла передать тебе хоть частицу своего здоровья, энергии и силы, я никогда не помертвею. Мне довольно одной моей сильной любви к тебе, чтоб поддержать все нравственные и жизненные силы. Прощай, два часа ночи. Я одна и как будто с тобой».

Из письма Льва Николаевича: «С радостью пишу тебе хорошие вести, милый друг, о себе, т. е., что два дня после последнего письма моего к тебе, где я жаловался на тоску и нездоровье, я стал себя чувствовать прекрасно, и совестно, что я тебя тревожил. Не могу, по привычке, ни писать, ни говорить тебе того, что не думаю. Мучительно только то, что завтра две недели, как я из дома, и ни слова еще не получал от тебя. Ужас берет, как я подумаю и живо представлю тебя и детей, и все, что с вами может случиться… То, на что я жаловался – тоска и равнодушие – прошли; чувствую себя приходящим в скифское состояние, и все интересно и ново. Скуки не чувствую никакой, но вечный страх и

недостаток тебя, вследствие чего считаю дни, когда кончится мое оторванное, неполное существование. Шесть недель я, день в день, выдержу, и потому к 5 августа думаю, и не смею говорить и думать, думаю быть дома. Но что будет дома? Все ли целы, все ли такими же, какими я оставил, главное, ты. Ново и интересно многое: и башкирцы, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа… Рассказывать я тебе, вообще, буду много и буду сердиться, что ты слушаешь, как пищит Маша, а не то, что я говорю. Будет ли это и когда?»

Софья Андреевна – мужу: «Я теперь, последнее время, ни о чем больше не могу думать, как о твоем приезде, ничто меня не интересует, и когда я об этом думаю, и тут случатся дети, я им внушаю, что папа скоро приедет, и целую их от радости, и они понимают… Я так много двигаюсь, чтобы не скучать, что теперь вся моя энергия пропала, сижу, жду тебя, и только и могу думать в подробностях о тебе, о твоем приезде; радоваться и наслаждаться мыслью, что скоро увижу тебя. Даже пишу тебе не весело и не охотно, а прежде это составляло мою радость и утешенье. Так я устала ждать, тревожиться, думать и скучать по тебе… Целую тебя в последний раз только письменно; скоро я тебя обниму в самом деле, и увижу, и расцелую твои милые глаза, которые так и вижу теперь улыбающимися и добрыми, и взволнованными».

Лев Николаевич: «Вчера был счастливый день. Я измучился ожиданием писем, и приехавший башкирец из Самары объявил, что писем нет, а взял их какой-то русский. Русский мог быть приказчик с хутора или приказчик от Тимрота [125] , которым я обоим поручил быть на почте. Я оседлал лошадь и поехал к обоим. У одного нет; приезжаю к Тимроту: – «Приехал приказчик?» – «Нет. Но барыня ездила в Самару и привезла вот какую гору писем», – говорил мне мужик. – «Мне есть?» – «Все вам». – Прихожу, действительно, четыре письма твои, одно от Лизы, прекрасное, премилое письмо Урусова и Фета два. Я читал их тут же на дворе, и наивный мужик идет мимо: «что, правда, бугор там?» Твоя карточка [126] тут же. Мне очень была и есть (потому что часто смотрю) приятна, хотя первое впечатление было неприятное. Ты показалась мне и стара, и худа, и жалка. Впрочем, после разлуки всегда и портрет, и лицо само человека, которого не любишь, а больше что-то (как я тебя), производит впечатление разочарования.» В воображении своем вижу я тебя всегда точно такою, какая ты есть, но совершеннее. А действительность несовершенна. Теперь я помирился с портретом, и он мне приятен, и очень. Письма твои все перечел

раза три. Пиши, пожалуйста, чаще и больше. Хотя не скоро приходят, но с адресом в Самару они все дойдут; только за неделю до моего отъезда, т. е. с 24 июля, остановись писать, а напиши 25-го, положим, в Нижний, на почту, до востребования, а 27-го, 28-го в Москву, до востребования… В понедельник, 12-го, буду писать еще. Меня очень обрадовало то, что ты к Маше стала нежнее. Я так ее очень люблю, и мне грустно было, что ты к ней была холодна. Портрет твой похож на мученицу, но все-таки я ему рад».

«С тех пор, как ты мне написала о Бибикове [127] , я каждый день смотрю по дороге и жду его. Если бы он приехал, я был бы очень счастлив и угостил бы его всем тем, чем он любит, и, наверное, предпринял бы поездку в Уфу (все по башкирам), 400 верст, и оттуда уже прямо бы вернулся на пароходе по реке Белой в Каму и из Камы в Волгу. Теперь я этой поездки, хотя и мечтаю о ней, почти наверное, не сделаю. Боюсь, что она задержит меня хоть на день приездом домой. С каждым днем, что я врознь от тебя, я все сильнее и тревожнее, и страстнее думаю о тебе, и все тяжелее мне. Про это нельзя говорить. Теперь остается шестнадцать дней… После моего последнего письма я получил еще два письма от тебя. Хотел написать: душенька, пиши чаще и больше, но на это мое письмо едва ли ты успеешь ответить иначе как в Нижний Новгород. Письма твои, однако, мне уже, вероятно, вреднее всех греков тем волнением, которое они мне делают. Тем более, что я их получаю вдруг. Я не мог их читать без слез, и весь дрожу, и сердце бьется. И ты пишешь, что придет в голову, а мне *каждое слово* значительно, и все их перечитываю».

Софья Андреевна – Льву Николаевичу: «Я так занята весь день, что почти не вижу, как он проходит; но когда вечером останусь одна и начну думать, тогда плохо. Иногда мне приходит в голову, что ты отвыкаешь от семейной жизни, и тебе еще тяжелей будет крик детей, заботы и однообразие этой жизни; и мне делается грустно и страшно за будущее».

«Дни тянутся, тянутся, кажется, никогда август не придет. Когда-то увидимся, и будешь ли ты все такой же безучастный ко всему житейскому, невеселый и тихий, каким уехал, или кумыс поправил тебя; об этом постоянно думаю. Иногда думаю, как бы заставить тебя опять полюбить жизнь со всем, что в ней есть пошлого и дурного, и хорошего. И когда начну вдумываться, мне вдруг самой покажется все так ничтожно, так не достойно ни радости, ни тревоги, что я с отчаянием гоню все эти мрачные мысли. И, главное, всегда при таких мыслях явится серьезное представление смерти, о которой так мало прежде в своей жизни думала. И только ты мне недавно нечаянно внушил, что это дурно

– не думать и не быть готовой к ней; и я стала думать слишком много, но мне еще тяжело это… Ты знаешь нашу жизнь; мою, по-твоему, бесплодную суету; знаешь, как дети с Ханной грибы приносят, а нынче принесли какого-то очень странного червячка в белом пушке. Все это моя жизнь теперь, мои радости, и я ими живу. А когда я буду опять тобою жить, это мне представляется каким-то невозможным счастьем. Вдруг ты теперь пришел к заключению, что тебе без меня еще лучше. Это ведь невозможно?»

После пикника, «когда мы ехали с Козловки из Засеки, я очень болезненно о тебе думала. Мне было грустно, за что мне и весело, и удобно, и хорошо, а ты живешь в неудобствах, тоске, без радостей; и такое вдруг сильное желание было видеть тебя, возвратить тебя себе, что я готова была среди этого радостного шума всего общества разразиться жалобами и слезами. Только тем и утешилась, что ближе стала смотреть и греть, и закутывать в свою шаль маленького, дремавшего Левушку… Прощай, мой милый, иногда хочется дать тебе всевозможные имена для выражения всей любви моей, и нет на то слов. Целую тебя, обнимаю, целую твои милые глаза. Я не могу и не хочу о тебе думать близко; это бессилие, эта невозможность видеть тебя приводят меня в какое-то безумное состояние. Что может быть лучше и счастливее жизни с тобой? О здоровье твоем думаю постоянно; но менее теперь думаю о нем, и более всего о свидании с тобой».

Из письма Льва Николаевича: «Вчера опять ездил к Тимроту и опять получил твои письма, три, – от 4-го, 7-го и 10-го. Как и всегда, пробежал последнее, убедился, что все хорошо, и оставил остальные для дома. Читал их до 12 часов ночи и долго не мог заснуть. У тебя слишком все хорошо без меня по твоим письмам, так что страх меня берет. Особенно страшно мне за то время, что ты осталась одна с детьми и тетенькой. Здоровье мое хорошо. Боюсь сказать, но кажется мне, что я поправился и потолстел. Нервы мои окрепли наверное. Одно, что бок болит изредка, хотя и очень слабо. В кумыс я только что впился. Пью его с большим удовольствием, чем прежде… Нам остается неделя. Я строго выдержу шесть недель и выеду утром 28-го (заметь). Вчера узнал, что от Саратова до Аткарска открыта дорога. И, вероятно, я поеду на Саратов. Этим путем я выгадаю день и миную толпу ярмарки [128] , которая теперь во всем разгаре. Я телеграфирую тебе, вероятно, когда буду ехать – с пути… Ты мною должна быть довольна: я строго исполняю шесть недель и не позволяю себе уклонений от лечения. В Стерлибаш Оренбургской губернии, за 320 верст отсюда, где прелестная земля с лесами, степями и видами продается по 3 рубля и где все населено башкирами, куда

меня очень подмывало ехать, я не поеду, боясь, что это расстроит лечение. Нынче окончательно решил, что не еду. Дня же тебя лишнего не видать я ни за что не просрочу. Так-то мне тяжела семейная жизнь! и крики детей, как ты предполагаешь! Жду, не дождусь, когда услышу дуэты Лели и Маши. Радуюсь, что она поправилась. Илюшу поздравляю и целую. Для Сережи, Тани и Илюши привезу что-нибудь татарское, если поеду через Нижний. А нынче вспомнил и просил Степу собрать здешних трав, чтобы и тебе дать понятие о степи. Все-то ездят; одна ты, бедная, милая, сидишь! Мы выдумаем с тобой что-нибудь. Я затеял рисовать здесь – читать, особенно греческое, не читается (порадуйся) – и нарисовал двух башкиров: отца и сына… Прощай, душенька. Не долго. Завтра напишу последнее письмо с Каралыка».

Софья Андреевна пишет последнее письмо 28 июля ночью.

«Сама не знаю, зачем пишу тебе еще сегодня; ты велел писать мне только до 28-го, но я не могу не писать; это я утешаю и успокаиваю себя. Я в таком лихорадочном состоянии сегодня весь день и особенно вечер, что мне кажется, я с ума схожу от волнения и ожидания видеть тебя… Теперь я буду ждать тебя с 1-го и буду ждать, может быть, напрасно, и буду проводить ужасные, беспокойные вечера, прислушиваясь к каждому шуму, и все мне будет казаться, что вот ты подъехал или подошел… Я сама себя боюсь, боюсь этих длинных, одиноких вечеров, когда я тебя буду ждать и вздрагивать, и бояться всего».

Трудно, невозможно допустить, чтобы эта переписка происходила в дни натянутых и даже надорванных семейных отношений. К сожалению, в распоряжении исследователя нет других документов, а утверждения Софьи Андреевны и Льва Николаевича относят конфликт именно к году рождения дочери Марии, т. е. к 1871 году. Одна запись в дневнике Софьи Андреевны и несколько намеков в письмах ее к сестре Татьяне вносят в вопрос некоторую ясность.

Семья Кузминских, как обычно, и это лето проводила в Ясной Поляне. В начале августа Лев Николаевич вернулся из Самарской губернии, а во второй половине месяца Кузминские уехали домой. После их отъезда Софья Андреевна пишет сестре: «Милая Таня, так ты еще сильно живешь в нашем доме, так всякая безделица и дышит еще тобой, что я ни на минуту не могу забыть о тебе, и эти воспоминания тебя и всей твоей жизни у нас так больно меня давят, что единственное средство облегчиться – написать скорей тебе и выплакаться над письмом этим.

Вчера везде ходила как сумасшедшая, третьего дня – то же. Пошла я было убираться в тот дом, но при виде всего, что было ваше и особенно детское, я совсем ошалела. Нашла в кроватке

Машину [129] дудку, в которой она прососала большую дырочку, и взяла ее, завернула в бумажку и спрятала, как лучшую память о ней. Нашла еще черненький кубик, который был один из тех кубиков, которыми твои дети еще в Туле всегда играли, и я их давно помню в хрущевской детской. И кубик этот я тоже спрятала. Вместо того, чтобы утешаться, я все себя жалоблю, но возможно ли не горевать и не жалобиться, когда всякую секунду натыкаешься на все, что вас всех напоминает… У нас, Таня, мрачно, холодно, грустно, пусто. Нечего о нас писать. Только еще дети по-прежнему смеются, болтают и шумят. Для меня все как будто умерло».

Софья Андреевна это время была в подавленном настроении. Вызывалось оно и новым недомоганием Льва Николаевича, – он уехал в Москву, – и разлукой с близкими, и привычкой к семейному веселью, а также другими, более глубокими, скрытыми причинами. В дневнике она записывает: «Вчера ночью проводила Таню с детьми на Кавказ… Я не найду слов выразить это чувство. Что-то во мне умерло, и я знаю это горе, которое не выплачешь сразу, а которое годами продолжается и отзывается при всяком воспоминании нестерпимой болью души. Так отзывается во мне постоянное беспокойство о здоровье Левочки. Кумыс, который он пил два месяца, не поправил его; болезнь в нем сидит; и я это не умом вижу, а вижу чувством по тому безучастию к жизни и всем ее интересам, которое у него проявилось с прошлой зимы. И что-то пробежало между нами, какая-то тень, которая разъединила нас. Я чувствую, что если я не найду в себе сил подняться нравственно, т. е. утешиться отъездом Тани, приняться энергично заниматься детьми и наполнить свою жизнь, не унывая и не скучая, – он не поднимет меня; а чувствую я постоянно, как он меня тянет в то унылое, грустное и безнадежное состояние, в котором сам находится. Он не сознается в нем, но меня чувство никогда не обманывало. Я оттого более всех страдаю – и я не ошибаюсь.

С прошлой зимы, когда и Левочка и я, мы были оба так больны, что-то переломилось в нашей жизни. Я знаю, что во мне переломилась та твердая вера в счастье и жизнь, которая была. Я потеряла твердость, и теперь какой-то постоянный страх, что что-то случится. И случается действительно. Таня уехала, Левочка нездоров. Это два существа, которые я люблю больше всего на свете. Они оба для меня пропали. Левочка потому, что совсем не тот, какой был. Он говорит: «старость», я говорю: «болезнь». Но это что-то нас стало разъединять».

Двенадцать дней спустя, 30 августа, она снова пишет сестре: «Скоро у нас все разъедутся, и я со страхом думаю об осени и

одиночестве. Вообще, только и не мрачно на душе, когда очень шумно, а когда я остаюсь одна, даже вчера, ходя по лесу, оставалась одна, и на меня находит какой-то ужас и невыносимая тоска. Отчего, понять не могу, хотя знаю, к чему придираюсь».

20 сентября: «Меня теперь постоянно странно удивляет, что есть еще на свете что-то веселое, если кто-нибудь веселится… Я все, Таня, в том же расположении духа, когда всякую минуту хочется плакать, когда все в голове защелкнулось, и нет средств, несмотря ни на какие усилия – подняться. Что меня сделало такой – я почти что знаю: Левочка нездоров, ты уехала. Машу я больше не кормлю уже месяц, но я забыла тебе, кажется, это написать. Она сама ни за что не брала груди трое суток, и последнее молоко пропало; да к тому же, 24 августа у меня пришло, и теперь я под страхом беременности… Как я выйду из этого состояния души, в котором я теперь, решительно не знаю».

Софья Андреевна вскоре забеременела. Беременность она переносит трудно и тяготится ею.

Письмо от 10 октября: «Я получила твое письмо, в котором ты пишешь о своих прогулках, о погоде и прочее. Там, верно, хорошо. Природа и погода много значат. А у нас что за грязь, гадость, мрачность, однообразие и скука в природе. Я, впрочем, очень не в духе, очень грустна, и все мне нездоровится. Я опять беременна, ты знаешь, это каково, особенно первый месяц; и в перспективе, в мае 6-й ребенок, невозможность ехать в Самару, невозможность ехать к вам, еще одна няня и прочее и прочее».

Такое состояние продолжается недолго. Когда оно проходит, Софья Андреевна опять бодро принимает жизнь, несмотря на тяжелое физическое недомогание.

25 октября: «Я редко пишу тебе, потому что я очень тяжело выношу свою беременность. У меня постоянная тошнота, рвота, и почти ежедневная лихорадка. Я лежу целые вечера, ничего не ем и очень хандрю. Тоска моя прошла, но физическое состояние замучило».

13 ноября. «У нас теперь все хорошо, все здоровы, и Левочка и дети, только у меня по ночам лихорадка уже шесть дней, но я на это смотрю легко… Левочка меня очень зовет в Москву… Но я, должно быть, не поеду, еще мой туалет неисправен, и я собираюсь после Рождества, в середине января, чтоб всюду побывать, повеселиться и повидаться со всеми. Теперь же я буду стеснена платьями и никуда не попаду… Теперь вся моя деятельность направится на устройство дома и на приготовления к елке и шитье костюмов, которые все придуманы. Оболенские [130] , Маша [131] , Софеш [132] , Варя [133] , – все обещают приехать с костюмами, будем все наряжены, надо будет пляску устроить,

т. е. вальсы, кадрили и прочее. Тут надо бы дядю Костю [134] упросить играть или нанять какого-нибудь тапера. Моя цель, чтоб всем было весело, и я на то буду бить. К елке будут всем маленькие подарки, сюрпризы. Как это все удастся – не знаю. Вероятно, не удастся, как и все то, что слишком рано задумаешь».

28 ноября. «А дома все у меня тут процветает: все здоровы, дети ждут праздников, толкуют о них, учатся, прыгают по доскам в пристройке и так растут, что еле успеваешь шить белье и выпускать рубцы… Мы с тобой одинаково живем теперь, и мне это приятно. Дом, дети, муж, труд – и вся. Если б при этом, как прежде, иногда видеться с тобой – и я бы была совсем счастлива».

Не здесь ли, в этих письмах, следует искать отражение серьезных семейных несогласий Толстых? Не до отъезда Льва Николаевича на кумыс, а после его возвращения оттуда встал, вероятно, вопрос о формах дальнейших супружеских отношений [135] . Мы не слышим голоса самого Толстого, но видим, что Софья Андреевна очень мрачна, чем-то озабочена, ничто ее не интересует, она боится возможности новой беременности, протестует против нее, и перспектива иметь шестого ребенка ее не радует, а раздражает.

Выдвигаемое здесь предположение имеет очень большое значение. Если оно соответствует действительности, то оказывается, что Толстой не пережил душевного потрясения, которое отразилось на его здоровье и вынудило его ехать для леченья на кумыс, ибо все случилось по возвращении оттуда. Помимо того, приведенные материалы не позволяют заключить, что расхождение в этом вопросе имело такое решающее значение, какое приписывается ему. Что-то произошло; новое желание Софьи Андреевны вызвало со стороны Льва Николаевича протест и даже мысль о разрыве, но это несогласие быстро рассеялось: Софья Андреевна уступила мужу, сначала внутреннее протестуя, а потом бодро приняв весь круг давно знакомых семейных забот и обязанностей.

Что же касается личного свидетельства Л. Н. Толстого в дневнике 1884 года, которое делает ошибку на один год, относя переживания к 1870 году, то мы по-прежнему считаем невозможным пользоваться при описании одной эпохи документами другой, позднейшей. За два месяца до смерти Лев Николаевич записал в интимном дневнике, что он «никогда даже не был влюблен» в жену [136] . Неужели, по этой записи могли бы мы зачеркнуть весь период его счастливой семейной жизни? Попытка объективного, нетенденциозного изложения требует чрезвычайно осторожного обращения с материалом и не допускает смешения двух совершенно различных периодов.

За отсутствием данных нельзя решить окончательно поставленного вопроса в ту или другую сторону. Но, по-видимому, все было проще, носило временный характер и непоправимого удара семейным отношениям не нанесло. Рана зажила. Спустя несколько лет, она откроется опять. Но сейчас ничто не напоминает о ней среди привычной обстановки Ясной Поляны.

Чем же объяснить мрачное настроение Толстого в этом году? Причины лежат совсем в иной плоскости.

Выше был намечен ход развития внутренней жизни Толстого в первые годы после женитьбы. Он отошел от общественной деятельности и в обстановке семейного уюта весь погрузился в далекое от текущей жизни художественно-философское творчество. Так продолжалось несколько лет. Результаты работы были плодотворны: Толстой нашел то, в чем он больше всего нуждался, – религиозное мировоззрение [137] .

По окончании «Войны и мира» Толстой оказался на перепутье. – Художник зовет к новым образам, подсказывает новые замыслы, интересуется драмой, русскими сказками, былинами, читает Жития, восхищаясь их поэзией. Философ продолжает упорно изучать западную философию. Человек, принявший стройное мировоззрение, не удовлетворяется им, не находя в нем успокоительного разрешения основного вопроса жизни – вопроса смерти. Толстой приходит в отчаяние: его мучает бездействие, он окончательно отвергает умозрительную философию [138] , проблема *конца* остается неразрешимой, и его охватывает тоска.

Религиозная философия Толстого того времени оставалась на ступени чистого умозрения; она только констатировала, но не затрагивала практического вопроса жизни. Однако Толстой не мог долго удовлетворяться сферой отвлеченной мысли: жизнь требовала иного подхода, и Лев Николаевич в течение продолжительного времени переживал мучительное состояние, пока, наконец, на наступила перемена. Она произошла вскоре по возвращении Толстого из Самарской губернии, где настроение его заметно улучшилось. Он снова принимается за работу, но отныне его энергия идет по двум самостоятельным направлениям: с одной стороны, творчество интеллектуальное, с другой – практическое. Он предпринимает новое грандиозное художественно-философское произведение из времен Петра I и возобновляет педагогические занятия. Обе деятельности независимы друг от друга, их интересы будут постоянно сталкиваться, мешать, перебивать, но этот своеобразный «компромисс» отдаляет еще на несколько лет нарождавшийся

кризис.

Описанный здесь процесс не отразился на семье. Отношение Толстого к ней оставалось прежним: даже в самую критическую минуту, при поездке на кумыс, он не забывает ее интересов и присматривает для покупки землю, которая «приносит 6 процентов без всяких хлопот», «доход получается… в десять раз против нашего, а хлопот и трудов в десять раз меньше… – При хорошем урожае может в два года окупиться именье». Дети растут, семья увеличивается, и Лев Николаевич, по возвращении из Самары, предпринимает перестройку яснополянского дома. Работа идет спешная; к Рождеству надо все закончить.

«Развлеченья наши состоят в прохаживанье по новым владеньям нашим в доме, – пишет Софья Андреевна сестре 28 ноября. – Почти все готово, остался один паркет в зале, который не везут по случаю сырой погоды. У нас до сих пор ни пути, ни зимы нет. Пристройка наша чудо как удалась. Там уж топят, тепло, рамы вставлены, полы, кроме залы, все готовы; лестница, подъезд, кабинет – все готово. К Рождеству все перейдут на свои места, расставим мебель и начнем жить в новом доме; только штукатурки и не будет, а то все готово будет совсем… Внизу, где был чулан человека и вся лестница, образовалась под лестницей же очень хорошенькая комната, где будет наша столовая для всякого дня и только для нас. Кстати, и дверь тут прямо в кухню. Людей перевели в тот дом, в кухню, а то уж очень завели тут нечистоту. Зала останется чистая, и там будут обедать, когда нас много. Как стало просторно, чудо!»

О праздниках Софья Андреевна подробно сообщает в другом письме.

«Все по порядку расскажу тебе, как мы провели все это время. Работы столярные, плотничные и прочие по дому продолжались до самого сочельника. За два дня до праздников Левочка ездил по делам в Москву, и мы с дядей Костей энергично принялись все чистить, убирать. Дядя Костя вешал картины, зеркала, лампы, шторы и прочее. Я с рабочими таскала из того дома кое-что, как, например: тюфяки, подушки, старинные канделябры, блюда, мебель, которая нужна была, пока тут были гости; бабы мыли полы, дети мешали, и, вообще, возня была ужасная. Кроме того, дошивались костюмы, золотились орехи, одевались неизбежные скелетцы. Когда заложили трое саней, и Николенька [139] и Левочка поехали на Козловку за гостями, я уже не могла двинуться от усталости и легла отдохнуть; зато все было готово: постели всем постланы, канделябры и лампы зажжены так, как будто готовился бал, и чай с холодным ужином был накрыт в большой зале. Когда в одиннадцатом часу они все приехали, т. е.

Варя, Дмитрий Алексеевич [140] , Софеш и Маша, то я видела, что они были поражены новым нашим устройством; и все они были так веселы, так оживлены, до того всем восхищались, что я и не ожидала. Очень было весело в этот вечер, о вас вспоминали беспрестанно, а мне это отравляло много мою радость, что вас не было… На другое утро начались приготовления к елке. Приехала Лиза Оболенская с мужем и тетенька Полина [141] . Елку убрали в большой зале; Дьяковы привезли пропасть чудесных игрушек, Лиза подарила Тане медальончик золотой, Варя Сереже – портфель со всевозможными припасами для крашенья и рисованья. Ильюше подарил огромного генерала Леонид, а игрушки Дьяковых были самые разнообразные: посуда, кегли, магнитные животные, зверинец, шкатулка Тане с ленточками, катушками, ситцами, шелками, ножницами, духами и прочее. Обедали внизу, в новом кабинете, где было достаточно просторно для 20-ти человек. Обед был очень веселый. А до обеда еще все ходили на коньки. Маша, Варя, Николенька учились, и было много смеху, паданья, неловких движений и кувырканья Софеш в каком-то особенно уморительном костюме с гор; также Лизанька, Ханна и Фанни катались с гор, и все валялись в снегу, и Лизанька раскисала от смеха. Дети, конечно, на елке были очень удивлены и счастливы, а эту толпу дворовых в нашей огромной зале было и не видно.

Когда все утихло, дети ушли спать, мы собрались внизу, в новой маленькой столовой, к чаю. Все девочки, в том числе и Лиза, весь табунок, как мы их звали, собирались каждый вечер в один уголок за маленький столик на полосатый диван, который теперь уж унесли в тот дом опять, и тут, в этом уголке-то, происходили самые оживленные разговоры, самое веселое и оживленное настроение всех. Лиза заливалась хохотом, а дядя Костя рассыпался в остротах, любезностях, всем служил, подавал чай и варенье и вообще *папильонничал,* как он сам про себя выражается».

На другой день предполагался маскарад. Утром дядя Костя всех забавлял своей игрой; резонанс в зале очень хорош, играл он очень хорошо, и им очень остались все довольны; вообще, он много помогал и способствовал забавлять гостей. Вечером все стали одеваться и готовиться к маскараду.

Я еще забыла тебе написать, что в день Рождества, поздно вечером, вдруг все разгулялись: дядя Костя стал играть вальс, и мы все, кто с кем попало, стали плясать, потом польку, и, наконец, Дмитрий Алексеевич с Леонидом принялись плясать трепака и по-русски. Дмитрий Алексеевич скоро устал, а Леонид был еще в полном entrain [142] , тогда и я, на старости лет,

разгулялась и стала плясать по-русски. Все хохотали, аплодировали и долго не могли разойтись на ночлег. На маскараде одеты были вот как: Таня – маркиз, напудренный, в башмаках, длинном голубом кафтане, – очень хорошо вышло; Сережа – маркизой, Илья – фантастически как-то, в красной юбке; маленькая англичанка Кети – клоуном; я и Маша – по-русски, Лиза – мужиком, Варя – клоуном. Но всех поразительней была Софеш. Она оделась стариком, набила подушки, надела маску, и в туфлях с короткими ножками была до того смешна, что мы все надрывались от смеха. Мужчины все тоже исчезли и явились вдруг в виде двух медведей, вожатого и козы. Дмитрий Алексеевич в виде вожатого был очень смешон, дядя Костя отлично выполнял пляску медведя, Левочка плясал козой, а Николенька был другой медведь. Мы все плясали, но конец маскарада был лучше всего. Николенька разгулялся, оделся старухой, надел пресмешную маску, и они вдвоем с Софеш принялись плясать трепака. До того это было смешно: длинный, в наряде женщины, Николенька и коротенькая, кубастенькая Софеш, перебирающая быстро маленькими ножками, – что мы хохотали до изнеможения…

Третий день прошел довольно тихо. За обедом наелись блинов и сидели по углам. Ханна ездила в Тулу, я сидела с барышнями в детской, и мы все спорили о разных брачных и любовных вопросах…

Вечером заложили две тройки и поехали провожать Дьяковых в Ясенки. Скакали очень скоро, вечер был тихий, чудесный.

В Ясенках спросили шампанского, но в ту минуту, как раскупоривали бутылку, поезд пришел, лакей разбил бутылку, Дьяков заспешил, и мы все остались без шампанского.

На другое утро уехала и Лиза, а на пятый день уехала Варя. Дьяковы очень желали еще день пробыть, но Маше предстоял бал, а платье было еще не заказано даже. Николенька и дядя Костя и теперь еще у нас».

Толстой снова «очень весел все время и здоров». Зима была счастливой: «опять жили душа в душу». Лев Николаевич вполне удовлетворен семьей, доволен своей работой и жизнью в деревне, о чем пишет А. А. Толстой.

«У меня все также хорошо дома, детей пятеро и работы столько, что всегда нет времени». «Лучше не могу желать. Немножко есть умных и больших радостей, ровно – сколько в силах испытывать… Большие же радости – это семья *страшно* благополучная – все дети живы, здоровы, и, почти уверен, умны и не испорчены… В Москву на выставку я не только не думаю ехать, но вчера я вернулся из Москвы, где я заболел, с таким

отвращением ко всей этой праздности, роскоши, к нечестно приобретенным и мужчинами и женщинами средствам, к этому разврату, проникшему во все слои общества, к этой нетвердости общественных правил, что решился никогда не ездить в Москву. Со страхом думаю о будущем, когда вырастут дочери».

VIII

После праздников трудовая жизнь в Ясной Поляне восстанавливается. Лев Николаевич заканчивает начатую еще в прошлом году «Азбуку», сдает ее в печать и принимается за другое «задушевное сочинение». «Азбука моя не дает мне покоя для другого занятия, – пишет он Фету. – Печатание идет черепашьими шагами, и черт знает, когда кончится, а я все еще прибавляю, убавляю и изменяю. Что из этого выйдет, – не знаю; а положил я в него всю душу» [143] .

Кроме этих литературных работ, Толстой возобновляет также и школу, в которой принимает участие вся семья.

«Каждое послеобеда приходят человек 35 детей, и мы их учим, – рассказывает Софья Андреевна. – Учит и Сережа, и Таня, и дядя Костя, и Левочка, и я. Это очень трудно – учить человек 10 вместе, но зато довольно весело и приятно. Мы учеников разделили, я взяла себе 8 девочек и 2 мальчика. Таня и Сережа учат довольно порядочно: в неделю все знают уже буквы и склады на слух. Учим мы их внизу, в передней, которая огромная, в маленькой столовой под лестницей и в новом кабинете. Главное то принуждает учить грамоте, что это такая потребность, и с таким удовольствием и охотой они учатся все. До обеда я учу своих детей, ложимся очень поздно и вот так регулярно идут теперь наши дни. Работаю я теперь драпировку на окна в детскую, кабинет и другую детскую, а дядя Костя мне прибивает крюки и багетки». «Каждое утро своих детей учу, каждое послеобеда школа собирается. Учить трудно, а бросить теперь уж жалко: так хорошо шло ученье, и все читают и пишут, хотя не совсем хорошо, но порядочно. Еще поучить немного, и на всю жизнь не забуду. Теперь завтра еще поучу, а послезавтра вербная суббота, и тогда на две недели всех распущу и примусь еще пристальнее за работу».

Эта новая волна творчества, как и прежде, вся проходит в семье. Софья Андреевна учит в школе, живо интересуется работой Льва Николаевича над «Азбукой», в письмах своих она постоянно говорит о «книжечках», сообщает о ходе работы, вместе с мужем возмущается, что «печатанье нашей азбучки идет тихо, так как Рис [144] , по своему обыкновению, обманул», помогает держать корректуры.

Лето для работы пропало: Лев Николаевич опять ездил в

Самарскую губернию покупать именье, а осенью он писал Фету: «Пришла дурная погода, и дух работы и тишины приближается, и я ему радуюсь. Немножко охоты и хозяйственные заботы и потом жизнь с собой и с семьей – и только. Я с радостью думаю об этом, и потому верю, что я счастлив».

Но настроение Софьи Андреевны в эти месяцы часто срывается; в ее письмах к сестре встречаются грустные нотки.

«Видимся мы мало, а когда видимся, тогда я уж так уставши, нервы мои так расстроены, что я начинаю с ним ссориться. Ведь он, кстати, не признает во мне ни усталости ни болезни, – разве уж совсем плохо».

«Очень у нас скучно и уединенно. Только делами спасаешься от той малодушной скуки, которая невольно иногда находит, и хотелось бы иногда и общества и какого-нибудь *неразумного* удовольствия. Если б я говорила, что этого никогда не хочется, я была бы не искренна». «Праздники, думаю, проведем не весело. Ничто не готовится и никто к нам не собирается».

Это писалось 30 ноября; 22 декабря она пишет сестре «впопыхах… У нас готовятся к елке, настраивают фортепиано, моют двери и окна, игрушек вчера вечером Левочка накупил в Туле, дети в волнении, шумят и радуются». В этом же письме приписывает сам Лев Николаевич: «Всегда часто об вас вспоминаешь, но особенно теперь, при празднике. Вчера ездил в Тулу закупать к елке. Я это очень люблю, а нынче окна моют, игрушки в коробках везде, люди в баню идут, дети заглядывают куда не следует, догадываются. Мы придумывали, как что подарить барышням, успеем ли и т. д.»

Детей к тому времени было 6 человек. В одном из писем к А. А. Толстой Лев Николаевич дает их подробную характеристику.

«Старший, белокурый, не дурен; есть что-то слабое и терпеливое в выражении и очень кроткое. Когда он смеется, он не заражает, но когда он плачет, я с трудом удерживаюсь, чтобы не плакать. Все говорят, что он похож на моего старшего брата. Я боюсь верить. Это слишком бы было хорошо.

Главная черта брата была не эгоизм и не самоотвержение, а строгая середина: он не жертвовал собою никому, но никогда никому не только не повредил, но не помешал. Он и радовался и страдал в себе одном. Сережа умен – математический ум – и чуток к искусству, учится прекрасно, ловок прыгать, гимнастика, но gauche [145] и рассеян. Самобытного в нем мало: он зависит от физического. Когда он здоров и нездоров, – это два различные мальчика. Илья, третий, никогда не был болен; ширококост, бел, румян, сияющ. Учится дурно. Всегда думает о том, о чем ему не велят думать; игры выдумывает сам. Аккуратен, бережлив: «мое»

для него очень важно. Горяч и violent [146] , – сейчас драться; но и нежен и чувствителен очень. Чувствен – любит поесть и полежать покойно: когда он ест желе смородинное и гречневую кашу, у него губы щекотит. Самобытен во всем. И когда плачет, то вместе злится, и неприятен, а когда смеется, то и все смеются. Все непозволенное имеет для него прелесть, и он сразу узнает. Еще крошкой, он подслушал, что беременная жена чувствовала движение ребенка; долго его любимая игра была то, чтобы подложить себе что-нибудь круглое под курточку и гладить напряженной рукой и шептать, улыбаясь: «это бебичка». Он гладил также все бугры в изломанной пружинной мебели, приговаривая: «бебичка». Недавно когда я писал историю в «Азбуку», он выдумал свою: «Один мальчик спросил: Бог ходит ли?… Бог наказал его, и мальчик всю жизнь ходил…» Если я умру, старший, куда бы ни попал, выйдет славным человеком, почти наверно в заведении будет первым учеником. Илья погибнет, если у него не будет строгого и *любимого* им руководителя.

Летом мы ездили купаться; Сережа верхом, а Илью я сажал себе за седло. Выхожу утром – оба ждут. Илья в шляпе, с простыней, аккуратно, сияет. Сережа откуда-то прибежал, запыхавшись, без шляпы. – «Найди шляпу, а то я не возьму». Сережа бежит, туда, сюда, – нет шляпы. – «Нечего делать, без шляпы я не возьму тебя – тебе урок, – у тебя всегда все потеряно». Он готов плакать. Я уезжаю с Ильей и жду – будет ли от него выражено сожаление. Никакого. Он сияет и рассуждает об лошади. Жена застает Сережу в слезах. Ищет шляпу – нет. Она догадывается, что ее брат, который пошел рано утром ловить рыбу, надел Сережину шляпу. Она пишет мне записку, что Сережа, вероятно, не виноват в пропаже шляпы, и присылает его ко мне в картузе (она угадала). Слышу по мосту купальни стремительные шаги, Сережа вбегает (дорогой он потерял записку) и начинает рыдать. Тут и Илья тоже, и я немножко.

Таня – 8 лет. Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому, хотя это также хорошо, но верю потому, что это очевидно. Если бы она была адамова старшая дочь и не было бы детей меньше ее, она бы была несчастная девочка. Лучшее удовольствие ее возиться с маленькими. Очевидно, что она находит физическое наслаждение в том, чтобы держать, трогать маленькое тело. Ее мечта, теперь сознательная, – иметь детей. На днях ездили с ней в Тулу снимать ее портрет. Она стала просить меня купить Сереже ножик, тому другое, тому третье. И она знает все, что доставит кому наибольшее наслаждение. Ей я ничего не покупал, и она ни на минуту не подумала о себе. Мы едем домой. «Таня, спишь?» –

«Нет». – «О чем ты думаешь?» – «Я думаю, как мы приедем – я спрошу у мама, был ли Леля хорош, и как я ему дам и как тому дам и как Сережа притворится, что он не рад, а будет очень рад». – Она не очень умна, она не любит работать умом, но механизм головы хороший. Она будет женщина прекрасная, если Бог даст мужа. И вот, готов дать премию огромную тому, кто из нее сделает *новую женщину*.

4-й – Лев. Хорошенький, ловкий, памятливый, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Все, что другие делают, то и он, и все очень ловко и хорошо. Еще хорошенько не понимаю.

5-я – Маша, 2 года, та, с которой Соня была при смерти. Слабый, болезненный ребенок. Как молоко белое тело, курчавые белые волосики; большие, странные голубые глаза, странные по глубокому, серьезному выражению. Очень умна и некрасива. Эта – будет одна из загадок; будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное.

6-й – Петр – великан. Огромный, прелестный беби, в чепце, вывертывает локти, куда-то стремится, и жена приходит в восторженное волнение и торопливость, когда его держит; но я ничего не понимаю. Знаю, что физический запас есть большой. А есть ли еще то, для чего нужен запас – не знаю. От этого я не люблю детей до 2, 3 лет – не понимаю. Говорил ли я вам про странное замечание? Есть два сорта мужчин – охотники и не охотники. Не охотники любят маленьких детей, – беби, могут брать в руки; охотники имеют чувство страха, гадливости и жалости к беби. Я не знаю исключения этому правилу. Проверьте своих знакомых».

К 1872 году относится событие, которое с новой стороны раскрывает живой образ Толстого. Когда Лев Николаевич был в Самарской губернии, графский бык убил пастуха. Толстого привлекли к ответственности, взяли подписку о невыезде. Какое впечатление произвело на него вмешательство чиновников в его личную жизнь, он подробно рассказывает в письмах к А. А. Толстой. Мы коснемся этого случая только с той стороны, которая непосредственно относится к нашей теме.

«Нежданно, негаданно на меня обрушилось событие, изменившее всю мою жизнь, – пишет Лев Николаевич. – Молодой бык в Ясной Поляне убил пастуха, и я под следствием, под арестом – не могу выходить из дома (все это по произволу мальчика, называемого судебным следователем), и на днях должен обвиняться и защищаться в суде – перед кем? Страшно подумать, страшно вспомнить о всех мерзостях, которые мне делали, делают и будут делать.

С седой бородой, с 6-ю детьми, с сознанием полезной и трудовой жизни, с твердой уверенностью, что я не могу быть виновным, с презрением, которого я не могу не иметь к судам новым, сколько я их видел, с одним желанием, чтобы меня оставили в покое, как я всех оставляю в покое, невыносимо жить в России, с страхом, что каждый мальчик, которому лицо мое не понравится, может заставить меня сидеть на лавке перед судом, а потом в остроге; но перестану злиться. Всю эту историю вы прочтете в печати. Я умру от злости, если не изолью ее, и пусть меня судят за то еще, что я высказал правду. Расскажу, что я намерен делать и чего я прошу у вас.

Если я не умру от злости и тоски в остроге, куда они, вероятно, посадят меня (я убедился, что они ненавидят меня), я решился переехать в Англию навсегда или до того времени, пока свобода и достоинство каждого человека не будут у нас обеспечено. Жена смотрит на это с удовольствием – она любит английское, для детей это будет полезно, средств у меня достанет (я наберу, продав все, тысяч двести); сам я, как ни противна мне европейская жизнь, надеюсь, что там я перестану злиться и буду в состоянии те немногие года жизни, которые остаются, провести спокойно, работая над тем, что мне еще нужно написать. План наш состоит в том, чтобы поселиться сначала около Лондона, а потом выбрать красивое и здоровое местечко около моря, где бы были хорошие школы, и купить дом и земли. Для того, чтобы жизнь в Англии была приятна, нужны знакомства с хорошими аристократическими семействами. В этом-то вы можете помочь мне, и об этом я прошу вас. Пожалуйста, сделайте это для меня. Если у вас нет таких знакомых, вы, верно, сделаете это через ваших друзей. Два, три письма, которые бы открыли нам двери хорошего английского круга – это необходимо для детей, которым придется там вырасти. Когда мы едем, я еще ничего не могу сказать, потому что меня могут промучить, сколько им угодно. Вы не можете себе представить, что это такое. Говорят, что законы дают securite [147] . У нас напротив. Я устроил свою жизнь с наибольшей securite. Я довольствуюсь малым, ничего не ищу, не желаю, кроме спокойствия; я любим, уважаем народом; воры и те меня обходят; и я имею полную securite, но только не от законов. Тяжелее для меня всего – это злость моя. Я так люблю любить, а теперь не могу не злиться. Я читаю и «Отче наш» и 37-й псалом и на минуту, особенно «Отче наш», успокаивает меня, и потом я опять киплю и ничего делать, думать не могу; бросил работу, как глупое желание отмстить, тогда как мстить некому. Только теперь, когда я стал приготавливаться к отъезду и твердо решился, я стал спокойнее и надеюсь скоро опять найти самого

себя».
Дело приняло благоприятный для Толстого оборот, и он оставил мысль о переезде. Александре Андреевне он пишет: «Нынче же случилось то, что утишило мою досаду еще до получения письма. Утром жена разболелась сильнейшей лихорадкой и болью в груди, угрожающей грудницей (она кормит), и я вдруг почувствовал, что не имеет человек права располагать своей жизнью и семьей особенно. И так мелка мне показалась и моя досада и оскорбления, что я усумнился, поеду ли я. Теперь ей получше, я надеюсь, что обойдется без грудницы. Сестра Маша на днях уехала от нас, и каждый день с нежностью говорила о вас и упрекала себя за то, что не писала вам, а я упрекаю себя за то, что писал. Прошу простить и целую вашу руку».

В следующем, 1873 году часть лета Толстые провели в своем новом имении в Самарской губернии. Здесь случился в ту пору страшный голод. Засуха сильно отразилась также и на новом хозяйстве Толстых. Но их семейная жизнь протекала в это время спокойно, в полном согласии.

Письмо Софьи Андреевны к сестре: «Милый друг Таня, во второй раз пишу тебе из нашего самарского хутора, куда привезли мы свою тихую, невзыскательную жизнь, и нисколько жизнь не переменилась оттого, что у нас меньше комнат и вместо леса перед глазами степь. Все та же тишина, те же занятия, тот же лад, как и везде. Иногда находит грусть и даже досада, что опять хуже, чем в прошлом году – сгорело все – ничего решительно нет, ни сена, ни пшеницы, мы в очень большом убытке, и вчера я подумала, что за что же бы нам даже в этом была бы удача, уж слишком бы много всего хорошего, даже страшно бы было, лучше уж хоть в деньгах будет неудача. Тут с страстной недели не было ни одного дождя, вот и мы месяц живем, и на наших глазах понемногу засыхало это огромное пространство, и понемногу находил ужас на весь здешний народ, который третий год бьется из последних сил как-нибудь прокормиться и посеять для будущего года. Наш старый башкирец, который живет у нас и доставляет нам кумыс, говорит, что только 40 лет тому назад был такой бедственный год. Ты не поверишь, милая Таня, как тут близко живешь с народом; сегодня у нас пили чай мужик и башкирец; они здесь как друзья, очень полезны советами и помощью в делах житейских и хозяйственных. Сегодня же мы ездили к обедне в Гавриловку, ближайшую деревню, и я причащала трех меньших. Степа с нами ездил кучером; в двух плетушках мы уселись все; эти здешние плетушки очень хороши и удобны. Твой крестник [148] ездил в твоем платьице, за которое очень, очень тебя благодарю, так мне приятно думать, что это ты обдумала, сшила, и так хорошо сидит, что лучше нельзя было и при нем сшить. Он такой славный мальчик, веселый, добродушный, на разные штуки пускается и так толст, что Степа его зовет кубом».

Приписка Льва Николаевича: «Соня ушла кормить, я дописываю. Я только с приездом Ханны узнал предстоящую нам на будущее лето радость – ваш приезд в Ясную. Пока я не был женат, я не верил и не делал эти планы на год, а теперь верю и, как Соня говорит, мне кажется, что это будет завтра. Наша жизнь здесь в Самаре удалась, как нельзя лучше во всем, что зависит от нас, в особенности от Сони. Она поняла эту здешнюю, не такую, как ваша кавказская – блестящую, парадную, а степную, неопределимую, незаметную прелесть лучше, чем я ожидал».

Ввиду предстоящего бедствия Лев Николаевич обследовал ряд соседних крестьянских хозяйств и на основании полученных материалов написал статью, опубликованную в «Московских ведомостях». Эта деятельность вызывает полное сочувствие со стороны Софьи Андреевны. Она живо интересуется помощью голодающим, сбором пожертвований, статью называет «нашей статьей».

Согласие у них также и в том, что для них обоих, несмотря на весь ужас голода, интересы собственной семьи стоят на первом месте, и они огорчены, что убытки нарушают их хозяйственный план. Так это представляется по документам Софьи Андреевны. Она пишет сестре по возвращении в Ясную Поляну: детям «везде весело, а мы оба – старички – что-то мрачны. Погода суровая, дождь идет, денег истратили много и не получили ничего, жизнь свою еще не наладили… А нам после крошечного хутора так кажется просторен и велик наш дом. И опять нет денег, чтоб его отделать получше! Но Левочка обещает, несмотря ни на что, исправить и перебить кое-что».

На этом фоне семейного согласия характерны и жизненны минутные протесты Софьи Андреевны против суровой трудовой деревенской жизни. Молодая женщина начинает мечтать о веселье, о светских удовольствиях. Но даже в эти минуты она сознает, что внешние развлечения безнадежно далеко ушли от нее, что другие интересы заполняют ее жизнь.

«Что разнообразит нашу жизнь? Разве только посмотришь в окно – сегодня снег, завтра дождь, а там солнце – вот и все». «Иногда думаешь: слишком уж я одиноко живу, тяжело. А куда хотела бы? – Никуда. Лучше здешнего детям нигде не будет, стало быть и мне». – «У нас ученье, кройка и работа зимних платьев, чтенье по вечерам, и одинокая, тихая жизнь. Иногда я думаю: ох, как скучно! А иногда упрекаю себя за это и говорю: слава Богу, все благополучно!»

«Левочка уехал в Москву и без него сегодня весь день сижу в тоске, с остановившимися глазами, с мыслями в голове, которые меня мутят, мучают и не дают мне покоя. И всегда в этом состоянии умственной тревоги берешься за журнал. В него выльешь все свои настроения и отрезвишься. А настроение мое грешное, глупое, не честное и тяжелое. Что бы я была без этой постоянной опоры честной, любимой всеми силами, с самыми лучшими и ясными взглядами на все? И вдруг иногда заглянешь в свою душу во время тревоги и спросишь себя: чего же надо? И ответишь с ужасом: надо веселья, надо пустой болтовни, надо нарядов, надо нравиться, надо, чтоб говорили, что я красива, надо, чтоб все это видел и слышал Левочка, надо, чтоб он тоже

иногда выходил из своей сосредоточенной жизни, которая и его иногда тяготит, и вместе со мною пожил той жизнью, которой живут так много обыкновенных людей. И с криком в душе отрекаюсь я от всего, чем и меня, как Еву, соблазняет дьявол, и только еще хуже кажусь я сама себе, чем когда-либо. Я ненавижу тех людей, которые мне говорят, что я красива; я этого никогда не думала, а теперь уж поздно. И к чему бы и повела красота, к чему бы она мне была нужна? Мой милый, маленький Петя любит свою старую няню так же, как и любил бы красавицу: Левочка привык бы к самому безобразному лицу, лишь бы жена его была тиха, покорна и жила бы той жизнью, какую он для нее избрал. Мне хочется всю себя вывернуть самой себе и уличить во всем, что гадко и подло и фальшиво во мне. Я сегодня хочу завиваться и с радостью думаю, что хорошо ли это будет, хотя никто меня не увидит, и мне этого не нужно. Меня радуют бантики, мне хочется кожаный новый пояс, и теперь, когда я это написала, мне хочется плакать… Наверху дети сидят и ждут, чтобы я их учила музыке, а я пишу весь этот вздор в кабинете внизу».

Сестре: «Вот мы застыли в нашей Ясной Поляне, и чем дольше живешь, тем меньше хочется двигаться или переменять свою жизнь, которая вся проходит в самых серьезных трудах… Мне тебе хотелось бы написать что-нибудь интересное, но когда подумаю, мне и самой смешно, что я из дома не выхожу целыми неделями, и нынче: читать по-французски с Таней, играть на фортепиано с Илюшей, завтра что-нибудь опять в том же роде, и вперемешечку кроить лифчики Леле и воротнички Маше и т. п. По вечерам я очень много переписываю (роман Левочки все двигается), иногда играем в четыре руки, ужинаем в час, и потом я, усталая до крайности, ложусь в постель и читаю до третьего часа английские романы».

«У нас теперь тихая Масленица, и дети учатся; я боюсь время терять, так как для ученья остался один Великий пост, в конце которого мне предстоят роды, и тогда надолго дети останутся без моих уроков. Хотя тихо, но все-таки они делают успехи, и сегодня я сижу в гостиной и одна улыбаюсь тому, с каким тактом и апломбом Сережа и Таня играют вдвоем в четыре руки; хотя пьеса легкая, но все-таки чему-нибудь выучились. Мы все пытаемся заставить говорить их по-французски, но дело идет туго. Переводить и понимать могут отлично, но говорить – ни за что. Все это пишу тебе, потому что вся моя жизнь это есть обученье детей; я только это и делаю, и только об этом и думаю, работу бросила совсем и к машине не подхожу, а только иногда крою, чего никто без меня не умеет. Вечером поздно, когда весь дом спит, мы с Левочкой играем в четыре руки, – он в Москве накупил

пропасть нот, – читаем, ужинаем, разогревая на спирту ужин, и ложимся часа в два или три».

Лев Николаевич писал А. А. Толстой: «У нас все хорошо в семье». «Мы живем по-старому, заняты так, что всегда недостает времени. Дети и их воспитание все больше и больше забирают нас, и идет хорошо. Я стараюсь и не могу не гордиться своими детьми».

Вопрос воспитания стоит теперь на первом плане. Но приемы этого воспитания далеки от тех демократических принципов, которые сам Толстой развивал в своих педагогических произведениях. Как в обычной дворянской семье, главную роль здесь играют иностранные языки и музыка, гувернеры и гувернантки. Лев Николаевич ездит в Москву искать иностранцев-воспитателей, обращается за помощью в Петербург, к А. А. Толстой.

«Пишу в этот раз с просьбой, касающейся моих детей. Они растут, никого не спрашиваясь и не дожидаясь. Переезжать в город, то есть испортить всю свою жизнь и их тоже, под предлогом их воспитания, я не хочу до последней возможности; поэтому для меня вопрос о помощнике или помощнице для воспитания – гувернеры, гувернантки, – вопрос, в последнее время поглотивший меня всего. Был у меня немец-дядька и англичанка-нянька, но старшие дети переросли их, и мы ищем гувернера и гувернантку. – Мне пришло в голову попросить вас (вспомнив ваши связи в Швейцарии, да и в Англии, я думаю), нет ли у вас кого-нибудь в виду, нет ли у вас путей, через которые можно войти в сношения с такими людьми. Пожалуйста, если вам странно покажется, что я к вам обращаюсь с этим делом, посмейтесь и напишите словечко, только чтобы сказать, что вы не сердитесь. Но если точно у вас есть такие связи, то помогите. Мои желания – вот что: хорошая нравственность, сколь возможно, высокое душевное настроение, без педантизма и фарисейства. И лучше всего муж с женою, бездетные или с ребенком от шести до одиннадцати лет. Остальных условий никаких; национальность – все равно: немец, француз, англичанин, русский – только бы европеец и христианин. Жалованье – все что я могу дать, т. е. от 1000 рублей двум до 2000 рублей. Знания – все равно – чем больше, тем лучше – особенно языки, но если они не знают ничего, кроме своих языков правильно, я и тем доволен. Я могу, как и делаю до сих пор, учить сам математике и древним языкам. Возраст тоже все равно, – от 20 до 70 лет.

Мне кажется, что у вас есть или были связи в Швейцарии, в самом гнезде педагогов, и в Англии; если есть, помогите, пожалуйста. Это теперь дело для меня такой огромной важности,

что я только об одном думаю. Если бы нужно было, я бы поехал в Швейцарию или куда нужно, чтобы увидать тех, которые подходили бы к моим требованиям, но только бы знать, что есть за чем ехать.

Мальчику старшему одиннадцать лет, девочке десять; и с рождения их и до нынешнего года все шло равномерно, по одному теченью, но нынешний год мы вдруг почувствовали совсем новые требования, и все дело воспитанья вдруг изменилось – как будто поднялось на новую ступень. Особенно девочка показала это. Они раньше развиваются. Сколько я над ними передумал и перечувствовал, и столько усилий – для чего? Для того, чтобы в лучшем случае вышли не очень дурные и глупые люди. – Странно все устроено на свете, и, как говорит мой приятель Фет: «чем больше живу на свете, тем больше ничего не понимаю».

IX

В 1873 году, через одиннадцать лет после женитьбы, семья Толстых переносит первые тяжелые утраты.

В мае месяце скончалась на Кавказе пятилетняя племянница, общая любимица, Даша Кузминская.

По получении этой печальной вести Лев Николаевич пишет ее родителям: «Любезный друг Таня! не могу тебе описать впечатление, которое произвело на меня известие о смерти прелестной, моей милой (как мне приятно думать теперь), моей любимицы Даши. Я никогда бы не думал, чтобы эта смерть так могла поразить меня. Я почувствовал, как ты и твои дети близки мне. Целый день я не могу подумать о ней и о вас без слез. Я испытываю то чувство, которое, вероятно, теперь мучает вас: забыть и потом вспомнить и с ужасом спрашивать себя: неужели это правда? Долго еще вы будете просыпаться и спрашивать себя: неужели правда, что ее нет?… Впечатление [от писем] осталось очень хорошее за тебя. Да, одна религия может утешить. И я уверен, что ты в первый раз поняла значение религий, и, ради Бога, не забывай, не старайся забывать все тяжелые минуты, которые ты пережила, а живи всегда с ними. Смерть для тебя ужасна, как ты говорила, я помню, но в смерти близкого существа, особенного, такого прелестного существа, как ребенок, и как этот ребенок, есть удивительная, хотя и печальная прелесть. Зачем жить и умирать ребенку? Это страшная загадка. И для меня одно есть объяснение. Ей лучше. Как ни обыкновенны эти слова, они всегда новы и глубоки, если их понимать. И нам лучше, и мы должны делаться лучше после этих горестей. Я прошел через это. И уверен по моему духовному родству с тобою и по тону твоего письма, которое я понял вполне, что твое горе отозвалось в тебе

так же, как во мне смерть брата (смерть ребенка еще величественнее и таинственнее), и ты, вероятно, перенесешь как должно. Главное, без ропота, а с мыслью, что нам нельзя понять, что мы и зачем, и только смиряться надо. Пожалуйста, прочти 130-й псалом и выучи его наизусть и читай каждый день… Прощай, милый друг, помогай вам Бог, тебе и Саше (как мне его всей душой жалко и как бы я желал, чтобы он нашел религиозное утешение) перенести это страшное, нами еще не испытанное, но висящее над нами горе, главное, без ропота и легкомыслия. И ведь это, собственно, не горе, а только одна из важных ступеней в жизни, через которую должны пройти все люди, живущие хорошей, честной жизнью. И какая судьба, что мама приехала к вам именно в это время. Я понимаю, какое она для вас была облегчение, – какое только могло быть. Я приезжаю из Тулы с письмами, Соня весело встречает меня. А я говорю: «большое горе, большое, большое Горе». Она говорит: «Ханна умерла?» Я говорю: «из Кутаиса, но не Ханна». Ни минуты не задумавшись, она сказала, как будто прочла письмо, именно эти два слова: «Даша умерла». Как это? Отчего она могла это знать? Она ужасно огорчена – так, что и не может говорить про это. Сережа пожалел о тебе. А Таня лежала долго в постели и плакала. Прощайте, милые друзья, помогай вам Бог хорошо пройти эту тяжелую ступень в жизни».

Но Лев Николаевич скрыл от огорченных родителей свое истинное настроение. Того смирения и покорности, к которым он их призывал, в нем самом недоставало. – «Страшно, за что и зачем это на свете», – спрашивал он в письме к А. А. Берс.

9 ноября умер младший сын Толстых Петр [149] .

«Что это было – Бог знает, более всего похоже на круп. Началось хрипотой, которая усиливалась все более и более, и через двое суток унесла его. Последний час хрипота уменьшалась и, наконец, лежа в постельке, не просыпаясь, не метаясь даже, тихо, как будто заснул, умер этот веселый, толстенький мальчик и остался такой же полный, круглый и улыбающийся, каким был при жизни. Страдал он, кажется, мало, спал очень много во время болезни, и не было ничего страшного, ни судорог, ни мучений, и за то слава Богу. И даже и то я считаю милостью, – пишет Софья Андреевна сестре, – что умер меньшой, а не один из старших… Прошло уже десять дней, а я хожу все, как потерянная, все жду услыхать, как бегут быстрые ножки и как кличет его голосок меня еще издалека. Ни один ребенок не был ко мне так привязан, и ни один не сиял таким весельем и такой добротой. Во все грустные часы, во все минуты отдыха после ученья детей, я брала его к себе и забавлялась им, как никем из других детей не забавлялась

прежде. И теперь все осталось – но пропала вся радость, все веселье жизни… Я за своего будущего ребенка опасаюсь; носишь рядом с ним какой-то тяжелый камень на сердце от постоянного горя, и здоровье мое плохо; когда пошевелился в первый раз ребенок, 8 ноября, уже Петюшка умирал и умер на другое утро. Похоронили мы Петю за часовней, где лежат родители Левочки, и теперь огородим место для всех нас чугунной решеткой. Был очень морозный и ясный день, и так же, как Дашечку, и его освещало солнце и его волосики золотистые так и остались у меня в памяти, освещенные солнцем в окно церкви. Так у нас пусто в доме, и детская внизу совсем пустая, давно уже этого не было… Как я жду лета и все думаю: «Господи, кто же еще?» И не случится ли еще чего-нибудь до тех пор. Какая-то полоса горя над нами».

На сороковой день Софья Андреевна ездила на кладбище. «Нечего тебе рассказывать, – пишет она сестре, – что чувствуешь, когда вызовешь в себе ясно все грустные воспоминания. Одно странно, что мне близка стала мысль о том, что в эту самую яму, куда опустили моего ребенка, опустят и меня, и это не страшно, но даже приятно, и эта яма, как будто мое место самое лучшее и законное, а теперь все только покамест. Мне теперь часто кажется, что я утешилась, а иногда я вдруг чувствую, что я совсем переменилась, все во мне перевернулось и стало иначе, сложнее и грустнее… После смерти Петюшки он [Л. Н.] долго не мог приняться за дело, и теперь иногда жалеет и вспоминает его и ждет больше меня нового ребеночка, а я довольно равнодушна и, вообще, никогда не испытываю нежности к неизвестному.

Дети очень ждут елку: мы уже нарядили 25 скелетцев, купили золота для орехов, и я на этой неделе поеду все закупать для елки. Гостей почти никого у нас не будет… Наряжаться никто не будет, мне неприятен весь этот безобразный шум так скоро после смерти ребенка, и дети это поняли и совершенно согласны. Они все пятеро гуляют всякий день, катаются с горы и старшие на коньках. Я все больше сижу дома, переписываю [150] , крою, шью мало, учу очень много, а для развлеченья мы наладили на этих днях всякий день кататься вечером на тройке, что очень приятно».

Сам Лев Николаевич сообщает об этом горе Фету и А. А. Толстой: «Утешаться можно, что если бы выбирать одного из нас восьмерых, эта смерть легче всех и для всех; но сердце, и особенно материнское – это удивительное высшее проявление Божества на земле – не рассуждает, и жена очень горюет». «Из всех близких потерь, которые мы могли понести, эта была самая легкая, мизинец, но все-таки больно, для жены особенно».

Первое несчастье тяжело поразило и Льва Николаевича и

Софью Андреевну. Перед обоими встал неумолимый вопрос *смерти,* но в характере их переживаний заметна большая разница: Софья Андреевна переносит проблему в план чисто семейный, а для Льва Николаевича смерть близкого человека полна глубокого религиозного смысла. «Если потерей любимого существа сам не приближаешься к своей смерти, не разочаровываешься в жизни, не перестаешь ее любить и ждать от нее хорошего, то эти потери должны быть невыносимы; но если поддаешься на это приближенье к своему концу, то не больно, а только важно, значительно и прекрасно. Так на меня, да и на всех, я думаю, действует смерть. Маленький пример: хороня Петю, я в первый раз озаботился о том, где меня положить. И на Соню, кроме той особенной почти физической материнской боли, это подействовало так же, несмотря на ее молодость».

Софья Андреевна писала иначе: «К какому мрачному, безвыходному взгляду на жизнь привели меня эти три близкие мне смерти: Даши, Пети и Володи [151] , ты не можешь себе представить. Несмотря на всю мою бодрость духа, на способность находить спокойное и счастливое в жизни, теперь я почти утратила эту способность. Смотрю на своих детей и думаю: зачем я их учу и мучаю и браню, может быть, и жить не будут. И все мне кажется, что вот-вот начинается какая-то смертельная, болезнь, чаще всего боюсь за Сережу. Он как старший и самый умный и самый добрый мне всех милее и страшнее. Ужасно хочется скорей увидеть тебя; мне кажется, что мы вместе, и собрав всех детей своих вместе, скорее найдем опять и способность радоваться и находить счастье». Утешение скоро пришло. Через несколько месяцев, 22 апреля 1874 г., родился сын Николай.

«У нас все хорошо в семье. Вы предсказывали мне девочку, но родился мальчик – точно такой же, как тот, которого мы потеряли, и, хотя его зовут Николаем, мы невольно зовем его Петей, как прежнего, – пишет Лев Николаевич А. А. Толстой. – Я не приехал в Москву [152] особенно потому, что перед вашим приездом только что был там, а вы не можете себе представить, как мне все тяжелее и тяжелее уезжать из дома, то есть выбрасывать из жизни те дни, которые я вне дома; и тем тяжелее, чем меньше их остается».

К этому времени следует отнести первые проявления будущих коренных разногласий между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной. Они не были продолжительны и не могли серьезно отразиться на их отношениях, но Софье Андреевне представился случай уяснить свой взгляд на работу Льва Николаевича и дать оценку его деятельности.

Выше было указано, что после «Войны и мира» духовная

жизнь Толстого протекала в двух совершенно самостоятельных направлениях: в направлении творчества, отвлеченного от текущей жизни, и практического – литература и педагогика. Эти деятельности не совпадали и постоянно вытесняли одна другую. «Сначала Лев Николаевич всю энергию свою употребляет на создание «Азбуки», но потом «умственная – душевная работа [его] по этому делу кончилась» и он «счастлив теперь, спихнув с [себя] эту работу… [И] последние дни насилу удерживал потребность начать свою настоящую работу», т. е. художественное творчество, – сначала «Петра I», потом – «Анну Каренину». Правда, он не оставляет педагогических занятий и школы, но все его внимание сосредоточено на искусстве. Потом опять возникает охлаждение к нему, возобновляется интерес к народному образованию, так как Льву Николаевичу трудно «оторваться от живых людей, чтобы заняться воображаемыми».

В 1874 году он пишет А. А. Толстой: «Я нахожусь в своем летнем расположении духа, то есть не занят поэзией и перестал печатать свой роман и хочу бросить его, так он мне не нравится; а занят практическими делами, а именно, педагогикой: устраиваю школы, пишу проекты и борюсь с петербургской педагогией вашего protege [153] Дмитрия Андреевича [154] , который делает ужасные глупости в самой важной отрасли своего управления, в народном образовании».

В первое время Софья Андреевна вполне принимает обе стороны деятельности мужа: она помогает ему в работе над «Азбукой», учит в школе и чувствует, что новые интересы вносят в семью особую красоту и уют. Но практические занятия начинают разрушать то, на чем семья выросла, чем семья гордилась, что давало семье материальное благополучие, и Софья Андреевна резко отвергает их.

«Левочка весь ушел в народное образование, школы, учительские училища, то есть где будут образовывать учителей для народных школ, и все это его занимает с утра до вечера. Я с недоумением смотрю на все это, мне жаль его сил, которые тратятся на эти занятия, а не писанье романа, и я не понимаю, до какой степени полезно это, так как вся эта деятельность распространится на маленький уголок России – Крапивенский уезд».

«Роман не пишется, а из всех редакций так и сыпятся письма: десять тысяч вперед и по пятьсот рублей серебром за лист. Левочка об этом и не говорит, и как будто дело не до него касается. А мне, Бог с ними, с деньгами, а главное просто то его дело, то есть писанье романов, я люблю и ценю и даже волнуюсь им всегда ужасно, а эти азбуки, арифметики, грамматики я

презираю и притворяться не могу, что сочувствую. И теперь мне в жизни чего-то недостает, чего-то, что я любила; и это, именно, недостает Левочкиной работы, которая мне всегда доставляла наслаждение и внушала уваженье. Вот, Таня, я, настоящая писательская жена, как к сердцу принимаю наше авторское дело.
О себе лично нечего тебе сказать. Я учу, кормлю, как машина, с утра до ночи и с ночи до утра. Переписывала и азбуку, но когда увидала, что дело не скоро кончится, то мне эти короткие слова, эти фразы: «Маша ела кашу» и проч., так надоели, что я бросила, пусть писарь переписывает. Мое дело было переписывать бессмертную «Войну и мир» или «Анну», а это скучно».

Что происходило в то время между мужем и женой – неизвестно. Конечно, Софья Андреевна высказывала Льву Николаевичу свой взгляд, свое неудовольствие, но он не считался с ее протестом и не изменял себе.

Согласно «Исповеди», к этому году относится первая «остановка жизни», первый отчаянный удар по тому строению, которое Толстой в течение многих лет, несмотря на минутные отклонения, усердно воздвигал. Переживания Льва Николаевича скрыты от постороннего взора, но можно предположить, что подавленное настроение заставило его прекратить «призрачное» художественное творчество и обратиться к другой – практической работе, которая требовала меньшей затраты интеллектуальных сил, отвлекала от мучительной сосредоточенности на себе и давала реальное оправдание жизни.

В семье что-то не ладилось. Внешне все оставалось по-прежнему, но чувствовалась взаимная неудовлетворенность. Лев Николаевич не мог так же пристально интересоваться семьей, как прежде, и Софья Андреевна это замечала. Его растерянность и напряженные искания вносили в семью холод и разобщенность. Жена не понимала тяжелого состояния мужа, оно ее угнетало, а перемена его деятельности вызывала недоумение и протест. Софья Андреевна теряет интерес к своей будничной работе, она заболевает физически и душевно и даже тяготится жизнью.

«Иногда мне до того станет грустно, так устанут нервы, да еще при лихорадке, что я только молю Бога: «дай Бог силы, или уж умереть бы скорей». Ты не осуждай меня, Таня, я знаю, что это дурно, и только тебе это пишу: но меня замучило нездоровье, и я уж слишком одиноко и не весело живу».

«Мы с тобой вместе всю осень болели лихорадкой и тоской. Что такое эта тоска – это ужас! Я думала, что я a la lettre [155] с ума сойду. И одна, одна, так же, как и ты с своей тоской, сомненьями, разными воспоминаниями и прочее. Когда лихорадочная тоска, тогда ко всему придерешься, чтоб убиваться

и плакать. Я тоже все плакала и желала умереть. Теперь и мне лучше, и я опять вступаю в жизнь, но у меня еще нет силы; я худа, желта, задыхаюсь, волнуюсь, но все это скоро пройдет.

Левочка взялся за школы и весь в них ушел, и я не могу, хотя желаю, ему сочувствовать. Если б он писал свой роман, было бы лучше. Прощай, милая Таня, будь здорова, перестанем тосковать, ведь жить надо, так надо стараться получше прожить… Вы все мне так милы, и я о вас часто думаю. У нас уж все слишком умно и мне не по силам иногда».

Летом, когда Лев Николаевич уезжал по делам имения в Самарскую губернию, Софья Андреевна пишет ему о семье, но в письме ее чувствуется скрытый упрек.

«Беспокойства мои насчет вас замерли, потому что заглушились беспокойством о меньшом. Он трое суток был очень болен; страшный жар, который я ничем не могла устранить. Наконец, сегодня я решилась этого трехмесячного крошку обложить горчишниками, и это ему помогло. Я рада, милый Левочка, что могу тебе написать, что ему лучше; хотя знаю, что даже смерть маленького тебя бы не огорчила для него, а только по отношению ко мне. И я эти дни без тебя, дни и ночи ходила как сумасшедшая; все мои горести, вся боль при потере Пети опять поднялась с новой силой. Слава Богу, теперь опасности нет, но я опять не могу успокоиться, пока вас двух, моих самых дорогих, не увижу опять дома. Мне только и хочется писать о том, как агукал вечером оживший мальчик, как я его растирала, как ночь он всю спал у меня на руках; но все это ты выслушиваешь и читаешь из снисхождения» [156] .

В начале 1875 года новое горе поразило семью: скончался младший сын.

«Маленький мой Николенька умер 20 февраля, и вчера мы его похоронили, – сообщает Софья Андреевна сестре. – Пишу тебе все эти слова и ничего не чувствую, я точно вся окаменела. Эта смерть была не такая, как Петина, который был оторван вдруг, здоровый и в полной силе, – этот маленький умирал целый почти месяц и измучил всех нас ужасно видом своих страданий… Более чем через сутки после первых конвульсий, я заметила, что он мнет губки, и дала ему воды. Он жадно схватил ложку. Тогда я взяла на себя и дала ему грудь. Не могу тебе выразить, Таня, с каким чувством ужаса я кормила этого мальчика, который смотрел и не видел и хватал бессмысленно, как зверек, зубами и губами грудь, жадно сосал и все бессознательно… Уже [за] целые сутки до смерти он окоченел и не мог сгибаться. Ручки тоже остались скорченные, пальцы так и не разжались, а остались в кулачках; так и похоронили. Последнюю ночь я от усталости и

прилива молока совсем изнемогала, и сидел Левочка. При нем и умер мальчик. Он очень жалеет и жалел его; – такой был чудесный, энергический, живой и полный огня мальчик. Такие и не живут. Последние дни мальчик был у меня в спальне, там и умер. Потом перенесли его вниз, в детскую, где он и стоял мертвый. Вчера мы с Левочкой в возке ездили его хоронить. Во всю зиму не было такого страшного мороза: 20 градусов при сильнейшем ветре. Оба мы не совсем здоровы, и что-то было зловещее в его похоронах. Когда вынесли к могилке его гробик, ветер рвал и кисею, которой он был закрыт, и венчик с головы, и качал его беспомощную, бледную головку, так что я убежала от этого вида. Притом, страх, что Левочка простудится, – он все время в лихорадочном состоянии и не выходит из дому с месяц. Дома же в это время кто-то забыл потушить перед образом восковую свечу; она упала на постель няни, и все загорелось: и подушки, и одеяло, и самая спинка дивана. Наталья Петровна вошла и, увидав пламя, стала кричать. Сейчас же все потушили. Похоронили мальчика возле маленького Пети и весной сделаем ограду, которая уже готова, и посадим елки и розы.

Теперь, Таня, я свободна, но как тяжела мне моя свобода, как я чувствую себя потерянной, ненужной, ты себе представить не можешь. Этого мальчика я любила за двух; и за умершего Петю и за него самого. С какою любовью и стараньем я выхаживала его и наряжала, и радовалась на него, и все его воспитание я вела добросовестнее, чем всех других. Но мне часто казалось, что он жив не будет, и я всегда говорила: «Нет, и этот не настоящий!..» У нас в доме все жалеют маленького; его ужасно все любили и Левочка, и дети, и люди, и Эмили [157] , и все им забавлялись. Вчера ему, было бы десять месяцев. Роман Левочки печатается, и говорят, что имеет страшный успех, а во мне это странное возбуждает чувство: у нас такое горе, и нас так празднуют везде. Прощай, голубчик, дай Бог, чтоб у тебя не было никакого горя».

По концу письма видно, что Лев Николаевич, после небольшого перерыва, вернулся опять к литературным занятиям. Он все меньше и меньше уделяет внимания педагогической деятельности, и осенью 1875 года совсем хочет ее прекратить, так как она «слишком много берет времени». В начале года печатается продолжение романа; после двухмесячного летнего отдыха Лев Николаевич снова берется «за скучную, пошлую А. Каренину».

Софья Андреевна с радостным удовлетворением встретила в муже перемену, старалась всячески оберегать его покой и в этом стремлении высказала обычный семейный эгоизм.

Осенью появился в доме коклюш; переболели все дети,

хворала и Софья Андреевна. Ее болезнь осложнилась, был выкидыш; она «не спала, плакала, стонала четыре и пять часов в день». Была еще одна больная – старая тетя Льва Николаевича, сестра отца, П. И. Юшкова [158] . У нее в Казани Толстой провел юношеские годы, с нею были связаны у него последние воспоминания об отце, и он очень тяжело переносил ее болезнь. Но для Софьи Андреевны болезнь чужого ей человека была лишь досадным препятствием, осложнением, которое нарушало семейный уют, расстраивало мужа и отвлекало его от работы. С каким волнением воспринимала она всегда каждое недомогание своих детей, мужа и с каким равнодушием, холодной внимательностью переносила она болезнь престарелой одинокой тетки!

«У нас тетенька Пелагея Ильинишна наводит на всех уныние, – сообщает Софья Андреевна сестре. – Она лежит три недели в постели, нога болит в коленке ужасно, лихорадочное состояние, ничего не ест, кроме двух-трех ложек бульону в сутки, стонет и страдает. Она лежит недвижимо, и ты можешь себе представить, каково за ней ходить, сменять под ней мокрое и нечистое белье, и притом ей больно малейшее движенье, и она кричит, сердится и бранит, когда ей все сменяют. Ужасно все это тяжело, и я так стала нетерпелива, и совестно, и ропщу, и тоскую часто, что на нас все напасти. Долго ли это продолжится – Бог знает; доктор говорил, что не более десяти дней, но вот уже двенадцатый день, а ей как будто легче, но нет надежды, что она могла встать, главное, от ноги, и нет надежды, чтоб перестала страдать… Левочка начинает заниматься романом, который, как только будет готов, то опять будет печататься в «Русском Вестнике». Дело шло бы успешнее, если б не моя, а потом тетенькина болезнь, которую он очень принимает к сердцу… Ты пишешь, что у тебя часто мысль: «когда это кончится!» И у меня, вообрази, та же мысль часто. И теперь тетенька за душу тянет, и я думаю: «когда это кончится!» Но, несмотря на ее болезнь, я думаю и готовлю елку; детей жаль, все больная атмосфера кругом них, и я так желаю им сделать удовольствие».

Прошло две недели. Софья Андреевна пишет: «У нас случилось то, что раньше или позднее, но должно было случиться в нашем доме. А именно то, что тетенька Пелагея Ильинишна скончалась, и вчера ее схоронили. Сегодня Рождество, и у нас тихо: елки, конечно, нет и никаких веселий. Заболела она болью в боку, на который упала еще летом, и в котором было воспаление; потом боль перешла в коленку, потом жар, и так все шло то хуже, то лучше. Когда ей делалось хуже, она говорила: «Leon, je ne voudrai pas mourir, je suis-si bien chez vous» [159] . А когда ей

делались легче, то сейчас же она начинала заботиться о житейских делах. Она так боялась и не желала умирать, что насилу уговорили ее причаститься, а собороваться ни за что не хотела, а когда я в день ее смерти, то есть 22 декабря, хотела ее соборовать, то священника не застали дома, и так она и умерла во время нашего обеда, мы никто и не видали. Никто о ней, о бедной, и не поплакал. Левочке жаль ее было во время болезни, он все ходил к ней; а раз она его позвала, ей было очень плохо, и стала собираться умирать и удивлялась, что смерть не приходит, и сказала: «Что же, думала кончено – а не кончено». После этого жила еще больше недели. Я ее тоже оплакала раз вечером, когда сидела у нее, и мне жаль стало, что ее не будет. Потом привыкла к этой мысли и только усиленно старалась, чтоб ей было хорошо, ходила за ней, сидела у нее, смотрела, чтоб пролежни не было больно и чтоб люди ходили за ней получше, когда меня нет… Дети тоже мало почувствовали ее смерть. Мне даже досадно, и кажется, что они бесчувственны. Похоронили ее у самой решетки, за которой дети и Татьяна Александровна [160] . Я не ездила по случаю холода, а только Левочка и Бибиков. Я очень испугалась, когда в самый час кончины ее, за обедом Леля ничего не ел, руки холодные, к ночи жар и бред. На другой день в тот же час опять озноб и жар. Я дала ему вчера хинину, сегодня и вчера лихорадки нет, но я все боюсь, – он очень похудел от коклюша и вообще хворый. Но теперь он весел, бегает и играет… Левочка взялся очень усердно за «Анну Каренину», и, если б не вся эта грустная история с тетенькой, я бы уж переписывала и, может быть, вышли бы следующие главы в январе, а теперь вряд ли поспеют».

Об этой потере Лев Николаевич писал через три месяца А. А. Толстой: «Странно сказать, но эта смерть старухи 80 лет подействовала на меня так, как никакая смерть не действовала; мне ее жалко потерять, жалко это последнее воспоминание о прошедшем поколении моего отца, матери, жалко было ее страданий, но в этой смерти было другое, чего не могу вам описать и расскажу когда-нибудь. Но часу не проходит, чтобы я не думал о ней. Хорошо вам, верующим, а нам труднее».

X

3 марта 1876 года Лев Николаевич сказал Софье Андреевне, «что он не мог бы жить долго в той страшной борьбе религиозной, в какой находился эти последние два года, и теперь надеется, что близко то время, когда он сделается вполне религиозным человеком» [161] .

Тогда же он писал А. А. Толстой: «Что я желаю всеми силами души получить разрешение мучающим меня вопросам и не нахожу их в философии, – это… несомненно; но чтобы я мог

поверить, мне кажется, невозможно». «Вы говорите, что не знаете, во что я верую. Странно и страшно сказать: ни во что из того, чему учит нас религия; а вместе с тем я не только ненавижу и презираю неверие, но не вижу никакой возможности жить без веры, и еще меньше возможности умереть. И я строю себе понемножку свои верования, но они все, хотя и тверды, но очень неопределенны и неутешительны. Когда ум спрашивает, – они отвечают хорошо; но когда сердце болит и просит ответа, то нет поддержки и утешения».

Наступили страшные годы. То, что и раньше временами посещало Толстого, приводило его в безнадежное уныние, но потом быстро рассеивалось, превратилось теперь в непрерывный мучительный крик.

«Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это – смерть» [162] .

Религиозная философия, которую Толстой создал в первые годы женатой жизни и которой он жил все это время, не удовлетворяет его больше. Он чувствует, что необходимо внести что-то новое, заменить спокойное религиозное созерцание философа живой, разумной верой религиозного человека, живущего на земле, требующего для себя ясного объяснения неуничтожимого смертью смысла этой жизни. Он давно нашел Бога [163] , но ни это знание, ни другие философские формулы не могут ему дать ответа на первый вопрос: «А потом?» Судьба, как бы в насмешку, поставила его в исключительно выгодные внешние условия, чтобы затем с большей силой показать всю бессмысленность жизни, кончающейся полным уничтожением.

И вот Толстой хочет спасти себя, он мучительно ищет, ставит на разрешение вопросы о своем назначении на земле. Сначала они «казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, – рассказывает он в «Исповеди», – я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу, и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде, чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать, я не могу жить. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень

занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну, хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?…» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж?…» И я ничего и ничего не мог ответить. Вопросы не ждут, надо сейчас ответить; если не ответишь, нельзя жить. А ответа нет.

Я почувствовал, что то, на чем я стоял, подломилось, что мне стоять не на чем, что того, чем я жил, уже нет, что мне нечем жить».

В 1876 году Толстой со всей силой переживал это душевное состояние. Он писал Н. Н. Страхову: «Сплю духовно и не могу проснуться. Нездоровится, уныние. Отчаяние в своих силах. Что мне суждено судьбой, не знаю, но доживать жизнь без уважения к ней, – а уважение к ней дается только известного рода трудом, – мучительно. Думать даже – и к тому нет энергии. Или совсем худо или сон перед хорошим периодом работы».

Вопросы Божества, религии, смерти – излюбленные темы его бесед и переписки. Толстой затрагивает их в письмах к Н. Н. Страхову, А. А. Фету, А. А. Толстой, жене. Интересуют они его не так, как прежде, когда он спокойно наблюдал и описывал жизнь; теперь ему нужен ответ для себя лично, для утверждения собственной жизни. Но все эти размышления приходят к одному исходному пункту – вопросу смерти.

«Я благодарен вам за мысль позвать меня посмотреть, как вы будете уходить, когда вы думали, что близко, – писал он Фету. – Я то же сделаю, когда соберусь *туда,* если буду в силах думать. Нам с вами не помогут попы, которых призовут в эту минуту наши жены. Мне никого в эту минуту так не нужно бы было, как вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее; а вы и те редкие настоящие люди, с которыми я сходился в жизни, несмотря на здравое отношение к жизни, всегда стоят на самом краюшке и ясно видят жизнь только от того, что глядят то в нирвану, в беспредельность, в неизвестность, то в сансару, и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение. А люди житейские, сколько они ни говори о Боге, неприятны нашему брату и должны быть мучительны во время смерти, потому что они не видят того, что мы видим, именно, того Бога, более неопределенного, более

далекого, но более высокого и несомненного…

Вы больны и думаете о смерти, а я здоров и не перестаю думать о том же и готовиться к ней. Посмотрим, кто прежде. Но мне вдруг из разных незаметных данных ясна стала ваша глубоко родственная мне натура – душа (особенно по отношению к смерти), что я вдруг оценил наши отношения и стал гораздо больше, чем прежде, дорожить ими. Я многое, что я думал, старался выразить в последней главе апрельской книжки «Русского Вестника».

Лев Николаевич имеет в виду XX главу 5 части «Анны Карениной» – смерть брата Левина. Он заканчивает ее так: «Вид брата и близость смерти возобновили в душе Левина то чувство ужаса перед неразгаданностью и вместе близостью и неизбежностью смерти, которое охватило его в тот осенний вечер, когда приехал к нему брат. Чувство это теперь было еще сильнее, чем прежде; еще менее, чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти, и еще ужаснее представлялась ему ее неизбежность; но теперь, благодаря близости жены, чувство это не приводило его в отчаяние; он, несмотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить. Он чувствовал, что любовь спасла его от отчаяния и что любовь эта под угрозой отчаяния становилась еще сильнее и чище».

Мы подошли к основной нашей теме – к изложению семейной жизни Толстых в эти тревожные годы. Насколько можно судить по отрывочным документам, в 1876 году жизнь эта ни в чем не изменилась, и, быть может, следует считать вполне автобиографическим утверждения Левина, что любовь к жене (а у автора – и ко всей семье) давала ему силы жизни, служила своего рода отдушиной и ограждала от полного отчаяния. Все шло, как прежде.

«У нас ученье теперь идет страшное. Вот ты бы ужаснулась, – пишет Софья Андреевна сестре. – С утра до вечера – только интересы грамматики, катехизиса, что кому задано, сколько кто получил. Лелю тоже заучили, и он стал очень порядочно играть». «С добродетельной напряженностью принялась за учение детей, шитье, кройку и прочее. Час за часом сменяется география, история и тому подобное. С лихорадочным спехом боюсь не успеть то или другое, сержусь, что дети иногда ленивы».

«Жена… на днях уезжает… в Москву на несколько дней для отыскивания и выбирания гувернантки для дочери, – сообщает Лев Николаевич П. Д. Голохвастову [164] . – Малые дети – малые заботы, большие дети… Я никогда не думал, чтобы воспитание детей, то есть доведение их только до того, чтобы они были такие же, как все, давало столько труда и отнимало столько времени».

Педагогическая деятельность тоже не прекращается.

«Свою учительскую семинарию… он собирается устроить и уже нанял для этого кончившего курс в университете. Сегодня этот молодой человек приедет, и он же будет учителем русским у Сережи. В том доме воздвигнуты лавки, столы, чинят и вставляют рамы, и вместо милых вас будут какие-то чуждые лица мужиков, семинаристов и прочее», – пишет Софья Андреевна Кузминским.

Сам Лев Николаевич сообщает им про новую «Азбуку»: «Признаюсь, дело это – «Азбука» – хотя и задушевное для меня, занимает меня и по тому доходу, который она может приносить. И несмотря на то, что 1-я «Азбука» принесла мне только убытку 2000, я немного надеюсь на эту».

Материальные заботы о семье идут параллельно с мучительными религиозными исканиями. В один из таких периодов напряженной сосредоточенности Толстой отправляется в Самару и Оренбург для покупки лошадей. За время короткой разлуки он обменивается с женой дружескими, теплыми письмами. В них сказывается вся сложность его душевного состояния.

Первое письмо с парохода: «Я не написал из Нижнего от суеты; но не только помнил, но думал и думаю, так как ужасно люблю: переношусь в прошедшее – Покровское, лиловое платье, чувство умиленности, и сердце бьется… Говорят, что в Оренбург ездят на чугунке, и, может быть, я поеду, но все в пределах четырнадцати дней. Я знаю, что тебе тяжело и страшно, но я увидел то усилие, которое ты сделала над собой, чтобы не помешать мне, и, если можно, то еще больше люблю тебя за это. Если бы только Бог дал тебе хорошо, здорово и энергично-деятельно провести это время. Господи, помилуй тебя и меня!»

Из писем жены: «Хотя у нас суета ужасная, я все-таки так о тебе думаю и такую к тебе чувствую нежность, что хочется написать тебе хоть немножко… В каком ты духе? Что думаешь, что делаешь теперь на пароходе? Нравится ли Николеньке [165] Волга? Я о тебе всякую минуту думаю и так тобой счастлива это время, и одно скучно, что мыши подтачивают корень жизни и что не всегда так будет. Я почему-то нынче все думаю о сказке мудреца Керима. Но это так, когда грустно».

«Только пятый день, что вы ехали, стало быть, едва вы доехали до хутора, а еще до двух недель страшно далеко, и надо все себя поддерживать и не позволять себе скучать и тревожиться. Так нам было хорошо и весело, зачем надо было именно и теперь расставаться. Но ведь опять будет и так же, только бы ничего не случилось.

Прощай, милый, я начинаю опять поднимать в себе

беспокойство и грусть, что тебя нет, и потому больше не писать и даже не думать о тебе, а взяться за дело. То чувство, которое было в тот вечер, как я ушла расстроенная в свою спальню, то есть то же особенное этот раз горе вследствие твоего отъезда, беспрестанно возвращается, когда долго о тебе думаю, а *не думать* – не могу».

Конец другого письма Льва Николаевича: «Ты меня так напугала нежеланием отпустить меня, что я больше, кажется, чем прежние раза, боюсь за всех вас и, главное, за одну тебя. Я иногда писал тебе, ничего не говоря о моих чувствах, потому что в ту минуту, как писал, не был так расположен. А в эту поездку всякую минуту думаю о тебе с нежностью и готов все письмо наполнить нежными словами. Прощай, душенька, милая, я так радуюсь тому чувству, которое имею к тебе, и тому, что ты есть на свете. Только бы ты была здорова, и потому сама, какая ты есть».

Всю осень Толстые «очень дружны». Софья Андреевна знает о мучительном состоянии мужа, но она огорчается им точно так же, как огорчалась бы болезнью, а его духовную жизнь, его творчество воспринимает лишь со стороны художественной деятельности.

Внутренняя жизнь Толстого в то время крайне сложна. Работа над романом постоянно прерывается, энергия отвлекается в другую область или просто исчезает под напором неразрешимых вопросов, и Лев Николаевич, поддаваясь требованиям художника, все же чувствует часто полную для себя невозможность заниматься «таким пустым делом».

Он продолжает «Анну Каренину» весною 1876 г., летом прерывает, а осенью долго не может приняться за нее.

«Левочка за писанье свое еще не взялся, и меня это очень огорчает. Музыку он тоже бросил, и много читает и гуляет, и думает, собирается писать», – сообщает Софья Андреевна в октябре. Месяц спустя она уведомляет сестру о том же: «Левочка совсем не пишет, в унынии и все ждет, когда уяснится у него в голове и пойдет работа. Это очень грустно и отравляет мое спокойствие и жизнь».

Но как только положение меняется, Софья Андреевна снова довольна и своею радостью заражает всю семью: «Анну Каренину» мы пишем, наконец-то, по-настоящему, то есть не прерываясь. Левочка, оживленный и сосредоточенный, всякий день прибавляет по целой главе, я усиленно переписываю, и теперь даже под этим письмом лежат готовые листки новой главы, которую он вчера написал. Катков [166] телеграфировал третьего дня, умоляя прислать несколько глав для декабрьской книжки, и Левочка сам на днях повезет в Москву свой роман. Я думаю, что

теперь, в декабре, напечатают, и потом пойдет так далее, пока кончится все.

У нас двадцать градусов мороза, катанье на коньках и даже гулянье прекратилось. В воскресенье одели двадцать пять скелетцев, готовящихся к елке; я шью Сереже и Илюше костюмы черного (Сережа) и красного (Илюша) черта с рогами и хвостом. У Тани будут на перемену два костюма: один ангела с крыльями, другой – клоуна, из разных цветов кусочков коленкора… Дети учатся танцевать у меня настоящую польку, вальс и мазурку, чтоб в костюмах и масках отличаться. В Рождество будет елка, Левочка в Москве купит подарки, а пока еще ничего не готово… Я очень рада теперь гостям… Поеду тогда сама в Тулу покупать фрукты, провизию, конфеты и буду по-настоящему праздновать святки. Нынешний год и детям позволят остаться встречать Новый год, конечно, старшим только».

После праздников Софья Андреевна пишет в том же радостном тоне и все по той же причине, совсем не понимая душевного состояния мужа: «Читали ли вы «Анну Каренину» в декабрьской книге? Успех в Петербурге и в Москве удивительный, я даже не ожидала, но упиваюсь с наслаждением славой своего супруга. Хвалят и на словах и в обзорах, я читала в «Голосе», а еще, говорят, в «Новом времени» и еще где-то хвалят. Для январской книги тоже послано уже в типографию, но теперь Левочка что-то запнулся и говорит: «Ты на меня не ворчи, что я не пишу, у меня голова тяжела», и ушел зайцев стрелять… Я-то ворчать! С какого права! Сама я веду праздную жизнь, почти ничего не делаю и начинаю этим баловаться, зато поправляюсь, а то здоровье было совсем плохо стало».

Это недомогание Софьи Андреевны началось еще в 1875 году, когда она заразилась от детей коклюшем, а потом перенесла воспаление брюшины. После болезни здоровье Софьи Андреевны не восстанавливалось, она начала кашлять, худеть.

Лев Николаевич в то время писал Голохвастову (и его жена была больна): «Ужаснее болезни жены для здорового мужа не может быть положения. Я нынешний год испытал и продолжаю испытывать это состояние. Жена была опасно больна. Всю зиму хворала, слабела и теперь опять в постели, и всякую минуту трепещешь, что положение ухудшится. Для меня это положение мучительно в особенности потому, что я не верю ни в докторов, ни в медицину, ни в то, чтобы людские средства могли на волос изменить состояние здоровья, то есть жизни человека. Вследствие этого убеждения, которого я не могу изменить в себе, я беру всех докторов, следую всем их предписаниям и не могу иметь никакого плана».

В январе 1877 года Софья Андреевна поехала в Петербург для совета со знаменитым профессором Боткиным. В письмах, написанных по этому поводу, видна большая заботливость и тревога Льва Николаевича.

Письмо к А. А. Толстой: «Жена едет в Петербург, чтобы повидаться с матерью, которую она не видала три года. Я остаюсь здесь с детьми. Если бы не это, я с женой был у вас. Теперь же она будет одна и все расскажет вам за меня и за себя. Одно, чего она не расскажет вам так, как бы я хотел, это о моей все возрастающей и возрастающей тревоге о ее здоровье со времени смерти наших последних детей. Она обещала мне быть у Боткина [167] , но кроме тех советов, которые он даст ей, я ничего не узнаю. Если вы увидите его, спросите у него, пожалуйста, и напишите мне прямо все, что он скажет. Если вы не захотите написать мне *всего,* что он скажет, то напишите: «я не хочу передавать того, что сказал Боткин», но если уже будете писать, напишите *все.* Мне так живо представляется радостная мысль, что вы увидитесь с женой, и так ясно, что она вам расскажет про нас все, что может вас интересовать, и гораздо лучше, чем я не только написал, но и рассказал».

На другой день после отъезда Софьи Андреевны он пишет ей: «Я не могу, еще нынче заниматься и еду в Ясенки, везу это письмо. Пожалуйста, не торопись назад, если не только нужно для совета Боткина, но просто если тебе приятно с *хорошими* людьми. Не стоит торопиться, когда уже далеко. Пожалуйста, не делай так, чтоб сказать мне: «Я бы поехала, увидала или услыхала, если бы пробыла лишний день». Мне одиноко без тебя, но нет той тоски, которой я боюсь, и чувствую, что не будет. А дети совершенно в тех же условиях, как при тебе».

Приписка к письму дочери: «Я всякую минуту думаю о тебе и воображаю, что ты делаешь. И все мне кажется, хотя я и мрачен (от желудка), что все будет хорошо. Пожалуйста, не торопись, и еще, хотя ты и говоришь, что покупать ничего не будешь, не стесняйся деньгами, и если вздумается что купить, возьми денег у Любови Александровны [168] и купи, и кути. Ведь через три дня мы возвратим.

Прощай, душенька, не получал еще письма от тебя. Без тебя я стараюсь о тебе не думать. Вчера подошел к твоему столу, и как обжегся, вскочил, чтоб живо не представлять тебя себе. Также и ночью, не гляжу в твою сторону. Только бы ты была в сильном, энергичном духе во время твоего пребывания. Тогда все будет хорошо».

В Петербурге Софья Андреевна впервые встретилась со старым другом мужа – А. А. Толстой. Они произвели друг на

друга хорошее впечатление.

Александра Андреевна, исполняя просьбу Льва Николаевича относительно Боткина, сообщает ему:

«[Sophie] я полюбила навсегда и уверена, что она это почувствовала. Вот как она мне показалась. Во-первых, давно знакомая и наружностью точно такая, как она мне виделась издалека. Потом симпатична с головы до ног – проста, умна, искренна и сердечна. Могла бы много чего прибавить, но сегодня пишу тоже на парах. Она оставила мне впечатление невыразимо теплое, и я вся переполнена ею и вами. Но зато жажда вас видеть и говорить с вами сделалась еще сильнее и почти мучительной. Как хорошо, что я теперь люблю Sophie уже не par procuration [169] , а par conviction [170] . Это мне так отрадно, и в ней что-то такое родное. Я ей поручила сказать вам, сколько она мне понравилась, но, кажется, она была не совсем расположена передать это поручение. В ее голосе я нашла что-то ваше, то есть некоторые ваши интонации, и это было мне тоже так приятно. В эту минуту входит ко мне посланный от Боткина с извинением, что он не может сегодня прийти ко мне, сам же будет послезавтра, а покамест велит мне сказать, чтобы я успокоила вас совершенно, что в состоянии графини нет решительно ничего, ничего дурного, и все боли только нервные. «Сергей Петрович просит вас повторить графу, что нет и тени опасности или чего-либо серьезного». На этом хорошем слове я прощусь сегодня с вами, милый, дорогой Leon. Как я счастлива и благодарна Богу, что вышло так!»

«Если у вас есть грехи, дорогой друг Alexandrine, – пишет ей в ответ Лев Николаевич, – то они, вероятно, вам простятся за то добро, которое вы мне сделали вашими двумя последними письмами. Попробую отвечать на то из них, что особенно радостно меня поразило. Соня не опасна, и вы ее искренно полюбили; искренность я слышу в вашем тоне, слышу, что вам не нужно было искать слов, и не могу вам передать, как это меня радует. Она приехала тоже в восхищении от вас. И я это очень понимаю; хотя я и писатель, вы так трудны для описания, что, сколько я ни старался, я не мог объяснить ей вас. Но она теперь поняла совсем… [171]

Третье [172] и главное приятное в ваших письмах, это то, что вы говорите, что моя profession de for [173] не только не отдалила вас от меня, но приблизила. Это мне радостно. Последнее время, в моих разговорах и переписке с вами, с Урусовым, с Бобринским [174] о религии, я почувствовал, что я играю роль противной, холодной кокетки, которая, хорошо зная, что она никогда не уступит, не отнимает надежды. И я решился впредь этого не

делать и быть вполне искренним и называть вещи по имени».

Приведенное письмо к А. А. Толстой касается трех тем: семьи, литературы и религиозных исканий. По этим трем основным руслам протекает духовная жизнь Толстого, и удачное сочетание этих элементов спасает его от отчаяния, тем самым помогая ему выйти победителем из отчаянной борьбы.

В процессе этой борьбы Толстой изнемогает под тяжестью неразрешимых вопросов, он – на краю гибели.

«Вы в первый раз говорите мне о Божестве – Боге. А я давно уже, не переставая, думаю об этой главной задаче. И не говорите, что нельзя думать; – не только можно, но должно. Во все века лучшие, то есть, настоящие люди думали об этом. И если мы не можем так же, как они, думать об этом, то мы обязаны найти как», – пишет он Фету.

«Для меня вопрос религии такой же вопрос, как для утопающего вопрос о том, за что ему ухватиться, чтобы спастись от неминуемой гибели, которую он чувствует всем существом своим, – пишет Лев Николаевич А. А. Толстой. – И религия уже года два для меня представляется этой возможностью спасения; поэтому fausse honte [175] места быть не может [176] . А дело в том, что как только я ухвачусь за эту доску, я тону с нею вместе; и еще кое-как je surnage [177] , пока я не берусь за эту доску. Если вы спросите меня, что мешает мне, я не скажу вам, потому что боялся бы поколебать вашу веру, а я знаю, что это высшее благо. Я знаю, что вы улыбнетесь тому, чтобы могли мои сомнения поколебать вас; но тут дело не в том, кто лучше рассуждает, а в том, чтобы не потонуть, и потому я не стану вам говорить, а буду радоваться на вас и на всех, кто плывут в той лодочке, которая не несет меня».

Н. Н. Страхову: *«Мучительно* и унизительно жить в совершенной праздности и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Все это пошло и ничтожно. Если бы я был один, я бы не был монахом, я был бы юродивым, то есть не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда. Пожалуйста, не утешайте меня и в особенности тем, что я – писатель. Этим я уже слишком давно и лучше вас себя утешаю; но это не берет и только внемлет моим жалобам, и это уже меня [не] утешит. На днях слушал урок священника детям из катехизиса. Все это было так безобразно. Умные дети так очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов».

Свое душевное состояние этих лет Толстой описывает на незабываемых страницах «Исповеди».

«Со мной сделалось то, что я, здоровый, счастливый человек,

почувствовал, что я не могу более жить, – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтоб как-нибудь избавиться от жизни. Нельзя сказать, чтоб я *хотел* убить себя.

Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению к жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни… Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться: если не распутаюсь, то всегда успею. И вот тогда я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее.

И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем; это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети и большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими, и мог считать, что имя мое славно, без особенного самообольщения. При этом я не только не был помешан или духовно нездоров, – напротив, пользовался силой духовной и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по 8-10 часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить, и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни».

Вспомним переживания Левина.

«Счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить».

«Когда Левин думал о том, что он такое и для чего он живет, он не находил ответа и приходил в отчаяние; но когда он переставал

спрашивать себя об этом, он как будто знал, и что он такое и для чего живет, потому что твердо и определенно действовал и жил; даже в это последнее время он гораздо тверже и определеннее жил, чем прежде».

Так было и с Толстым.

Весь его сложный путь описан в «Исповеди», и мы остановимся на нем лишь для того, чтобы выяснить роль семьи в этой величественной борьбе [178] .

В первые годы женатой жизни тоска и ужас перед смертью, посещавшие иногда Толстого, обычно отражались на семейных отношениях. Напрягая все силы на создание семьи, он тяготился ею в такие минуты смятения, протестовал, точно желая сорвать с себя цепи, которые приковывали его к нормальной, но при этом состоянии – бессмысленной жизни. Теперь же вся воля направлена на изыскание нового смысла жизни; он безбоязненно подрубает дерево, соками которого питался со дня женитьбы, и тем не менее большая часть его непосредственных интересов и помыслов сосредоточена в семье. В то время жена восторженно принимала всю деятельность мужа, он творил вместе с ней, но в моменты ужаса отходил от нее и даже тяготился ею. Это были минутные вспышки; теперь они превратились в непрерывное страдание. Софья Андреевна, как и прежде, не понимает состояния мужа, ей чужд весь круг его страшных вопросов, а деятельность его она принимает лишь с той стороны, которая ему теперь менее всего дорога. И все-таки в отношениях Толстого к жене нет никаких серьезных перебоев, они чрезвычайно трогательны и любовны.

Здесь нет иллюзии, Толстой ничем не обманывается. Он видит, как далека Софья Андреевна от того, чтобы понять всю сложность его духовной работы, как наивно воспринимает она стоящие перед ним глубокие проблемы. Он отдает себе полный отчет в том, что жизнь Софьи Андреевны – вне этих вопросов, что она вся – в плане женском, чисто семейном. И Толстого это не раздражает, он считает такое явление вполне нормальным.

Обратимся к иллюстрации из романа и вспомним, что весь путь, пройденный Левиным-Толстым, был озарен светом семьи. Любовь к жене поддерживала его, хотя жена ничем не могла ему помочь, не понимая его.

«Она знала, что мучило ее мужа. Это было его неверие. Несмотря на то, что, если бы у нее спросили, полагает ли она, что в будущей жизни он, если не поверит, будет погублен, она должна была согласиться, что он будет погублен, – его неверие не делало ее несчастия; и она, признававшая то, что для неверующего не может быть спасения, и любя более всего на свете

душу своего мужа, с улыбкой думала о его неверии и говорила сама себе, что он смешной.

«Для чего он целый год все читает философии какие-то? – думала она. – Если это все написано в этих книгах, то он может понять их. Если же неправда там, то зачем их читать? Он сам говорит, что желал бы верить. Так отчего же он не верит? Верно оттого, что много думает? А много думает от уединения. Все один, один. С нами нельзя ему всего говорить»… И тут ей вдруг пришла мысль, заставившая ее вздрогнуть от волнения и даже встревожить Митю, который за это строго взглянул на нее. «Прачка, кажется, не приносила еще белья, а для гостей постельное белье все в расходе. Если не распорядиться, то Агафья Михайловна подаст Сергею Иванычу стеленное белье», – и при одной мысли об этом кровь бросилась в лицо Кити».

За 15 лет Толстой сросся с семьей, стал неотделим от нее. В годы душевной растерянности семейные интересы, семейные эмоции придают силу его инстинктивной вере в жизнь, – вере, спасшей его от отчаяния.

Следует признать, что семья сыграла положительную роль. Толстой не почерпнул бы из семьи той энергии, которая поддерживала его, если бы не было согласия между мужем и женой. А мир Софьи Андреевны не был ничем нарушен. Религиозные искания Льва Николаевича были для нее посторонним явлением, а то, что с ее точки зрения было главное в их жизни, – литературная работа, – хотя и с перебоями, но шло успешно. Софья Андреевна была удовлетворена, эту удовлетворенность она вносила в семью, и нормальный темп жизни семьи ни в чем не изменился.

«Семья… но семья – жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины, – всякий шаг в признании ведет их к этой истине. А истина – смерть», – рассуждал Толстой [179] . Но эти рассуждения не убивали жизни. Отчасти по инерции, отчасти по долгу, а всего больше по непосредственному чувству он входил в интересы семьи, жил и обретал себе здесь убежище, хотя в разрешении мучивших его вопросов никакой помощи от семьи не получал. В этом, в главном, он был одинок. Своими недоумениями, новыми выводами он делится с друзьями, – С. С. Урусовым, А. А. Фетом, А. А. Толстой и, главным образом, с Н. Н. Страховым. А за женой оставляет круг интересов чисто семейных, уже подорванных сомнениями, но близких его сердцу.

Приведем еще раз выдержку из романа.

В последний день, которым заканчивается повесть о Левине, Левин нашел то, что так мучительно искал, – он понял необходимость веры, и это открытие оживило его. Размышлял он вдали от дома и вернулся в семью, не переставая «радостно слышать полноту своего сердца». В тот же день, когда гроза застигла Кити в лесу, под старой липой, Левин показал всю остроту любви к жене, он умилялся вместе с нею в детской, но не оборвал нити своих задушевных мыслей.

«Что ты, ничем не расстроен? – сказала она, внимательно вглядываясь при свете звезд в его лицо.

Но она все-таки не рассмотрела бы его лица, если б опять молния, скрывшая звезды, не осветила его. При свете молнии она рассмотрела все его лицо и, увидав, что он спокоен и радостен, улыбнулась ему.

«Она понимает, – думал он, – она знает, о чем я думаю. Сказать ей или нет? Да, я скажу ей». Но в ту минуту, как он хотел начать говорить, она заговорила тоже.

– Вот что, Костя! Сделай одолжение, – сказала она, – поди в угловую и посмотри, как Сергею Ивановичу все устроили. Мне неловко. Поставили ли новый умывальник?

– Хорошо, я пойду непременно, – сказал Левин, вставая и целуя ее.

«Нет, не надо говорить, – подумал он, когда она прошла вперед его. – Это тайна, для меня одного нужная, важная и невыразимая словами».

Все то же было и с Толстым.

Он ревниво оберегает свою тайну, один живет ею. Он понял необходимость веры, но разумом не может принять ее и, чтобы рассеять свои сомнения, летом 1877 года предпринимает вместе с Н. Н. Страховым поездку в Оптину Пустынь [180] . От свидания с монахами зависит все его душевное состояние, но в письме к жене, «после 4-х часов всенощной», он ни слова не упоминает о цели паломничества, касается лишь внешней стороны путешествия, а в конце приписывает: «Я здоров и мне очень приятно, хорошо. Ужасно жалел, что Саша [181] с нами не поехал. Только дай Бог, чтобы ты была здорова и ничто тебя не тревожило. До свиданья, душенька» [182] .

Посещение монастыря ничего Толстому не разъяснило. Хотя он и решил безоговорочно следовать всем предписаниям церкви, «стал соблюдать посты, ездить в церковь и молиться Богу» [183] , но он не может заглушить в себе противоречий, такая вера не удовлетворяет его, и он впадает опять в прежнее состояние.

«Левочка что-то мрачен; или целыми днями на охоте, или

сидит в другой комнате, молча, и читает; если спорит и говорит, то мрачно и не весело».

Он «что-то не весел и жалуется на ревматические боли то в руках, то в ногах, и часто повторяет, что старость пришла. А, право, не мудрено себя и молодому почувствовать стариком при нашей деревенской и особенно осенней и зимней обстановке», – дает свое заключение Софья Андреевна.

«Здоровье Левочки плохо, гораздо хуже, чем я ожидала. Боль в боку постоянная, кашель, слабость, и вчера была даже лихорадка. Я стараюсь молчать, никуда не звать, ничего не советовать; мне столько раз за это доставалось, хотя я сама убеждена, что дело плохо и что надо бы ехать в теплый климат… Как бы я поехала к вам туда, – пишет Софья Андреевна сестре на Кавказ. – Мне кажется, я везде бы устроилась, всюду бы мне было лучше, чем тут, в этих постылых яснополянских стенах. Ты мне написала такое длинное, интересное письмо, а что же мое-то письмо: только жалобы глупые и скука, и ничего интересного.

Меня Левочка очень постоянно во всем разочаровывает, ко всему охлаждает; потому я, верно, стала искать радостей не в тех серьезных интересах, которыми жила прежде, а в разных минутных, пустых радостях, лишь бы сейчас, эти пять минут мне было весело. Левочка постоянно говорит, что все кончено для него, скоро умирать, ничто не радует, нечего больше ждать от жизни. Какие же могут быть мои радости, помимо его?» [184]

Но в общем «мы осень прожили довольно хорошо, все были, слава Богу, до сих пор здоровы; о себе нечего сказать, – я не больна, но никогда в жизни не переносила беременности так трудно, как этот раз… Левочка свои золотые занятия еще не начинал; чтоб начать что-нибудь новое, надо какой-нибудь толчок, а как и откуда он будет, Бог знает. Сам он часто думает о чем-то, ему хочется заниматься, но он уныл и вял и сегодня говорит, что в голове пусто. А хотя его это и сердит, когда я говорю, но я уверена, что наша жизнь слишком монотонна и на нервы именно так действует, что делаешься вял и безучастен ко всему. Мой мир все-таки более разнообразен. То я учу Лелю, Машу и Таню кое-чему, то крою и шью, то читаю, то счеты вожу, на фортепиано поиграю, похозяйничаю, а Левочка утром встанет, посидит, почитает, и сейчас после кофе отправляется на охоту или с гончими или с борзыми, и почти всякий день. Придет к позднему обеду, потом опять читает, и иногда мы играем в четыре руки, но мне уж трудно делается, и нынче, как завтра, точь-в-точь».

Отношение Толстого к семье остается прежним. Он беспокоится о здоровье жены, боится за исход. Но вот 6 декабря

1877 года благополучно родился восьмой ребенок, сын Андрей. Через месяц Лев Николаевич сообщил об этом А. А. Толстой.

«Тревоги и страхи мои были за жену. Она была беременна и, не говоря о ее и моем страхе, очень естественном после потери трех детей, она, действительно, особенно тяжело носила и последнее время не могла ходить. Кончилось же, благодарю Бога, тем, что 6 декабря у нас родился славный мальчик, которого назвали Андреем, и до сих пор и он и она так хороши, как только можно желать. И старшие дети так много мне доставляют радости, что те заботы о воспитании и страхи о дурных наклонностях и болезнях не заметны… Детей моих я желал бы вам показать, – не то, чтобы они были очень хороши, а мне не стыдно было бы, и хотелось бы знать ваше мнение».

В вопросе о воспитании у родителей не возникает как будто никаких разногласий, и в оценке семейных событий они вполне единодушны. Вот мелкий, но характерный штрих.

«Анни [гувернантка] все мне делается противнее и противнее, – пишет Софья Андреевна сестре, – а M-lle Gachet [другая гувернантка] выдумала по вечерам часов до 11 и 12 гулять с M-r Rey [гувернером] в саду, что… некрасиво. Правда, что гуляют они открыто и говорят громко, но все-таки нам это не нравится». M-r Rey, «влюбившегося в англичанку и, кроме того, измучившего нас своим несносным характером», пришлось уволить, – сообщает Лев Николаевич А. А. Толстой [185] .

Занятия Толстого искусством много содействовали тому, что в эти тревожные годы семейные отношения сохраняли устойчивость. Вскоре после «Анны Карениной» Лев Николаевич начал новое крупное художественное произведение. Новые замыслы мужа увлекают Софью Андреевну, она интересуется лишь этой стороною его деятельности, и ничто – если исключить семейные заботы – не нарушает ее покоя.

А духовная жизнь Льва Николаевича очень сложна. В своем стремлении приобрести веру он переборол сомнения и стал покорно выполнять все предписания церкви. Разум его противится, он ищет выхода, и наступает время решительной борьбы с установившимися понятиями, время созидания новых религиозных положений. В те же дни Толстой занят разработкой нового художественного произведения, он предполагает внести в него свое религиозное настроение. Его духовные искания сливаются с литературными образами, и вся страстность этих исканий передается творчеству.

Первые замыслы нового произведения относятся к весне 1877 года. 3 марта Софья Андреевна записывает: «Вчера Лев Николаевич подошел к столу, указал на тетрадь своего писанья и

сказал: «Ах скорей, скорей бы кончить этот роман (то есть «Анну Каренину») и начать новое. Мне теперь так ясна моя мысль. Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так, в «Анне Карениной» я люблю мысль *семейную,* в «Войне и мире» люблю мысль народную, вследствие войны 12-го года; а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа, в смысле *силы «завладевающей».* И сила эта у Льва Николаевича представляется в виде постоянного переселения русских на новые места, на юге Сибири, на новых землях к юго-востоку России, на реке Белой, в Ташкенте и т. д.».

8 января 1878 года Софья Андреевна отмечает: «Теперь Льва Николаевича заинтересовало время Николая I, а главное – турецкой войны 1829 года. Он стал изучать эту эпоху; изучая ее, заинтересовался вступлением Николая Павловича на престол и бунтом 14 декабря. Потом он мне еще сказал: «И это у меня будет происходить на Олимпе, Николай Павлович со всем этим высшим обществом, как Юпитер с Богами, а там, где-нибудь в Иркутске или в Самаре, переселяются мужики, и один из участвовавших в истории 14 декабря попадет к этим переселенцам и – «простая жизнь в столкновении с высшей».

«Потом он говорил, что как фон нужен для узора, так и ему нужен фон, который и будет его теперешнее религиозное настроение. Я спросила: «Как же это?» Он говорит: «Если б я знал как, то и думать бы не о чем». Но потом прибавил: «Вот, например, смотреть на всю историю 14 декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать».

«[Левочка]… очень занят своими мыслями о новом романе, и я вижу, что это будет что-то очень хорошее, историческое, времен декабристов, в роде, пожалуй, «Войны и мира». Дай Бог только ему поправиться скорей, он часто стал хворать, а то работа пойдет», – сообщает Софья Андреевна сестре 25 января.

Сам Лев Николаевич пишет об этом А. А. Толстой: «У меня давно бродит в голове план сочинения, местом действия которого должен быть Оренбургский край, а время – Перовского» [186] . «Я теперь весь погружен в чтение из времен 20-х годов и не могу вам выразить то наслаждение, которое я испытываю, воображая себе это время. Странно и приятно думать, что то время, которое я помню, 30-е года – уж история. Так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается, и все устанавливается в торжественном покое истины и красоты…

Молюсь Богу, чтобы он мне позволил сделать хоть приблизительно то, что я хочу. Дело это для меня так важно, что,

как вы ни способны понимать все, вы не можете представить, до какой степени это важно. Так важно, как важна для вас ваша вера. И еще важнее, мне бы хотелось сказать. Но важнее ничего не может быть. И оно то самое и есть».

«Левочка… теперь совсем ушел в свое писание, – сообщает Софья Андреевна 2 ноября. – У него остановившиеся, странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего, и о житейских делах решительно неспособен думать».

«Вот уже с месяц, коли не больше, я живу в чаду не внешних событий (напротив, мы живем одиноко и смирно), но внутренних, которых назвать не умею, – пишет Лев Николаевич Фету. – Хожу на охоту, читаю, отвечаю на вопросы, которые мне делают, ем, сплю, но ничего не могу делать, даже написать письмо. У меня их набралось до двадцати, из которых есть почти такие же, как ваше. Нынче я как только немного очнулся, пишу вам. У нас все, слава Богу, здорово и хорошо. Обычная земная жизнь, со всем усложняющимся воспитанием и учением детей, идет как и прежде. Мы очень заняты: жена – самыми ясными, определенными делами, а я – самыми неопределенными и потому постоянно имею стыдливое сознание праздности среди трудовой жизни».

В последнем письме отразилась вся сложность внутренней жизни Толстого, идущей, как и прежде, по трем основным руслам: мучительные искания, напряженное творчество и семья.

Толстой ни на одну минуту не отходит от семьи и даже предпринимает шаги к улучшению ее материального благосостояния.

В марте 1878 года он едет в Петербург для окончания дела по покупке 4000 десятин новой земли в Самарской губернии и все время пребывания там посвящает сбору материалов о декабристах. Летом он едет на новый хутор устраивать хозяйство и поправлять здоровье (душевные тревоги всегда сопровождаются у него физическим недугом). Но чувствуется, что к этим практическим интересам присоединяется совсем другое побуждение – желание деятельности, движения, чтобы выйти из гнетущего состояния душевной растерянности.

«Должен признаться, что дорога, суета, забота о пустяках ужасно тяжелы мне, и я часто поминаю тебя, что «безумный ищет бури», – с дороги пишет Лев Николаевич жене.

«Неужели ты скучаешь без меня? Пожалуйста, не попускайся. Так и вижу, как ты, – если, избави Бог, ты не в хорошем духе, – ты скажешь: «как же не попускаться? Уехать, бросить меня…» и т. д. Или, что лучше, вижу, что ты улыбнешься, читая это. Пожалуйста, улыбайся».

С хутора он сообщает: «Бибиков [187] ведет дело прекрасно. Денег на уборку ему не нужно будет. Есть бахчи. Лошади очень хороши. Пшеница у нас тоже очень хороша. Гораздо лучше, чем я ожидал. Я ничего не делаю, ничего почти не думаю и чувствую, что нахожусь в переходном положении.

О тебе беспокоюсь и думаю, как только остаюсь один. Только бы Бог дал, все было благополучно во время нашей разлуки, а то я люблю это чувство особенной, самой высокой, духовной любви к тебе, которую я испытываю сильнее в разлуке с тобою. Теперь главный вопрос: ехать тебе или нет? По-моему, нет, и вот почему: я знаю, что главное для тебя – это я. Я скорее желаю вернуться, чем оставаться. В пользе для меня кумыса я не верю. А так как здесь засуха и слышны поносы, то не повредило бы тебе и Андрею. В отношении же больших удобств, то это все очень немного лучше прежнего. Но не забывай одного: что, что бы ты ни решила, оставаться или ехать, и что бы ни случилось независящего от нас, я никогда, ни даже в мыслях, ни тебя, ни себя упрекать не буду. Во всем будет воля Божья, кроме наших дурных или хороших поступков. Ты не сердись, как ты иногда досадуешь при моем упоминании о Боге; я не могу этого не сказать, потому это самая основа моей мысли. Обнимаю тебя и целую, милая моя».

По возвращении из Самары, Лев Николаевич принимается за свои «неопределенные» занятия, а «ясное, определенное» дело Софьи Андреевны идет своим чередом.

«Благочестивая тоска! *J\'ai, tu as, il a. Do, re, mi, fa, sol, la, si* [188] не так; играй сначала! Мартышка в старости слаба глазами стала!

И это целый день, совсем поглотило мою и Сашину жизнь, потому Саша тоже на себя взял уроки. Милая моя Соня, но ты не думай, что я скучаю; напротив, я втянулась, и теперь мне очень легко и весело. Все идет по часам, а вечером я свободна», – сообщает в Ясную Татьяна Андреевна.

Софья Андреевна отвечает ей в тон: «А у нас-то – вот благочестие-то!!! Ученье и ученье. Работа и работа. Понемногу обшила всех шестерых, но надолго ли, – к Рождеству еще придется всем шить. А еще была возня ужасная с маленьким. Привили ему оспу, две недели он болел и ныл, и теперь все за душу тянет, совсем времени с ним нет… У нас тоже прелестная, теплая осень, дети в таком восторге, что им привели ослов, и они по очереди на них всякий день катаются. Пришли ослы в день Таниного рожденья, 4-го. Я Тане подарила золотой медальон и колечко, и 3 рубля серебром. Пили русское шампанское за Танино здоровье».

Из других писем Софьи Андреевны: «Мы все едим постное весь пост, учимся и живем как по прописям, т. е. любим добродетель, труд, благочестие и тому подобное… Левочка читает, читает, читает… пишет очень мало, но иногда говорит: «Теперь уясняется!» – или: «Ах, если Бог даст, то то, что я напишу, будет очень важно!». Но эпоха, которую он взял для своего произведения, простирается на сто лет! Этому, стало быть, конца не будет».

«Я шью, шью, до дурноты, до отчаяния; спазмы в горле, голова болит, тоска, а все шью. Работы гибель, и конца ей не предвижу; семь человек и я восьмая».

Лев Николаевич принимает деятельное участие в этой жизни, но он прикасается к ней только одной стороной.

«Не сердитесь, пожалуйста, на меня за то, что я мою желанную поездку к вам все еще откладываю, – пишет он Фету. – Нельзя сказать, что именно меня до сих пор задерживало, потому что ничего не было заметного, а все мелочи: нынче гувернеры уехали, завтра надо в Тулу ехать, переговорить в гимназии об экзаменах, потом маленький нездоров и т. д. Главная причина все-таки – экзамены мальчиков. Хоть и ничего не делаешь, а хочется следить. Идут они не совсем хорошо. Сережа по рассеянности и неумелости делает в письменных экзаменах ошибки; а поправить после уже нельзя. Но теперь экзамены уже перевалили за половину, и надеюсь, что ничто меня не задержит. Одна из причин тоже – это прекрасная весна. Давно я так не радовался на мир Божий, как нынешний год. Стоишь, разиня рот, любуешься и боишься двинуться, чтобы не пропустить чего. У нас все слава Богу. Жена поехала в Тулу с детьми, а я почитаю хорошие книжки и пойду часа на четыре ходить».

Порою Софья Андреевна мечтает о том веселье, «какое не понимает и не признает Левочка». Однажды устройли семейный спектакль, «полон дом народа, репетиции для театра. И более чужд[ого] всему этому человека [чем Л. Н.?] трудно себе представить». Но и Лев Николаевич разошелся, «были гость на госте, театр и дым коромыслом, 34 простыни были в ходу для гостей, и обедало 30 человек, – и все сошло благополучно, и всем, и мне в том числе, было весело», – сообщает Толстой Фету.

Это было в то самое время, когда им владело совсем другое настроение. «Теперь имею предложить [вам] книгу, которую еще никто не читал, и я на днях прочел в первый раз и продолжаю читать и ахать от радости, – в том же письме пишет он Фету; – надеюсь, что и эта придется вам по сердцу, тем более, что имеет много общего с Шопенгауэром: это Соломона притчи, Экклезиаст и книга Премудрости, – новее этого трудно что-нибудь прочесть»

[189] .

Толстой изучает Экклезиаст; у семьи – другие интересы. «В следующее воскресенье Таня поедет в Spectacle de societe [190] . Илья достиг, наконец, своей великой цели и сделал три ручки для перьев с головками собачек, и совсем не плохо; а Таня добилась своей цели, и, наконец, комната ее устроена и очень мила. Мебель красная, растения везде, плющ вокруг столба, все покрыто лаком, письменные вещи все куплены и разложены, и она очень довольна».

Искания Толстого подошли к концу. Два года тому назад он познал необходимость веры, следовал всем предписаниям церкви, и теперь пришел к убеждению ложности ее учения. Весь этот процесс скрыт от семьи и постороннего взгляда. Он протекал в дни семейных забот и литературных занятий. Но что-то дало последний толчок. Лев Николаевич оставляет искусство и посвящает себя иному творчеству.

В августе 1879 года он поминает на молитве мать Александры Андреевны и ее брата Илью. В сентябре едет к Троице. В октябре «пишет он об Евангелии и о Божественном вообще… Все у него голова болит, хотя он перестал, по совету Захарьина и с разрешения митрополита, есть постное». А в ноябре «он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтоб показать, как *церковь* несообразна с учением *Евангелия*».

Толстой об этом рассказывает сам в «Исповеди»: «Я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не все истинно. Прежде я бы сказал, что все вероучение – ложно; но теперь нельзя было этого сказать. Весь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне было доступно, я уже жил им и чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. И все то, что прежде отталкивало меня, теперь живо предстало предо мною…»

«Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь, и истина заключаются в предании, в так называемом священном предании и писании. И ложь, и истина переданы тем, что называют церковью. И волей-неволей я приведен к изучению, исследованию этого писания и предания, – исследованию, которого я так боялся до сих пор. И я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким презрением откинул как ненужное» [191] .

Роман о декабристах так и не был написан. Другое поглощает теперь Толстого, и в новой творческой работе он одинок, как

никогда. Для него это – будущая жизнь; для Софьи Андреевны – страшная болезнь.

«Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться, – с горечью жалуется Софья Андреевна сестре. – Но делать нечего; я одно желаю, чтоб уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь.

Им владеть, или предписывать ему умственную работу, такую или другую, никто в мире не может, даже он сам в этом не властен».

В 1879 году написана «Исповедь». Здесь начертан новый путь.

XI

Прошло 18 лет семейной жизни. Это было для Толстого переходное время, самые ответственные годы, наиболее напряженные. В первые же дни после женитьбы началась коренная ломка, и работа протекала то в тиши, с чувством внутреннего удовлетворения, то бурно, в смятении, страстно. Временами активность уступала место пассивному отчаянию. На протяжении этих долгих лет душевное состояние Толстого менялось не раз. Многое откидывалось, иное коренным образом перестраивалось, возникали новые стремления, новые понятия.

В области духа происходила сложная работа. Она порождала различные настроения, и эти настроения переносились в семью. Но они задевали ее только внешне, и основной тон, взятый с первого года, оставался неизменным. Тот принцип, на котором семья была создана, ни разу не подвергся серьезному сомнению. И лишь в последние годы, когда возникал общий вопрос о жизни и ее конце, вопрос этот частично задевал и семью. Но стержень, на котором семья держалась, не колебался даже и тогда. Смысл семьи, ее назначение были бесспорны. В годы напряженных исканий и многих перемен, в одной этой области Толстой ничего нового не ищет, ничего не хочет изменять.

В чем же состоит бесспорная сущность брака, проявившаяся в жизненном опыте Толстых?

Она была очевидной при зарождении его. На фоне прежних увлечений самый процесс влюбления показал, какие формы примет и к каким результатам приведет эта любовь. Ее стихийность противоречила теоретическим пожеланиям Толстого, и, осуществляя мечту своей юности, он выполнил ее без всякой мысли в том идеале, который юность создала. В идеале жена представлялась ему не столько женщиной, сколько другом, помощником в работе. Но сердце его беспокойно забилось лишь тогда, когда его задела *женщина.* С этим непосредственным чувством он подошел к ней и отдал ей свою мужскую страсть.

Эмоциональные силы достигли высшего напряжения, они требовали разряда, и Толстой надеялся получить его здесь. В

этом инстинктивном выборе он не ошибся. На протяжении 18 лет личная жизнь была заполненной, душевное удовлетворение подтверждало правильность взятого пути, и путь этот был творческим в самом себе, создавая кроме того исключительно благоприятные внешние и внутренние условия для творческой работы иного порядка.

Характер отношений между мужем и женой, т. е. формы этого брака были не случайны. Они явились результатом логического развития душевных склонностей Толстого, его жизненного опыта. Практика молодости, когда примитивное половое влечение приносило столько огорчений Толстому, привела к полному, решительному осуждению чувственных проявлений инстинкта и усилила склонность к такой семейной жизни, в какой физическая связь супругов должна играть служебную роль, должна явиться подготовительным периодом для настоящей брачной жизни. Смысл ее не в удовлетворении личных влечений, а в создании семьи, в детях.

На этом принципе была построена семейная жизнь Толстых. Все было сведено к этому естественному основанию. Никаких сложных разветвлений, взлетов или провалов, чего бы можно было ожидать от эмоциональной жизни художника, – ничего этого не было. Беспрерывное оплодотворение, рождение, воспитание – вот весь законченный круг.

Этот характер отношений определился с первых же дней. Выше было показано, какую положительную роль сыграла семья в духовной жизни Толстого. Но ее влияние было иррационально. Семья принимала непосредственное участие в коренной ломке его духовной жизни, хотя внешне оставалась от нее в стороне. По свидетельству Льва Николаевича, Софья Андреевна бессознательно преобразовывала его, сама того не подозревая. В первое время ей было тяжело ограничение их отношений семейными эмоциями, но она смирялась, понимая, что большего дать не может. Так ей казалось. В действительности она давала очень много.

Через год после замужества, в грустную минуту, она отметила в дневнике: «Я – удовлетворение, я – нянька, я – привычная мебель, я – *женщина*». «Мне хотелось бы всего его охватить, понять, чтоб он был со мною так, как был с Alexandrine, а я знаю, что этого нельзя, и не оскорбляюсь, а мирюсь с тем, что я для этого и молода, и глупа, и не довольно поэтична. А чтоб быть такой, как Alexandrine, исключая врожденных данных, надо быть и старше, и бездетной, и даже незамужней».

Спустя три года Софья Андреевна пишет: «Мои все ресурсы, орудия, чтоб стать с ними наравне – это дети, энергия, молодость

и здоровая хорошая жена».

Софья Андреевна была совершенно права. Именно таким путем, откинув все постороннее, отвлекающее, сделавшись только женою и матерью, она ответила запросам мужа, и здесь ее огромное значение. В первое время семья вдохновляла Толстого к творчеству, в последующие годы спасла его от отчаяния. И эту роль сыграла не столько жена, сколько мать. Семья тем была дорога Толстому, что он находил в ней жену-мать и детей, а не только жену-любовницу.

Чувственные проявления личной близости супругов должны быть допущены только как средство и никогда, как цель. Это было одно из самых твердых, незыблемых убеждений Льва Николаевича. Когда Софья Андреевна, физически измученная родами, пыталась протестовать, мы видели, какой гнев это вызывало. Нет никаких причин для отступлений, никаких смягчающих обстоятельств. И Толстой не только сам проводил все это в жизнь, но с тревогой следил за близкими. По поводу предполагавшейся свадьбы его свояченицы и А. М. Кузминского, он говорил жене: «Больше всего я в них боюсь чувственности и не люблю, а я подметил ее. Ну, да не нам судить». А через несколько лет, когда у Кузминских затянулся промежуток времени между последним ребенком и следующим, Лев Николаевич писал Татьяне Андреевне: «Я очень рад, что ты беременна. Это по-божески. А то мне что-то было неприятно».

Угроза чувственности идет со стороны мужчины. Ужасное свойство начинает проявляться в нем почти с детского возраста, и Толстой по личному опыту это хорошо знал. Годы рокового перелома, когда мальчик, предоставленный самому себе, начинает сгорать от смертельного яда, всегда волновали Толстого, и образ нездорового унылого юноши с синевой под глазами неотступно преследовал художника [192] . Здесь начало зла, оно с каждым годом усиливается, и вредные проявления инстинкта прекращаются только в нормальной семье, где чувственным проявлениям отведена лишь служебная роль.

Но даже в такой семье ужасно начало ее, первые месяцы, быть может, первый год, когда мужская страсть себя не ограничивает и своею грубостью оскверняет душу невинной девушки. Левин-Толстой медовый месяц считал «самым тяжелым и унизительным временем их жизни». Он старался «вычеркнуть из своей памяти все уродливые, постыдные обстоятельства этого нездорового времени». А впоследствии, когда его семейная жизнь пошла по нормальному, естественному руслу, Толстой не мог без горечи думать о тех, кому еще предстояло пройти этот неизбежный постыдный этап.

По поводу замужества племянницы Лев Николаевич писал А. А. Толстой: «Варя, моя любимица, выходит замуж за Нагорнова, и я в первый раз испытал чувство *жестокого отца,* какие бывают в комедиях. Хотя в молодом человеке нет ничего дурного, я бы убил его, если б он мне подвернулся на охоте. И я своею мрачностью расстроил их ребяческое, так называемое, счастье; а не могу иначе. Избави Бог дожить до невесты-дочери. Это чувство жертвоприношения, заклания на алтаре какого-то страшного и цинического Божества».

Брак получает бесспорное право на существование лишь тогда, когда кончается его подготовительный период и жизнь семьи сосредоточивается в детской. Вся тяжесть забот тогда ложится на жену, она должна вся раствориться в семье, и такую женщину Толстой прославляет, преклоняется перед ней. Труд ее огромный, и ничто постороннее не должно мешать ей. Особенно следует беречь ее от покушений со стороны посторонних мужчин, не сумевших найти естественного применения своей чувственности. Охранять ее также надо от неразумной страсти собственного мужа и парализовать возможность перенесения его вожделений в чужую семью. Семья – в детях, тот, кто поддерживает такую семью, тот получает право на почетное звание. В своем стремлении создать благоприятные условия для процветания домашнего очага Толстой доходит до самых крайних выводов. Он оправдывает проституцию, и «почетное звание» оставляет за «распутными женщинами» наравне с «повивальными бабками, няньками, экономками» [193] .

Толстой прославляет жену-мать. Но особое восхищение вызывает в нем та женщина, которая лишена для него всяких земных форм, в которой осталась одна идея матери. Это – его собственная мать. Он ее никогда не знал, не помнил совсем, но он почти обожествлял ее. Почитание матери достигало степени культа.

Метафизика любви очень проста. В ней нет ничего расплывчатого, никаких увлекательных надстроек, романтических иллюзий, красивых фраз. Все тревоги нашего сердца, все его победы, весь запас эмоциональных сил – все это только орудия, которые могут быть использованы и на добро и на зло. А добру они служат тогда, когда выполняют волю трезвого божества, имя которого – размножение.

Не столько мужчина, сколько женщина призвана на это служение, и горе той, которая осмелится нарушить закон, приняв средство за цель или подменив свой долг выдуманной фикцией. Гибель ее предрешена.

Вот в кратких словах тот взгляд Толстого на брак, который

существовал у него в эти годы. Этот взгляд не оставался отвлеченным убеждением спокойного исследователя. Толстой не столько рассуждал, сколько жил так. Не от теоретических положений он шел к практике, наоборот, общие утверждения являлись результатом его жизненного опыта. Он всем существом своим требовал этих норм. Он не представлял для себя иного положения. И Софья Андреевна, на долю которой выпало проведение в жизнь природных склонностей мужа, в достаточной мере отвечала его запросам. Это и было семейным счастьем Толстого.

Но жизнь не уподобляется алгебраической формуле. В жизни слишком много усложнений и неожиданных скачков, которые иногда идут вразрез со спокойным математическим процессом. Лишь в конечном итоге, в основе своей, формула осуществляется. Супружескую жизнь Толстых не следует представлять каким-то беспрерывным блаженством, бесконечным удовлетворением. Много было тревог, несогласий, охлаждений. Желания не всегда совпадали, бывали угрозы разрыва, но, в конечном итоге, в основе своей, эта жизнь была плодотворной, внутренне оправданной, ибо осуществились заложенные в ней возможности.

На первый взгляд счастье было своеобразным. Все произошло так спешно суетливо, без логических обоснований, без согласования с общим душевным строем. Таким же мало понятным счастье это может показаться и дальше. Сфера отношений между мужем и женой слишком ограничена. Духовные ресурсы слишком различны. Участие жены в духовной жизни мужа очень скромно. Иногда оно идет ему в помощь, иногда мешает. Даже в ограниченной семейной области влияние Софьи Андреевны порою не могло не быть тяжело мужу. Особенно в последнее время: Софья Андреевна придавала заботам о семье часто слишком шаблонный, наивный характер, и все эти «скелетцы», обновки, домашние маленькие радости – все это на фоне полного непонимания душевного состояния мужа, который был на границе отчаяния, звучало резким диссонансом и не могло не тяготить его.

Так кажется на первый взгляд. Рассуждая, можно прийти к тому же заключению. А Толстой, вопреки всем доводам, был счастлив и бесспорно счастлив. И сфера влияния семьи в действительности не была ограниченной. Так называемая сублимация была огромна, и все творчество Толстого шло под знаком семьи.

Этот яркий жизненный опыт может служить прекрасным примером для изучения законов сексуальной жизни. Своею колоритностью он ставит резкий вопрос и дает на него точный

ответ. Он подтверждает полную иррациональность жизненной силы, имеющей свои специальные законы, свою мерку, свое назначение. Это – сила рода, а не сила индивидуума. Благодаря этой особенности, присущей половому влечению, оно вступает порою в конфликт с оформленными склонностями индивидуума или, – что еще парадоксальнее, – создавая условия для неизбежного столкновения, в действительности служит интересам того же индивидуума. Так было у Толстого – с его буйной плодовитостью и великим творчеством.

Этот пример помогает уяснить искусственность различных теорий с общественным или романтическим уклоном, когда мечтают о жене-единомышленнице или расценивают любовь, как особое блаженное состояние человека, в котором потребность размножения играет второстепенную роль. Это не так. Сочетание удачно лишь в том случае, когда оно отвечает мало известным нам родовым законам, когда оно их осуществляет.

Жизненный опыт Толстого подтверждает будничную теорию, а для исследователя с «сексуальным» уклоном он дает богатый материал для многих частных заключений. Взять хотя бы искания вневременной, бесконечной жизни и упорное стремление к продолжению рода, что есть не что иное, как осуществление бесконечности материи. Но мы не будем останавливаться на этих вопросах. Здесь существенно было выяснить взгляд Толстого на брак, взгляд, который существовал у него в эти годы, и установить совпадение его с самой жизнью. И выше было показано, что душевные склонности Толстого, несмотря на отдельные более или менее серьезные отклонения, реализовались вполне.

Постепенно, исходя из жизни, непосредственные душевные склонности принимали характер объективной истины, бесспорных теоретических положений. И под конец периода счастливой семейной жизни Толстой посвятил этой проблеме свое лучшее художественное произведение.

«Анну Каренину» должно рассматривать как величественную трагедию, в которой перед лицом бесстрастного судьи ведут спор две человеческие силы: любовь как средство и любовь как цель.

Величавым эпиграфом предсказан суровый приговор, но автор в защиту обвиняемой привел все смягчающие обстоятельства. Действующие лица: Долли, Анна и Кити. Долли давно отжила свою счастливую весну, ее личная жизнь безотрадна, но она перенесла центр влечения на детей, ушла к ним и вся растворилась в семье. В этом было ее счастье. Наоборот; Анна никогда не знала любви. Ее замужество было нелепым в самой основе, но она гордо смирялась, спрятав

глубоко тоску до тех пор, пока не появился он, не пробудил ее к жизни, и эта жизнь стихийно расцвела. Как будто судьба решила исправить свою жестокую ошибку. Любовь была красивой, сильной. Анна была хорошей подругой новому мужу. Она жила его интересами, умело помогала ему. Анна, казалось, имела право на счастье, и никто не мог обвинять ее. Сам автор взял ее сторону, показав ничтожность и лицемерность протестов лживого света.

Но вышло не так. Первое движение сердца было первым шагом к пропасти. Анна нарушила закон. Она перенесла центр тяжести в область личную, личные чувства сделала целью, вместо того чтобы пользоваться ими только как средством. Она оставила служение роду, она оставила семью и, встав на этот порочный путь, в новых условиях уже не сумела создать новой семьи. Рождение девочки было случайным эпизодом, оно не играло главной роли, и такая бесплодная любовь только женщины, а не матери, превратилась в любовь эгоистическую, чувственную, «мрачную, тяжелую любовь».

Анна захотела счастья, но она не знала, где его найти. Оно не в личных радостях, а в радостях семьи. Если путь к ним тернист, то его надо смиренно пройти, – ведь это только путь. Но нельзя принимать его за цель, искать красивого пути, прельститься им и остаться на нем. Этим смысл искажен, корни обрезаны, жизнь неизбежно прекращается. Так было с Карениной. Своеволие погубило ее.

Анна нарушила основной закон жизни. Призванная быть матерью, она, в поисках радости, отказалась от единственной истинной радости, она отказалась от жизни. Ее дальнейшее существование бессмысленно. И, выполняя приговор верховного судьи, она в последние минуты поняла свою ошибку. Она вспомнила о сыне, о любви к нему. Вспомнила свою последнюю любовь. И это последнее воспоминание вызвало в ней отвращение. Но было поздно – она была отравлена.

На мрачном фоне бодро звучит финальная мелодия. Если Анна была обреченной, а Долли и счастливой и несчастной, то Кити была счастлива вполне. Путь ее светлый, и дом радостный. Будущее в ней.

Они встретились в последний раз: Анна, жалкая, мешающая, смиренно-радостная Долли и торжествующая Кити. Анна погибала, Кити училась у Долли кормить. Эта молодая женщина, от избытка счастья все прощающая, сливалась с природой, и в ней ликовала вечная жизнь.

Левины – это Толстые. Автор воспел свое счастье. Он показал добро и зло. Описывая добро, рассказал о себе. Но в жизни были

перебои, они оставили след. Его жена также порою восставала против закона. Хотя бы на словах только, но восставала. И возможно, что эта страшная дилемма подсказала художнику тему его романа. Он вывел себя победителем. И был таким в эти годы. Но откроется новая книга жизни, все пойдет по-иному, скрепы ослабнут, дилемма снова возникнет. Она обострит другие вопросы и сама станет болезненнее благодаря им.

Счастье семейное кончилось.

Книга вторая Семейный разлад

Начало семейного разлада, семейной драмы Толстых следует отнести к 1880 году, к тому времени, когда духовная жизнь Льва Николаевича Толстого вступила в новый, последний фазис.

Это самый продолжительный и содержательный период. В молодости – неоформленные религиозные настроения, порывы к самосовершенствованию и к практическому участию в общей жизни. В зрелые годы – отход от прежних интересов; проблема личного совершенствования отнесена на задний план, и все внимание сосредоточено на теоретическом, спокойном изучении основных законов жизни. Но тот духовный эгоцентризм, который с юных лет заставлял Толстого с особой остротой и тревогой следить за собственной судьбой, беспокоил его даже в эти годы интеллектуальных наслаждений и лишил его радости безмятежного созерцания мира в свете выработанной им религиозно-философской системы. Поставлен вопрос о жизни и смерти, вопрос *для себя.* Власть этой проблемы настолько велика, что на девятом году после женитьбы она едва не перебила всего строя жизни, но, к счастью, один из элементов духовного содержания молодости – потребность общественной деятельности – был вызван к жизни, и равновесие восстановилось. Работа мыслителя продолжается с прежней энергией, но под напором все обостряющихся и обостряющихся *личных* вопросов внимание сосредоточивается на их разрешении, и система надстраивается, преображается. Она теперь не только продукт и объект изучения, она – импульс, императив, программа жизни.

В 1879 году работа завершилась в полной гармонии. Все то, что с первых шагов сознательной жизни проявлялось в Толстом, – потребность религии, самосовершенствования и практического участия в общем процессе жизни, – эти три элемента, которые к 34 годам, не имея под собой твердой почвы, привели его в тупик, теперь, через 20 почти лет непрерывной работы, объединены одним принципом на одном незыблемом основании. Все проникнуто религиозной идеей, все исходит от нее и возвращается к ней. Есть один путь для жизни, остальное – путь смерти и зла. И Толстой твердо берет направление к бессмертной жизни, но здесь встречает огромные препятствия и все силы свои кладет на их преодоление.

До этого времени внешние условия, вся окружающая обстановка были особенно благоприятны.

Разнообразие форм общественной жизни, постоянная смена впечатлений, переход от одного замысла к другому, неудачи,

разочарования и сложность личной жизни помогли молодому Толстому пройти весь очерченный круг и тем создать логический переход к следующему периоду – периоду интеллектуальной подготовки. А когда этот период наступил, условия, необходимые прежде, отпали и народились новые, важные для данного момента. Осуществившаяся мечта о семейном счастье, узкие рамки этой жизни дали Толстому полную возможность выполнить поставленную перед ним задачу. Сначала личное счастье вдохновляло его к творчеству, а затем спасало от отчаяния и помогло закончить работу.

Переход в последний период, являющийся как бы синтезом первого и второго, произошел иначе, вызвал тяжелые осложнения. Новые проблемы требовали от Толстого коренного изменения форм окружающей жизни, а эти формы предъявили право на самостоятельное существование. Они остались в прежней плоскости и в ней закономерно развивались. За 18 лет согласной семейной жизни они пустили глубокие корни, и ни у кого не было сил вырвать их.

То, что служило Толстому во благо, теперь обратилось для него во зло. То, что делало семью счастливой, – духовная, творческая жизнь Льва Николаевича – теперь делает семью несчастной. Прежде он и семья взаимно питали друг друга, теперь их интересы противоположны, связь оборвана, и они вступили в борьбу, защищая каждый свое право на жизнь, временами ожесточаясь, временами примиряясь и срываясь опять.

Рассказ об этой жизни составляет тему третьей части нашей книги.

I

Вначале не было заметной внешней перемены.

Лев Николаевич оканчивает дело по покупке самарского имения, едет в Петербург, где продает право на новое, четвертое издание своих произведений «за 25 тысяч чистыми деньгами, сейчас же уплаченными», и Софья Андреевна «результатом довольна». Едет он также в Москву, ходит по конторам, «университетам и гимназиям» в поисках учителя и гувернанток [194] .

Заботы остались на время прежние, но творческая работа на новом пути идет спешная. Толстой занят критикой отживших форм религии и изложением своего миросозерцания. Хотя Софья Андреевна и не сочувствует этой работе, хотя ей это «тяжело и скучно», но в свободные минуты она переписывает ее и, несмотря на протесты сестры, старается соблюдать покой мужа, так как «мужчины постоянно напрягают ум и, следовательно, нервы, потому голову и нервы их надо беречь прежде всего; и за эту тишину, за соблюдение их нервов они, после работы, приносят в семью хорошее расположение духа».

Хотя Софья Андреевна не согласна с выводами Льва Николаевича, оспаривает их, но она признает их ценность и в минуты душевной близости хочет поверить в них.

По отъезде мужа в Москву, она пишет ему вслед: «Я вчера ехала с тобой и все думала, что бы я дала, чтобы знать, что у тебя на душе, о чем ты думал: и мне очень жаль, что ты мало высказываешь мне свои мысли, – это бы мне морально и нужно и хорошо было. Ты, верно, думаешь обо мне, что я упорна и упряма, а я чувствую, что многое твое хорошее потихоньку в меня переходит, и мне от этого всего легче жить на свете.

Целую тебя и (что делать – такая деспотка) скучаю без тебя».

Но что-то в семье уже надорвалось, и к осени это сделалось явным.

«Всякая на моем месте голову бы потеряла, – пишет Софья Андреевна сестре. – На душе у меня, Таня, разлад ужасный. Столько передумала и перечувствовала за эту осень, и результат очень грустный. Писать ничего не могу: как рассказать самое задушевное в письме? Все у нас в доме по-старому, все на вид совсем благополучно, но с Левочкой холодно и далеко. В доме или ничего меня не интересует, или вызывает тоску, страдание, жалость, крайнюю нежность к детям и желание смерти. Ты бы не узнала меня, как я похудела и переменилась, постарела, осунулась. Бывала я одинока, но никогда так одинока, как теперь.

Так мне ясно, так ощутительно, что никто меня знать не хочет, и никому я не интересна. А теперь более, может быть, чем когда-либо, мне была бы дорога и нужна чья-нибудь нежность».

«Это был как бы кризис наших с Левочкой отношений, – сообщает она через неделю. – С тех пор лед как будто растаял, он стал со мною гораздо ласковее и натуральнее, и, к счастью моему, я сильно заболела… часов семь кричала и каталась, вся помертвела и всех напугала. Бог знает, что это было, но повторилось два раза в эту неделю и прошло без последствий. Но Левочка испугался, что я умру, и возвратил мне всю свою любовь. А холоден он стал, ты, верно, догадываешься, так же как и я, почему, хотя он ничего не высказывал».

Серьезных причин к разладу было две, и одна из них та, которую Лев Николаевич «не высказывал». Это – возобновившийся протест Софьи Андреевны против беременности. Впервые он проявился в 1871 году, повторился в 1877-м, но в том и другом случае был кратковременным. А теперь, после рождения 9-го ребенка и 3-х выкидышей, Софья Андреевна не чувствует в себе прежних сил, каждое кормление проходит с невероятными мучениями, она хочет отдыха и другой жизни.

«Иногда так бы и полетела к вам, к мама, в Москву – всюду, всюду, из своей полутемной спальни, где я, нагнувшись в три погибели над красненьким личиком нового мальчика, 14 раз в сутки вся сжимаюсь и обмираю от боли сосков. Я решилась быть последовательна, т. е. кормить и этого *последнего,* и вынести еще раз эти боли, и выношу довольно терпеливо».

«Как мне тяжела иногда моя затворническая жизнь! Ты подумай, Таня, я с сентября из дому ни разу не выходила. Та же тюрьма, хотя и довольно светлая, и морально и материально, но все-таки, иногда такое чувство, что точно меня кто-то запирает, держит, и мне хочется разломать; растолкать все кругом и вырваться, куда бы то ни было, но вырваться поскорей, поскорей».

«А с маленькими какая скука возиться, не приведи Бог; у меня теперь ни времени нет, ни свежей головы, ни хорошего расположения духа, ни мысли, ничего». «Маленького, Таня, не советую желать. Господи, как тяжелы эти длинные, холодные ночи, в которые ходишь кормить, как ни за какое дело днем нельзя взяться, как его жалко вместе с тем, как с няньками трудно ладить! Нет, Бог с ними, лучше, чтоб не родились больше».

«Миша срыгивает то малое молоко, которое сосет, всякий раз, и я чувствую себя дурно. Стало быть, я, к крайнему ужасу своему, верно, опять беременна».

Легко представить всю степень неудовольствия Льва

Николаевича. Еще холостым он мечтал о жене-матери, а не о жене-любовнице. За годы семейной жизни этот взгляд вполне установился, и Толстой не представлял себе иного положения. Но нельзя обвинять Софью Андреевну, которая всю свою молодость провела в мучительном кормлении и тяжелой беременности, почти без отдыха, – обвинять за то, что у нее под конец не хватило сил. Наоборот, она могла упрекнуть (и, вероятно, упрекала) мужа за его прямолинейность, за его нежелание считаться с ее физическими и психическими возможностями.

Для нас важно то, что несогласие это существовало; оно разбередило старые раны и усиливало раздор, который вытекал из требований Льва Николаевича об изменении образа жизни семьи. Это вторая причина разлада, тесно связанная с первой. Интересы Толстого резко изменились. «Левочка вдался в свою работу, в посещение острогов, судов мировых, судов волостных, рекрутских приемов, в крайнее соболезнование всему народу и всем угнетаемым. Это так все несомненно хорошо, – пишет Софья Андреевна, – велико и высоко что только больше чувствуешь свое ничтожество и свою гадость. Но, увы, жизнь свои права заявляет, тянет в другую сторону, и разлад только болезненнее и сильнее».

Хотела было Софья Андреевна вести жизнь прежним темпом, но это вызвало протест, «заикнулась было позвать гостей к Рождеству, но Левочка выразил такое недовольство, что ему помешают заниматься, что [она] сочла себя не в праве мешать ему. Хотела… было ездить в Тулу кое к кому в винт играть, но и это намерение было встречено очень иронично».

Но «жизнь свои права заявляет» и мужу и жене. Он – весь в мире, она – вся в семье. Ее обязанности, закономерно развиваясь, потребовали для старшей дочери участия в светской жизни, и Софья Андреевна, несмотря на протесты Льва Николаевича, начинает вести эту жизнь, ни на одну минуту не забывая домашних забот.

Она пишет сестре: «Теперь мне голову вскружили два выезда. Первый послезавтра – обедать к Бестужевым [195] , а вечером в музыкальное собрание, где наш Сереженька с Колей Кислинским [196] играют в четыре руки польский и краковяк из «Жизни за царя», с аккомпанементом двух скрипок и двух виолончелей. Это очень меня интересует и волнует. Мы, вероятно, поедем все: я даже Лелю обещала взять. Левочка что-то отговаривается и ехать не решается, но я надеюсь его уговорить. Он все дома сидит, очень пристально занимается и ничем светским уж совсем не интересуется».

«Тане было очень весело… Спектакль был очень мил, грациозен и сыгран хорошо. Мы были в первом ряду со всеми

знакомыми… После спектакля был вечер, и Анна Сергеевна устроила так для Тани, чтоб первая кадриль была monstre [197] , т. е. с вальсом, мазуркой, фигурами и проч. Теперь я засела дома. Работала я последнее время не переставая, детей учу очень усердно, иногда пять часов в день… и сегодня надо смотреть и за старшими и за меньшими, которые выбежали на двор, нахватали снегу, набили им стаканы, и я их, несмотря на праздник, засадила за русский диктант, в наказание… Левочка совсем заработался, голова все болит, а оторваться не может».

Его обязанности, также закономерно развиваясь, приводят совсем к другим действиям. Лев Николаевич не может больше равнодушно проходить мимо окружающей жизни: горя и нищеты. Внимание сосредоточено здесь, и в дневнике, возобновленном после пятнадцатилетнего перерыва, он пишет только об этом.

Случилось в Ясной обычное дело: отправили Татьяне Андреевне бедную кормилицу. И Лев Николаевич с горечью записывает в дневнике: «Дома у него со старухой 5, своего хлеба давно нет, картошек нет, коровы нет. Последнее молоко, то, которое было в груди жены… увезли в Харьков, в кормилицы сыну товарища прокурора судебной палаты.

Благодаря тому, что продали это молоко – товарищу прокурора судебной палаты, променяли на хлеб, семья еще жива» [198] .

А для Софьи Андреевны здесь нет вопроса совести. Она совсем просто смотрит на это, и в одном ее письме ярко раскрывается все различие их мироощущения.

Письмо к сестре: «Сегодня я видела кормилицы твоей свекровь; дети все и муж ее совсем здоровы. На хлеб денег она у меня сегодня просила, говорила, что овцу мне отдаст за деньги. А то Левочка ему дал денег, т. е. ее мужу, они очень бедны; а Левочка теперь ужас что денег всем бедным раздает».

Такое состояние совсем непонятно семейным. Брат Софьи Андреевны, прогостивший в Ясной неделю, нашел во Льве Николаевиче «нравственную перемену к худшему, т. е. боится за его рассудок», да и Софья Андреевна считает, что «религиозное и философское настроение всегда самое опасное».

Она старательно оберегает семью от возможных осложнений на этой почве; после событий 1 марта 1881 года ей пришлось особенно энергично встать на ее защиту. Лев Николаевич решил написать новому царю письмо, умоляя его помиловать убийц. Софья Андреевна очень боялась репрессий со стороны правительства за этот шаг, умолила мужа не писать и обратила свой гнев на бывшего тогда у них в доме учителя, В. И. Алексеева, сочувствовавшего Толстому [199] . Письмо все же было написано

и отправлено через Н. Н. Страхова. Софья Андреевна пишет ему, чтобы узнать у Победоносцева, «не может ли это письмо вызвать в государе какие-нибудь неприятные чувства или недоброжелательство к Льву Николаевичу. В таком случае, – просит она, – ради Бога, не допускайте письма до государя».

Так поступить Лев Николаевич был «обязан перед своей совестью». Петербургская трагедия его до крайности мучает, он боится за исход, хочет верить в торжество добра, мечтает об истинно христианском разрешении.

А Софья Андреевна воспринимает событие в ином плане. «Еще мне креповую черную шляпу прислали и чулки, перчатки, чепчик, все черное. Напиши, Таничка, до какой степени носят траур и долго ли будут носить черный креп вокруг шеи и рук. Конечно, я говорю про дам de la societe [200] , так как купчихи у нас в красных перьях и цветах щеголяют. Я же ношу траур: это, кстати, и удобно и порядочно».

Между мужем и женой как будто нет более никаких точек соприкосновения. Все идет не гладко, «часто бывают маленькие стычки», и Софья Андреевна «даже хотела уехать из дому. Верно, это потому, что по-христиански жить стали, – рассуждает она. – А по-моему, прежде, без христианства этого много лучше было».

Но они крепко связаны, и совместная жизнь продолжается.

Весною 1881 года старший сын заканчивает среднее образование. На очереди вопрос о его поступлении в университет.

Мартовские события внесли большое оживление в студенческую среду, и Софья Андреевна боится за сына, ей страшно, что общее революционное движение захватит его. И вот, чтобы оградить сына от постороннего влияния, Софья Андреевна решается всем домом переехать в Москву.

По этому поводу она пишет сестре: «Ты, верно, слышала о Сабурове [201] , как эти подлецы студенты с ним обошлись. Мне грустно, что Сережа в университет поступает; мне кажется, что теперь это вертеп разбойников, хотя меня многие утешают, что в университетах только болтовни много, но на действия дурные студенты не идут. Одно утешение еще, что у Сережи характер серьезный, и музыка его всего поглощает; авось, не собьют с толку… А я решила во всяком случае ехать в Москву, хотя и рожать там в октябре. Поеду летом, все устрою, все куплю, а в сентябре перееду да и только. Сережу одного в Москву не пущу, и оставаться в деревне ни для кого не считаю хорошим, кроме разве для четырех последних детей».

Это намерение не могло, конечно, вызвать сочувствия Льва Николаевича. Давно в нем установилось отвращение к городской жизни, а теперь, когда он мучительно переносит контраст между

роскошью и бедностью в деревне, перспектива жизни в городе приводит его в ужас. Но под напором требований жены он соглашается.

Все лето Софья Андреевна, беременная, проводит в хлопотах по приготовлению квартиры и переезду в город. Лев Николаевич не принимает в этом никакого участия и уезжает на время в самарское имение. Здесь, вдали, в нем просыпается прежняя нежность к жене, он укоряет себя за бездеятельность, входит в интересы семьи, примиряется с будущим, хочет ей помогать.

«Получил от тебя три письма, милый, милый друг. И меня охватило тем нашим яснополянским духом, который мы не ценим, когда в нем живем. Одно больно мне, что тебе тяжело и очень тяжело… Но я, пожив здесь, врозь от тебя, иначе стал смотреть на московское житье. Смешно сказать – я поверил в него, а главное, – понял, как тяжело тебе работать одной. Когда вернусь, буду работать с тобой, и не для того, чтобы только тебе облегчить, а с охотой. Очень мне тебя жаль, и тяжело без тебя».

«Ты не поверишь, как меня мучает мысль о том, что ты через силу работаешь, и раскаяние в том, что я мало (вовсе) не помогал тебе. Вот уж на это кумыс был хорош, чтобы заставить меня спуститься с той точки зрения, с которой я невольно, увлеченный своим делом, смотрел на все. Я теперь иначе смотрю. Я все то же думаю и чувствую, но я излечился от заблуждения, что другие люди должны смотреть на все, как я. Я много перед тобой был виноват, душенька; бессознательно, невольно был виноват, ты знаешь это, но виноват. Оправдание мое в том, что для того, чтобы работать с таким напряжением, с каким я работал, и сделать что-нибудь, надо забыть все. И я слишком забывал о тебе, и каюсь. Ради Бога и любви нашей, береги себя. Откладывай больше до моего приезда; я все сделаю с радостью, и сделаю недурно, потому что буду стараться».

«Я очень тоскую по тебе, милый друг, тревожусь за тебя, не случилось бы с тобой чего-нибудь, не измучилась бы ты через силу… Прощай, душенька, половина души моей и плоти. Только одного желаю, чтоб нам свидеться, ни о чем не жалея».

Через месяц (в сентябре) Толстые переехали в Москву. Перед отъездом Лев Николаевич писал А. А. Бибикову:

«Несогласие мое с окружающей жизнью больше и решительнее, чем когда-нибудь. И я все яснее и определеннее вижу свою роль и держусь ее. Смирение и сознание того, что все, что мне противно теперь, есть плод моих же ошибок, и потому – прощение других и укоризна себя… Мы переезжаем 15-го. Я не могу себе представить, как я буду там жить».

Мрачные предчувствия Льва Николаевича оправдались

полностью. Он не подозревал даже, какое тяжелое впечатление произведет на него Москва. Роскошь рядом с нищетой, бесцельная городская суета привели его в ужас. Он решается, воспользовавшись городской переписью, немедленно организовать постоянную помощь бедным. Но результат обследования привел к неожиданным выводам: Лев Николаевич почувствовал полную невозможность, преступную лицемерность какой бы то ни было филантропической деятельности и понял, что выход из этого положения только один – личный отказ от богатства, от чрезмерного достатка, от тех условий, которые породили такую нищету.

В эти страшные дни Толстой в семье одинок. Интересы семьи совершенно противоположны. Софья Андреевна занята устройством новой квартиры, меблировкой, новыми знакомыми. На фоне ночлежных домов эта обстановка для Льва Николаевича непереносима, он протестует, а Софья Андреевна мучается, все радости для нее отравлены недовольством мужа, но выхода для семьи она другого не видит, и вся измученная, расстроенная, без его поддержки, без ласкового слова, за несколько недель до родов, таких нежеланных, тратит последние силы на постройку нового гнезда.

Несколько документов вводят нас в круг всех этих настроений.

Письмо Софьи Андреевны к сестре: «Дом оказался весь как карточный; так шумен, и потому ни нам в спальне, ни Левочке в кабинете нет никогда покоя. Это приводит меня часто в отчаяние, и я нахожусь весь день в напряженном состоянии, чтобы не слишком шумели. Наконец, у нас было объяснение: Левочка говорил, что если б я его любила и думала бы о его душевном состоянии, то я не избрала бы ему этой огромной комнаты, где ни минуты нет покоя, где всякое кресло составило бы счастье мужика, т. е. двадцать два рубля дали бы лошадь или корову, где ему плакать хочется и т. п. Но теперь все это непоправимо; конечно, он довел меня до слез и отчаяния. Я второй день хожу как шальная, все в голове перепуталось, здоровье очень дурно стало, и точно меня пришибли. Можешь себе представить, как легко теперь жить, да еще две недели до родов осталось, а хлопот, работы и дела без конца».

Из дневника Льва Николаевича: «Прошел месяц – самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. Все устраиваются. Когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни». Его состояние после осмотра московских трущоб: «С чувством совершенного преступления я вышел из этого [ночлежного] дома и пошел

домой [202] . Дома я вошел по коврам лестницы в переднюю, пол которой обит сукном, и, сняв шубу, сел за обед из 5 блюд, за которым служили два лакея во фраках, белых галстуках и белых перчатках…

При виде этого голода, холода и унижения тысячи людей, я не умом, не сердцем, а всем существом моим понял, что существование десятков тысяч таких людей в Москве, тогда, когда я с другими тысячами объедаюсь филеями и осетриной и покрываю лошадей и полы сукнами и коврами, – что бы ни говорили мне все ученые мира о том, как это необходимо, – есть преступление, не один раз совершенное, но постоянно совершающееся, и что я, с своей роскошью, не только попуститель, но прямой участник его…

В тот же вечер, когда я вернулся из ляпинского дома, я рассказывал свое впечатление одному приятелю. Приятель – городской житель – начал говорить мне не без удовольствия, что это самое естественное городское явление, что я только по провинциализму своему вижу в этом что-то особенное, что всегда это так было и будет, что это так должно быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне еще хуже… стало быть, дурного тут ничего нет, и недовольным этим быть нельзя. Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена прибежала из другой комнаты, спрашивая: что случилось? Оказалось, что я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: «Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!» Меня устыдили за мою ненужную горячность, сказали мне, что я ни о чем не могу говорить спокойно, что я неприятно раздражаюсь, и, главное, доказали мне то, что существование таких несчастных никак не может быть причиной того, чтобы отравлять жизнь своих близких.

Я почувствовал, что это было совершенно справедливо, и замолчал; но в глубине души я почувствовал, что и я прав, и не мог успокоиться.

И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого» [203] .

Он писал В. И. Алексееву: «Мне очень тяжело в Москве. Больше двух месяцев я живу, и все так же тяжело.

Я вижу теперь, что я знал про все зло, про всю громаду соблазнов, в которых живут люди, но не верил им, не мог представить их себе… Представляется прежде одно из двух: или опустить руки и страдать бездеятельно, предаваясь отчаянию, или мириться со злом, затуманивать себя винтом, пустомельем, суетой. Но, к счастью, я последнего не могу, а первое слишком мучительно, и я ищу выхода. Представляется один – проповедь изустная, печатная, но тут тщеславие, гордость и, может быть, самообман, и боишься его; другой выход – делать добро людям. Но тут огромность числа несчастных подавляет. Не так, как в деревне, где складывался кружок естественный. Единственный выход, который я вижу, это – жить хорошо, всегда ко всем поворачиваться доброй стороной. Но это все еще не умею… Редко могу быть таким, – я горяч, сержусь, негодую и недоволен собой».

Из письма Софьи Андреевны к сестре: «Завтра месяц, как мы тут, и я никому ни слова не писала. Первые две недели я непрерывно и ежедневно плакала, потому что Левочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел, сам a la lettre плакал иногда, и я думала просто, что я с ума сойду. Ты бы удивилась, как я тогда изменилась и похудела. Потом он поехал в Тверскую губернию, виделся там с старыми знакомыми Бакуниными [204] (дом либерально, художественно, земско-литературный), потом ездил там в деревню к какому-то раскольнику, христианину [205] , и, когда вернулся, тоска его стала меньше. Теперь он наладился заниматься во флигеле, где нанял себе две маленькие, тихие комнатки за 6 рублей серебром в месяц, потом уходит на Девичье Поле, переезжает реку на Воробьевы горы и там пилит и колет дрова с мужиками. Ему это и здорово и весело. По вечерам почти всякий кто-нибудь бывает, что никого не стесняет, а иногда очень приятно. Кроме гостиной, которая все еще не окончена, все готово, и мы совсем устроились. Саша [брат], наконец, прислал на тахту, и я из двух мутак выгадала две табуретки. Кроме того, у меня была твоя красная салфеточка с Кавказа, я из нее делаю третью табуретку. Еще они прислали мне скатерть, и больше ничего. Тахта и табуреты заказаны, скоро, Бог даст, все устрою, только бы подольше не родить. Теперь с Левочкой и я повеселела и поздоровела».

Так началась московская жизнь.

II

Софья Андреевна в последнем письме сообщила, что состояние Льва Николаевича вскоре улучшилось. Это не было правдой до конца.

Встреча с Сютаевым и философом-аскетом Федоровым [206] , прогулки за город к рабочим, где «видишь жизнь настоящую и хотя урывками в нее окунешься и освежишься», внесли много умиротворения в его душу, но «нет спокойствия. Торжество, равнодушие, приличие, привычность зла и обмана давят» его.

Он теряет надежду на перемену жизни семьи и вырабатывает в себе по отношению к окружающим новый образ действий – «всегда ко всем поворачиваться доброй стороной». Он по-прежнему не принимает московской жизни, но смиряется, не высказывает негодования и верит, что постепенно, через добро с его стороны, жизнь скоро изменится. Этим и объясняется перемена настроения, вернее, внешнего проявления, внутреннего состояния Льва Николаевича. Под влиянием такой перемены семейные отношения заметно улучшились. Но темп жизни остался прежним: «водоворот». Софья Андреевна уподобляется, по ее словам, «вертящейся мельнице или машине, кружащейся для какой-то неопределенной цели», она «даже думать отвыкла, времени ни на что не хватает, дети рвут на части со свойственным им эгоизмом, а при кормлении это ад!». – «Какая бездна и какое разнообразие народа бывает у [них]. И литераторы, и живописцы… и le grand monde [207] , и нигилисты». Но в доме все «мирно». Лев Николаевич «стал опять спокоен и даже весел, многим интересуется, но для отдыха бежит теперь в деревню на неделю… Я и сама бы куда-нибудь убежала… Москва мне будет стоить 10 лет жизни… – пишет Софья Андреевна сестре, – да считаю долгом жить тут для детей, и вижу, что не ошибаюсь, а что нужно».

Начиная с февраля 1882 года поездки Льва Николаевича для отдыха в деревню становятся регулярными. Он проводит здесь время в полном одиночестве, за работой.

В переписке между Ясной и Москвой сказывается, как тяжелы для Толстого условия городской жизни, как часто он бывает мрачен. Тон этих писем теплый, порою проскальзывает нежность, но чувствуется, что каждый в глубине затаил свою правду, зная, что другой не поймет ее.

«Ночь чудная; ни городовых, ни фонарей, а светло и спокойно», – пишет Лев Николаевич по приезде в деревню. «Я думаю, что лучше, спокойнее мне нигде бы не могло быть. Ты,

вечно в доме и заботах семьи, не можешь чувствовать ту разницу, какую составляет для меня город и деревня».

«Вот 2-й день, что я в Ясной… Опять все утро ничего не делал и был в самом унылом, подавленном состоянии; но не жалею об этом и не жалуюсь. Как мерзлый человек *отходит,* и ему больно, так и я, вероятно, нравственно отхожу, – переживаю все излишние впечатления и возвращаюсь к обладанию самого себя. Может, это временно, – я ужасно устал от жизни, и мне хорошо отдохнуть». «Во всяком случае, мне очень здорово отойти от этого задорного мира городского и уйти в себя, читать мысли других о религии, слушать болтовню Агафьи Михайловны и думать не о людях, а о Боге. Сейчас Агафья Михайловна повеселила меня рассказами о тебе, о том, каков бы я был, если б женился на Арсеньевой.

«А теперь уехали, бросили ее там с 8 детьми, – делай, как знаешь, а сами сидите, бороду расправляете».

Софья Андреевна: «И чего ты все грустишь, милый мой! И тут грустно, и там грустно! А право, только бы радоваться надо, такое, пока, Бог счастье посылает. Неужели тебе не бывает радости?»

«А я нынче не спала, маленький не давал, спина болит ужасно; но на душе спокойно, и тебя и всех люблю. Ты пишешь: «Жить бы да воспитывать детей нам и Кузминским – в деревне». Но воспитание требует ненавистной обстановки… Все это тягостно, трудно и даже опасно с взрослой дочерью. Ну, да об этом в письме не рассудишь… О нас не беспокойся, все тихо, все здоровы и все благополучно. Как меня огорчает твоя слабость и вялость. Это нервы устали; авось, Бог даст, поправятся, и ты окрепнешь».

«Когда о тебе думаю (что почти весь день), то у меня сердце щемит, потому что впечатление, которое ты теперь производишь, это, что ты несчастлив. И так жалко тебя, а вместе с тем недоуменье: отчего? за что? Вокруг все так хорошо и счастливо. Пожалуйста, постарайся быть счастлив и весел; вели мне что-нибудь сделать для этого, конечно, что в моей власти и только мне одной в ущерб».

«Я начинаю думать, что если счастливый человек вдруг увидел в жизни только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья. Тебе бы полечиться надо. Я говорю это без всякой задней мысли, мне это кажется ясно. Мне тебя жаль ужасно, и, если б ты без досады обдумал и мои слова и свое положение, то, может быть, нашел бы исход. Это тоскливое состояние уже было прежде, давно; ты говорил: «От безверья повеситься хотел». А теперь? – ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастлив? И разве прежде ты не знал, что есть голодные,

больные, несчастные и злые люди? Посмотри получше: есть и веселые, здоровые, счастливые и добрые. Хоть бы Бог тебе помог, а я что же могу сделать? Прощай, милый мой друг; как бы утешить тебя, голубчик, я только одно могу, – любить и жалеть тебя, но тебе уж этого теперь не надо. Что ж тебе надо? Хоть бы знать».

Лев Николаевич – жене: «Как мне больно, милая душенька, что я тебя расстраиваю своими письмами. Это период моего желчного состояния: во рту горько, ноет печень, и все мрачно и уныло. Лучше нигде мне не может быть, как здесь, совершенно одному в тишине и молчании».

«Не могу я с тобой врозь жить. Мне непременно нужно, чтобы все было вместе… Ты говоришь: «Я тебя люблю, а тебе этого теперь не надо»… Только этого и надо. И ничто так не может оживить меня, и письма твои оживили меня. Печень печенью, а душевная жизнь своим порядком. Мое уединение мне очень нужно было и освежило меня; и твоя любовь ко мне меня больше всего радует в жизни». «Не хочется радоваться на красоту весны; всякую минуту думаю, как тебе гадко. Приезжай поскорей. Я с радостью сменю тебя. Мне и дела есть, и дорогу я перенес – не то что легко, а весело».

Смягченное разлукой взаимное отчуждение сразу обостряется по приезде Льва Николаевича в Москву. В своей духовной работе он по-прежнему одинок, не видит кругом сочувствия, и семья, несмотря на двадцатилетнюю близость, временами просто тяготит его.

О душевном состоянии он пишет Н. Н. Страхову в марте 1882 года: «Я устал ужасно и ослабел. Целая зима прошла праздно. – То, что по-моему нужнее всего людям, то оказывается никому не нужным. Хочется умереть иногда. Для моего дела смерть моя будет полезна. Но если не умираю еще, видно, нет на то воли Отца. – И часто, отдаваясь этой воле, не тяготишься жизнью и не боишься смерти».

А одному незнакомому корреспонденту, в котором Лев Николаевич нашел сочувствие себе, он отвечает такими яркими строками: «Дорогой мой М. А. Пишу вам «дорогой» не потому, что так пишут, а потому, что со времени получения вашего первого, а особенно второго письма, – чувствую, что вы мне очень близки, и я вас очень люблю. В чувстве, которое я испытываю к вам, есть много эгоистического. Вы, верно, не думаете этого, но вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий «я», презираемо всеми окружающими меня. Знаю, что претерпевший до конца спасен будет; знаю, что только в пустяках дано человеку право

воспользоваться плодами своего труда, или хоть видеть этот плод, а что в деле Божьей истины, которая вечна, не может быть дано человеку видеть плод своего дела, особенно же в короткий период своей коротенькой жизни. Знаю все это и все-таки часто унываю, и потому встреча с вами и надежда, почти уверенность, найти в вас человека, искренне идущего со мной по одной дороге и к одной и той же цели, для меня очень радостна… Говорят мне: если вы находите, что вне исполнения христианского учения нет разумной жизни, а вы любите эту разумную жизнь, отчего вы не исполняете заповедей? Я отвечаю, что я виноват и гадок и достоин презрения за то, что не исполняю, но притом, не столько в оправдание, сколько в объяснение непоследовательности своей, говорю: посмотрите на мою жизнь, прежнюю и теперешнюю, и вы увидите, что я пытаюсь исполнять. Я не исполнил и одной тысячной, это правда, и я виноват в этом, но я не исполнил не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Научите меня, как выпутаться из сети соблазнов, охвативших меня, помогите, и я исполню… а не сбивайте меня, не радуйтесь тому, что я сбился, не кричите с восторгом: вон он говорит, что идет домой, а сам лезет в болото! Да, не радуйтесь же этому, а помогите мне, поддержите меня.

Ведь вы не черти из болота, а тоже люди, идущие домой. Ведь я один, и ведь я не могу желать идти в болото. Помогите мне, у меня сердце разрывается от отчаяния, что мы все заблудились и, когда я бьюсь всеми силами, вы при каждом отклонении, вместо того, чтобы пожалеть себя и меня, суете меня и с восторгом кричите: смотрите, с нами вместе в болоте».

Из дневника Софьи Андреевны: «20 лет тому назад, счастливая, молодая, я начала писать эту книгу, всю историю любви моей к Левочке. В ней почти ничего больше нет, как любовь. И вот теперь, через 20 лет, сижу всю ночь одна и читаю и оплакиваю свою любовь. В первый раз в жизни Левочка убежал от меня и остался ночевать в кабинете. Мы поссорились о пустяках, я напала на него за то, что он не заботится о детях, что не помогает ходить за больным Илюшей и шить им курточки. Но дело не в курточках, дело в охлаждении его ко мне и детям. Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная мысль его о том, чтоб уйти от семьи. Умирать буду я, а не забуду этот искренний его возглас, но он как бы отрезал от меня сердце. Молю Бога о смерти, мне без любви его жить ужасно, я это тогда ясно почувствовала, когда эта любовь ушла от меня. Я не могу ему показывать, до какой степени я его сильно, по-старому, 20 лет люблю. Это унижает меня и надоедает ему. Он проникся христианством и мыслями о самосовершенствовании. Я ревную

его… Илюша болен, лежит в гостиной в жару, у него тиф; я слежу за тем, чтобы дать ему хинин в промежуток, который очень короток, и я боюсь пропустить. Я не лягу сегодня спать на брошенную моим мужем постель. Помоги, Господи! Я хочу лишить себя жизни, у меня мысли путаются. Бьет 4 часа. Я загадала: если он не придет, он любит другую. Он не пришел. Долг, я прежде так знала, что мой долг, а теперь?»

Позднее записано: «Он пришел, но мы помирились только через сутки. Мы оба плакали, и я с радостью увидала, что не умерла та любовь, которую я оплакивала в эту страшную ночь. Никогда не забуду того прелестного утра, ясного, холодного, с блестящей, серебристой росой, когда я вышла после бессонной ночи по лесной дороге в купальню. Давно я не видала такой торжествующей красы природы. Я долго сидела в ледяной воде с мыслью простудиться и умереть. Но я не простудилась, вернулась домой и взяла кормить обрадовавшегося мне и улыбающегося Алешу».

Зиму 1881/82 года Толстые прожили в Москве, в Денежном (ныне Левшинском) переулке, в доме № 3.

Весною 1882 года Лев Николаевич задумал перейти в другое, более уединенное помещение и остановил выбор на доме И. А. Арнаутова в Хамовническом переулке [208] . Дом приобретен Толстым в собственность, и все заботы по его оборудованию взял на себя Лев Николаевич. Ради этого он проводит конец лета в Москве, добросовестно хлопочет о ремонте, отдавая в письмах к жене в деревню подробный отчет.

Но ясно чувствуется, как внутренне далек Лев Николаевич от этих забот, как старательно прячет он от себя и от других свой протест, свое состояние. Он хочет быть в семье, но путь к этому для него слишком тяжел. Он не отходит от семьи, но остается с нею внешне, сознавая свое духовное одиночество.

«Сейчас послал Сергея [209] к архитектору, прося выслать завтра как можно больше паркетчиков. Вообще, все подвинулось меньше, чем я ожидал. Я приму все меры и в четверг телеграфирую. Тебе, верно, не больше моего хочется скорее соединиться. За дом я что-то робею перед тобой. Пожалуйста, не будь строга. Мальчики очень милы. Такой я счастливый! У вас был, – у вас очень хорошо. Сюда, к мальчикам, приехал, – очень хорошо».

«Мечта моя – поразить тебя благоустройством дома – не удалась. Только о том боюсь, чтобы неурядица, которую ты застанешь, не слишком неприятно поразила тебя. Разместиться тепло и сухо будет всем; это только и будет». «Мне дурно спится все это время, и мрачное настроение духа. Но я не поддамся ему.

Самое лучшее против этого средство – не позволять себе рассуждать о себе. Я так и делаю».

Понимает это и Софья Андреевна: «Левочка, ты мне не пишешь, что у тебя на душе и о чем ты думаешь, и что тебе хорошо, и что дурно, что скучно и что радостно? Только о практических вещах мне пишешь: или ты думаешь, что я совсем одеревенела? Ведь не одни же паркеты и клозеты меня интересуют. Хотела я тебе из Сенеки выписать целое место, в котором ты мог бы поучиться, как относиться к тому, что противно душе, как тебе, например, город; да длинно, времени не хватает; надо еще посмотреть, как уложили Илье вещи. Бог даст, скоро увидимся, тогда покажу».

Зиму 1882/83 года Толстые провели в Москве. Их «жизнь в своем доме, довольно отдаленном от городского шума, гораздо легче и лучше прошлогодней. Левочка спокоен и добр, иногда прорываются прежние упреки и горечь, но реже и короче. Он делается все добрее и добрее». Он «все пишет о христианстве, здоровье не совсем хорошо, и нервы не крепки, но лучше гораздо, чем в прошлом году. Иногда он играет в винт и довольно охотно. Мы очень дружны, – пишет Софья Андреевна, – и во все время очень слегка один раз поспорили». «Левочка в таком хорошем духе, прелесть! Дай Бог, чтоб так продолжалось».

Эта мирная атмосфера сразу сказалась на отношении Софьи Андреевны к творческой работе мужа. Теперь она не тяготится ею (огорчает ее только, что труды его из-за цензуры никогда не увидят света, думает о ней с большим уважением и гордостью.

В дневнике она отмечает: «Пишет Левочка все еще в духе христианства, и эта работа нескончаемая, потому что не может быть напечатана. И *это* нужно, и это воля Божья, и, может быть, для великих целей».

Из письма к сестре: «Левочка очень спокоен, работает, пишет какие-то статьи; иногда прорываются у него речи против городской и вообще *барской* жизни. Мне это больно бывает, но я знаю, что он иначе не может. Он человек передовой, идет впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди. А я *толпа,* живу с течением толпы, вместе с толпой вижу свет фонаря, который несет всякий передовой человек и Левочка, конечно, тоже, и признаю, что это *свет,* но не могу идти скорее; меня давит и толпа, и среда, и мои привычки. Я так и вижу, как ты смеешься моим *в высшей степени* словам, как дети говорят, но это тебе немножко уяснит, как мы относимся друг к другу».

Софья Андреевна довольно правильно наметила границы. – Лев Николаевич «все пишет свои евангельские сочинения», а круг интересов семьи остается неизменно прежним.

«Мы тоже, слава Богу, процветаем и веселимся, – пишет Софья Андреевна сестре. – Была у нас елка на первый день, потом был спектакль и детский вечер с бантиками, котильоном и проч. у Боянус (ур. Хлюстина). Потом был французский спектакль и большой детский вечер у Тепловых. Было очень хорошо, нарядно и весело. Маша и Леля танцевали до 3-х часов. Мне тоже очень было приятно. А вчера был самый настоящий бал с оркестром, ужином, генерал-губернатором и лучшим московским обществом у Щербатовых [210] . Таня была в белом tulle illusion [211] с атласом и акациями. Я разорилась, сшила черное бархатное платье с Alençon [212] своим, очень великолепно (стоило 250 рублей серебром). Таня очень веселилась, танцевала котильон с дирижером в первой паре, и лицо у ней было такое веселое и торжествующее, что меня и всех стариков смех разбирал. До шести часов утра мы все были на бале. Я очень устала, но нашлись очень приятные дамы: Ермолова [213] и Шереметева [214] , с которыми очень приятно время провела, и тоже смотреть довольно весело. Перезнакомилась я с такой пропастью людей, что всех и не припомнишь, Теперь мы совсем, кажется, в свет пустились: денег выходит ужас! Веселого, по правде сказать, я еще не много вижу. Кавалеры в свете довольно плохие. Назначили мы на четверг прием. Вот садимся, как дуры, в гостиной, Лелька юлит у окна, кто приехал, смотрит. Потом чай, ром, сухарики, тартинки, все это едят и пьют с большим аппетитом. И мы едем тоже, и так же нас принимают по приемным дням. Вчера приезжали смотреть на наши туалеты Дьяков и Лиза Оболенская, и все говорили, что я поразительна: вот никто не видал меня нарядной, то и удивляются, что я на чучело не похожа… Новый год мы встретили дома, но всей семьей, с шампанским, и было просто, но дружно и весело».

Это спокойствие и дружеские отношения, напоминающие своего рода дружеские дипломатические отношения двух стран, совершенно различных по своим устремлениям, не могут, конечно, быть продолжительны и при каждом, даже незначительном, поводе обостряются. Различие целей жизни давно выявилось, для поддержания отношений выработаны новые формы, но любящему сердцу трудно помириться с такой отчужденностью в душевной жизни, оно прорывается, протестует, хотя и чувствует полное бессилие изменить что-либо.

В мае 1883 года Лев Николаевич уезжает в самарское имение пить кумыс и по хозяйственным делам. Софья Андреевна остается в Ясной, полная домашних забот и тревоги о больных детях. У них был коклюш.

«Неужели тебе хорошо? – пишет Софья Андреевна мужу. –

Иногда просто не верится, а думаю с огорчением, что тебе хорошо только потому, что ты *вне* нашей жизни, *нас* и, главное, вдали от *меня.* Будет ли польза твоему здоровью, это самое главное и первое».

«Я все читаю твою статью, или, лучше, твое сочинение [215] . Конечно, ничего нельзя сказать против того, что хорошо бы людям быть совершенными, и непременно надо напоминать людям, *как* надо быть совершенными и какими путями достигнуть этого. Но все-таки не могу не сказать, что *трудно* отбросить все игрушки в жизни, которыми играешь, и всякий, и я больше других, держу эти игрушки крепко и радуюсь, как они блестят, шумят и забавляют…

Почему ты пишешь, что вернешься ко мне ближе, чем уехал? Что же ты не пишешь, почему? Хорошо бы это было, неужели это опять возможно? В письме, которое я не посылаю, я тебе все свои чувства написала, а потом решила, что не нужны тебе мои искренние чувства, ты так неосторожно стал обращаться с ними, что лучше никогда тебе их не знать. Разве будешь опять таким, каким был в старые годы. Но буду ли я такая? Все на свете меняется, одного желаю от души, чтобы ты здоров был и покоен. Если тебе лучше там, живи, сколько поживется, пока хочется. *Затруднений* в жизни без тебя, слава Богу, пока ни с детьми, ни с делами не было. Никогда уже я не буду удерживать тебя при себе, как имела неосторожность, любя тебя, это делать прежде. Свобода свободная – вот и счастье по-новому. Ни упреков тогда, ни ссоры, но зато и ни той тесной связи, которая тянет за сердце, как только один дернет другого.

Если ты вернешься 1-го, то это, значит, через 9 дней еще. Но ты, пожалуйста, не думай и не считай, что это я назначила этот срок. Я ничего не назначаю, я прошу делать по своему чувству и по своему здоровью. Господи! только бы не быть опять виноватой, что я *никуда не пускаю,* отняла все твои радости и забыла всю твою жизнь. Какая я, правда, была неловкая!

Еще напишу тебе одно письмо. А теперь кончаю, потому что во мне закипает что-то странное и я, кажется, начинаю писать опять не то, что бы хотела. Ты не думай, что я зла или не в духе; право, ни с кем ни разу не поссорилась и была очень весела. Так многое наболело в последнюю весну, что, когда вспоминаю, такую чувствую невыносимую сердечную боль, что думаю: «все, только не то, что было!» Не знаю, отчего именно сегодня нахлынули разные воспоминания, в первый раз в этот месяц стало невыносимо тоскливо» [216] .

Ответ Льва Николаевича: «Вчера ночью получил я твою телеграмму ответную и три письма… Я уже засыпал, Иван

Михайлович еще гулял, услыхал возвращающегося Алексея Алексеевича [217] , взял письма и телеграмму и принес ко мне. В тот же вечер меня уже напугали телеграммой из Богатова… Я пишу к тому, что по моему страху, который я испытал, распечатывая телеграмму, я узнал, как сильна моя любовь к тебе и детям. И вот я получил радостную телеграмму, что все здоровы и веселы, и твое письмо от 7 июня, последнее, и чем больше я читал, тем большим холодом меня обдавало. Хотел послать тебе это письмо, да тебе будет досадно. Ничего особенного нет в письме, но я не спал всю ночь, и мне стало ужасно грустно и тяжело. Я тебя так любил, и ты так напомнила мне все то, чем ты старательно убиваешь мою любовь. Я писал тебе, что я слишком холодно и поспешно простился с тобой; на это ты пишешь, что ты стараешься жить так, чтобы я тебе был не нужен, и что очень успешно достигаешь этого. Обо мне и о том, что составляет мою жизнь, ты пишешь, как про слабость, от которой ты надеешься, что я исправлюсь посредством кумыса. О предстоящем нашем свидании, которое для меня радостная, светлая точка впереди, о которой я стараюсь не думать, чтобы не ускакать сейчас, ты пишешь, предвидя с моей стороны упреки и неприятности. О себе ты пишешь так, что ты так спокойна и довольна, что мне только остается не нарушать этого довольства и спокойствия своим присутствием… Я так живо вспомнил эти твои настроения, столько измучившие меня, про которые я совсем забыл, и я так просто и ясно люблю тебя, что мне стало больно. Ах, если бы не находили на тебя эти дикие минуты, я не могу представить себе, до какой степени дошла бы моя любовь к тебе! Должно быть, так надо. Но если бы можно было избегать этого, как хорошо бы было!

Я утешаюсь, что это было дурное настроение, которое давно прошло, и теперь, высказав, стряхнул с себя. Но все-таки далеко до того чувства, которое имел к тебе до последнего письма. Да, то было слишком сильно. Ну, будет, прости меня, если я тебе сделал больно; ведь ты знаешь, что нельзя лгать между нами…

Боюсь за это письмо, как бы оно не огорчило тебя. По себе знаешь, когда любишь (это я про себя говорю), то так натянуто сердце в разлуке, что каждое неловкое, грубое прикосновение отзывается очень больно».

Внешнее спокойствие в этом году не вернулось больше в семью.

Было что-то напряженное в отношениях, и кроме недовольства Льва Николаевича городской барской жизнью, сыграло большую роль то обстоятельство, которое за последние годы в общей гамме переживаний занимает одно из первых мест.

Это – не скрываемая Софьей Андреевной боязнь новой беременности. В 1881 году она уступила судьбе и родился сын Алексей [218] . В следующем году возникает снова этот страх [219] , он преследует ее каждый месяц [220] , и в конце осени 1883 года, несмотря на ее протест и отчаяние, Софья Андреевна опять забеременела.

За последние три года отношения осложнялись преимущественно в эти месяцы тревоги, ухудшились они и теперь. Сначала не было ничего резкого по форме, но Лев Николаевич еще больше отошел от семьи, и Софья Андреевна со своею печалью одинока.

Приводим несколько документов, дающих представление об атмосфере, царившей в семье.

Софья Андреевна пишет сестре 9 октября 1883 г.: «Левочка третьего дня вечером приехал из Ясной, и я уже вижу его напряженное, даже несчастнее выражение лица. Он жил там десять дней, писал, охотился; был у него Урусов два дня, и, видно, уединение так было по душе Левочке, что он тяжело с ним расстался. Я вполне его понимаю, а теперь более, чем когда-либо охотно осталась бы в деревне, но, увы, это невозможно с учением и с выездами Тани, которая собирается начать свои выезды с декабря. Может быть, и не придется, если я того… А теперь все обмираю, что в таком положении… и потому еще стало тревожнее и противнее».

9 ноября: «Левочка уехал в Ясную Поляну на неделю. Он там будет охотиться и отдыхать. Мы ведем все ту же однообразную, занятую жизнь и решительно никуда не выезжаем. Не знаю, долго ли продолжится мое полусумасшедшее, оцепенелое состояние» [221] .

14 ноября – мужу: «Сегодня в письме твоем меня очень больно кольнула фраза: «Только есть одному скучно». Досказываю сама: «а жить одному гораздо лучше». Хоть часто я это про тебя думаю, но иногда, когда ты нежен и заботлив, я опять себе делаю иллюзии, что без нас тебе было бы грустно. Конечно, все реже и реже будешь создавать себе эти иллюзии и вместо них занимать жизнь чем-нибудь другим. А мне ни вместе, ни одной, ни с детьми – ни с чем уж жить не хочется, и все чаще, и чаще, и страшнее приходит в голову мысль: неужели надо *жить,* и нельзя иначе.

Мое письмо должно было бы быть, как моя жизнь теперешняя: спокойно, добросовестно, с стараньем, чтоб долг свой исполнять и заглушать все, что безумно. Но мой долг – тебя не расстраивать. Может быть, у тебя, наконец, хороший рабочий день, а я как раз тебя расстраиваю. Но это пройдет, когда я поздоровею».

В приведенных документах нет прямого освещений затронутого вопроса, но чувствуется с несомненностью, что пропасть между Софьей Андреевной и Львом Николаевичем все больше и больше растет, постепенно накопляются затаенные упреки друг к другу.

Лев Николаевич не может простить жене барски интеллигентский строй жизни, который она настойчиво прививает семье, а ее отрицательное отношение к дальнейшему деторождению отнимает у него единственно для него приемлемые формы супружеских отношений, тем самым подрывая внутреннюю связь. У него нет согласия ни с женою, ни с женою-матерью, ни с детьми.

В свою очередь Софья Андреевна, не видя для семьи другого пути жизни, кроме того, на котором воспитались и муж и она и воспитывались ее дети в течение 17 лет, не может простить Льву Николаевичу, что он постоянно отходит от дома, пренебрегает установившимися в их обществе интересами детей и требует от нее прежних форм супружеских отношений, которые, помимо физических мучений и личных лишений, для нее – уставшей – очень тяжелых, не имеют за собой внутреннего оправдания с тех пор, как Лев Николаевич решительно удалился от семьи. У нее нет согласия ни с мужем, ни с мужем-отцом. Она вся с детьми, предоставленная сама себе, жертвуя ради детей отношениями с мужем.

Они оба страдают, стараются сгладить шероховатости, чтобы не мучить друг друга, но не могут не протестовать против тех препятствий, которые воздвигла жизнь между ними. Эти препятствия были слишком велики, и не удалось обойти их. Понемногу накоплялась горечь, и все было готово к тому, чтобы в тяжелые месяцы нежеланной беременности все недосказанное прорвалось, усилилось и ожесточилось.

Наступил 1884 год, один из самых тяжелых во всей 48-летней совместной жизни Толстых.

III

Новогодние праздники прошли как прежде в увеселениях для старших и младших детей.

«Чудный был бал [у Сатмариных], ужин, народ такой, что лучше бала и не было, – пишет Софья Андреевна сестре. – На Тане было розовое газовое платье, плюшевые розы, на мне лиловое бархатное и желтые всех теней Анютины глазки. Потом был бал у генерал-губернатора, вечер и спектакль у Тепловых и еще три елки для малышей, вечеринки для Лели и Маши и сегодня опять бал у гр. Орлова-Давыдова [222] , и мы с Таней едем. У нее чудное платье tulle illusion, зеленовато-голубое, и везде ландыши с розовым оттенком. Завтра большой вечер у Оболенских, опять танцуют… У нас третьего дня был танцевальный… вечер. Было пар 16, все как следует: котильон с затеями, буфет, все канделябры зажгли, тапер, бантики, бульон и тартинки и пирожки; а в гостиной играли в карты в два стола. Вечер очень удался, всем было весело».

В конце января Лев Николаевич уехал в деревню, и Софья Андреевна пишет ему: «Сейчас получила твое письмо; я вижу, что ты полной грудью вдыхаешь в себя и воздух, и простор, и нравственную свободу. Мне немного завидно: я все более и более в бальных атмосферах и в обыденной мелочной жизни. Даже читать нельзя, не только что как-нибудь опомниться и отдохнуть… [Дальше об отдельных лицах, различными интересами связанных с Львом Николаевичем. Софья Андреевна укоряет его, что он «не хочет» в людях видеть ничего, кроме хорошего, закрывая на все остальное глаза]. – Не пеняй, что я тебе, в твой поэтический мир бросаю из Москвы комки разной грязи; но ведь и я не виновата, что живу в дрязгах, обмане, материальных заботах и телесной тяжести. Начну письмо, думаю: напишу лучше, покротче. Но если в душе кротости нет, то негде ее взять. Устала я от жизни, которую не сумела никогда устроить, и которая все усложняется больше и больше».

Лев Николаевич пишет ей в этот же день: «Ты теперь, верно, собираешься на бал. Очень жалею и тебя и Таню. Нынче Влас [223] говорит: «Пришел мальчик, побирается». Я сказал: «Позови сюда». Вошел мальчик немного повыше Андрюши, с сумкой через плечо. – «Откуда?» – «Из-за Засеки». – «Кто же тебя посылает?» – «Никто, я один». – «Отец что делает?» – «Он нас бросил. Матушка померла, он ушел и не приходил». – Мальчик заплакал. У него еще осталось трое, меньше его. Детей взяла помещица. «Она, говорит, кормит нищих». – Я предложил мальчику чаю, он выпил,

стакан опрокинул, положил огрызочек сахару наверх и поблагодарил. Больше не хотел пить. Я хотел его еще накормить, но Влас сказал, что его в конторе посадили поесть. Но он заплакал и не стал больше есть. Голос у него сиплый, и пахнет от него мужиком. Все, что он рассказывал про отца, дядей и тех, с кем он имел дело, все это рассказы о бедных, пьяных и жестоких людях. Только барыня добрая. Мальчиков, женщин, старух и стариков таких много, и я их вижу здесь и люблю видеть».

Ответ Софьи Андреевны: «Твое сегодняшнее письмо, это – целая повесть, как всегда идеализированная, тем не менее интересная и трогательная. Немножко чувствуется мне упрек и умышленная параллель между бедностью народа и безумной роскошью балов, на которых мы были. И балы эти оставили в моей голове такую пустоту, так я устала, что весь день как шальная сегодня… Долгоруков [224] вчера на бале был любезнее, чем когда-либо. Велел себе подать стул и сел возле меня и целый час все разговаривал, точно у него предвзятая цель оказать мне особенное внимание, что меня приводило даже в некоторое недоумение. Тане он тоже наговорил пропасть любезностей. Но нам что-то совсем не весело было вчера; верно, слишком устали».

«Твои письма коротки и сухи, но я других не заслуживаю, сама и спутана и не кротка. Прощай, на меня тоже не сердись; по тому, как я жду твоих писем, знаю наверное, как ты мне дорог и как без тебя я ничто».

Письмо от 5 февраля: «Три письма написала к тебе, милый Левочка, и только третье – это, вероятно, пошлю. Сейчас получила твое письмо, немного подлиннее предыдущих… Я, конечно, рада, что ты хочешь вернуться во вторник, но боюсь, что масленица тебе голову вскружит больше, чем целый месяц будничных дней. Если хочешь, оставайся, авось, я без тебя не совсем с ног собьюсь, лучше, чем видеть тебя унылым, недовольным и все-таки бездействующим… [В конце письма:] Сережа, брат, очень смутил меня рассказами о тебе, что ты никогда не хочешь вернуться к нам. За что? Прощай; это, значит, мое последнее письмо».

В тот же день она пишет сестре: «Вчера Сергей Николаевич вернулся из Тулы и видел Левочку в Ясной Поляне. Сидит в блузе, в грязных шерстяных чулках, растрепанный и невеселый, с Митрофаном шьет башмаки Агафье Михайловне. Учитель школьный читает вслух житие святых. В Москву до тех пор не вернется, пока я его не позову, или пока у нас что не случится. Мне подобное юродство и такое равнодушное отношение к семье до того противно, что я ему теперь и писать не буду. Народив кучу детей, он не умеет найти в семье ни дела, ни радости, ни

просто обязанностей, и у меня все больше и больше к нему чувствуется презрения и холодности. Мы совсем не ссоримся, ты не думай, я даже ему не скажу этого. Но мне так стало трудно с большими мальчиками, с огромной семьей и с беременностью, что я с какой-то жадностью жду, не заболею ли я, не разобьют ли меня лошади, – только бы как-нибудь отдохнуть и выскочить из этой жизни».

Плотина прорвалась. С этих дней начинаются самые тяжелые месяцы.

Лев Николаевич в своем духовном одиночестве ведет неуклонную работу по упрощению жизни, упорно ломая все надстройки времени и среды, приучая себя к необходимому физическому труду. А настроение Софьи Андреевны под влиянием беременности все ухудшается и ухудшается и, наконец, переходит в истерическое состояние [225] . Она со всей силою нервно-возбужденного человека обрушивается на мужа, обвинения ее усиливаются, и она не может теперь принимать того, с чем прежде смирялась, в этом раздражении доходя до неприязни. В свою очередь Лев Николаевич, вероятно, под влиянием возбуждения жены, ее активного и грубоватого протеста против его образа жизни и ее беременности стал еще острее воспринимать все неприятные для него стороны семейной жизни. Он не может больше пассивно покоряться, не может учесть состояния Софьи Андреевны, и каждое действующее лицо – и жена и взрослые дети – вызывают его гнев. Он становится невыносим для семьи. Семья делается невыносимой для него.

В приводимых ниже документах сначала слово за Софьей Андреевной; потом она нигде не высказывается, а говорит Лев Николаевич. Но по этим документам, исходящим в обоих случаях только от одной стороны, вскрывается жизнь того и другого, и видно, как события развертываются, как страдают два человека.

Из писем Софьи Андреевны к сестре в феврале и марте: «Левочка шьет сапоги и сшил сегодня калошу, принес мне и говорит: «C\'est un bijou» [226] . А калоша прегрубо сшитая, и фасон пребезобразный. По утрам он с увлечением читает Конфуция и все, что касается китайцев, их жизни, религии и проч. Днем ездит почти всякий день верхом или гуляет, но ничего не пишет».

«Время идет ужасно быстро – к смерти ближе, это правда; но на этот раз я не жалею слишком времени – беременность тяжелая, состояние души и ума угнетенно-глупо-животное, а это самое-то и есть дурное в беременности. Левочка очень невесел последнее время; молчаливо – критически и сурово смотрят его глаза; я не спрашиваю, что его тревожит, и о чем он думает; бывало я его

вызывала на откровенность, и он разражался громкими, отчаянными жалобами и неодобрением моей жизни и образа действий. Но теперь я не вынесу этого, не довольно здорова и бодра сама; потому и я молчу, и мы, как чужие порядочные люди, которые живут в лучших, но совсем не откровенных отношениях. По вечерам он шьет сапоги, по утрам что-то читает, переделывает, кажется, на русский язык и лад Конфуция».

Из дневника Льва Николаевича за март – июнь. «После обеда сходил к сапожнику. Как светло и нравственно-изящно в его грязном, темном углу. Он с мальчиком работает, жена кормит».

«Попробовал поговорить после обеда с женой. Нельзя. Это одно огорчает меня. Одна колючка и больная. Пошел к сапожнику. Стоит войти в рабочее жилье, душа расцветает. Шил башмаки до 10. Опять попробовал говорить, опять зло – нелюбовь».

«Остался один с ней. Разговор. Я имел несчастье и жестокость затронуть ее самолюбие, и началось. Я не замолчал. Оказалось, что я раздражил ее еще 3-го дня утром, когда она приходила мешать мне. Она очень тяжело душевнобольна. И пункт – это беременность. И большой, большой грех и позор».

«Очень тяжело в семье. Тяжело, что не могу сочувствовать им. Все их радости, экзамен, успех света, музыка, обстановка, покупки – все это я считаю несчастьем и злом для них и не могу этого сказать им. Я могу, я говорю, но мои слова не захватывают никого. Они как будто знают не смысл моих слов, а то, что я имею дурную привычку это говорить. В слабые минуты – теперь такая – я удивляюсь их безжалостности. Как они не видят, что я: не то, что страдаю, а лишен жизни вот уже три года. Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из нее. Прими я участие в их жизни – я отрекусь от истины, и они первые будут тыкать мне в глаза этим отречением. Смотри я, как теперь, грустно на их безумство – я ворчливый старик, как все старики».

«За что и почему у меня такое страшное недоразумение с семьей! Надо выйти из него».

«Бедная, как она ненавидит меня. Господи, помоги мне. Крест бы, так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дерганье души ужасно, не только тяжело, больно, но трудно. Помоги же мне».

«Во сне видел, что жена меня любит. Как мне легко, ясно все стало! Ничего похожего наяву. И это-то губит мою жизнь. И не пытаюсь писать. Хорошо – умереть».

«Вчера я лежал и молился, чтобы Бог ее обратил. И я подумал, что это за нелепость. Я лежу и молчу подле нее, а Бог должен за меня с нею разговаривать. Если я не умею поворотить ее, куда мне нужно, то кто же сумеет».

«Я ужасно плох. Две крайности – порывы духа и власть плоти… Мучительная борьба. И я не владею собой. Ищу причин: табак, невоздержание, отсутствие работы воображения. Все пустяки. Причина одна – отсутствие любимой и любящей жены. Началось с той поры, 14 лет, как лопнула струна и я сознал свое одиночество [227] . Это все не резон. Надо найти жену в ней же. И должно и можно, и я найду, Господи, помоги мне».

«Ужасно то, что роскошь, разврат жизни, в которой я живу, я сам сделал, и сам испорчен, и не могу поправить. Могу сказать, что поправляюсь, но так медленно. Не могу бросить куренье, и не могу найти обращенья с женой такого, чтобы не оскорблять ее и не потакать ей. Ищу, стараюсь… Они не видят и не знают моих страданий».

«Отчуждение с женой все растет. И она не видит и не хочет видеть».

«Работал довольно тяжело. Не курил. В 12 пошел завтракать и встретил все ту же злобу и несправедливость… Только бы мне быть уверенным в себе, а я не могу продолжать эту дикую жизнь. Даже для них это будет польза. Они одумаются, если у них есть что-нибудь похожее на сердце».

Эта запись сделана накануне родов. А перед началом их, после одного из «бессмысленных упреков» жены, Толстой решил навсегда оставить дом. Он даже ушел из него, но мысль о Софье Андреевне остановила его, и он вернулся с половины дороги в Тулу. Дома Льва Николаевича опять больно поразила обстановка, враждебность к жене не уменьшилась, ее страдания не могли заглушить его собственных.

В такую тяжелую минуту появилась на свет дочь Александра.

Обо всем этом Лев Николаевич записывает в дневнике.

«Пошел купаться. Вернулся бодрый, веселый, и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно и от которых я хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу. Дома играют в винт бородатые мужики – молодые мои два сына. – «Она на крокете, ты не видал, – говорит Таня, сестра. – И не хочу видеть». И пошел к себе спать на диване, но не мог от горя. Ах, как тяжело! Все-таки мне жалко ее. И все-таки не могу поверить тому, что она совсем деревянная. Только что заснул в 3-м часу, она пришла, разбудила меня: «Прости меня, я рожаю, может быть, умру». Пошли наверх. Начались роды. – То, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжелое. Кормилица приставлена кормить. Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть

его. Это слишком трудно и безжалостно. – Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к погибели и к страданиям – душевным – ужасным. Заснул в 8. В 12 проснулся. Сколько помнится, сел писать. Когда приехал из Тулы брат, я в первый раз в жизни сказал ему всю тяжесть своего положения. Не помню, как прошел вечер. Купался. Опять винт, и я невольно засиделся с ними, смотря в карты».

Записано это одиннадцать дней спустя, но в таком тоне, как будто все переживается в данный момент. Видно, что рождение девочки не внесло улучшения, и атмосфера осталась напряженной. Заранее предрешенный отказ Софьи Андреевны от кормления сделал для Льва Николаевича это семейное событие не только безразличным, но даже тягостным. Нервное возбуждение Софьи Андреевны не уменьшалось, и Лев Николаевич по-прежнему держится вдалеке от семьи, проводит время на полевых работах, воспринимая домашнюю обстановку – по контрасту с крестьянской – с неумолимым осуждением. «Дети – сонные, жрущие». «Дома – праздность, обжорство и злость». «Жена очень спокойна и довольна и не видит всего разрыва», – отмечает он в дневнике.

При таких-то обстоятельствах встал на очередь вопрос о возобновлении супружеских отношений. Вставал он и прежде, в продолжение последних четырех лет, когда не было больше согласия между супругами, но в этом году так все изменилось к худшему, что продолжение установившихся отношений делалось для Льва Николаевича как будто немыслимым. Но здесь сталкиваются и 22-летняя близость к жене и нарастающая неприязнь к ней, голос инстинкта и протест против него при новых устремлениях жены, сознание непреодолимости влечения и желание обойти его, как незаконное. В возобновлении теперь совсем ненужного Лев Николаевич обвиняет жену, в пылу раздражения забывая, что и его роль была активной [228] . На этой почве отношения настолько обострились, что Лев Николаевич вторично задумал покинуть дом, но решения своего опять не выполнил.

«Не замечаю, как сплю и ем, и спокоен, силен духом. Но ночью сладострастный соблазн».

«[18] Сожитие с чужой по духу женщиной, т. е. с ней, – ужасно гадко… Только что я написал это, она пришла ко мне и начала истерическую сцену. – Смысл тот, что ничего переменить нельзя, и она несчастна, и ей надо куда-то убежать. Мне было жалко ее, но вместе с тем, я сознавал, что безнадежно. Она до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей. Должно быть, так надо. Выучиться не тонуть с жерновом на шее. Но дети?

Это, видно, должно быть. И мне больно только потому, что я близорук. Я успокоил, как больную».

«Ходил за грибами… Жена не пошла со мной, и пошла, сама не зная куда, только не за мной, – вся наша жизнь».

Под влиянием тяжелых семейных отношений Лев Николаевич начал новое художественное произведение, «Смерть Ивана Ильича». Это исключительное по сжатости и страстности произведение Толстого. Он вложил в него все, что сам пережил за последние годы, за последние месяцы. Певец семейного счастья вынес окончательный приговор, развенчал семью. В ней нет ничего ценного, облагораживающего, все держится на учтивых формах эгоизма, нет истинной близости, и в ответственные, роковые минуты человек безнадежно одинок. Он не получает поддержки от окружающих – ни от жены, ни от детей, – а сложность его положения только мешает нормальному течению их лживой жизни.

Толстой как будто описал свои душевные страдания, прикрыв их страданиями умирающего чиновника. Он не показал ни одного смягчающего обстоятельства, ни одного проблеска света в жене. Безграничное зло царствует в семье, и все построено на принципе внутренней лжи. В первом (неопубликованном) варианте, в котором, по замыслу автора, повесть должна была быть построена на дневнике последних дней жизни просветленного Ивана Ильича, дневник этот начинается так: «6-ю ночь я не сплю и не от телесных страданий. Они все-таки давали мне спать, но от страданий душевных, ужасных, невыносимых. Ложь, обман, ложь, ложь, ложь, все ложь. Все вокруг меня ложь, жена моя ложь, дети мои ложь, я сам ложь, и вокруг меня все ложь».

Софья Андреевна не узнала в повести отражения их собственной жизни. Она писала сестре 4 декабря: «На днях Левочка прочел нам отрывок из написанного им рассказа; мрачно немножко, но очень хорошо; вот пишет-то, точно пережил что-то важное».

Осенью положение заметно улучшилось. С одной стороны, кончилось «истерическое состояние» Софьи Андреевны, ее самое «постыдное воспоминание, хотя [она] и не виновата в нем». С другой – сам Лев Николаевич смягчился и принял прежний тон кроткого противодействия, в надежде на перемену в будущем. Он увидал, что настойчивостью ничего добиться нельзя (на этом он «обломал руки») и вернулся к прежней тактике. Успокоение Софьи Андреевны помогло ему, и отношения восстановились.

Осложнения этого года никого не победили, – он и она остались при своем. Софья Андреевна, несмотря на душевную борьбу, жертвует спокойствием мужа ради стоящего перед ней

долга матери, как она этот долг понимает; Лев Николаевич продолжает жить один. Но в их переписке уже нет того затаенного раздражения, которое было весной; они более открыты друг перед другом, а порою и более близки.

Софья Андреевна пишет сестре 14 октября: «Пора нам ехать жить с мальчиками; авось, влияние семьи на них будет хорошее, а то, по письмам Madame [229] , очень плохо они учатся и совсем предались жизни с дворниками, горничной Лизой, которую я прогоняю, и тому подобной компанией. Да, вот и будь на моем месте кто бы то ни было, мудрено так жить. Жертва необходима в ту или другую сторону. Живи в Ясной, – наверное, значит, жертвуй своими сыновьями; живи в Москве, – наверное мучай Левочку. Хоть бы умереть скорей! И никому все-таки никогда не угодишь!»

Вскоре семья уехала в Москву, Лев Николаевич остался в деревне. Из первого письма Софьи Андреевны: «Я грустна, растеряна, терпелива и тиха. О тебе думаю постоянно, но не желаю, чтоб ты приезжал, потому что мне нестерпимо больно видеть тебя таким, каким ты бываешь в Москве, и, напротив, так успокоительно и радостно вспоминать тебя таким, каким ты был вот эту последнюю осень в Ясной».

На другой день она пишет: «Вчера получила твое *первое* письмо, и мне стало грустно от него. Я вижу, что ты остался в Ясной не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзона.

Отпустил Андриана, которому без памяти хотелось дожить месяц, отпустил повара, для которого тоже это было удовольствием не даром получать свою пенсию, и с утра до вечера будешь работать ту неспорую физическую работу, которую и в простом быту делают молодые парни и бабы. Так уж лучше и полезнее было бы с детьми жить. Ты, конечно, скажешь, что так жить – это по твоим убеждениям, и что тебе так хорошо; тогда это дело другое, и я могу только сказать: «наслаждайся», и все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колонье дров, ставленье самоваров и шитье сапог, – что все прекрасно как отдых и перемена труда, но не как специальные занятия. Ну, теперь об этом будет. Если б я не написала, у меня осталась бы досада, а теперь она прошла, мне стало смешно, и я успокоилась на фразе: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

В тот же день, вслед за первым: «Сейчас получила твое *второе,* хорошее письмо. Я тебя упрекаю, что ты *физическим* трудом слишком занят а ты как раз обратно, слишком много *умственно* занят. Главное, милый друг, береги себя всячески; чтоб я была довольна, надо только одно: чтоб ты был счастлив, здоров

и не измучен. Для этого я и здесь ломаю голову беспрестанно, чтобы так устроить жизнь, как легче было бы тебе ее выносить в Москве. Едва ли я это сумею, а как бы желала!.. Прощай, милый друг, целую тебя. Я вдруг себе ясно тебя представила, и во мне такой вдруг наплыв нежности к тебе. Такое в тебе что-то есть *умное, доброе, наивное и упорное,* и все освещено только тебе одному свойственным светом нежного участия ко всем и взглядом прямо в душу людям».

Письмо Льва Николаевича жене после известия об осложнении ее здоровья в связи с родами: «Вчера получил твое письмо после посещения доктора, и ужасно мне стало грустно и тяжело, а главное, сам я себе стал ужасно гадок. Все я, – грубое и эгоистическое животное! А еще я храбрюсь и осуждаю других и гримасничаю добродетелью. Не могу тебе выразить, как мне было и есть тяжело! Вчера и во сне все видел себя презирающим себя… Пожалуйста, пиши мне подробнее о своем здоровье. Я разорвал и буду разрывать. Как ты устроишь, чтобы спать и отдыхать! Это во всяком случае главное условие для выздоровления. Скажи Тане, что это ее дело так устроить, чтобы ты не сидела долго вечером и чтоб тебя не будили. Хорошо, что мальчики в хорошем состоянии. Я ничего не предпринимаю, потому что уж очень себе противен».

Из ответных писем Софьи Андреевны: «Сегодня утром первое впечатление – твое письмо, хорошее, ласковое ко мне и любовное. На весь день меня развеселило. Если б я села на него отвечать тотчас же, то написала бы тебе, как ты называешь, *хорошее* письмо. А теперь, сегодня особенно, развлекли и засуетили. Ты мне пишешь, что я не зову тебя? Ах, Левочка, если б я писала в те минуты, когда хочу тебя видеть, писала бы все то, что я чувствую, то я разразилась бы таким потоком страстных, нежных и требовательных слов, что ты не остался бы и тем доволен. Мне иногда во всех отношениях невыразимо тяжело без тебя. Но я задалась мыслью *исполнять свой долг* по отношению к тебе, – как к писателю, как к человеку, нуждающемуся в свободе прежде всего, – и потому ничего от тебя не требую. То же чувство долга у меня к детям. Но вряд ли я могу исполнять все то, что желала бы. Потом, я уже писала тебе, что мне больнее видеть тебя страдающим в Москве, чем не видеть совсем. А в каком ты чудесном, по-видимому, духе! Твое умиление за музыкой, впечатление природы, желание писать, – все это *ты самый настоящий,* тот самый, которого ты хочешь убить, но который чудный, милый, поэтический и добрый, тот самый, которого в тебе, все знающие тебя, так сильно любят. И ты не убьешь его, как ни старайся».

«Сейчас получила твое хозяйственное… письмо. Значит, еще

три дня тебя ждать. Зачем же ты показал такое нетерпение меня видеть? Сегодня весь день я лихорадочно ждала тебя, с таким счастьем и радостью, точно к празднику готовятся. Пока ты спокойно жил, пока я думала, что для тебя это счастье и нужно, до тех пор и сама приходила в аккуратность и жила спокойно. Ну, да так надо; только жалко: это охладит мою радость и собьет мою жизнь – эти три дня ожиданья… Прощай, милый Левочка. Уныние также от того, что я поверила в то, что ты жить без меня не можешь, и сейчас же пришлось разочаровываться… Лучше бы не верить, как и было сначала, так покойнее».

Ноябрь Лев Николаевич прожил с семьей, а в начале декабря опять уехал в Ясную Поляну. В первом письме он пишет жене: «Ехал скучно, да и сам не весел, – не весел без всяких причин, – физически слаб и в меланхолии легкой, а то быть унылым не от чего; когда думаю о всех, то радуюсь. Теперь только буду беспокоиться и пока, вероятно, не долго пробуду. Но ванна деревенской жизни мне стала необходима».

В ответ на эту короткую записку и следующее пространное письмо с описанием деревенской жизни Софья Андреевна в дружеском тоне излагает ему все различие их жизненных принципов.

«Теперь о твоем письме. Первое впечатление по прочтении его – это грусть. Да, мы на разных дорогах с детства: ты любишь деревню\', народ, любишь крестьянских детей, любишь всю эту первобытную жизнь, из которой, женясь на мне, ты вышел. Я – *городская,* и как бы я ни рассуждала и ни стремилась любить деревню и народ, любить это всем своим существом не могу и не буду никогда. Я *не понимаю* и не пойму никогда деревенского народа. Люблю же я только *природу,* и с этой природой я могла бы теперь жить до конца жизни и с восторгом. Описанье твое деревенских детей, жизни народа и проч., ваши сказки и разговоры, все это, как и прежнее, при Яснополянской школе, осталось неизменно. Но жаль, что своих детей ты мало полюбил; если б они были крестьянские дети, тогда было бы другое. Когда ты уходишь в эту деревенскую атмосферу нравственную, я за тобой болезненно и ревниво слежу и вижу, что тут мы *наверное* не вместе; и не потому, что я этого *не хочу,* а потому, что менее, чем когда-либо, – *могу*.

Жизнь твоя, по тому судя, как ты яйца покупал и как сейчас же ненатурально себя обругал почти, тоже мне нравиться не может [230] . *Ломанье,* и вечное ломанье себя. Зачем? Лучше ли это, всякое яйцо глотать с горечью к себе. До этого яйца еще столько работы настоящей, душевной, по отношению к себе и ко всем, с кем связана жизнь».

«У тебя лучше нашего. Что касается меня, я утратила свою осеннюю ясность, – это я вижу по тому, что как я стала в прежние условия разлуки и переписки с тобой, так, проверив себя, я вижу, что уже несусь по другому течению, что балы, гости, комплименты, сказанные мне, Танино стремление на бал, мои собственные мечты о костюме Тани и о том, как будут говорить обо мне; разговоры дяди Кости и Madame Semon и проч. и проч., – все это меня охватывает, и я погибаю. Мне даже не грустно это, и это хуже всего».

Не в минуту озлобленности, а в момент приязни намечены все пункты расхождения.

Положение становится безнадежным. Нет ничего объединяющего, все держится только на обоюдном желании мира, но одного желания недостаточно, с трудом создаваемая гармония – только внешняя, и постоянные перебои предрешены.

IV

Размеры книги не позволяют вести год за годом подробный обзор. Тема на протяжении нескольких лет остается той же: последовательная смена отношений. За время успокоения и согласия накопляются невысказанные, затушеванные противоречия, затаенные надежды на перемену жизни другой стороны не оправдываются, раздражение вновь поднимается, вновь возникает борьба, а затем опять примирение. Но все же нельзя ограничиться общими фразами и короткими цитатами. Каждый раз основная тема осложнена неповторимыми в дальнейшем нюансами, а форма переживаний так характерна для данного момента, что было бы большой ошибкой показать вместо сложной, богатой жизни один голый остов. Для исследователя творчества и для читателя важно не только знать о семейном разладе Толстых, но важно видеть его, чувствовать биение страдающих сердец. Поэтому, несмотря на громоздкость нашего изложения, мы по-прежнему, хотя и в несколько сжатом виде, будем приводить пространные материалы, насколько возможно, избегая собственных комментариев.

Налаженная к концу 1884 года жизнь опять расстроилась. Одной из причин было недовольство Софьи Андреевны тем, что Лев Николаевич допустил в своей статье («Так что же нам делать?») резкие выпады против семьи. Он согласен изменить форму, но отстаивает смысл, и наболевшие вопросы вновь возникают.

«Боюсь объясняться, – пишет Лев Николаевич жене, – чтобы опять как-нибудь не раздражить тебя; но одно скажу еще раз и яснее, я думаю, чем в разговоре: я не отстаиваю форм, в которых я выражался о личностях, и каюсь в них, и прошу тебя простить меня, но если я отстаиваю что, то отстаиваю самую мысль, выраженную во всей статье и наполняющую меня всего. Эту мысль и это сознание я не могу изменить так же, как не могу изменить своих глаз, и я знаю, что ты не любишь эту мысль, а хочешь бороться с ней, и это мне больно, и оттого я отстаиваю свою мысль. Но и это все вздор. Если мысль – истина, то все, и ты в том числе, придешь к ней, и раздражить тебя в ней могла только моя личная раздражительность и гордость. Если же и мысль несправедлива, то я опять виноват, навязывая ее, да еще в неприятной, навязчивой форме» [231] .

«В Туле, куда я ездил нынче, получил твои два унылые письма. И не знаю, что писать и что отвечать. Всю дорогу ехал, думал о том, что написать, и передумал десятки писем, а теперь

сидел долго над письмом, – не знаю, что писать, всего боюсь. Как ужасно тяжело жить без любви, и еще тяжелее умирать. Я, когда один, всегда яснее, живее представляю себе смерть, о которой думаю всегда, и когда представил себя, что умру не в любви, мне стало страшно. А в любви только можно жить счастливо и не видеть, как умрешь… Говорю об отсутствии любви не с моей стороны. Я, не переставая, думаю о тебе, люблю и жалею».

Из писем Софьи Андреевны к мужу: «А что я тебе мешаю своими… взглядами, это неправда; я никогда этому не верила. Любил бы, ничего не могло бы стать тебе поперек дороги, все бы сломил».

«Пошла наверх держать корректуры. Дошла до главы «Детство», и поднялось во мне опять то прежнее, детское чувство, которое впервые я испытала, когда мне было 11 лет, и опять все зарябило в глазах, и я, вместо того, чтобы поправлять спокойно опечатки, принялась плакать. Нервы ли мои слабы, или, правда, хорошо, – не знаю. Но знаю, что то, что я в тебе любила, когда мне было 13–14 лет, то же я и теперь люблю; а то, что наросло и загрубело, то не люблю, – оно напускное, наросшее. Соскоблить – и будет опять чистое золото».

Из дневника Льва Николаевича: «Нынче думал о своем несчастном семействе: жене, сыновьях, дочерях, которые живут рядом со мною и старательно ставят между мною и собою ширмы, чтобы не видать истины и блага, которые обличат ложь их жизни и избавят их от их страданий. Хотя бы они то поняли, что их праздная, трудами других поддерживаемая жизнь только одно может иметь оправдание – то, чтобы употребить весь досуг на то, чтобы одуматься, чтобы думать. Они же старательно наполняют этот досуг суетой так, что им есть меньше времени одуматься, чем задавленным работой».

Эта запись сделана в апреле. В мае он пишет Л. Д. Урусову [232] : «У нас все здоровы… Все они живут подле меня своей странной, для них естественной жизнью. Я закидываю к ним свои вопросы. Иногда выскакивают назад, иногда, думаю, западает кое-что. И то хорошо».

В июне – письмо В. Г Черткову: «В последнем письме я писал вам, что мне хорошо; а теперь отвечая на второе письмо ваше из Англии, полученное вчера, – мне нехорошо. Письменная работа не идет, физическая работа почти бесцельна, т. е. не вынужденная необходимостью, отношений с окружающими меня людьми почти нет (приходят нищие, я им даю гроши, и они уходят), и на моих глазах в семье идет вокруг меня систематическое развращение детей, привешивание жерновов к их шее. Разумеется, я виноват, но не хочу притворяться перед вами, выставлять спокойствие,

которого нет. Смерти я не боюсь, даже желаю ее. Но это-то и дурно; это значит, что я потерял ту нить, которая дана мне Богом для руководства в этой жизни и для полного удовлетворения. Я путаюсь, желаю умереть, приходят планы убежать или даже воспользоваться своим положением и перевернуть всю жизнь. Все это только показывает, что я слаб и скверен, а мне хочется обвинять других и видеть в своем положении что-то исключительно тяжелое. Мне очень тяжело вот уж дней шесть, но утешение одно – я чувствую, что это временное состояние. Мне тяжело, но я не в отчаянии, я знаю, что я найду потерянную нить, что Бог не оставит меня, что я не один. Но вот в такие минуты чувствуешь недостаток близких живых людей – той общины, той церкви, которая есть у пашковцев, у православных. Как бы мне теперь хорошо было передать мои затруднения на суд людей, верующих в ту же веру, и сделать то, что сказали бы мне они. Есть времена, когда тянешь сам и чувствуешь в себе силы; но есть времена, когда хочется не отдохнуть, а отдаться другим, которым веришь, чтобы они направляли. Все это пройдет, и если буду жив, напишу вам, как и когда пройдет… Когда я сам себя жалоблю, я говорю себе: неужели так и придется мне умереть, не прожив хоть один год вне того сумасшедшего, безнравственного дома, в котором я теперь принужден страдать каждый час, не прожив хоть одного года по-человечески разумно, т. е. в деревне не на барском дворе, а в избе, среди трудящихся, с ними вместе трудясь по мере своих сил и способностей, обмениваясь трудами, питаясь и одеваясь, как они, и смело без стыда говоря всем ту христову истину, которую знаю. Я хочу быть с вами откровенен и говорю вам все, но так я думаю, когда я себя жалоблю, но тотчас же я поправляю это рассуждение и теперь делаю это. Такое желание есть желание внешних благ для себя – такое же, как желание дворцов и богатства и славы, и потому оно не Божие. Это желание ставить палочку поперечную креста поперек, это недовольство теми условиями, в которые поставил меня Бог, это неверное исполнение посланничества. Но дело в том, что теперь я, как посланник в сложном и затруднительном положении, и не знаю иногда, как лучше исполнить волю пославшего. Буду ждать разъяснений. Он никогда не отказывал в них и всегда давал их вовремя».

Толстой напряженно следит за нравственным уровнем семьи, и малейший намек на поворот в его сторону вызывает в нем радость. Не мало огорчения доставляли ему старшие дети, их светский и барский образ жизни. Но когда Татьяна Львовна объявила отцу, что ее «взгляд на вещи переменился», он отвечает ей сочувственным письмом, осторожно давая советы, как идти по

новому пути.

«Это моя единственная мечта и возможная радость, на которую я не смею надеяться, – та, чтобы найти в своей семье братьев и сестер, а не то, что я видел до сих пор – отчуждение и умышленное противодействие, в котором я вижу не то пренебрежение, – не ко мне, а к истине, – не то страх перед чем-то… Тебе важнее убрать свою комнату и сварить свой суп (хорошо бы, коли бы ты это устроила – протискалась бы сквозь все, что мешает этому, особенно, – мнение), чем хорошо или дурно выйти замуж».

Мимолетное совпадение интересов дочери и отца возбуждает немедленное противодействие со стороны матери. Она боится влияния Льва Николаевича на детей, ей страшно, что его крайние взгляды могут поколебать незыблемые семейные устои. Ничего исправить нельзя, и все должно остаться неизменным. Отпор лишает Толстого последней надежды, но он не теряет самообладания и отвечает в спокойном тоне.

«В обоих твоих последних письмах, милый друг, проскальзывает раздражение на то, что я писал в письме к Тане. Зачем раздражаться и обвинять и говорить, что непоправимо. Все поправимо, особенно взгляд на жизнь. Пока живем, все изменяемся и можем изменяться, слава Богу, и больше и больше приближаться к истине. Я только одного этого ищу и желаю для себя и для близких мне, для тебя и детей, и не только не отчаиваюсь в этом, но верю, что мы сойдемся, если не при жизни моей, то после. Если я написал, что мы живем вместе – врозь, то это, хотя и правда, но преувеличено, и не надо было писать этого, потому что это как будто упрек. А я пуще всего считаю неправильным– упрек и потому каюсь в этом».

Софья Андреевна в письмах к мужу приводит прежние доводы, доказывает свою правоту и с горечью упрекает Льва Николаевича за его отход от семьи.

«Могу обижаться, если детьми не интересуешься и мной, и нашей внутренней жизнью, и горем, и радостью. Могу огорчаться, что *когда ты живешь вместе с семьей, ты с ней больше еще врознь, чем когда мы врознь* живем… А вот это все грустно, и если непоправимо, то надо стараться и с этим мириться. И я успеваю в этом и привыкаю понемногу. Ушли не мы от тебя, а ты от нас. Насильно не удержишь. Ты забываешь часто, что ты в жизни впереди Сережи, например, на 35 лет; впереди Тани, Лели, например, на 40, и хочешь, чтоб все летели и догоняли тебя. Это – непониманье. А я вижу, как они идут, падают, шатаются, спотыкаются и опять весело идут по пути жизни; и я стараюсь тут помочь, там придержать и зорко смотреть, чтоб не свернули куда-

нибудь, куда можно провалиться безвозвратно. Насколько я это умею и могу – это другой вопрос. Но я никогда, пока жива и не совсем с ума сошла, не скажу, что я врознь от семьи, и не помирилась бы с мыслью, что я с детьми своими совсем врознь, хотя и живу вместе».

«У тебя силы воли и убеждения много, что ты можешь так жить – возить воду, сидеть с Фейнерманом [233] и Александром Петровичем [234] , плохо есть и проч. Но ты один, а я сам-десят, и все эти нити, связывающие меня, ну, просто, физическим материнским чувством, тянут во все стороны, и полететь нельзя. А жизнь аскетическая, т. е. с лишеньями, была моим идеалом еще раньше, чем я узнала тебя. Теперь же не могу, не могу выйти из того состояния, в котором я *застыла,* и пытаться не хочу, потому что разобьюсь вдребезги. И живу и буду жить в своей красной гостиной, но другой такой никогда не куплю. Вот это верно… Дети подрались вчера вечером… учительница пришла наниматься… сбрую чинить надо, с Мишей читать надо, и проч., и проч. И осуждать и не одобрять меня! Грех, Левочка! Грех, Левочка! Для других ведь все, сама усталая, в халате, не совсем здоровая, и ничем, ничем себя не забавляющая. Qui s\'excuse – s \'accuse [235] и т. д. Но я не оправдываюсь, я говорю: посмотри – за что же осуждать?»

«Не знаю, радоваться ли твоему приезду; он тебе не будет радостен, ты так тяготишься жизнью городской. Вообще, всячески плохо: вместе будет чуждо и врозь скучно».

Лев Николаевич – В. Г. Черткову: «Завтра утром, 1 ноября, думаю ехать в Москву. Надолго ли, не знаю. Тяжело ехать, но надо быть там с своими; может быть, меня там ждут радости – сближения со мной кого-нибудь из семьи. Мне кажется, что это есть и будет».

Письмо Софьи Андреевны к сестре от 12 ноября: «Левочка вернулся 1 ноября. Мы все повеселели от его приезда, и сам он очень мил, спокоен, весел и добр. Только он переменил еще привычки. Все новенькое, что ни день. Встает в 7 часов, – темно. Качает на весь дом воду, везет огромную кадку на салазках; пилит длинные дрова и колет и складывает в сажени. Белый хлеб не ест; никуда, положительно, не ходит».

Мирное настроение скоро вновь осложнилось. Каждый остался на своем месте, и отношения делались все напряженнее и напряженнее.

«У нас вся жизнь в разладе с убеждениями Левочки, – пишет Софья Андреевна сестре, – и сойтись – не с убеждениями, их я-то, несомненно, разделяю, как и все, – но нашей жизни, которую будто бы я веду, нельзя сойтись с Левочкиными убеждениями. Вот

и статья эта больно сделала, я это видела, и мне больно было, что я невольное орудие всего этого, а вместе с тем те неумолимые требованья жизни так и лезут со всех сторон, и раз Левочка бежал от них, то они с большей силой налегли на меня».

Как Лев Николаевич ни в чем не помогает Софье Андреевне в дорогой ей жизни, так и Софья Андреевна, в свою очередь, остается совершенно равнодушной к его интересам. А если обстоятельства складываются так, что необходима ее помощь, то она выполняет желания мужа с большой неохотой.

В январе 1885 года, под влиянием взглядов Толстого, отказался от присяги Алексей Петрович Залюбовский. Его ожидали большие репрессии [236] .

Лев Николаевич всегда крайне мучительно переживал гонения на своих единомышленников, считая себя как бы причиной их страданий, чувствуя угрызения совести за свою внешне благополучную жизнь. И в этом случае он обращается за помощью к высокопоставленным знакомым и родственникам, прося спасти отказавшегося. Софья Андреевна хлопотала в Петербурге перед цензурой о пропуске нового издания, и Лев Николаевич поручает ей дело Залюбовского. Выполнение этой неприятной для нее миссии осложняется опасениями за исход издательских дел, и встревоженному мужу она пишет далеко не ободряющие письма.

«Единственно, что я могу и что сделаю, поеду просительницей к военному министру… Мудрено и мне, твоей жене, хлопочущей о пропуске сочинений, хлопотать о человеке, принявшем это ученье. Когда я думаю, *что* я скажу министру или тому, кого я буду просить, то единственное, что я придумываю это, что я прошу потому, что меня просили, и что мне больно, что убеждения этого молодого человека, вероятно, истекающие из проповедуемого тобой учения Христа, послужили не к добру, т. е. не к той цели, которую ты имел, а к погибели юноши, и потому я прошу смягчить его участь. Это единственное, что я придумала, а там видно будет». – «Мне [дело это] очень больно и неприятно, но я буду действовать с большей энергией, чем о своем, о котором ни слуху ни духу».

Подготовлявшийся кризис отношений наступил во второй половине декабря. Его подробно описывает Софья Андреевна в письме к сестре:

«Если бы тебе возможно было заглянуть эти дни в нашу жизнь, ты и удивилась бы, и огорчилась, и поняла бы, что не только письма писать, но и жить невозможно при таких обстоятельствах выдуманного, к счастью, не существенного горя! После такого вступления, прежде, чем говорить о другом, надо

объяснить, что случилось. Случилось то, что уже столько раз случалось: Левочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входят, я смотрю – лицо страшное. До тех пор жили прекрасно, ни одного слова неприятного не было сказано, ну, ровно ничего. – «Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку».

Понимаешь, Таня, если б мне на голову весь дом обрушился, я бы так не удивилась. Я спрашиваю удивленно: «Что случилось?» – «Ничего, но если на воз накладывать все больше и больше, лошадь станет и не везет». Что накладывалось – неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже, и, наконец, терпела, терпела, не отвечала ничего почти, вижу – человек сумасшедший, а когда он сказал, что «где ты, там воздух заражен», я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней.

Прибежали дети, рев. Таня говорит: «Я с вами уеду, за что это?» Стал умолять: «Останься». Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас, просто; подумай: Левочка, – и всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его; дети, четверо – Таня, Илья, Леля, Маша – ревут на крик. Нашел на меня столбняк, ни говорить, ни плакать, все хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу, и молчу три часа, хоть убей – говорить не могу. Так и кончилось. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние, отчужденность, все это во мне осталось. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну, теперь за что же? Я из дому ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда, и за что?…

Ну вот, после этой истории вчера почти дружелюбно расстались. Поехал Левочка с Таней вдвоем на неопределенное время в деревню к Олсуфьевым [237] за 60 верст на Султане вдвоем в крошечных санках. Взяли шуб пропасть, провизии, и я сегодня уже получила письмо, что очень весело и хорошо доехали, только шесть раз вывалились. Я рада, что Левочка отправился в деревню, да еще в хорошую семью и на хорошее содержание. Я все эти нервные взрывы и мрачность и бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. Авось, он там образумится. Здесь топлением печей, возкой воды и проч. он замучил себя до худобы и до нервного состояния».

«Тоска, горе, разрыв, болезненное состояние, отчужденность» Софьи Андреевны не скоро прошли. За все время отсутствия Льва Николаевича она остро чувствует нанесенную ей обиду и в письмах к мужу не оправдывается больше, а только обвиняет.

Лев Николаевич пишет ей: «Ах, душа моя, как жалко, что ты так себя мучаешь, или дела, которые ты затеяла, так мучают тебя.

Утешаюсь тем, что физические причины помогут твоему успокоению, и радуюсь тому что я теперь пришел в такое нормальное положение, что не буду тревожить и мучить тебя, как мучил все это последнее время.

По сих пор написал, когда приехали Леля с Верочкой. И сейчас в сердце прочел письмо твое, и сейчас защемило, и чувствую то же отчаяние и тоску, которые чувствовал в Москве и которые совершенно прошли здесь. Опять то же: «Задача не по силам», «он никогда не помогает», «я все делаю», «жизнь не ждет»…

Слова все мне знакомые и, главное, не имеющие никакого отношения к тому, что я пишу и говорю. Я говорил и говорю одно: что нужно разобраться и решить, что хорошо и что дурно, и в какую сторону идти; а если не разбираться, то не удивляться, что будешь страдать сама, и другие будут страдать, о необходимости же сейчас делать – говорить нельзя, потому что необходимого для людей, у которых есть деньги на квартиру и пищу, ничего нет, кроме того чтобы обдуматься и жить так, как лучше. Но, впрочем, ради Бога, никогда больше не будем говорить про это. Я не буду. Надеюсь окрепнуть нервами и молчать. То, что все, что я испытывал в Москве, происходило не от физических причин, то, что я после 3-х дней такой же жизни, как в Москве: без мяса с работой физически тяжелой, – я здесь пилю и колю дрова, – я чувствую себя совсем бодрым, и сплю прекрасно. Но что делать? Мне, по крайней мере ничего нельзя изменить, ты сама знаешь. Одно можно: выработать спокойствие и доброту, которой у меня мало, что я и постараюсь сделать. Прощай, душа моя, целую тебя и люблю и жалею. Целую детей. Как тебе должно быть одиноко! Надо поскорее приехать к тебе».

Письма Софьи Андреевны к мужу. Первое адресовано ему и дочери Татьяне: «Я знаю, Таня, что в жизни нашей все хорошо и что плакать не о чем; но ты это папа говори, а не мне. Он плачет и стонет и нас этим губит. Отчего он в Никольском не плачет над Олсуфьевыми, собой и тобой? Разве не та же, но еще более богатая жизнь и там и по всему миру? За что я souffre-douleur [238] всех его фантазий? Я, которая всегда любила и желала жить для других, и мне это ничего не стоило, в этом только и радость моя была! Спасибо, что дети ко мне относятся с доверием. И я оправдаю это доверие, потому что теперь только это мне осталось. Но быть веселой! Возможно ли это, когда слышишь стоны больного возле себя. И больного, которого привыкла любить. Вот об этом подумай. А пока я могу сказать: да, я хочу, чтоб он вернулся *ко мне* так же, как он хочет, чтоб я пошла *за ним.* Мое – это старое, счастливое, пережитое, несомненно

хорошо, светло и весело, и любовно, и дружно. *Его* – это новое, вечно мучающее, тянущее всех за душу, удивляющее и тяжело поражающее, приводящее в отчаяние не только семью, но и его родных, близких, друзей. Это – *мрак,* в который я не пойду, это – наболелое, которое убьет меня. Нет, в этот ужас меня не заманишь. *Это новое,* будто бы *спасшее,* а в сущности приведшее к тому же желанью смерти, так намучило меня, что я ненавижу его. Да, я зову в свое *старое,* и оно *верное,* и тогда только счастье восстановится, когда мы заживем старой жизнью. Никогда мне это не было так ясно. И ясно, что я теперь очень, очень несчастлива этим разладом; но ломать жизнь не буду и не могу. О занятии моем «изданием» скажу одно: я ухожу в этот странный труд для одурения; это мой *кабак,* где я забываюсь от напряженного семейного положения. Балы и свет тоже были таким кабаком. Уходить куда-нибудь надо от этих сцен, упреков, от этих страданий во имя какого-то *нового добра,* убивающего *старое счастье,* и горе мне, если я, измученная и пьяная, уйду уж не в какой-нибудь кабак, а совсем куда-нибудь, мне так часто этого хочется.

Вот я как долго писала под влиянием невралгии. Но зато так все ясно и так все, все равно. Прощайте! Я не зову домой. Зачем? Надо переболеть одной: и самой легче, и вам хорошо».

«Вот чего не пойму я никогда: почему *истина* должна вносить *зло* и разлад? Разлад не с разбойниками, а с тихими, *любящими* людьми? В первый раз в жизни я рада была, что ты уехал. Как это больно и грустно! Но я, конечно, рада буду еще больше, когда ты приедешь… Маша эти дни все нездорова. То грудь болела, горчишники ставили, то голова страшно болела. Она совсем ничего не ест. Скоро окажется, как ее, бедную, загубили вегетарианством. Но не я ее гублю: мое дело было выкармливать маленьких, и я это сделала хорошо. А кто *мое* дело разделывает, тот пусть и отвечает Богу».

«Мне плохо все это время. Хотя невралгии нет, но она сидит и ждет случая разойтись. Нервы расстроены страшно, спазма слез в горле не оставляет ни на минуту; и моя живучая, энергическая, здоровая натура так и сломилась на этот раз. Хочу, хочу встряхнуться: жить, спать, думать, разобраться в жизни – и не могу. Ужас перед сумасшествием так велик, что не могу преодолеть его. И именно такие натуры, как моя, которых не сломать физически, и ломаются морально, и сумасшедшие живут бесконечно долгие годы».

Из письма Софьи Андреевны к сестре: «От Олсуфьевых сначала вернулась Таня с Верой Толстой [239] . Потом через несколько дней вернулся и Левочка с Лелей, опять так же в

маленьких санках на Султане. Левочка был добр и кроток, но я не прощала и не могла долго простить тех мучений, которые он мне сделал. Но кончилось примирением и твердым обещанием никогда, ни разу не поминать прошлого. Но я, обещавши этого не делать на словах, до сих пор в сердце не забыла. Такой несправедливой, жестокой обиды, как нынешний раз, никогда я еще не претерпевала. Как нерасчетливо и неосторожно поступают люди!

После примирения пошло весело в доме. Делали все, что хотели. Приглашали гостей (т. е. все это не я, а дети), собирались вечером, ездили в Собачий театр с малышами, возили их на две елки. Дома был Петрушка Уксусов [240] и дети наряженные. Для больших мы тоже сделали веселье… Вот мы, написав предварительно письма, поехали в костюмах и масках в самые знакомые и веселые дома… Вся эта компания в шести санях, веселая, в масках, с тапершей, странствовала из дома в дом, плясала, ела, интриговала. Кое-где не узнавали, кое-где узнавали; принимали все удивительно благодушно и веселились на славу. Когда я, после интриги, снимала маску только хозяйкам дома, то все мгновенно бросались меня целовать. Были у нас и вечеринки, кое-кто собрался, пели, плясали, из горящего рома таскали сладости, гадали, воск лили, приносили петуха клевать; у кого клюнет, того желанье исполнится. Звали нас с Таней на балы и вечера; но мы ни разу никуда не ездили, только визиты делали кое-кому; еще были в концерте Рубинштейна и опять поедем».

V

В начале 1886 года семью постигло большое горе: 18 января скончался младший сын, четырехлетний Алеша.

Отец и мать по-разному перенесли это несчастье.

Известно, как болезненно отзывался всегда Толстой на смерть близких, как обостряло и омрачало присутствие смерти все его мысли и чувства. Теперь же, когда живая вера соединила его с бесконечной, вневременной жизнью, придала смысл и оправдание каждому действию, каждой перемене, ничто уже не в силах пошатнуть его твердости, и величественный переход к неизвестному углубляет смысл настоящего, привнося в него торжественную напряженность. Нет больше отчаяния, есть грусть отца и непрерываемая радость жизни на новом пути. Какая перемена! Л. Н. Толстой – исключительный семьянин – не оплакивает больше *собственного* ребенка, и не только разумом, но всем существом своим воспринимает личное горе в свете религиозного понимания.

Наоборот, Софья Андреевна переносит испытание только как *мать*. От нее оторвалось свое; и она мучается почти как от физической боли. Она усматривает в этой смерти месть высшей воли за ее желание уклониться от выполнения природного материнского долга. И в эти дни, когда отец и мать душою объединены у гроба мальчика, их духовное различие особенно ярко и знаменательно.

В день смерти сына Лев Николаевич пишет В. Г. Черткову: «[То, что оставило] тело Алеши, оставило и не то что соединилось, а – с Богом, мы не можем знать, соединилось ли – а осталось то, чем оно было, без прежнего соединения с Алешей. Да и то не так. Об этом говорить нельзя. Я знаю только, что смерть ребенка, казавшаяся мне прежде непонятной и жестокой, мне теперь кажется и разумной и благой. Мы все соединились этой смертью еще любовнее и теснее, чем прежде. Спасибо вам за ваше письмо. Я ждал именно его. Помогай вам Бог делать общее наше дело – дело любви – словом, делом, воздержанием, усилием: тут не сказал словечка дурного, не сделал того, что было бы хуже, тут преодолел робость и ложный стыд, – и сделал и сказал то, что надо, что хорошо – то, что любовно, – все крошечные незаметные поступки и слова, а из этих-то горчичных зерен вырастает это дерево любви, закрывающее ветвями весь мир. Вот это-то дело помогай нам Бог делать с друзьями, с врагами, с чужими, в минуты высокого и самого низкого настроения. И нам будет хорошо, и всем будет хорошо».

Письмо Софьи Андреевны к сестре: «Милая Таня, слышит ли твое сердце мое горе? – сегодня я хоронила Алешу. Не понимаю, как я пишу тебе, но мне только и хочется о нем думать, говорить и писать, и потом я хочу, чтоб ты это только от меня узнала. Ах, Таня, если бы ты знала, как я терзаюсь, что меня Бог наказал за грехи. Я не хотела еще детей иметь, и вот отнят за это чудный, умненький, красивый мальчик, к которому, как это всегда бывает, я особенно привязывалась со дня на день больше и больше. Как солнышко в доме, был всегда веселый, со всеми ласковый, всеми любимый. Таня, ты понимаешь, каково мне; я не могу ничего тебе описывать, только одно могу описать, как это все было. Мучаемся мы все, что пустили трех малышей гулять; было 6° мороза и ветер. Гуляли они минут двадцать, не озябли нисколько, но погода была резкая и неприятная. Это было в среду. В четверг я ездила по делам. Приезжаю в 5-м часу домой, говорят: «Алеша продрог, весь затрясся и заснул». Я смотрю: жар. В 9 он проснулся, попросил поесть калачика; я принесла ему чаю, варенья, он намазывал калачик и ел с удовольствием, и хотя в жару, но был весел. Скоро он опять заснул, и в 10 часов начался хриплый, его обычный кашель. Я все-таки испугалась, легла в детской. Все хуже и хуже. Стала греть ему припарки, а в 7 часов утра послала за доктором, который всегда его лечил и знает его особенности [241] . Доктор посмотрел очень внимательно (приехал он в 8 часов утра) и говорит: «Опять его обычный ложный круп: делать пульверизацию, давать микстуру и припарки продолжать…»

День прошел плохо, он хрипло кашлял, но в промежутках разговаривал и все горел. В 9-м вечера приехал с горловыми припасами, зеркалами Беляев [242] . Говорит: «Крупозного ничего нет положительно, есть сильная краснота и опухоль гортани. Опасного ничего нет, но болезнь серьезная, должна уступить лечению. Это было в 9 часов вечера. Он разговаривал, шутил с Алешей, Алеша ему отвечал, показывал горло сам, открывал ротик, сидел. Но все жар и хрипота. Почти только что уехал Беляев, стало хуже. Хрипота прибавлялась, жар усиливался. Мы никто не ложились. Сидела няня [243] , я, Таня и Маша. Алеша обернулся вдруг и говорит:

«Позови папу». Мы позвали. Он поглядел на него. Левочка сел с ним и уже не отходил. Тут Алеша вдруг вскочил, прислонился к моей груди спиной, уставился глазами, и его начало точно заливать чем-то внутри. Потом отпустило. Я выбежала из комнаты опомниться хоть на минутку. Две ночи я его с рук не спускала. Таня тоже вышла. Вдруг приходит Левочка и Маша и говорят: «Кончился». Он перед этим все бредил и у меня на руках

вдруг поднял голову, стал пристально, серьезно смотреть наверх и с расстановкой говорить: «Вижу, вижу, вижу». Девочки это видели и слышали тоже. Я спросила: «Что видишь, Алеша?» – Он что-то пробормотал, но не сказал.

Умер он в 4 часа ночи с 17 на 18 января… К смерти Алеши все большие отнеслись ужасно сочувственно. Илья мне помогал во всем: и гробик, и место искать, и формальности – все помогал.

Андрюша раз разрыдался, когда увидел куколку Алеши, в красной рубашечке мальчика. Он положил его, бросился в подушки и стал рыдать. Миша не плакал, а с недоумением и грустью спрашивал: «Никогда, никогда мы больше не увидим Алешу?» Саша маленькая, увидев его на столе, пришла в такой непонятный восторг и начала кричать: «Baby (беби)», в ручки бьет, хохочет, пляшет. Она не узнала его: но, видно, своя своих познаша: ангела в нем увидела. Хотела я хоронить его в Девичьем монастыре, поехала туда с Ильей. Каменная ограда, точно крепость; внутри ограды монастырь и бесчисленное множество, одна на другой, просто, могилы. И 400 лет кладут в это крошечное местечко один труп за другим, и вся земля, это – эссенция трупов богатых, жирных людей, потому что там место стоит 250 рублей серебром. И торг и вся эта обстановка показались мне противны. Я к Пете [244] : «Где есть чистенькое новое кладбище?» Он говорит: «Кладбище в Покровском нашем закрыли, оно переполнено очень, а перевели его в Никольское, месяц тому назад, еще никто не похоронен».

Поехали мы с Ильей в Покровское – в первый раз, Таня, с тех пор, как я замужем, и вот зачем пришлось ехать! И воспоминания детства и горе, – ах, Таничка, что можно вынести, какой ад в душе, и ходить, и есть, и жить! [245]

В Покровском одна старушка, Дарья Ивановна, бывшая дворовая, просвирня, узнала меня, бросилась целовать. Все еще помнят нас в Покровском. Тут я узнала, что мне нужно, и поехала в Никольское. Ветер, но ясное красное солнце на закате; места все знакомые, леса, макушки красные и снег розовый. Показали нам кладбище. Помнишь, Таня, Швейцарию нашу в Покровском? Так вот, где Химка внизу течет, так на другом берегу, где село Никольское, на обрыве высоком над речкой, отведено кладбище. Место чудесное. Я решила туда и похоронить Алешу. Велела, где ямку рыть, обдумала, как я все обсажу. И с этого места видна наша, так называемая, Швейцария и все Покровское и все те места, где ты пропала, когда мы за грибами ходили в детстве, а те места, куда мы уходили, когда дома что неблагополучно и грустно, и которые мне в детстве так казались чудно поэтичны и красивы.

Сегодня мы поставили гробик на наши большие сани, в которых так недавно я возила его и в Зоологический сад и в театр обезьянок; села няня и я… Приехали мы; там священник встретил нас и несколько человек народа… Узнали, что я дочь Андрея Евстафьевича Берса, и такая меня окружила атмосфера любви, участия, добрых воспоминаний об отце, что я поняла, какой он был добрый, и мне приятно было. Все помогали гробик нести; все нежно, осторожно, как любящая женщина (а ведь все мужики), обратились они и с моим горем, и с гробиком, и с засыпанием могилки, и с обещаниями и помянуть младенца, и могилку соблюдать, и молиться на могилке.

Вот, Таня, милая, если я умру в Москве или поблизости, я и себя велю там похоронить. Там ясно, просто, добро; и земля чистая. Божья, не тронутая, и природа чудесная…

Левочка осунулся, похудел и очень грустен. Таня и Маша в первый раз увидали близко смерть – он умер на их глазах, сами они того желали – все очень огорчены и ко мне ласковы. Бедная няня совсем с ума сходит. Она ведь его обожала и говорит, что только брата да Алешу и любила. Она так плачет, что я бегаю от нее».

Вскоре обычная жизнь восстановилась.

11 ноября 1886 года скончалась в Крыму мать Софьи Андреевны, Любовь Александровна Берс. Судя по переписке, эта смерть не очень больно отразилась на Софье Андреевне. Она погружена в жизнь собственной семьи, а все остальное, даже прошлое в лице матери, затрагивает ее лишь слегка. «11-го три месяца траура, и я думаю, молодым можно и пляснуть. Мы сделаем это очень просто и тихо; народу будет больше всего родни», – пишет Софья Андреевна сестре. Всю эту зиму, по ее словам, они прожили «мирно и счастливо». Творческая работа Льва Николаевича вызывает на этот раз сочувствие со стороны жены, она охотно переписывает новое философское произведение и переводит его на французский язык. Это статья «О жизни и смерти» [246] , которая нравится Софье Андреевне, так как она «без задора и без тенденции, а чисто философская», «глубоко обдумано, и [ей] по душе, что идеалистично».

Но внутренне Софья Андреевна по-прежнему остается чуждой религиозным настроениям мужа. По поводу этой статьи она отмечает в дневнике: «Переписала «О жизни и смерти» и сейчас перечла внимательно. С напряжением искала нового, находила меткие выражения, красивые сравнения, но основная мысль для меня вечно несомненная – все та же. Т. е. отречение от материальной, личной жизни для жизни духа. Одно для меня невозможно и несправедливо, это то, что отречение от личной

жизни должно быть во имя любви всего мира, а я думаю, что есть обязанности несомненные, вложенные Богом, и от них отречься не вправе никто, и для жизни духа они не помеха, а даже помощь».

Софья Андреевна готова принять отвлеченную философскую мысль, но она всей душой протестует против практических выводов, подрывающих семейный уклад. На почве практического применения религиозных положений, в те годы проявлявшегося преимущественно в стремлении к внешнему опрощению, круг единомышленников Толстого возрастал, и к этим лицам – «темным» [247] – Софья Андреевна относилась всегда крайне враждебно. На склонность мужа к упрощению жизни Софья Андреевна смотрела почти как на чудачество и надеялась, что со временем оно пройдет. Разумеется, те, которые ободряли и вдохновляли его на этом пути и отвлекали от текущих интересов семьи, вызывали ее гнев.

Так было еще с В. И. Алексеевым, оказавшим несомненное влияние на Толстого в годы его перелома. Софья Андреевна хотя и благожелательно относилась к нему, но никак не могла примириться с его взглядами, а главное, с его бесхозяйственностью. Оставив Ясную Поляну, Алексеев жил на арендованной у Толстых земле в Самарской губ. В силу своих христианских принципов, дело он вел так «неразумно», что не был в состоянии аккуратно выплачивать деньги. В 1886 году Софья Андреевна пишет ему решительное письмо, в котором указывает на его «фальшивое положение», заключающееся в том, что он, «не быв в состоянии платить аренды, продолжает истощать и портить землю, которая, мало того, что не приносит никаких процентов, ежегодно падает в цене вместо того, чтобы улучшаться. И потому, как мне ни неприятно, – продолжает Софья Андреевна, – самой вам это писать (я полагалась на вас в этом случае), но я принуждена сказать вам, что аренду вам *отказываю*… Лев Николаевич сдал мне дела и имения в неограниченное распоряжение, а я не желаю и не могу разорять своих детей и вести дела неразумно». Такой поступок Софьи Андреевны со старым другом ее детей (он был их учителем в конце 70-х годов) вызвал смущение всей семьи, и Сергей Львович поспешил открыто высказать Алексееву свое огорчение по поводу «этого несчастного письма» его матери [248] .

Особенным нерасположением Софьи Андреевны пользовался И. Б. Фейнерман, «молодой человек, еврей, симпатичной наружности, интеллигентный и вполне опростившийся, полный энергии и добрых желаний». По словам П. И. Бирюкова, он «своим радикализмом в опрощении и упорством в крестьянском образе

жизни и труде оказывал поддержку стремлениям Льва Николаевича в этом же направлении, являя живой пример приложения к жизни основ его мировоззрения» [249] .

Личная жизнь Фейнермана сложилась очень неудачно. Он поселился в деревне Ясной Поляне, стал помогать бедным крестьянам и, чтобы иметь право на преподавание грамоты, принял православие. Жена, видя, что теперь он не сумеет содержать ее и ребенка в прежнем достатке, потребовала развода. Попечитель округа к преподаванию его не допустил. Присутствие же Фейнермана в Ясной Поляне было так неприятно Софье Андреевне, что она готова была пойти на неблаговидный поступок, и успокоилась только тогда, когда он силою обстоятельств вынужден был покинуть деревню.

По этому поводу Софья Андреевна пишет сестре: «К моему огорчению, Фейнерман опять в Ясной и пишет письма Левочке с большим пафосом. Очень досадно, что опять будут эти Фейнерманы торчать в Ясной. Я думала, что я от них избавлена совсем. Хорошо бы, если б шепнуть новому губернатору или Свербееву [250] , чтоб Фейнермана, как не имеющего определенных занятий и вредного по влиянию на крестьян, выслать на место его родины. Если б не боялась Левочку огорчить, я бы это выхлопотала легко».

Из ее дневника: «Фейнерман опять в Ясной. Он бросил где-то жену беременную с ребенком без средств и пришел жить к нам. Я за семейный принцип, и потому для меня он не человек и хуже животного. Как бы фанатичен он ни был, какие бы мысли и прекрасные слова он ни говорил, – факт оставления им семьи и питанья на счет дающих ему остается несомненен и чудовищен».

Письмо Льва Николаевича Софье Андреевне: «Получил нынче твое доброе письмо, как и ожидал. Одно очень не хорошо: это твое нерасположение к Ф[ейнерману]. Что тебе может мешать человек? И как поставить себя в такое положение, чтобы не уметь обойтись с человеком – обойтись как с человеком, так, как ты найдешь наилучшим? Это что-то обидное и жалкое мне для тебя, что ты имеешь врага. Это ужасно мучительно. А главное, за что ты так обвиняешь его? Зная его близко, его никак нельзя ненавидеть, а можно только жалеть. Жену свою он ужасно любит. И теперь, когда она требует у него развода, и он посылает ей его, и она вместе с тем обещается приехать к нему и не оставлять его, я вижу, как он страдает. Ненавидеть же его нельзя, потому что нельзя же его не назвать добрым человеком? Вообще, думаю, что если ты примешь какие-нибудь внешние меры для его изгнания, ты сделаешь дурно, главное – дурно для себя».

Вскоре Софья Андреевна сообщает сестре «радость, что

Фейнерман уезжает на родину, кажется, совсем. Это много нам с тобой облегчит жизнь в Ясной».

В это же время определилось отрицательное отношение Софьи Андреевны к ближайшему другу мужа В. Г. Черткову. Она отмечает в дневнике: «Отношения с Чертковым надо прекратить. Там все ложь и зло, а от этого подальше». «Не люблю я его: не умен, хитер, односторонен и не добр. Лев Николаевич пристрастен к нему за его поклонение».

По поводу своих нападок на единомышленников Льва Николаевича Софья Андреевна однажды пишет мужу: «Я хотела тебе сказать, что если ты иногда встречаешь в моих письмах слишком крайне и зло выраженные мысли и чувства, то я об этом жалею. Но взгляды и мысли мои в основе остаются те же, я от них не могу отделаться, а могу только регулировать выражение их, не огорчать и не оскорблять никого, что и стараюсь и буду стараться делать».

«Мы в письмах с тобой гораздо ближе, чем в жизни. В письме все вспоминаешь и все напишешь, что может быть интересно хоть немножко, а в жизни видимся мало, тебя *темные* люди завоевывают, и всегда совестно как-то рассказывать обыденные мелочи, а в письме все как будто интересно».

Приведенные документы далеко не исчерпывают всей темы, но одних их достаточно, чтобы увидать озлобленность, с которой Софья Андреевна относилась к тем, кто, удачно или неудачно, но пытался вместе с Толстым перестроить жизнь и осуществить царство Божие на земле. А когда эти настроения проникли в ее собственную семью, ее раздражение достигло крайних пределов.

В середине 1880-х годов яснополянская молодежь была увлечена крестьянскими работами. Толстые и Кузминские вместе с Львом Николаевичем часто проводили время в поле, помогали ему в работе по постройке хаты для бедной крестьянки, жали, косили, возили навоз.

По этому поводу Софья Андреевна пишет жене художника, Анне Петровне Ге: «Лето, проведенное нами, оставило во мне самое тяжелое впечатление. Мало-помалу все семейство разошлось из дому по работам сельским. Семейная жизнь была вполне разрушена. Домой приходили только ночевать, и то усталые, измученные, молчаливые и часто мрачные от непосильной работы. Я тоже хотела испытать эту работу, а главное, одиночество моей домашней жизни тяготило меня, и я только раз вышла на покос. Но видно нам обоим с Львом Николаевичем было дано от Бога предостережение: не искушай Господа Бога твоего. Не тот труд указан нам был Богом, – и вот мы оба заболели. Сначала слегла я и проболела недель пять,

потом вы знаете все, что было с Львом Николаевичем. В болезнь его опять пришлось часто горько: то не хочет одного доктора, то не хочет другого, то одни глупости, то вред будто ему делают. И так пробилась около 10 недель. Под конец Лев Николаевич стал кроток, покорен и благоразумен. Теперь он и мясо ест и принял опять свой барский вид, спокойный, чистый; иногда музыкой занимается, иногда детьми; сидит и говорит с нами, семьей, охотнее, и я в нем нахожу все чаще и чаще того Льва Николаевича, за которого я шла замуж и которого так долго любила. Но долго ли, вот вопрос. Опять начнется возка навоза, работа непосильная в поле, и опять он уйдет от нас».

Спустя 10 дней она отмечает в дневнике: «Все в доме, особенно Лев Николаевич, а за ним, как стадо баранов, все дети, навязывают мне роль *бича.* Свалив всю тяжесть и ответственность детей, хозяйства, всех денежных дел, воспитанья, всего хозяйства и всего материального, пользуясь всем этим больше, чем я сама, одетые в добродетель, приходят ко мне с казенным, холодным, уже вперед взятым на себя видом, просить лошадь для мужика, денег, муки и т. п. Я не занимаюсь хозяйством сельским, – у меня не хватает ни времени, ни уменья, – я не могу распоряжаться, не зная, нужны ли лошади в хозяйстве в данный момент, и эти казенные спросы с незнанием положения дел меня смущают и сердят. Как я хотела и хочу часто бросить все, уйти из жизни так или иначе. Боже мой, как я устала жить, бороться и страдать. Как велика бессознательная злоба самых близких людей и как велик эгоизм! Зачем я все-таки делаю все? Я не знаю; думаю, что так надо. То, чего хочет (на словах) муж, того я исполнить не могу, не выйдя прежде сама из тех семейных, деловых и сердечных оков, в которых нахожусь. И вот уйти, уйти, так или иначе, из дому или из жизни, уйти от этой жестокости, непосильных требований – это одно, что день и ночь у меня на уме. Я стала любить темноту. Как темно, я вдруг веселею; я вызываю воображением все то, что в жизни любила, и окружаю себя этими призраками. Вчера вечером я застала себя говорящей вслух. Я испугалась, не схожу ли я с ума? И вот эта темнота теперь мне мила, а ведь это смерть, стало быть, мне мила?»

Работы по деревне были для всех только здоровым развлечением. Уставая, они скоро отходили от дела, и лишь одна младшая дочь Толстых, шестнадцатилетняя Мария Львовна, разделяла интересы отца, пыталась жить по его идеалам.

Она «была худенькая, довольно высокая и гибкая блондинка, фигурой напоминавшая мою мать, – сообщает И. Л. Толстой, – а по лицу, скорее похожая на отца, с теми же ясно очерченными скулами и с светло-голубыми глубоко сидящими глазами. Тихая и

скромная по природе, она всегда производила впечатление как будто немножко загнанной. Она сердцем почувствовала одиночество отца, и она первая из всех нас отшатнулась от общества своих сверстников и незаметно, но твердо и определенно перешла на его сторону. Вечная заступница за всех обиженных и несчастных, Маша всей душой ушла в интересы деревенских бедняков и, где могла, помогала своими слабыми физическими силенками, и, главное, – своим большим отзывчивым сердцем».

На тему о дружбе, о любви между Львом Николаевичем и Марией Львовной можно многое рассказать, но мы ограничимся лишь двумя цитатами из документов того времени.

Касаясь в письмах своей семейной жизни, Лев Николаевич противопоставляет дочь Машу всем остальным детям; она его отдохновение, единственная надежда. – «Я живу хорошо: очень много больше всех годов работаю в поле с девочками, особенно с Машей, которая самая большая моя радость». «Живу я хорошо. Из детей моих близка мне по духу одна Маша. А те, бедные, только тяготятся тем, что я торчу перед ними, напоминая им о том, чего требует от них и совесть».

Но Софья Андреевна совсем иначе воспринимает необычные наклонности дочери. Она с негодованием и даже брезгливостью относится к ним. Для Льва Николаевича Мария Львовна – самая близкая из детей, для Софьи Андреевны – последняя из всех.

«У нас сегодня… неприятно, – сообщает она сестре. – Вхожу утром в столовую кофе пить, вижу стоит Левочка, стакан чаю в руках и кричит на Таню. Я спросила, что такое; оказывается, что Илья и Машка напели отцу, что вечер – скука, что они против, что неизвестно для кого я делаю вечер и т. д. Таня в это время приехала и сказала, как она всегда искренна, что ей это очень весело и что она не понимает, как девочке 16 лет может быть скучно танцевать. Тогда Левочка что-то в этом нашел (против шерстки погладили) и начал кричать на Таню, что она лжет и проч. Почему *лжет,* он так и не мог отказать. Я вступилась за Таню, и вышла *история.* Вечер я расстроила, сказала всем, а эту пейзанскую [!] Машку я еще теперь больше приберу к рукам… Конечно, я очень сердита и начну ездить эти дни в театры, цирки и проч. А Машка будет сидеть дома и ничего завтра не получит, даже не поздравлю ее».

«Маша все так же скрытна, неуловима и бледна. Не ест мяса и очень этим меня сердит».

«Все мои несчастные дети спутаны нравственно совершенно; теперь кризис, и они колеблются, куда и как идти. Прежде они были под гнетом упреков и проповедей отца, теперь он очень

весел, добр, живет по-прежнему и ничего не проповедует. Дети, старшие, конечно, предоставлены сами себе и вот ищут пути… Сегодня был разговор со старшими и потом с Машей и Верой Шидловской. Я внушала вместе с Верой своей Маше, что в тысячу раз лучше быть последовательной, цельной и танцевать в своем кругу и молиться в *своей* церкви, чем галдеть песни с *пейзанками,* перенимать их грубые нравы и жить совсем без веры. В конце концов все-таки, замужем или девушкой, придется жить всю жизнь в своей среде, и все вышедшие из нее всегда несчастливы, без исключения. Маша ничего на это не могла сказать, и я надеюсь, потихоньку, но я ее образумлю».

Спустя год: «Прошлогодней одичалости никакой у нас нет… Живем очень дружной, естественной и чисто *барской* жизнью. На деревню ходят очень редко и то по делу. В доме с деревни никого не бывает, ничто не проповедуется».

Семейные группировки теперь резко обозначены. С одной стороны, Лев Николаевич и Мария Львовна, с другой – Софья Андреевна с остальными детьми. Одна лишь младшая дочь отошла от заботливо охраняемой матерью нормы, и за это мать отвергает ее, отец же видит в ней единственное утешение. Другие дети не уклонялись от шаблона, и Лев Николаевич, теряя надежду на перемену, все больше и больше отходит от них, порою просто тяготится ими. Наоборот, Софья Андреевна все силы, все внимание уделяет интересам детей, осуществляющим ее идеалы, ревниво их оберегая от влияния отца. На этой почве происходят постоянные недоразумения и взаимные обвинения. Та и другая сторона не могут понять друг друга.

Характерен один разговор Льва Николаевича со старшим сыном. Софья Андреевна много раз вспоминала его.

«Никогда не забывала я, – пишет Софья Андреевна, – как раз старший сын, Сережа, с которым Лев Николаевич много занимался в детстве, окончив университет, желая работать, т. е. служить где-нибудь, и не желая огорчить отца занятиями, противными его убеждениям, спросил Льва Николаевича, дрожащим от волнения голосом, куда советует отец ему поступить и какое взять дело?

Лев Николаевич нахмурился и недобрым, поспешным голосом ответил ему: «Да возьми первое попавшееся тебе под руку дело и работай».

– Да что же, например? – спросил Сережа, кандидат естественных наук, говорящий на иностранных языках, игравший прекрасно на фортепьяно, близорукий, умный и скромный.

– Возьми метлу и мети улицы, – ответил отец».

В этом разговоре, несмотря на тенденциозность его

изложения, точно передано отношение Толстого к школьному образованию, в частности, к образованию собственных детей. Отрицательное отношение к науке привилегированного класса, которая дает лишь выгоды и служит меньшинству, вытекает из всей его философии, а раздраженный тон будет вполне понятен, если ясно представить себе душевное состояние Льва Николаевича при виде собственного сына, разделяющего настроения представителей этой науки [251] .

Софья Андреевна не может простить мужу решительного отхода от обычных интересов, его протеста против шаблона, на который вступают подрастающие дети. Она рассматривает действия мужа под своим углом и с этой точки зрения обвиняет его. «Да простит мне Бог и люди за то недоброе, но чисто материнское осуждение моего мужа, как отца детей, – добавляет Софья Андреевна к этому рассказу, – но я не могу не осуждать его, я слишком много перестрадала и слишком тяжелые последствия видела потом в жизни особенно последних детей, только от того, что у них не было отца».

Различия взглядов членов семьи Толстых сказывались везде, проявлялись они и в домашнем развлечении, в «Почтовом ящике».

«Он зародился очень давно, – сообщает И. Л. Толстой, – когда я был еще совсем маленький и только что научился писать, и существовал с перерывами до середины восьмидесятых годов. Висел он на площадке, над лестницей, рядом с большими часами, и в него каждый опускал свои произведения: стихи, статьи и рассказы, написанные в течение недели на злобы дня.

По воскресеньям все собирались в зале у круглого стола, ящик торжественно отпирался, и кто-нибудь из старших, часто даже сам папа, читал его вслух.

Все статьи были без подписей, и был уговор не подсматривать почерков, – но, несмотря на это, мы всегда почти без промаха угадывали авторов или по слогу, или по его смущению, или, наоборот, по натянуто-равнодушному выражению его лица».

Лев Николаевич сочувственно относился к такой забаве, считая, что это «не совсем пусто. Камень долбит». Софья Андреевна пользовалась шутливой формой для полемики с мужем.

Чтобы дополнить картину семейных отношений, приводим несколько статей из «Почтового ящика». Некоторые из них опубликованы в «Воспоминаниях» И. Л. Толстого, другие приводятся нами впервые. Публикуются они в сокращенном виде, в части, касающейся Льва Николаевича и Софьи Андреевны.

СКОРБНЫЙ ЛИСТ ДУШЕВНО-БОЛЬНЫХ
ЯСНОПОЛЯНСКОГО ГОСПИТАЛЯ

№ 1. Сангвистического свойства. Принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами «Weltverbesse-rurigswahn» [252] . Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словами. Признаки общие: недовольство всем существующим порядком, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость, без обращения внимания на слушателей; частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные: занятия несвойственными и ненужными работами, – чищенье, шитье сапог, кошенье травы и т. п. Лечение: полное равнодушие всех окружающих к его речам, занятия такого рода, которые бы поглощали силы больного.

№ 2. Находится в отделении смирных, но временами должна быть отделяема. Больная одержима манией: Petulanta toropigis maxima [253] .

Пункт помешательства в том, что больной кажется, что все от нее всего требуют, и она никак не может поспеть все сделать. Признаки: разрешение задач, которые не заданы. Отвечание на вопросы прежде, чем они поставлены; оправдание себя в обвинениях, которые не деланы, и удовлетворение потребностей, которые не заявлены.

* * *

Две Толстые – Таня, Маша
Хотят экзамены держать,
Им сочувствует мамаша,
А папаша гонит жать.

ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Лев Николаевич жив тем, что будто бы нашел разгадку жизни.

Софья Андреевна жива тем, что она жена знаменитого человека и что существуют такие мелочи, как, например, земляника, на которые можно тратить свою энергию.

ЧЕМ ЛЮДИ МЕРТВЫ В ЯСНОЙ

Лев Николаевич мертв, когда едут в Москву и когда в Москве, выходя гулять, получает разные грустные впечатления.

Софья Андреевна мертва, когда малышечки больны и когда Илья в бабки играет.

КОГДА ЯСЕНСКИЕ ЖИТЕЛИ ЧУВСТВУЮТ В ДУШЕ АД

Лев Николаевич, когда вокруг него роскошь, злословие; когда

заставляют на себя работать с уверенностью, что все так и должно быть.

Софья Андреевна, когда вульгарны, когда дети больны и когда ей самой надо решить важный вопрос или шаг в жизни.

АЛЛЕГОРИЯ

В земле нам чуждой и далекой,
Вдали от света и тревог
Жил старец мудрости высокой,
Он был суров, но тих и строг.
С ним рядом в том селенье
Жил юный, кроткий идеалист,
Любил он труд и отреченье,
Но был душой он добр и чист;
Забыв о доме и семье,
Пришел он жить в чужой земле.
На них молясь, жила тут дева,
С зари за труд она бралась,
Искала, где б найти ей дела,
И посему с утра неслась.
Порой возили все навоз,
Пололи, шили и рубили,
Справляли крыши, сенокос,
Тесали, мучились, возили.
С зарей кончались лишь дела,
И трудолюбцы собирались,
И тут взаимная хвала
И разговор не истощались.
«Вы – гений, мудрый, дорогой,
Вы в мире чудное явленье.
Ах, жизни чистой я такой
И не встречал, на удивленье».
«Да, мы одной все веры,
Ведь тунеядец – тот же вор,
Народ и труд – вот наша сфера,
А им позор и приговор».
Скажите ж нам вы, мудрецы,
Куда ж девались ваши семьи?
Вы, новых принципов творцы.
Вы, проповедники и геньи?
Иль нет жены, ребят,
Сестер, или матери, отца?
И от Создателя Творца
На нас возложенных забот?

И тех обязанностей строгих,
В добре и правде нам растить
Семью, детей; родных убогих
Кормить, покоить и любить?
Но долг исполненный молчит.
Он скрыт, не виден, скучен.
Никто хвалы не прокричит,
Ни лести – он беззвучен.
А мир без ваших слабых рук
Стоять все будет так же твердо,
Хоть лишний, жалкий ваш досуг
Ему бросаете так гордо!

VI

В 1888 году, 31 марта, родился у Толстых последний ребенок, сын Иван. Софье Андреевне было 44 года. Льву Николаевичу 60 лет.

Роды были очень трудные. «Два часа эти я неистово кричала почти бессознательно, – сообщает Софья Андреевна сестре. – Никогда я так не безумела от страданий. Левочка и няня рыдали оба – они только и были при мне, но потом все пошло отлично, и я уже теперь поправилась. Родился мальчик без четверти девять. Левочка взял его на руки и поцеловал; чудо, еще не виданное доселе! – и рад, что мальчик, и относится к нему как-то особенно ревниво и заботливо. На кого он похож, не пойму. Большой, глаза мутные, волоса темноватые; мне кажется, точно это все один и тот же baby, продолжение прежних, а не новое лицо».

Лев Николаевич недолго оставался с женой. Через две с половиной недели, несмотря на протесты и огорчения Софьи Андреевны, он «с котомкой на плечах ушел в Ясную пешком, с Количкой Ге». Он «опять закусил удила: не ест мяса, не курит два месяца, не пьет вина, все дремлет и очень постарел». В Ясной Толстой занимается сельским хозяйством: пашет, сеет и живет в кругу своих единомышленников – «темных». Их опрощение вызывает в Софье Андреевне, даже издалека, гнев и раздражение. Она открыто называет это «безобразием» и утверждает, что «никогда Левочка не был так крайне упрям и упорен в своих безумствах, как нынешний год. Только смотришь, и душа болит».

Лев Николаевич уединился в деревне, а Софья Андреевна с детьми осталась в городе. Ее кормление протекает с невероятными физическими мучениями. «Одна грудь до того разболелась, – пишет она мужу, – что после всякого кормления я вся в поту, и чуть ли не истерика готова сделаться, и невозможно от слез удержаться. Какие адские боли! И как все в мире устроено ненатурально. Таня случайно увидала, каково мне кормить, и с каким-то ожесточением стала твердить: «Надо взять кормилицу». Но я еще не думаю о кормилице, а молю Бога о терпении. Молока мало; у ребенка такие худенькие ножки, и сам он весь – и личико и все тельце худенькое, и мне уж его жалко! На этот раз стало жаль раньше 6 недель, бывало после. Это уж старческая слабость и нежность к маленькому и беспомощному».

Лев Николаевич сочувствует жене, но отвечает ей сдержанно.

«Не скучай, голубушка, об Иване и не тревожь себя мыслями. Дал Бог ребеночка, даст ему и пищу… Насчет меня же ты, нимало не стесняясь, напиши, что тебе с Иваном веселее, лучше будет,

если я приеду, то мне будет очень радостно и здорово приехать, и дело найдется. Так и сделай. Мне так хорошо, легко и просто и любовно с тобой, так и тебе, надеюсь».

«Ты все грустишь, голубушка. Это мне очень грустно, потому что я вижу, как тебе тяжело, и, как ты не можешь иначе с кормлением и беспокойством о нем, и как бы желал помочь тебе, и не знаю как».

«Враг я медицинских усовершенствований, но для тебя, при твоем беспокойном характере, советовал бы свесить Ивана, и весить с тем, чтобы верно знать, хорошо ли твое кормление или нет. Мне по всему кажется, что твое молоко хорошо и достаточно, и что с помощью прикорма ты выкормишь лучше всего, но что тебе мешает беспокойство, и, вероятно, неосновательное».

«Решить вопрос о том, до какой степени ты можешь и должна терпеть, можешь только ты. Надо надеяться, как и в те разы, это будет продолжаться не очень долго и может зажить при помощи от кормилицы. Но все решишь ты, и советовать нельзя. Мой совет один: не отчаиваться и во всем, и в этих страданиях, находить хорошее и нужное».

Переписка между мужем и женой в эти дни не похожа на переписку любящих родителей, имеющих четырехнедельного ребенка. Софья Андреевна как-то робко сообщает мужу о неудачах с кормлением, о своих тревогах по поводу недостатка молока, о кормилице; Лев Николаевич также осторожно касается этих вопросов, успокаивает жену, готов идти на уступки и воспользоваться «медицинскими усовершенствованиями». Но нет непосредственной близости, нет больше той общей радости, общих тревог, которые они испытывали при появлении первых детей. Слишком много пережито за последние годы, и ничто уже не в силах объединить. Каждый по-прежнему остается в кругу своих интересов, Лев Николаевич находит возможным быть вдалеке от семьи, и рождение ребенка, на этот раз как будто желанного и для матери и для отца, представляется чем-то ненужным и даже лишним.

Но Софья Андреевна не может простить мужу своего душевного одиночества и его ухода от семьи к чужим людям. В минуту усталости она упрекает его. «Пожалуйста, когда я извещу о приезде, – пишет она Льву Николаевичу, перед отъездом на лето в Ясную, – пришлите нам то, что я прошу, а именно: карету – лошади наемные, коляску и подводу парой – лошади свои. Знаю, как ты на все просьбы эти смотришь недоброжелательно, но я уж так избаловалась, а, главное, мои нервы от старости так расстроены, что мне не до *идей.* Предоставляю их разным шалым и праздным людям, а мне некогда… Как подумаю о Ясной

Поляне, о разгроме, произведенном разными посетителями и жителями, и о грязи, внесенной всеми ими, то и ехать не хочется. Не скоро приведешь все это хоть в возможный вид».

В этом году кончается восьмилетний период семейной жизни, прошедшей почти в беспрерывной борьбе. Борьбу породили два крайних, несогласимых мировоззрения: стремление к евангельским идеалам, отрешение от личного блага ради общего и непоколебимое желание сохранить сословные преимущества, свое частное добро, поднять благосостояние семьи. Мечта о служении миру вместе с семьей, и, в противоположность тому, – требование подчинения всех интересов интересам семьи [254] . Муж стремился к новому, для него неоспоримо прекрасному, осуждая прошедшее. Жена защищала старое, испытанное счастье, проклиная все вновь появившееся, разрушающее семью. Попытки Льва Николаевича изменить взгляды и образ жизни Софьи Андреевны были безрезультатны. Она не могла понять его состояния, а ссылки на Евангелие вызывали в ней недоумение [255] . Он терял самообладание, преследовал жену упреками, она отвечала ему тем же, доказывая свою правоту. Резко неприязненное отношение Льва Николаевича к Софье Андреевне, проявлявшееся в первые годы размолвок, сменилось пассивным миролюбивым сопротивлением, желанием действовать *«любовно, дружелюбно»,* в надежде на воздействие через добро [256] . Хотя это и привело к внешнему успокоению, но расхождения были очень серьезны, и внутренне отношения мало изменились к лучшему.

До этого времени причины семейного разлада, во всех его стадиях, были одни – несогласие во взглядах на жизнь, конфликт между мужем с повышенной духовностью и нормальной женой-матерью, столкновение принципов индивидуального и родового. Если бы взгляды чудом сошлись, то все другие расхождения, даже недоразумения в вопросе о беременности, вероятно, играли бы второстепенную роль, и все пошло бы иначе. Главное: ценность, законность брачной жизни оставалась неизменной. Брак, как его с давних пор понимал Лев Николаевич, брак, как деторождение, не только не был осужден религиозной философией Толстого, наоборот, она придала ему метафизическое обоснование.

«Деторождение в браке не есть блуд… Законна пища для тела такая, при которой человек может служить другим людям, и законно плотское общение такое, при котором продолжается род человеческий… Это не грех, а воля Божия… Недаром Христос хвалил детей, говорил, что их царство небесное, что то, что скрыто от мудрых, открыто им. Мы и сами это знаем: не было бы детей, не рожались бы вновь дети, не было бы и надежды на

царство Божие на земле. Только на них вся надежда. Мы уже изгажены, и трудно нам очиститься, а вот с каждым поколением в каждой семье новые невинные чистые души, которые могут остаться такими. Мутна и грязна река, да ключей много чистых вливаются в нее, и есть надежда, что вода очистится».

«Все зло раздора из-за половых отношений уничтожается тем, что нет мужчин и женщин одиноких, лишенных брачной жизни… Не могу поощрять безбрачное житье людей зрелых для брака» [257] .

«Отчего вы не женитесь? – спрашивает Толстой В. Г. Черткова. – Скажите мне просто, прямо. Нельзя вам жить противно закону природы – Бога. Это испытывать Бога. Этого нельзя. Одно упустишь, все погубишь». «Вы на слова, не мои, но священного писания и Христа: «не искушай Бога», говорите: «А я хочу искушать Бога». Это нехорошо… Человек все может: может и застрелиться, но никак не может безнаказанно отступить от закона, т. е. наверное он сделает себе хуже и не достигнет того, чего желает». «Эка, как твердо установил Бог нравственный, т. е. как жить закон для человека: ни направо, ни налево, а иди прямо по узкой дорожке, а то дурно. И ни на чем это так не ясно (мне – теперь), как на половых сношениях. Сделай себе из этого потеху с разными женщинами, как те господа в Лондоне, да и везде, и скверно другим, и им еще хуже. Сделай себе потеху даже с женой, – и ей и себе скверно. Оскопись, как Ориген, – скверно. Мучься всю жизнь воздержанием и похотливостью, – скверно. Только и хорошо на узкой дорожке – есть то, что сработал (тогда жирного лишнего не съешь), и, наработавшись, лечь спать с работающей и рожающей и кормящей женой. Тогда только будет и всем другим и тебе хорошо. Вне же этого все скверно и все страдания».

Взгляд этот сохранился до конца 1888 года. Но приблизительно с ноября месяца [258] Лев Николаевич стал много думать о брачной жизни и следующие два-три года посвятил вопросам пола. Он пишет «Крейцерову сонату», «Дьявола», начинает «Отца Сергия» и «Воскресение».

Отношение его к браку резко изменилось. Теперь Толстой утверждает: брак не есть одна из форм служения Богу, брак всегда есть падение, удаление от Бога. В основе половой любви лежит чувственность, и слепой инстинкт, унижая человека, не оправдывается даже необходимостью продолжения рода. Еще в годы юности Толстой осуждал всякое проявление чувственности, усматривая в возвышенной любви к женщине надежное убежище от нее. В период женатой жизни перед ним не вставало вопроса об унизительности половых отношений в нормальной семье. А

теперь одна только мысль о физической стороне любви приводит его в ужас, и Толстой провозглашает целомудрие, призывает к упорной борьбе за него [259] . Он не уговаривает больше вступать в брак, холостому советует держаться до конца, женатому – добиваться целомудрия вместе с женой. Нет облагораживающей любви, есть лишь «половая похоть».

«Ведь что главное погано… Предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышенно» [260] . «Духовное сродство! Единство идеалов!.. Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе».

«Вступление в брак не может содействовать служению Богу и людям даже в том случае, если бы вступающие в брак имели целью продолжение рода человеческого… Идеал христианина есть любовь к Богу и ближнему, есть отречение от себя для служения Богу и ближнему. Плотская же любовь, брак, есть служение себе и потому есть во всяком случае препятствие служению Богу и людям, и потому с христианской точки зрения – падение, грех» [261] .

«Не думайте, что состояние ваше вызвано разлукой с женой, холостой жизнью, хотя это и могло иметь влияние, – пишет Толстой В. И. Алексееву, который разошелся с женой и тяготился одиночеством. – Главная причина, по моим наблюдениям и опыту, – возраст, зенит физической силы и даже склон к уменьшению, – самое напряженное половое время. Надо знать это, знать, что переживаешь тяжелое время, кризис, и напрячь все силы духовные на эту борьбу, вперед веря в победу, а не готовясь покориться – жениться. Это нехорошо, неразумный грех… Страсть эта никогда не кончается и потому жениться, т. е. потакать этой страсти, не есть средство исцелиться от нее. Благодарите Бога, что вы свободны, и несите крест, как носите крест на каждый день… Старался я думать с Богом всеми силами души и думал не для разговора, а для того, чтобы жить по тому, что мне уяснится. И уяснилось мне то, что сказано Коринф. I, VII. – Если холост или вдов, то оставайся таким и всеми силами старайся остаться так, надеясь на то, что Бог тебе поможет остаться чистым. А пал, то неси все то, что вытекает из твоего падения… С кем бы не пал – женись и все, что следует из женитьбы. Если же хотел жениться, то это хуже, чем падение. Это отступление от идеала (образца),

указанного Христом, принижение его. И последствия такого отступления ужасны. Я это знаю по себе». «Если цель человечества – благо, добро, любовь, как хотите, если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединяются воедино любовью, что раскуют копья на серпы и т. д., то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная, злая и упорная – половая, плотская любовь, и потому, если уничтожатся страсти, и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить» [262] .

«По церковному верованию должен наступить конец света; по науке точно так же должны кончиться и жизнь человека на земле и сама земля. Что же так возмущает людей, что нравственная добрая жизнь тоже приведет к концу род человеческий?» [263]

Обширные цитаты со всей убедительностью показывают, какая решительная перемена произошла во взглядах Толстого на брак. За последние годы всякое открытие было не только разрешением теоретического вопроса, но и призывом к действию, и эта перемена не могла не отразиться на семейной жизни. Если прежде Толстого удручало коренное отличие жизненных путей жены от его взглядов на жизнь, то теперь к этому прибавилось осуждение Львом Николаевичем самой сущности брака, стремление преодолеть его. Если прежде причиной тяжелой, «греховной» жизни было часто «отсутствие любимой и любящей жены», то теперь самый факт брачной жизни резко удалял от идеала. Встал на очередь вопрос о прекращении супружеских отношений. Хотя это как будто и совпадало с естественным настроением шестидесятилетнего старика, но в действительности намерение осуществлялось с большим трудом, и каждое уклонение снова, как в юности, Толстой отмечает в дневнике. Порою в борьбе этой Лев Николаевич доходит до мрачного отчаяния, и оно распространяется на все окружающее.

«3-го дня… дьявол напал на меня, напал на меня прежде всего в виде самолюбивого задора, желания того, чтобы все сейчас разделяли мои взгляды… На другой день, утром 30-го, спал *дурно*. Так мерзко было, как после преступления. И в тот же день, 30-го, еще сильнее завладев мною, напал: я стал утром вчера с злостью, с ядовитостью, не то, что спорить, я стал язвить ненавистно Новикова [264] , так ненавистно, что потом, попытавшись тщетно писать, написав 11/2. страницы, почувствовал, что нельзя так оставаться, и пошел к нему просить прощенья. Он сделал вид, что и не думает сердиться, и мне стало еще стыднее и мерзее на себя. Нынче еще злейший приступ

дьявола. Я встал поздно и пошел к Павлу [265] о колодке. Еще вчера меня злило то, что Фомич [266] подделался к приказчику и забрал ненужное огромное количество дров. Везде рубит акацию. Нынче вижу, и в саду вырубили все дотла, изуродовали сад, и Павел просит у меня, говоря, что Фомич набрал больше 50 возов. Ну что мне. Но дьявол сумел сделать, что сердце сжалось от злости. Постыдно то, что теперь оно сжимается, и я должен бороться. *Не понимаю, что и чем я дал на себя такую власть злу. Должно быть, тем грехом…* Вижу, разумом вижу, что это так, что нет другой жизни, кроме любви, но не могу вызвать ее в себе. Не могу ее вызвать, но зато ненависть, нелюбовь могу вырывать из сердца, даже не вырывать, а сметать от сердца по мере того, как она налетает на него и хочет загрязнить его. Хорошо пока хоть и это. Помоги мне, Господи».

«Лучше перед Богом жить, чем перед людьми. Он умнее, все поймет, добрее, простит. Только что надуть нельзя: зато исправиться можно. Думал это по случаю возможной беременности жены».

«Что как родится еще ребенок? Как будет стыдно, особенно перед детьми. Они сочтут, когда было, и прочтут, что я пишу [267] . И стало стыдно, грустно. И подумал: не перед людьми надо бояться, а перед Богом. Спросил себя: как я в этом отношении стою перед Богом, и сейчас стало спокойнее».

Новое отношение мужа к стержню, создающему семью, глубоко оскорбило Софью Андреевну.

За два года до появления повести она записала свое настроение, порожденное той же бетховенской сонатой. И это настроение было основным на протяжении всей ее жизни.

«Сережа играет сонату Бетховена Крейцеровскую со скрипкой… Что за сила и выражение *всех* на свете чувств! На столе у меня розы и резеда, сейчас мы будем обедать чудесный обед, погода мягкая, теплая, после грозы, кругом дети милые. Сейчас Андрюша старательно обивал свои стулья в детскую, потом придет ласковый и любимый Левочка – и вот моя жизнь, в которой я наслаждаюсь сознательно и за которую благодарю Бога. Во всем этом я нашла *благо и счастье.* И вот я переписываю статью Левочки «О жизни и смерти», и он указывает совсем на иное благо. Когда я была молода, очень молода, еще до замужества, я помню, что я стремилась всей душой к *тому* благу – самоотречения полнейшего и жизни для других – стремилась даже к аскетизму. Но судьба мне послала семью, я жила для нее, и вдруг теперь я должна признаться, что это было что-то не то, что это не была *жизнь.* Додумаюсь ли я когда до этого?»

Софья Андреевна до этого не додумалась никогда. Но ей

предстояло столкнуться с другим, еще более страшным вопросом. «Крейцерова соната», отвергнув святость супружеской любви, разрушила кумира, которому поклонялась Софья Андреевна, и свела переживания, заполнявшие ее душу, до уровня презренных ощущений. Как ни трагично складывались порою отношения, как ни серьезны были принципиальные расхождения в области религиозной, практической и личной, ни разу не было разногласия в этом вопросе. Взгляд на семью, как обязательную форму человеческой жизни, не оспаривался. И вдруг, без всяких внешних поводов, все было опрокинуто. Случилось это на 27-м году совместной жизни, и приговор был так решителен, что Софья Андреевна, перенеся теоретические положения на личный опыт, невольно пришла к убеждению, что их отношения за долгие годы таили в себе жестокую ложь.

Предприняв переписку дневника мужа, перечитав его, Софья Андреевна, как перед свадьбой, еще раз испытала ужас от интимных подробностей холостой жизни Льва Николаевича, и эти факты, давно забытые, теперь получили для нее особый смысл. Они напомнили об отношении Толстого к женщине, о борьбе с соблазном и проклятиях искушению. В молодости Толстой осуждал примитивное вожделение, в старости он осудил все виды сексуальных отношений. Отсюда для Софьи Андреевны неизбежен вывод, что у Льва Николаевича было всегда лишь то чувство, которое он с юных лет привык отвергать.

Отношения осложнились с новой стороны и таким образом, что на карту были поставлены все прошлое и будущее.

Затаенные боли сердца прорвались. Софья Андреевна нашла новое уязвимое место для обвинений Льва Николаевича, и ей самой представилось, что жизнь ее загублена понапрасну. Теперь она не только может упрекать мужа за отход от прежнего, больше того: оказалась под сомнением самая сущность прошлого. До этого времени расхождения не касались основы отношений мужчины и женщины, и такой конфликт мог иметь место не только между мужем и женой, но также и между другими, тесно связанными друг с другом людьми. Теперь же затронута основа супружеской связи, и семейная драма переходит в трагедию.

Надо считать, что именно с этого времени в Софье Андреевне начала сильно развиваться истерия, предрасположение к которой у нее было всегда и признаки которой были заметны уже в первые годы несогласий. Отношение к половой жизни обострилось, сделалось болезненным, оценки ее потеряли объективность. Отрицательные стороны характера стали выпуклее, положительные – бледнее. Сложные требования жизни, разнообразие интересов временно отвлекали Софью Андреевну от

этого вопроса, но глубоко таилась обида, нервное возбуждение нарастало и при каждом удобном случае прорывалось, поднимая болезнь на новую ступень.

В «Крейцеровой сонате» Софья Андреевна не могла не усмотреть намеков на их личную жизнь, и она ответила на эту повесть своим художественным произведением («Чья вина?»), «с аналогичным построением, с аналогичной развязкой, но написанным с точки зрения женщины, жены, – в защиту ее и в обвинение мужа».

«Главное действующее лицо – кн. Прозоровский. Он женился после бурно проведенной молодости, когда ему было 35 лет, на восемнадцатилетней Анне, в описании которой графиня не пожалела красок. Анна – идеальная барышня: чиста, игрива, благородна, религиозна и т. д. Кн. Прозоровский, напротив, грубое, чувственное животное. Идя по дорожке сзади своей невесты, он жадно смотрит на ее бедра и мысленно ее раздевает. После венчания молодые ехали в карете, и здесь в темноте, это животное, кн. Прозоровский, от которого пахло табаком, свершил то, о чем невинная Анна раньше не знала и что ей показалось отвратительным. Чувственная любовь мужа совсем не удовлетворяла Анну. Тут явился чахоточный дилетант-художник, который поверг к ногам Анны свою бескорыстную любовь. Ревнивое животное – муж, в гневном раздражении неосторожно убил свою чистую и невинную жену» [268] .

«В один из моих приездов в Ясную Поляну, – рассказывает Л. Я. Гуревич, – Софья Андреевна сама прочла мне эту повесть, сопровождая чтение обширными автобиографическими комментариями».

«Вот!.. Вы узнаете в этом Льва Николаевича?… Ведь между нами была огромная разница лет, когда мы женились. Я была очень молода, невинна… Разве поживший мужчина может понять душу чистой, нетронутой женщины!.. А это – NN. Тут тоже есть отступление от действительности, как и в «Крейцеровой сонате», но я не извращаю правды. Его ревность была бессмысленна, оскорбительна… А это – Фет, моя дружба с ним. Он любил меня… до конца жизни. В последний раз, когда он был здесь, Лев Николаевич отвез его на Ясенки и потом рассказывал мне… Это было уже под вечер; поезд уже подходил; Фет, на платформе, повернулся лицом в сторону Ясной Поляны и проговорил вслух: «В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать…» – все стихотворение – зарыдал… С моей стороны это была чистая, возвышенная дружба, – между нами было так много общего. Характер этих отношений я и передала здесь вполне правдиво. Но разве ревнивый мужчина способен понять такие отношения! Он

беспокоился, оскорблял мое чувство…

Но вы, конечно, не решились бы напечатать этого в «Северном Вестнике»? Как можно! Рядом со статьями Толстого, великого человека, вдруг произведение никому неизвестного автора – я напечатала бы это, конечно, под псевдонимом – и, главное, на тему «Крейцерова соната», в ответ ей!.. Ну, нет, нет! Я шучу. Эта повесть дождется своего времени: после моей смерти. Пока полежит в Румянцевском музее».

Приводим другой разговор Софьи Андреевны, также непосредственно относящийся к нашей теме.

В одно из посещений Толстых В. И. Алексеев не застал Льва Николаевича дома; его приняла Софья Андреевна. Долго говорили и о том, как они живут в Москве, и о его намерении жениться. Софья Андреевна держала на руках маленького Ваню и, смеясь над Львом Николаевичем по поводу «Крейцеровой сонаты», сказала: «Хорошо Льву Николаевичу писать и советовать другим быть целомудренным, а сам-то что» – при этом с злорадной улыбкой кивнула в сторону ребенка».

Личные отношения между мужем и женой в первое время особенно напряжены. Многое говорится, многое не досказывается. Перед Львом Николаевичем открылась новая жизнь и сделались более чувствительными цепи, связывавшие его с женой. Перед Софьей Андреевной закрылось будущее, и омрачены воспоминания о счастливых днях. Нет виноватых, и бесконечно тяжело.

Из дневника Льва Николаевича: «Утром и вчера вечером много и ясно думал о «Крейцеровой сонате». Соня переписывает, ее волнует, и она вчера ночью говорит о разочаровании молодой женщины, о чувственности мужчин, сначала чуждой, о несочувствии к детям. Она несправедлива, потому что хочет оправдываться, а чтобы понять и сказать истину, надо каяться».

«Спал *дурно* накануне, и Соня, очевидно, в нервном возбуждении горячо и бестолково говорила с юношами. Они были милы, и она признала, что говорила лишнее».

«За обедом Соня говорила о том, как ей, глядя на подходящий поезд, хотелось броситься под него. И она очень жалка мне стала. Главное, я знаю, как я виноват. Хоть вспомнить мою похоть мерзкую после Саши. Да, надо помнить свои грехи».

«Соня огорчена опасением беременности. Вот где опыт перенесения дела на суд одного Бога… Соня в горе и упадке духа».

«Соня пришла с известием, что беременности нет. Я сказал, что надо спать врозь и что мне нехорошо. Что будет».

«С Соней говорили. Она говорит, что рада. Но не хочет

врозь».

Из дневника Софьи Андреевны: «Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно. Бывает так, что в этой безучастной жизни на меня находит бешеное отчаяние. Мне хочется убить себя, бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь, – все, только не жить с человеком, которого, несмотря ни на что, всю жизнь за что-то я любила, хотя теперь я вижу, как я его идеализировала, как я долго не хотела понять, что в нем была одна чувственность. А мне теперь открылись глаза, и я вижу, что моя жизнь убита. С какой я завистью смотрю даже на Нагорновых каких-нибудь, что они *вместе,* что есть что-то связывающее супругов, помимо связи физической. И многие так живут. А мы? Боже мой, что за тон, чуждый, брюзгливый, даже притворный! И это я-то, веселая, откровенная и так жаждущая ласкового общения! Завтра еду в Москву, по делам. Мне это всегда трудно и беспокойно, но на этот раз я рада. Как волны, подступают и опять отхлынивают эти тяжелые времена, когда я уясняю себе свое одиночество, и все плакать хочется; надо отрезать как-нибудь, чтоб было легче. Взяла привычку всякий вечер долго молиться, и это очень хорошо кончать так день…

Живу в деревне охотно, всегда радуюсь на тишину, природу и досуг. Только бы *кто-нибудь,* кто относился бы ко мне поучастливее! Проходят дни, недели, месяцы – мы слова друг другу не скажем. По старой памяти я разбегусь с своими интересами, мыслями – о детях, о книге, о чем-нибудь – и вижу удивленный, суровый отпор, как будто он хочет сказать: «А ты еще надеешься и лезешь ко мне с своими глупостями?».

Возможна ли еще эта жизнь вместе душой между нами? Или все убито? А, кажется, так бы и взошла по-прежнему к нему, перебрала бы его бумаги, дневники, все перечитала бы, обо всем пересудила бы, он бы мне помог жить; хотя бы только говорил не притворно, а вовсю, как прежде, и то бы хорошо. А теперь я, невинная, ничем его не оскорбившая в жизни, любящая его, боюсь его страшно, как преступница. Боюсь того отпора, который больнее всяких побоев и слов, молчаливого, безучастного, сурового и не любящего. Он не умел любить, и *не привык* смолоду».

Все переписываю дневник Левочки. Отчего я его никогда прежде не переписывала и не читала? Он давно у меня в комоде. Я думаю, что тот ужас, который я испытала, читая дневники Левочки, когда я была невестой, та резкая боль ревности, растерянности какой-то перед ужасом мужского разврата, никогда не зажила. Спаси Бог все молодые души от таких ран, –

они никогда не закроются». – «Какая видимая нить связывает старые дневники Левочки с его «Крейцеровой сонатой». А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь».

«Я перечитывала его письма ко мне. Было же время, когда он так сильно любил меня, когда для меня в нем был весь мир, в каждом ребенке я искала его же, сходство с ним. Неужели с его стороны это было только отношение физическое, которое, исчезнув с годами, оголило ту пустоту, которая осталась?»

«Страшно забеременеть, и стыд этот узнают все и будут повторять с злорадством выдуманную теперь в московском свете шутку: «Voila le veritable «Послесловие» de la Senate de Kreutzer» [269] .

VII

В 1890–1892 годах наиболее важными событиями были: отказ Л. Н. Толстого от своих литературных прав, семейный раздел и работа на голоде.

Приступая к описанию первого, постараемся рядом документов показать, какое душевное состояние было у Льва Николаевича в это время и каковы были последние причины, толкнувшие его на беспримерный в истории литературы шаг.

14 февраля 1890 года Софья Андреевна сообщает сестре: «Левочка все время весел и здоров, очень много гуляет, рубит дрова, ездит верхом и пишет», Лев Николаевич в марте – П. И. Бирюкову: «У нас дома мир и согласие все больше и больше».

А в июне и позднее он отмечает в дневнике: «Много и часто думаю эти дни, молясь о том, что думал сотни, тысячи раз, но иначе, именно: что мне хочется так-то именно, распространением его истины не словом, но делом, жертвой, примером жертвы служить Богу; и не выходит. Он не велит. Вместо этого я живу пришитый к юбкам жены, подчиняясь ей и ведя сам и со всеми детьми грязную, подлую жизнь, которую лживо оправдываю тем, что я не могу нарушить любви. Вместо жертвы, примера победительного, скверна подлая, фарисейская, отталкивающая от учения Христа жизнь. Но ты знаешь, что в моем сердце и чего я хочу. Если не суждено, не нужен я тебе на эту службу, а нужен на навоз, да будет по-твоему. Это скверный эгоизм. И нельзя отговариваться тем, что я хочу успеха дела, установления царства Бога, и оттого грущу. Грустить об этом нечего. И без меня сделается… Это все равно, что червяк озабочен тем, что ему нельзя точить дерево, потому что он скорбеет, что без него дерево не скоро сточится, и будет расстройство в порядке мира. Самому хочется? – Да. Но «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Дай мне жизни настоящей. И эта жизнь есть и дана, и просить нечего. Господи, отец. Люблю тебя, возьми меня. И благодарю тебя за то, что ты открыл себя мне. Не скрывайся от меня».

«Скучно. Тяжело. Праздность. Жир. Музыка. Тяжело, тяжело».

«Тяжело, скучно, праздность, жир, тщета разговоров. Точно жиром заплыли, засорены зубья колес и не цепляют. То не плуг колеса от недостатка мази, а то не идут от набитого в них сала. Писать для этих людей? Зачем?» «Страдаю от того, что окружен такими людьми с искривленными мозгами, такими самоуверенными, с такими готовыми теориями, что для них писать что-либо тщетно: их ничем не проберешь».

«Тоскую очень о несообразности жизни».

«Вчера, ехавши в Тулу, думал, и сам не знаю, грех ли, что думал, думал, что я несу тяжелую жизнь. Живу я в условиях, обстановке жизни чувственной, похоти, тщеславии, и не живу этой жизнью, тягощусь все этим; не ем, не пью, не роскошествую, не тщеславлюсь, – или хотя ненавижу все это, и эта ненужная, чуждая мне обстановка лишает меня того, что составляет смысл и красоту жизни: общение с нищими, обмен душевный с ними. Не знаю и не знаю, хорошо ли делаю, покоряясь этому, портя детей. Не могу, боюсь зла. Помоги, Отец».

«Эгоизм и распущенность жизни нашей, всех наших с гостями ужасают. Мне кажется, все идет, усиливаясь. Должен быть скоро конец».

Софья Андреевна после поездки в Москву пишет сестре:

«Еще я заехала к своей знакомой, Екатерине Петровне Ермоловой в именины и jour fixe [270] . Там вся Москва, и меня встретили с таким восторгом и шумом, точно царицу какую, все мои прежние светские знакомые. Мне это было ужасно приятно, не могу не признаться. Куда ни покажусь, везде открытые объятия, обедать зовут, спрашивают, переедем ли и когда».

Из дневника Льва Николаевича: «Вчера лег и не мог спать. Сердце сжималось, и, главное, мерзкая жалость к себе и злоба к ней. Удивительное состояние! При этом нервный подъем, ясность мысли. Я бы мог написать [с] этими условиями прекрасную вещь. Встал с постели в 2, пошел в залу ходить. Вошла она, и говорили до 5-го часа. То же, что бывало. Немного мягче с моей стороны кое-что высказал ей. Я думаю, что надо заявить правительству, что я не признаю собственности и прав, и предоставить им делать, как они хотят. Встал в 10. Гулял. Молился. Молитва становится чемто механическим: стараюсь прочесть все. А между тем жаль оставить ее… Все не могу перейти в простой, ласковый, любовный тон не только с нею, но и со всеми. Доказательство, что вина во мне. Последние слова мои вчера были: «не суди меня; а я себя сужу за то, что мало любовен; ищи того же в себе. Вероятно, что-нибудь запало ей из моих слов, что – не знаю, но запало».

Как видно, семья, дети – и младшие и взрослые – были одной из главных причин мрачного настроения Льва Николаевича. В эти месяцы он особенно болезненно относится к неприятным для него проявлениям окружающей барской жизни, и перед ним снова встает мучительный вопрос о том, что делать, как предотвратить духовную гибель семьи.

Развращающая праздность порождалась богатством, а источников этого несчастья было два: недвижимое имущество и огромный доход от продажи сочинений! Не желая вносить раздора, Лев Николаевич давно отошел от управления именьем, и

теперь оно делилось между детьми. Но Толстой никак не мог примириться с тем, что его произведения последнего периода, мысли, которыми он жил, делались предметом наживы и, предназначенные служить на благо людям, своей материальной ценностью увеличивали зло в семье и подрывали значение проповеди. У Льва. Николаевича назрела мысль о необходимости отречения от права литературной собственности.

Об этом он не один раз пишет в дневнике:

«Люблю детей; но я одинок уже». – «Воспитанье их ведется кем? – Женщиной без убеждений, слабой, доброй, но journaliere [271] , переменчивой и измученной взятыми на себя ненужными заботами. Она мучается, и они на моих глазах портятся, наживают страдания, жернова на шеи. Прав ли я, допуская это, не вступая в борьбу? Молюсь и вижу, что не могу иначе. Не моя воля, но Твоя. С одной стороны, порча детей, страдания напрасные, с другой – борьба, озлобление. Лучше пусть будет первое. Второе – наверно, первое – не наверно. Не для своей семьи я рожден и должен жить, а для Бога. А Бог ясно велел то, чтобы не нарушать хоть и любви, хоть согласия, хоть не заводить, не усиливать злобы. Да будет со мной воля Твоя. Пусть буду служить тебе не так, как мне хочется, чтобы служба моя видна была мне и радовала меня, а так, как ты хочешь, чтобы я и не знал как. А все хочется свободы, хотя и борюсь. Прости и помоги».

«Поразительно грустно было нынче то, что сказал Андрюша. Я сказал ему, что дурно пить кофе крепкий. Он с тем, знакомым мне презрением детей ко мне, отвернулся. Ге стал говорить ему, что это для его пользы. Он сказал, не о кофе, а обо всем: «Да разве можно делать все то, что говорит папа?» – Он сказал все, что думают дети. Ужасно жалко их. Я ослабляю для них то, что говорит их мать. Мать ослабляет то, что говорю я. Чей грех? – Мой».

«Я сержусь на нравственную тупость детей, кроме Маши. Но кто же они? – мои дети, мое произведение со всех сторон, – с плотской и духовной. Я их сделал [такими], какие они есть. Это мои грехи – всегда передо мной. Мне уходить от них некуда и нельзя. Надо их просвещать, а я этого не умею, я сам плох. Я часто говорил себе: если бы не жена, дети, я бы жил святой жизнью. Я упрекал их в том, что они мешают мне, а ведь они – моя дель, как говорят мужики. Во многом мы поступали так: наделаем худого; худое это стоит перед нами, мешает нам, а мы говорим себе, что я хорош, я бы все сделал хорошо, да вот передо мной помеха. А помеха-то – я сам».

«От Сережи письмо с просьбой денег. Соню одолевают просьбами денег сыновья. Будет еще хуже. Разве не лучше бы

было, если бы она отказалась хоть от собственности литературной. Как бы покойно ей, и как бы нравственно здорово сыновьям, и как мне радостно, и людям на пользу, и Богу угодно».

Мысль Льва Николаевича об отказе от литературной собственности вызвала большое противодействие со стороны Софьи Андреевны. Она только что предприняла новое издание полного собрания сочинений. 13-й том его из-за «Крейцеровой сонаты» был арестован цензурой, но Софья Андреевна добилась лично у государя распоряжения о снятии ареста, Лев Николаевич с самого начала не сочувствовал этому предприятию. Не разделял он и радости жены по поводу блестящего окончания дела с цензурой. А она не понимала, как ему тяжело, и не хотела верить, что можно «относиться спокойно к тому, что лишат всего русского общества 13-го тома, а [ее] разорят».

Душевная тяжесть Льва Николаевича усиливалась порою от грубых возгласов со стороны, указывавших на его внешне фальшивое положение. И вот, в дни неудач Софьи Андреевны с новым изданием, когда так она боялась за доход, Лев Николаевич объявил ей о своем решении.

«Я нынче утром сказал Соне с трудом, с волнением, что я объявлю о праве всех печатать мои писанья. Она, я видел, огорчилась. Потом, когда я пришел, она вся красная, раздраженная, стала говорить, что она напечатает… вообще что-то мне в пику. Я старался успокоить ее, хотя плохо, сам волновался и ушел. После обеда она подошла ко мне, стала целовать, говоря, что ничего не сделает против меня, и заплакала. Очень, очень было радостно. Помоги, Отец».

Три месяца спустя: «Разговор с женой все о том же, о том, чтобы отказаться от права собственности на сочинения; опять то же непонимание меня. «Я обязана для детей…» Не понимает она и не понимают дети, расходуя деньги, что каждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание, позор мой. Позор – пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь истины. Видно так надо. И без меня истина сделает свое дело».

Еще через несколько дней: «И вчера… был разговор с женой о напечатании письма в газетах об отказе от права авторской собственности. Трудно вспомнить, а главное, описать все, что тут было» (в оригинале следующие 19 строк зачеркнуты, неразборчивы).

Софья Андреевна отнеслась к намерению мужа с необычной нервностью. В минуту раздражения она готова была на отчаянный шаг и после одной бурной сцены, вероятно, описанной, а потом уничтоженной в приведенной выше записи дневника Льва

Николаевича, решила покончить с собой. Она пошла на станцию Козлову-Засеку, чтобы лечь под поезд. Случайная встреча по дороге с А. М. Кузминским, мужем сестры, спасла ее от гибели.

Но ничто не в силах было изменить твердого решения Льва Николаевича. В июле 1891 года он послал жене два проекта отречения, – или от ее имени, или от его. Но Софья Андреевна не опубликовала их. В сентябре же он составил новое, от себя лично, с перечислением всех произведений последнего периода (в первом списке не было «Смерти Ивана Ильича») и отправил его Софье Андреевне в Москву для опубликования в газетах. В сопроводительном письме он мягко уговаривает жену подчиниться его решению.

«Посылаю тебе письмо в редакцию без исключения «Ивана Ильича». Сколько я ни думал и ни старался, без «Ивана Ильича», т. е. с этим исключением, заявление это теряет всякий смысл. А не посылать заявления очень мне тяжело, особенно теперь, когда 13 том разошелся и печатается или готовится к печати новый.

Пожалуйста, голубушка, подумай хорошенько «с Богом» (я называю «с Богом» так, как думает человек перед смертью, в виду Бога) и сделай это с добрым чувством, с сознанием того, что тебе самой это радостно, потому что ты этим избавляешь человека, которого ты любишь, от тяжелого состояния. Потерь тут никаких, я думаю, тебе не будет, но если бы и было, то тем это должно быть тебе радостнее, потому что только тогда дело доброе – доброе, когда сделана хоть какая-нибудь жертва. А то что же? На тебе, Боже, что мне негоже.

Ну вот, помоги тебе Бог сделать, как тебе лучше для себя. Но только не делай ничего с дурным чувством. Во мне же к тебе ни в том, ни в другом случае, кроме доброго чувства к тебе – никаких нет и не будет».

В дневнике Толстой отметил: «Писал я ей вчера письмо, прося ее послать в редакцию мое письмо об отказе от прав авторских. Не знаю, что будет».

По возвращении Софьи Андреевны из Москвы в Ясную Лев Николаевич записал: «Соня вернулась хорошо. Я мучался ее молчанием о письме. Но оказалось, что она согласна».

Согласие Софьи Андреевны было вынужденным. Она никогда не могла помириться с этим шагом и даже после смерти Льва Николаевича, при составлении кратких редакционных примечаний к письмам мужа, она с трудом сдержала упрек, поясняя, что считала «несправедливым обездоливать многочисленную и так не богатую семью» и что Лев Николаевич намерение свое выполнил без ее участия, от себя лично.

Борьба за правду и борьба за семью была менее ожесточенной

при разделе имущества. Но она более трагична.

По религиозным мотивам Лев Николаевич отказался от первоначальной мысли передать все в общее пользование и, чтобы сохранить любовь окружающих, согласился на раздел имущества среди детей. Он ничего не предпринимает, ни за что внешнее не борется, и его пассивное сопротивление подрывает энергию Софьи Андреевны, которая находит в «этом разделе что-то грустное и неделикатное» по отношению к мужу. Но, несмотря на некоторую связанность, Софья Андреевна одобряет семейное начинание, всячески помогая его осуществлению. Некоторые из детей, непосредственно заинтересованные, получающие реальные выгоды от раздела, проявили к нему самый живой интерес. С отцом осталась одна Мария Львовна, за это перенесшая немало упреков от остальных.

По утверждению биографа Бирюкова, последним толчком, побудившим Толстого согласиться на раздел, послужило событие, имевшее место в Ясной Поляне зимой 1890 года. Управляющий поймал мужиков в краже леса; их судили и присудили к шести неделям острога. Они приходили к Софье Андреевне просить, чтобы их помиловали, и Софья Андреевна сказала, что ничего не хочет и не может для них сделать.

«Лев Николаевич, узнав об этом, сделался страшно мрачен, и вот 15 декабря ночью у него с Софьей Андреевной был крупный разговор; и он снова убеждал ее все раздать, и говорил, что она пожалеет после его смерти, что не сделала этого для счастья их и всех детей. Он говорил, что видит только два выхода для своего спокойствия; один – это уйти из дома, о чем он и думал и думает, а другой – отдать всю землю мужикам и право издания его сочинений в общую собственность. Он говорил Софье Андреевне, что если бы у нее была вера, она сделала бы это из убеждения. Если бы была любовь к нему, то из-за нее она сделала бы это и, наконец, если бы у нее было уважение к нему, то она постаралась бы, оставя все так, как есть, не делать ему таких неприятностей, как эта».

По дневнику Софьи Андреевны этот случай представляется в несколько ином виде. Софья Андреевна записывает 11 декабря 1890 года: «Во время обеда Левочка мне сказал, что меня ждут те мужики, которые срубили на Посадке 30 берез и которых вызывают на суд. Всякий раз, как мне говорят, что меня ждут, что я должна что-то решать, на меня находит ужас, мне хочется плакать, и точно я в тиски попадаю, некуда выскочить, это навязанное мне *по христианству* хозяйство, дела, это самый большой крест, который мне послан Богом. И если спасение человека, спасение его духовной *жизни* состоит в том, чтобы

убить жизнь ближнего, то Левочка спасся. Но не погибель ли это двум?»

13 декабря.

«Сегодня узнала, что мужиков присудили на шесть недель острога и 27 рублей штрафа. И опять спазмы в горле, и весь день плакать хочется; главное, *себя* жалко; зачем же это моим именем надо делать зло людям, когда я не чувствую, не желаю и не могу любить никакого зла. Даже с практической точки зрения ничто не мое, а я какой-то бич!»

15 декабря.

«Левочка еще более мрачен и не в духе от приговора. Ясенских мужиков в арестантские роты за срубленные в Посадке деревья. Но когда это случилось и приехал урядник, я спросила Левочку, что делать, составлять ли акт? Он задумался и сказал: «Пугнуть надо, а потом простить». Теперь оказалось, что дело уголовное, и простить нельзя, и, конечно, опять я виновата. Он сердит и молчалив, не знаю, что он предпримет. А мне тоскливо, больно и, как говорится, «вот как дошло». Думала нынче поехать к Илье, проститься со всеми и спокойно лечь где-нибудь на рельсы».

16 декабря.

«Когда случится такая история, как прошлую ночь, я вижу, что я ошиблась, потеряла какую-то центральность и сделала больно Левочке – совсем нечаянно. История эта, как и надо было ожидать, вышла из-за осужденных на 6-недельный арест мужиков за срубленные в Посадке деревья. Когда мы подавали жалобу земскому начальнику, мы думали простить после приговора. Оказалось уголовное дело, – отменить наказание нельзя, и Левочка пришел в отчаяние, что из-за его собственности посадит мужиков Ясенских. Ночью он не мог спать, вскочил, ходил по зале, задыхался, упрекал, конечно, меня и упрекал страшно жестоко. Я не рассердилась, слава Богу, я помнила все время, что он больной. Меня ужасно удивляло, что он все время старался разжалобить меня по отношению к себе, и как ни пытался, но ни разу не было настоящего сердечного движения, хотя бы краткого, – перенестись в меня и понять, что я совсем не хотела сделать больно ему и даже мужикам-ворам. Это самообожание проглядывает во всех его дневниках… После тяжелой ночи, упреков и разговоров, весь день камень на душе и тоска».

Снова встал вопрос, как быть с имуществом, которое тяготит Льва Николаевича. Он предложил разделить его между наследниками и сам наметил доли.

О душевном состоянии Толстого есть указания в дневнике и письмах.

«Я должен буду подписать бумагу, дарственную, которая меня избавит от собственности, но подписка которой будет отступлением от принципа. Я все-таки подпишу, потому что, не поступив так, я бы вызвал зло».

«Мне приходится отступиться от прежнего намеренья – не признавать свое право на собственность, приходится дать дарственную. Маша отказывается, разумеется, и ей неприятно, что ее отказ не принимают серьезно. Я ей говорю: «Им надо решить: хорошо или дурно иметь собственность, владеть землей от меня? Хорошо или дурно отказаться?» И они знают, что хорошо. А если хорошо, то надо так поступить самим. Этого рассуждения они не делают. А на вопрос о том, хорошо ли или дурно отказаться, не отвечают, а говорят: «Она отказывается на словах, потому что молода и не понимает». Как мне тяготиться жизнью, когда у меня есть Маша». – «Я с радостью чувствую, что люблю ее хорошей, божеской, спокойной и радостной любовью».

«Приезжают все сыновья – раздел. Очень тяжело и будет неприятно. Помоги, Отче, держаться, т. е. помнить, что я живу перед тобой».

«Дома не весело: раздел. Что-то нехорошо мне на душе. Все отношение с женой. Раздел, который ее занимает».

«Полтора месяца почти не писал. Был в это время в Бегичевке и опять вернулся и теперь опять больше двух недель в Ясной. Остаюсь еще для раздела. Тяжело, мучительно, ужасно. Молюсь, чтобы Бог избавил меня. Как? – Не как я хочу, а как хочет он. Только бы затушил он во мне нелюбовь. Вчера поразительный разговор детей. Таня и Лева внушают Маше, что она делает *подлость,* отказываясь от имения. Ее поступок заставляет их чувствовать неправду своего, а им надо быть правыми, и вот они стараются придумывать, почему поступок нехорош и *подлость.* Ужасно. Не могу писать. Уж я плакал, и опять плакать хочется. Они говорят: «Мы сами бы хотели это сделать, да это было бы дурно». Жена говорит им: «Оставьте у меня». Они молчат. Ужасно! Никогда не видал такой очевидности лжи и мотивов ее. Грустно, грустно, тяжело мучительно».

«Кажется, что запутался, живу не так, как надо (это даже наверное знаю), и выпутаться не знаю как: и направо дурно, и налево дурно, и так оставаться дурно. Одно облегчение, когда подумаешь и почувствуешь, что это крест, и надо нести. В чем крест, трудно сказать, – в своих слабостях и последствиях греха. И тяжело, тяжело иногда бывает. «Нынче часа три ходил по лесу, молился и думал: хорошая молитва: «Иже везде сый и вся исполняяй, приди и вселися в (ны) меня и очисти меня от всякий скверны и победи во мне скверного и зажги меня любовью»…

«Причина моей тоски и физическая, должно быть, и нравственная: вчера был с детьми Таней и Левой разговор по случаю раздела. Я застал их на том, что они напали на Машу, упрекая ее в том, что она отказывается от своей части. И мне было очень грустно. Я никого не обижал, не сердился, но не люблю. И тяжело».

Акт о разделе был подписан Львом Николаевичем весной 1891 года. Но все процедуры окончились, и он вошел в законную силу только 28 сентября следующего года [272] . По этому разделу Ясная Поляна отошла Софье Андреевне и младшему сыну Ивану.

Отречение от прав литературной собственности и семейный раздел совпали с работой Льва Николаевича на голоде.

Как известно, он принимал большое участие в помощи голодающим. Но мы не предполагаем подробно останавливаться на этой деятельности Толстого и коснемся ее лишь с чисто личной стороны, проследим по отрывочным документам отражение события в семейных отношениях.

Домашние тревоги и расхождения с мужем в главном – в оценке любви – сказались на душевной жизни Софьи Андреевны. Что-то истерическое все больше и больше проявляется в ее настроении.

«У меня с конца августа навалился камень на сердце, и с тех пор я все его чувствую, – пишет Софья Андреевна сестре, – никак не отделаюсь ни от тоски, ни от вечного беспокойства и просто, физически, все меня душит, сердце и пульсы бьются, почти не сплю. Сама не знаю, отчего. Мне кажется, что ни покой, ни энергия, никогда ко мне больше не вернутся, точно надломилась я. Да и было с чего!» «Если б ты меня увидала, ты бы удивилась, сколько от меня унесло здоровья все мое тревожное осеннее состояние. Я все задыхаюсь, а по ночам лихорадит, в виске невралгия». «Я лишняя, ненужная и мешающая… Так яснее и яснее, что надо уйти из жизни. Умри Ваничка, и никому не нужна».

А тут грозные вести о грядущем голоде. «Рассказывали о голодающих, – пишет она мужу, – и опять мне все сердце перевернуло, и хочется забыть и закрыть на это глаза, а невозможно; и помочь нельзя, слишком много надо. А как в Москве ничего этого не видно! Все то же, та же роскошь, те же рысаки и магазины, и все всё покупают и устраивают, как и я, пошло и чисто свои уголки, откуда будем смотреть в ту даль, где мрут с голода. Кабы не дети, ушла бы я нынешний год на службу голода, и сколько бы ни прокормила, и чем бы ни добыла, чем так смотреть, мучаться и не мочь ничего делать». «Чувствуешь себя

виноватой каждую минуту, что тебе тепло и сыто, а бессилие помочь полнейшее».

Если у Софьи Андреевны голод вызывает покаянное и несколько сентиментальное настроение, то для Льва Николаевича это несчастье служит новым грозным напоминанием, новым упреком, новым призывом к действию. Еще в июне он записал: «После обеда грустно, гадко на нашу жизнь, стыдно; кругом голодные, дикие, а мы… стыдно, виновато, мучительно». В сентябре, после многих сомнений, он решил ехать в голодную губернию и вместе со старшими детьми вести работу по кормлению голодающих.

Намерение мужа встретило протест Софьи Андреевны. Сначала она согласилась, но потом увидела, что это несет с собой новые лишения для семьи, так как Лев Николаевич и дети принуждены будут жить зиму не в Москве. «Голод, гораздо худший, чем ожидали, тяжелым камнем лежит на ней», она искренне грустит, она охотно принимает участие в филантропической деятельности, но не может идти на личные лишения, на перебой в текущей жизни близких. Софья Андреевна и без того очень нервна, и теперь она не в силах удержаться от протеста. Ей страшно за них, и это все.

Лев Николаевич записывает в дневнике: «Соня нездорова и не в духе, и я тоже. Ночь почти не спал. Утром я сказал о том, что здесь есть дело, кормление голодающих. Она поняла, что я не хочу ехать в Москву. Началась сцена. Я говорил ядовитые вещи. Вел себя очень дурно. В тот же день вечером поехал в Тулу… Вернувшись домой, нашел готовность к примирению, и примирились».

Из письма Софьи Андреевны к сестре: «О голоде, зиме, планах – не говорим ничего. Вчера несколько раз утром заговаривали – я так рыдала, и вообще так у меня нервы плохи, бессонница и грустно, что пока оставили все без последствий. Я жду чего-нибудь от судьбы, случая или Бога, что разрешит все вопросы».

Лев Николаевич отправился в глухой уезд Рязанской губернии, Софья Андреевна переселилась в Москву и здесь помогала мужу сбором пожертвований. Тревоги не оставили ее, и ко Льву Николаевичу у нее проявляются то нежность, то упрек. А он ждет душевного согласия, с радостью ловит каждый намек, отвечает жене с искренней теплотой и твердо делает то, что считает должным.

«22-го уехала Соня… Перед отъездом она поговорила со мной так радостно, хорошо, что нельзя верить, чтоб это был тот же человек».

«Ах, как хочется, чтобы письмо это застало тебя в хорошем духовном состоянии, милый друг. Буду надеяться, что это так, и завтра – день прихода почты – буду с волнением ждать и открывать твое письмо. Ты пишешь, что ты остаешься одна, несчастная, и мне грустно за тебя».

«Утром пробовал писать… Ничего не шло. Тем более, что получены были письма, из которых вижу, что Соня очень страдает, и мне очень, очень ее жалко. Чувствую, что я не виноват перед ней, но она считает меня виноватым, и мне очень, очень жалко ее».

«Вчера, прочтя твои письма, страшно захотелось тем сердцем, которое ты во мне отрицаешь, не только видеть тебя, но быть с тобой».

«Не успел написать тебе, и тоскливо все о тебе. Тем более, что Таня сказала, что у тебя шла кровь носом. Неужели опять было дурно? Без ужаса не могу подумать, как тебе одиноко одной. Надеюсь, что не будет припадков, и если будут, ты с мужеством перенесешь их. Насколько тебе нужно для мужества сознание моей любви, то ее, любви, столько, сколько только может быть. Беспрестанно думаю о тебе и всегда с умилением».

«Соня очень тревожна, но отпускает меня, и мы с ней дружны и любовны, как давно не были. Мне ее очень жаль, и я постараюсь поскорей вернуться, чтобы успокоить ее».

«Был в Москве. Радость отношения с Соней. Никогда не были так сердечны. Благодарю Тебя, Отец. Я просил об этом. Все, все, о чем я просил, дано мне. Благодарю Тебя. Дай мне ближе сливаться с волею Твоей. Ничего не хочу, кроме того, что Ты хочешь. Здесь работа идет большая. Загорается и в других местах России. Хороших людей много. Благодарю Тебя».

В начале следующего, 1892 года произошло неожиданное событие, до крайности взволновавшее Софью Андреевну.

«Письма о голоде», предназначенные для опубликования в журнале «Вопросы философии и психологии», были запрещены цензурой. Они появились в переводе Диллона в английских газетах. Реакционные «Московские ведомости» в одной из передовиц привели выдержки из них и, допустив неточности в обратном на русский язык переводе, указали на якобы революционное направление этих писем. Статья произвела большой переполох. Ожидались репрессии.

Как обычно за последние годы, Софья Андреевна и Лев Николаевич заняли разные позиции. Перед возможностью внешних осложнений, перед опасностью, нависшей над семьей, Софья Андреевна теряет способность объективной оценки, и, ради спасения своего гнезда, она готова на все. Симпатии Софьи

Андреевны всегда были на стороне высшего света, она считалась с его мнением, а теперь, скомпрометированная перед ним, она старается, боясь ареста и ссылки мужа, подчеркнуть лояльность Льва Николаевича, его полезность государству, в этом наивном усердии доходя до бестактности.

Толстой обдумывает в то время «Царство Божие» – решительный приговор всякому государственному строю, но Софье Андреевне сейчас до крайности мешает его духовная работа; ей только важно оградить семью. Наоборот, Лев Николаевич с большим достоинством отнесся к шумихе, поднятой около его имени. Он проходит мимо нее, и ему досадно на жену за ее заискивание перед властью. Но ради спокойствия Софьи Андреевны он составляет сухое краткое опровержение, в котором лично не нуждается совсем.

Ряд писем знакомит нас с ходом событий. Это вариант все той же темы: семья и мир.

Татьяна Андреевна – Софье Андреевне из Петербурга: «Ты знаешь, что собирался Комитет министров, и уже решали предложить выезд за границу, да государь вовремя остановил. Я слышала из разных источников все то же самое: государь обижен, говорил, что я и жену его принял, чего я ни для кого не делаю, и что он не ожидал, что его предадут англичанам – самым врагам нашим, и пр. Я тебе пишу своими словами, только смысл, конечно. Но про предложение выслать за границу упорно еще толкуют, а поэтому я тебе советую: действуй».

Софья Андреевна – мужу: «Измучили меня толки о статье «Московских ведомостей». Таня, сестра, пишет, что был собран в Петербурге Комитет министров, и решили тебя выслать за границу, но что государь отменил, но сказал: «Предал меня врагам моим», и будто очень он огорчен. – «И жену его принял, ни для кого этого не делал». Погубишь ты всех нас своими задорными статьями; где же тут *любовь* и *непротивление?* И не имеешь ты права, когда 9 детей, губить и меня и их. Хоть и христианская почва, но слова нехорошие. Я очень тревожусь и еще не знаю, что предприму, а так оставить нельзя».

Ему же: «Весь день вздрагиваю – жду, что вот, вот известие придет, что сделают с нами что-нибудь нехорошее; будет нечто очень печальное: тебя сошлют, у меня будет удар, и дети останутся одни. И за что, подумаешь? Как же не нашли в этой статье ничего предосудительного, когда читали ее в цензуре для журнала «Фил[ософии] и Псих[ологии]». Неужели объяснения «Московских ведомостей», что это революционное движение, могло изменить суть ее? Что может поделать злоба людей».

Через день: «Сейчас вернулась из Нескучного, где имела длинный

разговор с великим князем Сергеем Александровичем по поводу статьи «Московских ведомостей» и просила, чтоб он приказал напечатать в газетах мое опровержение. Он очень интересовался ходом дела, но помочь он мне ничем не может. Очевидно, как он и говорил мне, ждут опровержения от тебя, Левочка, в «Правительственном Вестнике», за твоей подписью; в другие газеты запрещено принимать, и желание это идет от государя и любя тебя. Негодование на «Московские ведомости» очень большое и недовольство главное не на тебя, а на то, что твоим именем *взволновали* умы. И чтоб их успокоить, нужно официальное опровержение твое. Я поняла так, что если б твое опровержение было и лживое, чего, конечно, никогда быть не может, то оно все-таки необходимо, потому что из тебя, к которому государь имел такое доверие, сделали какого-то революционера. Вспомни письмо двух петербургских студентов, которые написали, выражая свое недоумение. И это недоумение везде. По словам и тону великого князя я поняла, что напряженно ждут от тебя несколько слов объяснения, что ничего пока не предпринимают, но что если это объяснение не появится, тогда… Вот это-то и ужасно! И объяснение, как он мне это дал почувствовать, не для того, чтобы *тебе* оправдаться, а для того, чтоб в такое время успокоить поднявшееся недоразумение публики и уличить, уничтожить «Московские ведомости»… Теперь вот что: напиши, милый друг, несколько слов, а именно: что в иностранные периодические издания ты ничего не посылал, ни писем, ни статей; что на основании отказа своего от авторских прав ты разрешаешь и разрешил Диллону переводить свои сочинения; что статья, о которой поминают «Московские ведомости», была предназначена для журнала «Вопросы психологии и философии», но что ее перефразировали и придали совершенно несвойственный ей характер «Московские ведомости». Все это будет, правда, умеренно и кротко. Ради Бога, сделай это, успокой меня; я живу теперь в таком ужасном состоянии. Какая-то судьба нацелилась на мою жизнь, чтоб ее уничтожить. Я не сплю, не ем и измучилась более, чем когда-либо…»

«Все бы хорошо, если б не эта туча над нами. И чувствуется, что несколько слов от тебя ее рассеет и совершенно… Если в будущем письме твоем я найду твое письмо в газету или увижу подписанным тот листок, который прилагаю, я приду в такое радостное, спокойное состояние, в котором давно не была. Если же нет, то поеду, вероятно, в Петербург, пробужу еще раз свою энергию, но сделаю нечто даже крайнее, чтоб защитить тебя и истину, а так жить не могу».

«Великий князь был, говорят, после моего визита у Истоминых [273] и говорил: «Мне так жаль графиню, она так волнуется, а нужно только несколько слов от графа, и государь и все мгновенно успокоится». Видно, напряженно ждут этого. И я жду для своего покоя».

Софья Андреевна – Кузминским: «Неужели клевета о революционном направлении Льва Николаевича могла так скоро смутить правительство и общество? Неужели все ослепли и не видят, что все это *нарочно* устроили «Московские ведомости», чтоб рассказать о прокламациях, чтоб навести на мысль о возможности революционного движения в обществе, и для большего шума приплели имя знаменитого и ненавистного им человека? Кому и что я буду говорить? О чем хлопотать? Статью читали и министр и Плеве; с этой статьи сделал перевод Диллон, а не мы, и не мы ее послали. Ведь никто не позаботился хоть правду-то узнать. И обидно и страшно мне ужасно, но сделать я ничего не могу. Человек работает для пользы народа и государства из последних старческих сил, а про него кричат, Бог знает что. Сегодня же пишу Шереметевой [274] , которая уже раз так добра была со мной, пишу министру внутренних дел и письмо в «Правительственный Вестник», которое тоже не напечатают. Государю я писать не решаюсь. Мне очень грустно и больно, что его невольно, но огорчили и нами. Поправить это трудно, ему теперь не до нас, когда столько заботы и горя своего. Я прошу Шереметеву, если можно, объяснить государю все, и подробно ей описываю. Что будет, то и будет. Одно грустно, что «Московские ведомости» восторжествуют, а они-то и есть революционеры, да еще какие! Когда-нибудь это обнаружится, а теперь не верят этому».

«Теперь все это петербургское общество, или, вернее, чиновничество, радостно травит нас, злорадствует, глумясь и вымышляя всякие мерзости, потому что мы в немилости у государя. И нашли время! Никогда Левочка не был более смиренен, как теперь. Никогда он не был и так полезен именно государству, так как по его инициативе по всей России открыли столовые, и общество стало помогать народу рядом с правительством».

«Хилкова [275] выслали раньше статьи «Московских ведомостей», и он ничего не имел общего с Львом Николаевичем.

Хилков проповедник своих мыслей, Левочка никогда никому ни слова не говорит о своих мыслях. Хилков не женится, не крестит, не причащает детей и все отрицает. У нас же все обратное».

«Великому князю я не представлялась, я ездила спросить, где

и как можно напечатать объяснение по поводу клеветы «Московских ведомостей». Он сказал, что желательно, чтоб граф напечатал письмо в «Правительственном Вестнике», что это *успокоило бы взволновавшиеся умы* и государя бы удовлетворило. Я упросила Левочку написать это письмо; он насилу согласился, а «Правительственный Вестник» отказал печатать. Делянов [276] в Петербурге говорил то же Гроту [277] : «Вот вы защищаете графа, и графиня пишет, кто же вам поверит? Пусть сам граф напишет в «Правительственном Вестнике», тогда все успокоятся». Вот и пойми их. Только в Европе понимают Левочку, как следует. Там его не сочтут за революционера, а понимают, что он как раз обратное проповедует. Не хочется оставлять без последствий клевету «Московских ведомостей», и придется разослать письмо Левочки по иностранным газетам, т. к. русские не принимают ни одна. Впрочем, это и без меня сделают. Тут его уже гектографировали, и мне прислали тайные друзья 100 экземпляров. Принесли и отдали. А я кое-кому знакомым давала читать, – вероятно, и переписали».

Льву Николаевичу: «Таня кому-то в Москве сказала: «Как я *устала* быть дочерью знаменитого отца». А уж я-то как устала быть *женой* знаменитого мужа».

Лев Николаевич – Софье Андреевне:

«Как мне жаль, милый друг, что тебя так тревожат глупые толки о статьях в «Московских ведомостях», и что ты ездила к Сергею Александровичу. Ничего ведь не случилось нового. То, что мною написано в статье о голоде, много раз, в гораздо более сильных выражениях было сказано раньше. Что ж тут нового? Это все дело толпы, гипнотизации толпы, нарастающего кома снега. Опровержение я написал. Но, пожалуйста, мой друг, *ни одного слова не изменяй и не прибавляй* и даже не позволяй изменять. Всякое слово я обдумал внимательно и сказал всю правду, и вполне отверг ложное обвинение».

«Ради Бога, милый друг, не беспокойся ты об этом. Я по письму милой Александры Андреевны вижу, что у них тон такой, что я в чем-то провинился и мне надо перед кем-то оправдываться. Этот тон надо не допускать. Я пишу то, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительствам, ни богатым классам, уж 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я, а вся жизнь их обвиняет… То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что в 12 лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной все, что есть просвещенного и

честного во всем мире, что говорит сердце каждого неиспорченного человека, и что говорит христианство, которое исповедуют те, которые ужасаются».

«Пожалуйста, не принимай тона обвиненной. Это совершенная перестановка ролей. Можно молчать. Если же не молчать, то можно только обвинять – не «Московские ведомости», которые вовсе не интересны, и не людей, а те условия жизни, при которых возможно то, что возможно у нас. Я давно хотел тебе написать это. И нынче рано утром, с свежей головой, высказываю то, что думал об этом. Заметь при этом, что есть мои писанья в десятках тысяч экземплярах на разных языках, в которых изложены мои взгляды. И вдруг, по каким-то таинственным письмам, появившимся в английских газетах, все вдруг поняли, что я за птица. Ведь это смешно. Только те невежественные люди, из которых самые невежественные те, что составляют двор, могут не знать того, что я писал, и думать, что такие взгляды, как мои, могут в один день вдруг перемениться и сделаться революционными. Все это смешно, и рассуждать с такими людьми для меня и унизительно и оскорбительно».

VIII

Чтобы сократить изложение, отметим лишь основное в настроениях Толстых в 1893–1894 годах.

Ничто существенно не изменилось.

Лев Николаевич по-прежнему тяготится внешними условиями жизни, протестует и тут же смиряется. Отношения с женой продолжают быть неровными. Все так же не видит Толстой никакой помощи от семьи. (Ведь уже больше десяти лет они на разных путях.) И однажды, в тяжелую минуту, подводя итоги своей тридцатилетней семейной жизни, Лев Николаевич забывает прошлое и, принимая в расчет только последний период, приходит к жуткому заключению.

«Очень я нехорош все это время. Недоволен своим положением, мучаюсь. Хочу перемены внешней. А этого не надо».

«Я так знаю, что жизнь моя дурная, вижу вредный след, который она оставляет, и не переставая страдаю. Может быть страданье оставит след. Дай Бог, от этого я не плачусь на него. Очень уж много от меня требуется теперь после всех сделанных мною ошибок: требуется, чтобы я жил постоянно противно своей совести, подавал пример дурной жизни – лжи, и слышал бы и читал восхваления себя за свою добрую жизнь. Единственное утешение, единственная радость жизни для меня теперь только в том, чтобы знать, что, живя так, как я живу, я исполняю волю пославшего меня. Но это говорить легко, а делать трудно. В жизни мы всегда движемся, хоть подбодряемся мотивами личных радостей или одобрения людей, а когда этого нет, то трудно жить только для исполнения воли Бога. Иногда в редкие минуты я этого могу, большей частью же – нет. Радостей никаких, и сознание того, что служишь соблазном для людей, но не хватает сил жить всякую минуту и только для Бога. А этого от меня требует мое положение. Я должен жить юродивым, а не в силах этого делать» [278] .

«Мне тяжело, гадко. Не могу преодолеть себя. Хочется подвига. Хочется остаток жизни отдать на служение Богу. Но он не хочет меня. Или не туда, куда я хочу. И я ропщу. Эта роскошь. Эта продажа книг. Эта грязь нравственная. Эта суета. Не могу преодолеть тоски. Главное, хочу страдать, хочу кричать истину, которая жжет меня» [279] .

«Вспомнил: что мне дал брак? Ничего. А страданий бездна».

«Как ужасна жизнь для себя, жизнь, не посвященная на служение Божьему делу! Ужасно, когда понял тщету и погибельность личной жизни и свое назначение служения. Эта

жизнь не ужасна только для тех, кто не увидал еще пустоты личной, семейной жизни. Она не ужасна, когда человек бессознательно служит общей жизни, и не ужасна, а спокойна и радостна, когда человек сознательно служит ей. Ужасна она во время перехода от одной к другой. А переход этот неизбежно должен пережить всякий. Я думаю, даже ребенок, умирая».

«Помоги мне, Господи, установить любовь с самым близким человеком. И кажется, что устанавливается».

«Радуюсь на отношения с Соней. Кажется, это твердо. И в ней есть перемена».

«Нынче утром приехал Поша [280] и Страхов. У Страхова был обыск, и ему объяснили, что Толстой теперь другой и опасен. Мне как будто не захотелось гонения. И стыдно стало за это на себя. Уж очень хорошо было дома с Соней. Нынче же целый день и вечером она постаралась опять сделать мне радостным гонение. Целый день: то яблони украденные и острог бабе, то осуждения того, что мне дорого, то радость, что Новоселов [281] перешел в православие, то толки о деньгах за «Плоды просвещения». Я ослабел, и мой светик любви, который так радостно освещал мою жизнь, начал затемняться. Не надо забывать, что не в делах этого мира жизнь, а только в этом свете. И я как будто вспомнил. Помоги, Господи».

«Научи меня, как нести этот крест. Я все готовлюсь к тому кресту, который знаю: к тюрьме, виселице, а тут совсем другой – новый, про который я не знаю, как его нести. Главная особенность и новизна его та, что я поставлен в положение невольного, принужденного юродства, что я должен своей жизнью губить то, для чего одного я живу, должен этой жизнью отталкивать людей от той истины, уяснение которой дороже мне жизни. Должно быть, что я дрянь. Я не могу разорвать всех этих скверных паутин, которые сковали меня. И не оттого, что нет сил, а оттого, что нравственно не могу, мне жалко тех пауков, которые ткали эти нити. Нет, главное – я дурен: нет истинной веры и любви к Богу, – к истине. А между тем, что же я люблю, если не Бога – истину?»

Для согласия супругов, если их взгляды на мир и жизнь не совпадают, необходимо, чтобы «тот, кто менее думал, покорился бы тому, кто думал более. Как бы я счастлив был покориться Соне, да ведь это так же невозможно, как гусю влезть в свое яйцо. Надо бы ей, а она не хочет – нет разума, нет смирения и нет любви».

«Боже мой! Я про себя говорю, сколько раз думал, как бы рад покориться, чтобы избавиться от того ада несогласия и избавить от этого детей, готов на все, на всякие пытки, унижения – все лучше этого ада. Но как же мне покориться в том, чтобы

содействовать развращению детей роскошью, извращенным учением или отнятию, под видом земельной собственности, которую я признаю и чувствую явным преступлением, отнятию трудов у нуждающихся работников для усиления развращения своей семьи? Не могу я покориться, потому что я знаю, чего от меня требуют: от меня требуют ни чего-либо нового, неизвестного мне, а давно известного, знакомого мне зла, которое я только что узнал и от которого только что освободился. Мне кажется, что тому из двух супругов, который чувствует, что другая его половина стоит выше его, понимает что-то не вполне доступное ему, но хорошее, Божеское – это всегда чувствуется – так легко и радостно покориться, что удивляешься, когда не делают этого».

Судьба детей все больше и больше беспокоит и Софью Андреевну и Льва Николаевича. Мысль о них, воспитанных под такими противоречивыми влияниями, тревожит родителей, и каждый, не получая от другого поддержки, со своей точки зрения оценивает настоящее и будущее.

Лев Николаевич: «Я вижу, как мои растут, портясь жизнью, приготавливаемые к тому, чтобы стараться не понять меня и не только не передать, но передать превратно».

«Положение наших детей очень дурно: нравственного авторитета нет никакого. Соня разрушает старательно мой, а на место его ставит свои комические требования приличия, выше которого им легко стать. Жалко и их и ее. Ее мне особенно жалко стало последнее время. Она видит, что все, что она делала, было не то и не привело ни к чему хорошему. Сознаться же в том, что она виновата в том, что не пошла за мной, ей невозможно почти. Это слишком ужасное бы было раскаяние».

Софья Андреевна: «Если бы не мое бессилие, главное, если б не отсутствие энергии и веры в воспитание детей – я не жила бы в Москве, – пишет она мужу в Ясную. – Но раз я не могу их воспитывать в деревне и сама, то я должна их отдать в школу и учителям, и я должна жить в Москве. Я не оправдываюсь, я не виновата ни в чем. На этот раз я знаю, что иначе поступить не вправе. Тебя же я тоже вполне понимаю. Тебе уж кроме тишины и спокойствия ничего не нужно… умственная жизнь, пресыщение всего, усталость, все это в твои годы естественно. А больно только то, что у тебя к нам – ко мне и детям – любви не осталось. Нет желанья быть вместе и общаться с нами. Это больнее всего. Что делать!»

«Я понимаю, что там покойнее и лучше в Ясной, т. е. тебе. Но мне жалко, что жизнь девочек поглощена их обязанностями. Неужели так они никогда и не будут жить *своей* личной жизнью? Мы не должны задавливать их молодое существование своими

эгоистическими старческими существованиями. Нам это всегда помнить [надо]; надо им помогать и любить, сколь возможно бескорыстно, а не для своих целей. Я не говорю, что для этого их надо непременно в Москву везти. Совсем нет; надо только чутко прислушиваться, что им нужно для их счастья. Мне их что-то так жаль стало. То сидели в Бегичевке, то сидят в Ясной одни, живя только ограниченным интересом не своей, а чужой жизни, им не могущей быть вполне понятной, так как для полного понимания еще почти на полвека, просто возрастом надо подвинуться. А годы идут, и молодость тоже. Вот Таня уехала, и Маша рвется хоть в Бегичевку выскочить, видно, им невмоготу.

Прощай, Левочка; боюсь, что тебе все это неприятно, но я как мать обо всех детях скорблю. Ты спросишь: «А обо мне?» Да ведь ты бежишь от счастья. Тебя любят, с тобою жить считают счастьем, а ты ничем не дорожишь, тебе ничего не нужно. Как же жалеть тебя? Больше любви ничего дать нельзя».

«Вот когда, после 30 лет супружества, почувствовалась та большая разница лет, которая между нами. Он – старик. Ему нужен покой, тишина. Дети только в тягость, жена уж не нужна. А мне еще эта жизнь врозь огорчительна, и интерес к жизни дочерей и мужа не остыл, и все волнует, нет еще этого *старческого* спокойствия».

Необходимо отметить еще одну сторону жизни Софьи Андреевны – ее отношение к единомышленникам Льва Николаевича.

Оно остается неизменно презрительным и раздраженным. Софья Андреевна по-прежнему старательно отгораживает свой мир от этой неприятной для нее волны. Теперь она еще более настороже. Издательство «Посредник», около которого группировались «темные», с осени 1893 года перенесло свою деятельность из Петербурга в Москву. Тесная связь установилась между хамовническим домом и квартирой издательства. Софья Андреевна до крайности раздражена.

Она пишет Льву Николаевичу: «Таня мне не нравится: таинственна и резка со мной, – да и вообще плохо; все дьявольщина из «Посредника» обуревает, не отмолишь их всех сразу».

Сестре: «От жизни в Ясной в нынешнем году… кроме скуки, ничего не будет. Без вас только одни посетители предвидятся, это – темные. А они мне до того опостылели, что иногда хочется на них какой-нибудь пистолет или мышьяк завести. Фарисеи, плуты, лицемеры с вредными целями и больше ничего. И чем больше их узнаешь, тем в худшем они виде выказываются. На днях Попов [282] привел дядю Сережу в ужас, говоря ему: «Я – анархист, и в

этом сознаюсь». Теперь я этого Попова изгоню очень энергично, т. е. если он покажется, я его просто выгоню вон, ведь я человек решительный. Но тошно от этих темных – вот как!.. Надеюсь, что Саша нас посетит проездом из Петербурга. Очень рада всегда видеть *своих,* я вижу столько чуждых мне» [283] .

Отношение Софьи Андреевны к В. Г. Черткову также продолжает быть ревниво-неприязненным. Иногда она сдерживается, другой раз прорывается. Лев Николаевич и Мария Львовна однажды ездили к Чертковым. Они «с ними душевно близки, столько у [них] общих интересов», и им было «очень хорошо, главное, хорошо нравственно среди людей, которые [нас] любят». Но Софье Андреевне это очень неприятно, и она решительно протестует против намерения Черткова провести лето в Ясной. Ему Лев Николаевич пишет откровенно: «Вас, как поддерживающего во мне то, что ей страшно во мне, она опасается. Она боится тоже, что будет одинока. Я же имел неосторожность сказать, что у вашего Димы не так, как у Ванечки, нет игрушек. И вот она написала вам письмо. Если вы спросите меня: желает ли она, чтобы приехали, я скажу: нет; но если вы спросите: думаю ли я, что вам надо приехать; – думаю, что да. Как я ей говорил, так говорю и вам: если есть между вами что-нибудь недоброе, то надо употребить все силы, чтобы это не было и чтобы точно была любовь» [284] . Обострившаяся враждебность Софьи Андреевны к идейным друзьям мужа совпала с чрезвычайно сложным душевным состоянием Льва Николаевича. Усилились гонения на сектантов и «толстовцев». Мать сосланного на Кавказ князя Д. А. Хилкова с помощью власти отняла у него детей и без согласия родителей окрестила их в православную веру. Умирал замученный в Воронежском дисциплинарном батальоне Дрожжин [285] . Арестованы Булыгин [286] и Кудрявцев [287] . Обыски у Бирюкова и Попова. Льва Николаевича радует их стойкость, но ему невыносима окружающая его обстановка, ему «тяжело быть на воле». В нем нет злобы на жену за ее отношение к этому вопросу. Он верит, что она изменится, ищет подтверждений тому и о малейшем намеке на перемену сообщает друзьям.

«Нынче Ваня Горбунов [288] пишет, что он с ней очень сердечно говорил и в первый раз. Меня это очень порадовало потому, что последнее время я замечаю в ней радостную перемену – доброту особенную, которая очень трогает меня».

Волнения, тяжелая жизнь, борьба этих лет сильно сказались на душевном строе Софьи Андреевны. Она все чаще и чаще впадает в беспричинную тоску, в то возбуждение, которое граничит с истерикой. Еще в молодости можно было заметить

зародыши этого состояния, а впоследствии оно усилилось и приняло явные формы; почва была благоприятна. Помимо того, приближались годы, тяжелые в жизни каждой женщины. Осенью с Софьей Андреевной происходит что-то необыкновенное.

1892 год. «Я, как и всякую осень, чувствую какое-то умирание». «Четыре дня сидела дома по нездоровью и еще просижу. Лучше не двигаться и быть нормальной, чем делать дела, покупки и проч. и быть в ненормальном состоянии. Теперь я надеюсь, что налажусь: самая осенняя пора перевалила. Я когда-нибудь осенью или умру или убьюсь. Это время периодического сумасшествия».

1893 год. «Я очень себя дурно чувствовала все это время…, но теперь мне дня два получше. Болела прямо грудь, и не было дыханья; это каждый год осенью, и с годами хуже». «Я ничем не больна, а если я худею, то совсем не от тех причин, которые могут быть излечены докторами».

1894 год (по возвращении в Ясную от сестры). «Про себя только одно могу сказать, что точно навалили мне камень на грудь, и так и давит день и ночь, просто сил нет. Сегодня осталась одна вечером (ведь Левочки никогда нет, то пишет, то спит, то гуляет, а вечера у Чертковых), такая тоска взяла, конечно, сейчас же о тебе вспомнила и хотелось просто кричать: «Таня, Таня!» Ушла я в сад и залезла в беседку, которую построила на самом хвосте сада, высокую-высокую, – даже поворот с шоссе оттуда виден. Дети прозвали эту беседку: «мамина вышка».

На почве болезненных явлений Софьи Андреевны развились события, сыгравшие в семейной жизни Толстых очень большую роль.

IX

Начало 1895 года открывает новую главу жизни семьи – 23 февраля после короткой болезни скончался младший сын, всеми любимый семилетний Ваничка. Эта смерть оставила неизгладимый отпечаток и имела особые последствия.

Через несколько дней после похорон Софья Андреевна подробно обо всем сообщает сестре: «Ты знаешь, что с 5 января Ваничка болел лихорадкой и целый месяц я мучительно ходила за ним, с предчувствием и болью сердца. Но он выздоровел, давали ему мышьяк, который быстро его поправил. Левочка говорил, что он часто, глядя на то, как поправляется Ваничка, захлебывался от счастья… Во вторник в 11 часов утра Маша повезла его (очень близко от нас) к доктору его, Филатову, посмотреть селезенку. Филатов его тщательно осмотрел и сказал, что он настолько здоров, что может все есть, гулять как можно больше, и ездить. После завтрака он пошел гулять с Сашей, очень вспотел, но отлично обедал. Вечером Маша им читала вслух переделанный Верой Толстой рассказ Диккенса «Большие ожидания», но под заглавием «Дочь каторжника». Когда Ваничка пришел со мной прощаться, я спросила о чтении. Он ужасно грустно глядел и говорит: «Не говори, мама, так все грустно, ужас! Эстелла вышла замуж не за Пипа!» Я его хотела развеселить, но вижу, лицо у него ужасное. Я повела его вниз, он зевает и говорит со слезами: «Ах, мама, опять *она, она!»* (Он говорил про лихорадку, которой пугался всегда, когда начинался озноб). Я положила градусник – 38 и 5. Так как он жаловался на боль в глазах, я думала, что это корь, так как русская учительница Саши ходила в дом, где корь. Ночью он очень горел, но спал. Утром послали за доктором, он сейчас же сказал, что скарлатина. Уже жар был больше 40 гр. С этим вместе начались боли в животе и сильнейший понос. Он стонал всякий раз, как его слабило. Давали опий и внутрь, и в клистире, но ничего не помогало. К вечеру стало гораздо хуже. Ночью, в три часа, он опомнился, посмотрел на меня и говорит: «Извини, милая мама, что тебя разбудили». Я говорю: я выспалась, милый, мы по очереди сидим. – «А теперь чей будет черед, Танин?» – Нет, Машин, – я говорю. – «Позови Машу, иди спать». И начал меня целовать так крепко, нежно, вытягивая свои сухие губки, и прижимался ко мне. Я спросила его, что болит. Он говорит: «Ничего не болит». – Что же, тоска? – «Да, тоска».

После этого он уже почти не приходил в сознание. Весь день, среду, он горел, изредка стонал; пропускали по капле ему воду.

Жар достиг до 42 градусов. Сыпь с утра скрылась. Его обвертывали в простыню, намоченную в горчичную холодную воду; потом сажали в теплую ванну, – ничего не помогало. Он все тише и тише дышал, стали холодеть ножки и ручки, потом он открыл глазки и затих. Это было 23 февраля в 11 часов вечера. При нем были: Маша, Машенька (сестра Левочки), она все молилась и крестила его, няня – и больше никого. Таня все убегала. Я сидела в другой комнате с Левочкой, и мы замерли в диком отчаянии. Когда его одели в белую курточку и расчесали его длинные, кудрявые волосики, я пришла с Левочкой. Он лежал на кушетке, образок мой на груди, восковая свеча в головах, – ах, ужас просто, умирать буду – все в глазах будет эта картина, это несомненное явление смерти, ничем непоправимое, навеки совершившееся. Три дня он стоял, не изменяясь ни капельки. Все дети, люди и я, мы проводили все время у его гробика. Прислали столько венков, цветов, букетов, что вся комната была, как сад. О заразе никто не думал. Все мы страстно примкнули и друг к другу и к любви нашей к покойному Ваничке, все не расставались. Машенька жила у нас и разделяла с нами наше горе так хорошо и душевно. На третий день, 25-го, его отпели, заколотили и в 12 часов отец с сыновьями и Пошей вынесли его и поставили на наши большие 4-местные сани. Гробик и сани были завалены венками и цветами. Сели мы с Левочкой друг против друга и тихо двинулись. И вот, Таня, все время, без единой слезы, пока отпевали Ваничку, я держала его ледяную головку в руках, согревала его мертвые щечки руками и поцелуями, – и я не умерла от горя, и теперь, хоть и плачу над этим письмом, но живу и буду, верно, долго еще жить с этим камнем на сердце!

В доме, когда отпевали, почти никого не было, но на кладбище поехало очень много народу. Было тихо и тепло. Левочка дорогой вспоминал, как он, любя меня, ходил по этой дороге в Покровское, умилялся, плакал и очень ласкал меня словами и воспоминаниями.

Когда мы въехали в Никольское, толпа детей нас стала провожать, любуясь на венки. Это было воскресенье, школы не было, и все ребята гуляли. С саней опять нес гробик Левочка с сыновьями. Все плакали, глядя на старого, убитого горем отца. Да, подумай, Таня, естественно ли нам, седым, хоронить всю самую светлую нашу будущность в этом ребенке? Как его опускали в яму, как засыпали землей, – ничего не помню. Я вдруг куда-то пропала, смутно видела грудь Левочки, к которой он меня прижал, кто-то мне загораживал яму, кто-то держал меня. Потом я узнала, что это был Илюша. Он рыдал ужасно… Я же не пролила ни слезинки и не издала ни одного звука. Опомнилась я,

когда мы уже отъехали от могилки, при виде няни, которая из других саней раздавала большой толпе детей и нескольким нищим калачи и большое количество мятных пряников. Дети смеялись и радовались, а я тут разрыдалась, вспомнив, как Ваничка любил всех угощать и праздновать что-нибудь.

И вот мы, осиротелые, с плачем и отчаянием вошли в наш запустелый дом. Сегодня две недели только, как он заболевал, и рана открыта, как была; а всякий день какие-нибудь вещи или просто воспоминания возникают с терзающей душу болью, и выхода я не вижу. А что еще предстоит пережить с весной, с переездом в Ясную, которая и так запустела без вас, без дорогой мне жизни с семьей вашей! Я и подумать не смею о Ясной. Ведь и Ясная получила для меня особенное значение потому, что стала Ваничкина. Всякое деревцо, всякое улучшение, все делалось для него, для его будущего. Левочка, плача, мне говорил: «А я-то мечтал, что Ваничка будет продолжать после меня дело Божье! Что делать!» Смотреть на его скорбь, это еще ужаснее, чем бы одной скорбеть.

Знаешь, Таня, последнее время я точно одурела совсем от заботы о Ваничке. Я почти два месяца из дому не выходила. Мы до того сжились с ним, что вечером он меня отпустить не мог сразу. Помолюсь с ним Богу, я его, он меня перекрестит, потом скажет: «Поцелуй меня покрепче, положи головку свою около моей, подыши мне на грудку, чтоб я заснул с твоим дыханьицем». Когда он заболевал, он говорил: «Вот это воля Божья, мама, что я опять заболел». Он собирался писать Митичке [289] к рожденью и послать подарочек. Не успел, бедный крошка! Таня, милая, ты тоже раз пережила такое горе с Дашей, ты поймешь меня; но то, что я теперь перемучилась и буду еще долго терзаться, этого не поймешь, потому что я уже стара, мы с Левочкой похоронили наше дитя старости…

Вот, Таня, пережила же я Ваничку и дышу, ем, сплю, хожу. Но кто бы хорошенько заглянул в мою душу, тот понял бы, что именно души-то во мне и нет, и если так будет продолжаться, то вынести тех жестоких страданий, которые я переживаю, просто невозможно. Утром, первое пробуждение после короткого мучительного сна – ужасно! Я вскрикиваю от ужаса, начинаю звать Ваничку, хочу его схватить, слышать, целовать, и это бессильно перед пустотой, это – ад! Не слышно никого и ничего в доме теперь, это – могильная тишина. Саша замерла в своем уголке и большими, тоскливыми глазами смотрит на меня и плачет. Девочки свою потребность материнской любви всю перенесли на Ваничку, который бесконечно любил и ласкал всякого, и на всех у него хватало нежности, а теперь и для них

исчез. Левочка совсем согнулся, постарел, ходит грустный с светлыми глазами, и видно, что и для него потух последний луч светлый его старости. На 3-й день смерти Ванички он сидел, рыдал и говорит: «В первый раз в жизни я чувствую безвыходность». Как больно было смотреть на него, просто ужас! Сломило и его это горе…

С Ваничкой сразу кончился детский милый, хотя часто безумный, но сложный и веселый мирок. Ни смеху, ни детских шагов, ни игр, ни елок, ни крашенья и катанья яиц, ни горячее первое говенье (он все просил позволить ему говеть), ни все то, что наполняло всю мою жизнь, могу сказать, с детства. Как умел Ваничка ко всему относиться горячо, праздновать, дарить; как он любил писать письма, общаться всячески не только с детьми, но и с людьми. В воскресенье до его смерти все им любовались у Глебовых [290] . Он оживленно плясал мазурку, со всеми разговаривал, но приехал очень усталый… Не могу больше писать, милая Таня, все мое сердце надорвалось от воспоминаний. Теперь час ночи, завтра опять пробуждение, пустота и жизнь без жизни. Ужас просто! Завтра припишу и отправлю письмо, а сейчас ничего не могу.

И сегодня [приписано на другой день] опять та же мука, делать мне нечего, шатаюсь из угла в угол и плачу, как сумасшедшая. Неужели возможно долго жить с такими страданиями? Все, все от меня отпало, и что ужаснее всего, что у меня осталось восемь человек детей, а я чувствую себя одинокой со своим горем и не могу прицепиться к их существованию, хотя они добры и ласковы со мной очень… Вдруг кончилась жизнь».

Страдания матери безграничны, мучительно и отцу. От нее ушел детский милый мирок, он потерял надежду на преемника в деле Божием. Она переживает трагедию престарелой матери, он плачет и благодарит провидение за величие жизни. Она на границе безумия, он на высоте религиозного экстаза.

«Похоронили Ваничку. Ужасное, – нет, не ужасное, а великое душевное событие. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя».

«До сих пор все хорошо, прошу Бога, чтобы он помог мне поступить в эти торжественные минуты так, как он хочет. Удивительно приближает к нему, а Он – любовь – смерть».

«Мне бывает минутами жаль, что нет больше здесь с нами этого милого существа, но я останавливаю это чувство и могу это сделать (знаю, что жена не может этого), но основное, главное чувство мое – благодарность за то, что было и есть, и благоговейного страха перед тем, что приблизилось и уяснилось этой смертью».

«Для меня эта смерть была таким же, еще более

значительным событием, чем смерть моего брата. Такие смерти (такие в смысле особенно большой любви к умершему и особенной чистоты и высоты духовной умершего) точно раскрывают тайну жизни, так что это откровение возмещает с излишком за потерю».

«Не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое, но прямо говорю, что это… милосердное от Бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к нему событие».

В этой катастрофе Лев Николаевич хочет найти еще одну радостную сторону. В отчаянии Софьи Андреевны он усматривает новый, давно желанный сдвиг, и он верит, что смерть сына раскроет перед ней истину, что на склоне лет они духовно объединятся. Отношения становятся теплыми, близкими.

«Жена очень тяжело страдает, но, благодарю Бога, религиозно переносит свое ужасное горе». – «Ребенок был особенно милый и последний, и жене очень тяжело. Но она хорошо несет, и, как всегда, смерть, особенно такого чистого, любящего существа, сближает и дает много духовно хорошего».

«Она, бедная, тяжело борется, но я надеюсь, что духовная природа выйдет победительницей. Я рад, что могу сочувствовать ей в этом и облегчать хоть немного ее положение. Помочь же ей может только Бог, т. е. та внутренняя сила, которая живет в ней. И эта сила просится наружу. И я надеюсь и молю Бога, чтобы она восторжествовала».

«В особенности первые дни я был ослеплен красотою ее души, открывшейся вследствие этого разрыва. Она первые дни не могла переносить никакого кого-нибудь к кому-нибудь выражения нелюбви. Я как-то сказал при ней про лицо, написавшее мне бестактное письмо соболезнования: какой он глупый. Я видел, что это больно резнуло ее по сердцу, так же и в других случаях».

«Под влиянием этой скорби в ней обнаружилось удивительное по красоте ядро души ее». «Боль разрыва сразу освободила ее от всего того, что затемняло ее душу. Как будто раздвинулись двери и обнажилась та божественная сущность любви, которая составляет нашу душу. Она поражала меня первые дни своей удивительной любовностью: все, что только чем-нибудь нарушало любовь, что было осуждением кого-нибудь, чего-нибудь даже, недоброжелательностью, все это оскорбляло, заставляло страдать ее. Заставляло болезненно сжиматься обнажившийся росток любви».

«Соня переходит с тяжелым страданием на новую ступень жизни. Помоги ей, Господи». «Хотя как будто перед людьми совестно, радуюсь и благодарю Бога, – не страстно, восторженно, – а тихо, но искренне, за эту смерть (в смысле

плотском), но оживление, воскресение в смысле духовном, – и [ее] и мое. Нынче утром она плакала тихо, и мы хорошо поговорили с ней». «Никогда вы все не были так близки друг к другу, как теперь, и никогда ни в Соне, ни в себе я не чувствовал такой потребности любви и такого отвращения ко всякому разъединению и злу. Никогда я Соню так не любил, как теперь. И от этого мне хорошо».

«Душевная боль ее очень тяжела, хотя, мне думается, не только не опасна, но благотворна и радостна, как роды, как рождение к духовной жизни. Горе ее огромно. Она от всего, что было для нее тяжелого, неразъясненного, смутно тревожащего ее в жизни, спасалась в этой любви, любви страстной и взаимной к действительно особенно духовно, любовно одаренному мальчику. (Он был один из тех детей, которых Бог посылает преждевременно в мир, еще не готовый для них, один из передовых, как ласточки, прилетающие слишком рано и замерзающие.) И вдруг, он взят был у нее, и в жизни мирской, несмотря на ее материнство, у нее как будто ничего не осталось. И она невольно приведена к необходимости подняться в другой духовный мир, в котором она не жила до сих пор. И удивительно, как ее материнство сохранило ее чистой и способной к восприятию духовных истин. Она поражает меня своей духовной чистотой – смирением, особенно. Она еще ищет, но так искренне, всем сердцем, что я уверен, что найдет. Хорошо в ней то, что она покорна воле Бога и только просит его научить ее, как ей жить без существа, в которое вложена была вся сила любви. И до сих пор еще не знает как».

Надеждам Льва Николаевича не суждено было сбыться. Горе Софьи Андреевны не того порядка, из которого возникают глубокие религиозные эмоции. Ее мучения порождались *физической* болью матери, и эти страдания никак не могут перейти в сферу духа. Трогательность, насыщенность таких переживаний позволяет часто допустить наличие в них религиозного содержания, но в действительности они не выходят за пределы материнской тоски, не выводят в мир, а сжигают на собственном огне.

Льву Николаевичу пришлось скоро в этом убедиться, и он с особенной отчетливостью понял все принципиальное различие жизненных устремлений мужчины и женщины, увидал, что его семейная трагедия построена на этом основании. Прежде казалось, что причина несогласия лежит в неудачном сочетании индивидуальных свойств. Теперь, хоть на минуту, была достигнута предельная душевная близость, но и на эту минуту пути не совпали.

«Время проходит и росток [любви] закрывается опять, и страдание ее перестает находить удовлетворение, vent [291] , в всеобщей любви, и становится неразрешимо мучительно. Она страдает в особенности, потому что предмет любви ее ушел от нее, и ей кажется, что благо ее было в этом предмете, а не в самой любви. Она не может отделять одно от другого; не может религиозно посмотреть на жизнь вообще и на свою. Не может ясно понять, почувствовать, что одно из двух: или смерть, висящая над всеми нами, властна над нами и может разлучать нас и лишать нас блага любви, или смерти нет, а есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одно из самых значительных есть смерть, и что изменения эти совершаются над всеми нами, различно сочетаясь – одни прежде, другие после – как волны. Я стараюсь помочь ей, но вижу, что до сих пор не помог ей. Но я люблю ее, и мне тяжело и хорошо быть с ней».

«Как ни больно видеть страдания жены, не имеющей религиозной точки опоры, и как ни безнадежно иногда кажется передать ей эту точку опоры, я не отчаиваюсь и говорю ей все одно и одно, что смерть Ванички есть только маленький, крошечный эпизод жизни, что есть другая жизнь, вечная, Божеская, которой мы можем быть участниками, и такая, живя которой, нет зла, нет горя. Я рад, что она хоть слушает меня и не раздражается, и надеюсь, что от Бога в моих словах, то западет в ее душу».

«Соня все так же страдает, и не может подняться на религиозную высоту». «На ней поразительно видно, как страшно опасно всю жизнь положить в чем бы то ни было, кроме служения Богу. В ней теперь нет жизни. Она бьется и не может еще выбиться в область Божескую, т. е. духовной жизни. Вернуться же к другим интересам мирской жизни, к другим детям, она хочет, но не может, потому что жизнь с Ваничкой и по его возрасту и милым свойствам была самая высокая, нежная, чистая. А вкусив сладкого, не хочется не только горького, но и менее сладкого. Один выход ей – духовная жизнь, Бог, и служение ему ради духовных целей на земле. Я с волнением жду, найдет ли она этот путь. Мне кажется, так бы просто ей было понять меня, примкнуть ко мне, но, удивительное дело, она ищет везде, но только не подле себя, как будто, не то, что не может понять, но не хочет нарочно, понимает превратно. А как бы ей легко было, тем более, что она любит меня. Но горе в том, что она любит меня такого, какого уже нет давно. А того, какой есть, она не признает, он ей кажется чужд, страшен, опасен. Мало того, она имеет rancune [292] против него, в чем, разумеется, я виноват. Но я не

отчаиваюсь и всеми силами души желаю этого, и надеюсь, и делаю, что умею». «Все то прекрасное духовное, что открылось тотчас после смерти Вани, и от проявления и развития чего я ждал так много, опять закрылось, и осталось одно отчаяние и эгоистическое горе».

«Страшно трагично положение матери. Природа вложила в нее прежде всего неудержимую похоть (то же она вложила и в мужчину, но в мужчине это не имеет тех роковых последствий – рождение детей), последствием которой являются дети, к которым вложена еще более сильная любовь и любовь телесная, так как и ношение, и рождение, и кормление, и выхаживание есть дело телесное. Женщина, хорошая женщина, полагает всю свою душу на детей, отдает всю себя, усваивает душевную привычку жить только для них и ими (самый страшный соблазн; тем более, что все не только одобряют, но восхваляют это); проходят года, и эти дети начинают отходить – в жизнь или смерть; первым способом медленно, отплачивая за любовь досадой, как на привешенную на шею колоду, мешающую жить, или вторым способом, смертью, мгновенно производя страшную боль и оставляя пустоту. Жить надо, а жить нечем. Нет привычки, нет даже сил для духовной жизни, потому что все силы эти затрачены на детей, которых уже нет» [293] .

«Всего больше число страданий, вытекающих из общения мужчин и женщин, происходит от совершенного непонимания одного пола другим. Редкий мужчина понимает, что значат для женщин дети, какое место они занимают в их жизни, и еще более редкая женщина понимает, что значит для мужчины долг чести, долг общественный, долг религиозный».

Горе Софьи Андреевны безысходно. Оно все застилает перед ней. И время не залечило ран, и острота не уменьшилась.

По возвращении от сестры из Киева она пишет: «Въехав в дом, пустой без Ванички, я почувствовала такое отчаяние и пустоту, что до сих пор, не переставая, громко и безумно плачу, скрываясь от всех; и не в состоянии одолеть себя… Опять Ясенки, Ясная, Козловка, Тула – и слезы, печаль, тоска по отжитом, счастливом и невозвратном… Очень мне эти дни тяжело, все вновь пережила, все горести и воспоминания: стараюсь взяться за дела, но все неважно мне и тяжело. Ну, да что об этом говорить! Теперь жизнь моя кончена».

«Здесь все – страданье. Здесь больше, чем в Москве, где постоянно видишь людей, чувствуешь свое одиночество и свою потерю того, что мне было дороже всего на свете – любви, участия и общества Ванички и тебя. Мы все живем здесь врознь и сходимся только к repas [294] . Вчера Левочка трогательно позвал

меня погулять. Я пошла с ним, но расстроила его очень, потому что плакала все время; и кроме этого единственного раза, я никуда ни разу не вышла из дому; даже в сад не ходила и не хожу, совсем не могу. Нет для меня ничего: ни природы, ни солнца, ни цветов, ни купанья, ни хозяйства, ни даже детей. Все мертво, на всем могильная тоска».

«Ничего на меня не действует, ничто не волнует, кроме одного живучего и жгучего чувства тоски и безвыходного горя без Ванички. Я тут истомилась ужасно. Даже страшно делается порою, до чего я живо везде вижу Ваничку. По купальной дороге не могу совсем ездить, и во все лето, и то в компании, и только четыре раза купалась. Какая польза от купанья, когда всю дорогу плачешь взад и вперед. Ведь все бугорки с белыми грибками и боровиками, все деревца, все местечки – все мы с ним находили, везде исходили, и теперь смотришь в пустоту, душа разрывается, глотаешь слезы, чтоб других не расстраивать и не мешать жить, да и разразишься рыданьями одна, дома, в своей комнате, перед портретом Ванички, и плачешь, плачешь, просто мука! Перед свадьбой Сережи [295] стало немного легче, а теперь ждать нечего, все стало все равно, и только жду, жду, с болезненным нетерпением, что кончится когда-нибудь моя мучительная жизнь, жизнь тела, томящегося без души, а душу унес с собой Ваничка».

«Пока Левочка жив, еще и я жива, а потом уйду куда-нибудь при монастыре жить. Есть женский монастырь в 1/2. версте от могилки Ванички и Алеши; там я хочу кончить жизнь».

Отношения Софьи Андреевны и Льва Николаевича продолжают быть теплыми, ласковыми. Порою возникают прежние несогласия («по старым ранам»), поднимаются снова тяжелые вопросы «о сочинениях и доходе с них, разделе, воровстве, вегетарианстве», но все это стушевывается, оставляя место жалости и любви.

В октябре, проводив Софью Андреевну в Москву, Лев Николаевич записывает в дневнике: «Сейчас уехала Соня с Сашей. Она сидела уже в коляске, и мне стало страшно жалко ее: не то, что она уезжает, а жалко ее, ее душу. И сейчас жалко так, что насилу удерживаю слезы. Мне жалко то, что ей тяжело, грустно, одиноко. У ней я один, за которого она держится, и в глубине души она боится, что я не люблю ее, не люблю ее, как могу любить всей душой, и что причина того – наша разница взглядов на жизнь. И она думает, что я не люблю ее за то, что она не пришла ко мне. Не думай этого. Еще больше люблю тебя, все понимаю и знаю, что ты не могла, не могла придти ко мне, и оттого осталась одинока. Но ты не одинока. Я с тобой, я такую, какая ты есть, люблю тебя и люблю до конца, так, как больше

любить нельзя».

Письмо жене: «Хотел тебе написать, милый друг, в самый день твоего отъезда, под свежим впечатлением того чувства, которое испытал, а вот прошло полтора дня, и только сегодня, 25-го, пишу. Чувство, которое я испытывал, было странное умиление, жалость и совершенно новая любовь к тебе, любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя и испытал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это, и знаю, что от того, что я выскажу его, оно не изменится. Напротив, начавши писать тебе, испытываю то же. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я все надеюсь, что они разойдутся перед ночью и что закат будет совсем светлый и ясный».

Ответ Софьи Андреевны: «Сегодня такая радость была и твое письмо, и Левино, и отношение мальчиков ко мне. Те облачка, которые, как тебе кажутся, еще затемняют иногда наши хорошие отношения, совсем не страшны; они часто внешние – результат жизни, привычек, лень их изменить, слабость, но совсем не вытекающие из внутренних причин. Внутреннее – самая основа наших отношений – остается серьезная, твердая и согласная. Мы оба знаем, что хорошо и что дурно, и мы оба любим друг друга. Спасибо и за это. И мы оба смотрим на одну точку, на выходную дверь из этой жизни, не боимся ее, идем вместе и стремимся к одной цели – Божеской. Какими бы путями мы ни шли, это все равно».

«Письма твои, ласковые и добрые как свет изнутри, мне все освещают». «Точно ты мне открыл свои душевные двери, которые долго были заперты от меня крепким замком; и теперь мне все хочется входить в эти двери и быть душевно с тобой. В прежних наших разлуках нам часто хотелось сойтись для жизни совместной материальной; теперь же естественно и непременно должно прийти к тому, чтоб нам врознь было *душевно* одиноко и чтоб душевно хотелось жить одной жизнью».

X

В конце восьмой главы было указано на увеличившееся за последнее время предрасположение Софьи Андреевны к истерии и на причины ее. Неожиданное потрясение совершенно парализует сдерживающие силы, и истерическое состояние овладевает ею. Оно усиливается, достигая предельного напряжения [296] .

Живой характер Софьи Андреевны не позволяет долго оставаться в бездействии. Но все прошлое омрачено последним горем, и Софья Андреевна ищет удовлетворение в новой деятельности, которая берет все ее внимание, переносит в другой мир и помогает забыться.

«Одно, что меня развлекает, это музыка… Я слушаю, слушаю, да вдруг отвлечет мое внимание, потянет меня за Бетховеном или *Chopin,* и я на минуту забуду свое горе». «Где могу, слушаю музыку, сама играю». «Живу от концерта до концерта».

Окружающих, однако, смущало неожиданное увлечение Софьи Андреевны, они видели в нем тревожные проявления болезни, и, кажется, никто ему не сочувствовал, кроме Льва Николаевича, на первых порах снисходительно относившегося к этой затее, в надежде, что новые интересы помогут Софье Андреевне прийти в уравновешенное состояние [297] .

В действительности это увлечение привело к осложнениям, волновавшим семью в течение нескольких лет.

Среди пианистов, с которыми поддерживала знакомства Софья Андреевна, был композитор Сергей Иванович Танеев [298] .

Вскоре после смерти Ванички он был в Хамовниках, много играл и утешал Софью Андреевну музыкой. Лето, по приглашению Толстых, Танеев провел в Ясной Поляне, зимой они часто виделись у них в доме и у знакомых и на музыкальных собраниях. Следующее лето он также гостит в Ясной, но на этот раз его присутствие смущает Толстых. Свое возбужденно-восторженное отношение к музыке Софья Андреевна перенесла лично на Танеева. Причины были понятны для всех, но самый факт сильно смущал, а Льву Николаевичу доставил много душевных страданий.

Мы вступаем здесь в область жизни, не поддающуюся никаким точным определениям. Отношения Софьи Андреевны к Танееву не были теми отношениями, которые могли бы поставить вопрос о достоинстве замужней женщины, о ее супружеской верности, но в то же время они неприятны семейным, приносят

огорчения мужу, вызывают в нем ревность и чувство незаслуженного оскорбления. Единодушные свидетельства современников, тщательное изучение семейных архивов Толстых, а также архива С. И. Танеева, приводят к убеждению, что эта страница жизни Софьи Андреевны не бросает никакой тени на ее имя, что Танеев, вообще равнодушный к женщинам, вероятно, мало подозревал о степени произведенного им впечатления, и что этот эпизод является следствием истерического состояния больной женщины, которая по-женски перенесла свое увлечение музыкой на представителя этого искусства.

Семейные и близкие не могли спокойно относиться к такому положению, оно задевало их, и иногда вместе с Софьей Андреевной они обсуждали его. С мужем она часто говорила об этом, ее мучило его тяжелое состояние, она всем существом чувствовала, что ее отношение к нему нисколько не изменилось, и в то же время не могла и даже не хотела побороть себя и продолжала неприятное для Льва Николаевича знакомство с Танеевым, постоянно виделась с ним, приглашала его в свой дом, живо интересовалась волнующими его вопросами музыкального мира, встречалась с ним у знакомых, на концертах и оттуда провожала его в своем экипаже, причиняя этим Льву Николаевичу мучительные страдания.

Софья Андреевна в состоянии крайней истерии, и хотя он понимает это, но страдает бесконечно. В нем говорит и простая житейская ревность, и чувство оскорбления за себя, за жену, жалость к ней и возмущение против нее. Он стремился к смирению и в то же время резко протестует, доходя порою до мысли об уходе из дома.

В течение трех лет (1896–1898) семейная жизнь омрачена и идет с перебоями. Временами все как будто входит в норму, но в действительности больное место постоянно себя дает чувствовать.

Записи этих лет рисуют беспристрастно создавшееся положение [299] .

Весна – лето 1896 года.

Софья Андреевна – сестре: «Переехали мы все в Ясную, и такая опять на меня нашла грусть! Не уйдешь никак от воспоминаний, сожалений о том, что утратила. Сегодня я проплакала весь день почти. Чувствую себя голой осиной, с которой облетели листья и которая, качаясь, дрожит, трещит и сама скоро надломится. Нет ни вас, ни Ванички, ни четырех старших сыновей… Пора умирать – жить стало не для чего. В Москве было лучше. Я одуряла себя музыкой, развлекаясь общением с людьми, убегала часто из дому. Здесь же подвелись

итоги жизни и почувствовалась какая-то пустота внутренняя. Ни на что больше в жизни не осталось энергии; ничего не хочется делать; даже из дому не выхожу и не хочется никуда… Флигель отдали опять за 130 рублей Танееву, которого и ждем на днях и радуемся, что он будет у нас. Его чудесная игра и веселый, добрый нрав необыкновенно приятны в жизни и общении с ним».

Два месяца спустя: «Милая Таня, если я тебе долго не пишу, то это значит, что я слишком хотела бы тебе все *рассказать,* повидать тебя, излить тебе всю душу, – и не могу ничего *писать.* Во-первых, письма наши все подлежат пересмотру, и их читают разные чиновники; во-вторых, того не напишешь, что составляет твою святую святых. Саша тебе, верно, рассказывал, как мы живем *внешне,* и все у нас хорошо и благополучно. А вместе с тем много трагического бывает в нашей семейной жизни. Ничего именно не случилось, событий никаких новых нет, а что-то надломилось».

Из дневника Льва Николаевича: «За это время переживал много тяжелого. Господи, Отец, избавь меня от моего гнусного тела. Очисти меня и не дай погибнуть и заглохнуть. Твоему духу во мне».

«Утро. Всю ночь не спал. Сердце болит, не переставая. Продолжаю страдать и не могу покорить себя Богу. Одно: овладел похотью, но хуже – не овладел гордостью и возмущением и, не переставая, болею сердцем. Одно утешает: я не один, но с Богом, и потому, как ни больно, чувствую, что что-то совершается. Помоги, Отец. Вчера шел в Бабурине и невольно (скорее избегал, чем искал) встретил 80-летнего Акима пашущим, Яремичеву бабу, у которой во дворе нет шубы и один кафтан, потом Марью, у которой муж замерз, и некому рожь свозить, и морит ребенка, и Трофим, и Халявка, и муж и жена умирают и дети их. А мы Бетховена разбираем. И молился, чтобы он избавил меня от этой жизни. И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь».

«Много еще страдал и боролся и все не победил ни того, ни другого. Но лучше… Испортили мне и дневник: пишу в виду возможности чтения живыми. Поправило меня только сознание того, что надо жалеть, что она страдает и что моей вины нет конца».

Дневник С. И. Танеева: «Лев Николаевич при встрече со мной сказал, что ему неприятно, что он в вчерашнем разговоре со мной сердился».

Запись Льва Николаевича в тот же день: «Сейчас вечер, 5-й час. Лежу и не могу заснуть. Сердце болит. Измучен. Слышу в окно, играют в теннис, смеются. Соня уехала к Шеншиным. Всем хорошо. А мне тоска, и не могу совладать с собой. Похоже на то

чувство, когда St. Thomas [300] запер меня, и я слышал из своей темницы, как все веселы и смеются. Но не хочу. Надо терпеть унижение и быть добрым. Могу».

Осенью.

Письмо Софьи Андреевны – Л. Ф. Анненковой: «Участие ваше мне очень дорого, но я хотела бы откровенно, как всегда, вам все рассказать, если бы я сама понимала ясно и хорошо, что делается у меня на душе. Одно знаю, что в сердце моем есть такое теперь еще новое место, которое, когда его тронешь, болезненно содрогается и ноет, и сделалось это вследствие всего того, что вы видели сами это последнее время. Меня нечего убеждать ценить и любить того редкого, как вы пишете, и достойного во всех отношениях человека, с которым я теперь связана судьбой уже 34 года. Я не знаю, можно ли больше любить, как я его всегда и теперь особенно люблю. Он был нездоров недавно своей обычной желудочно-желчной болезнью. Я увидала, как он быстро похудел и даже постарел, после этого припадка, и на меня напал такой ужас, такая нежность к нему, и страх, что вот-вот и его не станет, как прежде никогда со мной не бывало. Теперь он опять здоров, я вчера только уехала из дому и надеюсь, что он опять окрепнет и поздоровеет совсем…

О своем отношении к тому делу и человеку, который невольно и даже совсем неведомо для него самого нарушил мой семейный мир, я одно могу сказать, что я в эту область, с его отъезда, не заглядываю и стараюсь не думать. Мне очень больно и жалко прервать с ним дружеское знакомство и обидеть прекрасного, доброго и кроткого человека, но от меня этого настойчиво требуют. Месяц тому назад он уехал из Ясной и, вероятно, на днях я его увижу здесь. Что я почувствую, увидав его опять, совсем не знаю. Может быть, радость, может быть, ровно ничего, а вернее, мне будет неловко и, главное, тяжело, что он невинная причина моего горя вследствие душевного состояния моего мужа. Минутами сердце мое возмущается, и мне не хочется уступить радости тех музыкальных минут, которые давал мне этот человек; не хочется отказаться от тех простых ласково-дружеских отношений, которые мне дали столько хороших часов в моей жизни эти два последние года. Ведь отношения эти были так чисты, просты, симпатичны; но, когда я вспомню страдания моего мужа, его слепую ревность, мне делается страшно, горько, стыдно и хочется просто как-нибудь уйти из жизни, даже умереть, лишь бы не чувствовать на себе этих обидных обвинений, мне, которая всю жизнь больше всего дорожила своей чистотой и строгостью поведения; чтоб ни муж, ни дети не могли никогда краснеть за меня. А теперь даже страшно думать о каких бы то ни

было подозрениях, – ведь мне 52 года минуло! Впрочем, я дурно выразилась: подозрений и нет и не может быть. Есть только сердечно-деспотическое требование нераздельной любви исключительно к себе и своей семье. И надо стараться это исполнять. В будущем все страшно. Лев Николаевич еще далеко не успокоился, а я не сумею, может быть, его успокоить, чувствую, что теряю сама душевное равновесие, которое утратила со смертью Ванички. Душа продолжает томиться, искать утешения, новых ощущений совсем в других областях, чем те, в которых я жила при жизни моего милого мальчика. Куда меня вытолкнет, совсем не знаю. Спасибо, что молитесь за нас: может быть, Бог услышит вашу молитву».

Из дневника Льва Николаевича: «За это время была поездка в монастырь с Соней. Было очень хорошо. Я не освободился, не победил, а только прошло».

Из писем к жене: «Как мне тебя жалко, не могу сказать. Погода точно такая, какая была, когда праздновали твои именины с музыкой от полковника Юноши и танцевали на террасе. Особенно жалко, что ты именно именины не проведешь вместе с нами. Хорошо ли ты съездила к Пете? Почти не переставая думаю о тебе. Праздновали тогда твои именины в тот год, как привезена была Дагмара: это лет 20 [301] тому назад. Очень хорошо было мое чувство к тебе. Я его очень помню».

«В тебе много силы, не только физической, но и нравственной; только недостает чего-то небольшого и самого важного, которое все-таки придет, я уверен. Мне только грустно будет на том свете, когда это придет после моей смерти. Многие огорчаются, что слава им приходит после смерти; мне это нечего желать; я бы уступил не только много, но всю славу за то, чтобы ты при моей жизни совпала со мною душой так, как ты совпадешь после моей смерти».

Письмо мужу: «Все думаю о тебе, милый друг, и в первый раз в жизни эту осень я признала, что действительно года идут наши, и старость несомненно наступила; что будущего уже нет, а есть прошедшее, за которое надо благодарить Бога, и есть настоящее, которым надо дорожить каждую минуту, и просить Бога, чтоб он помог нам ничем его не портить».

Софья Андреевна – сестре: «Моя жизнь вся сосредоточилась на музыке: только ей я живу, учусь, езжу в концерты, разбираю, покупаю ноты, но вижу, что во всем опоздала и успехов почти не делаю, и мне делается грустно. Это своего рода помешательство, но чего же и ждать от моей разбитой души? Я так и не пришла в нормальное состояние после смерти Ванички, а жила и живу изо дня в день, не интересуясь ничем, а убиваю время и, главное,

развлекая себя, чтоб забыться в чем-нибудь, увлечься, хотя бы самым диким образом. Левочка стал со мной необыкновенно ласков и терпелив. Я последнее время как-то особенно чувствую его над собой влияние, в смысле духовной охраны. Он понял потерю моего душевного равновесия и постоянно мне помогает добро и ласково».

Лев Николаевич – жене: «От тебя еще не было ни одного письма, милый друг Соня, а я пишу уже третье. Я знаю, что ты не виновата, но мне приятно самому себе похвастаться своим чувством к тебе. Не переставая, думаю о тебе, и так хочется влить в тебя спокойствие и уверенность, которые сам чувствую в жизни и которых, я знаю, тебе недостает, и без которых жить и страшно и стыдно, точно мне дали хорошее приличное платье, а я все надел навыворот и хожу, неприлично оголившись. Знаю и утешаюсь тем, что это временно. Та сила жизни, энергия жизни, которая есть в тебе, запутавшись сначала после потери привычного русла и попадая, куда не надо, найдет тот путь, который предназначен, – один и тот же всем нам. Я надеюсь и верю, потому что я люблю тебя. Самыми странными и непредвиденными путями, но сила жизни найдет предназначенное ей русло». «Как-то жутко за тебя: ты кажешься так не тверда и вместе с тем так дорога мне».

Софья Андреевна – Льву Николаевичу: «В вагоне я все вспоминала, как я растерялась глупо, и как ты меня окружил рукой и повел как ребенка. И сразу мне стало спокойно, и я отдалась в твою волю, потеряв свою. Как жаль, что в жизни моей так мало мне приходилось отдаваться твоей воле; это очень радостно и спокойно. Но ты неумело брался за это, и не последовательно, а лихорадочно: то страстно, то вовсе забывая и бросая меня, то сердясь, то лаская, обращался со мной… Что-то у меня переменилось в моих душевных отношениях к тебе, и что-то стало хорошее. Иногда хорошо бы сделаться слабой, чтобы полюбить ту силу, которая тебя поддержит именно в ту минуту, когда это было нужно. И со мной так было в эти полтора года слабости души и тела со смерти Ванички».

«Твои частые письма для меня все та же твоя рука, которая, обняв меня сзади, повела и поддержала меня насильно, когда я испугалась приближавшегося поезда и совершенно растерялась. Спасибо тебе за них. Я совсем не достойна твоей доброты, чувствую себя настолько хуже тебя, что никогда не подняться мне до твоего душевного состояния. Но я постараюсь и надеюсь достичь того, что никогда уже не сделаю тебе больно, ничем, даже в мелочах. Далеко мне еще до того, чтобы приобрести полное спокойствие души, и не вижу я еще ясно пути моей

будущей энергической жизни. Все назади, а вглядишься вдаль, вперед, и только мрак. Лучше не глядеть. Сила же моей энергии, о которой ты говоришь, продолжает быть направлена на то, чтоб *забываться.* Если не достигаешь этого, сейчас [же] болезненная тоска. Впрочем, после поездки в Ясную я живу лучше, бодрее и тверже».

Лев Николаевич – Софье Андреевне: «Ты спрашиваешь, люблю ли я все тебя? Мои чувства к тебе такие, что мне думается, что они никак не могут измениться, потому что в них есть все, что только может связывать людей… Нет не все. Недостает внешнего согласия в верованиях; я говорю – внешнего, потому что думаю, что разногласие только внешнее, и всегда уверен, что оно уничтожится. Связывает же и прошедшее, и дети, сознание своих вин, и жалость, и влечение непреодолимое. Одним словом, завязано, зашнуровано плотно. И я рад».

Последнее письмо написано в середине ноября. А в декабре Лев Николаевич отмечает в дневнике: «Пять дней прошло и очень мучительных. Все то же. Вчера ходил ночью гулять, говорили. Я понял свою вину. Надеюсь, что и она поняла меня. Мое чувство: я узнал на себе страшную гнойную рану. Мне обещали залечить ее и завязали. Рана так отвратительна мне, так тяжело мне думать, что она есть, что я постарался забыть про нее, убедить себя, что ее не было. Но прошло некоторое время, рану развязали, и она, хотя и заживает, все-таки есть. И это мучительно мне было больно, и я стал упрекать, и не справедливо, врача. Вот мое положение. Главное – приставленный ко мне бес. Ах эта роскошь, это богатство, это отсутствие заботы о жизни материальной, как переудобренная почва. Если только на ней не выращивают, выпалывая, вычищая все кругом хорошие растения, она зарастает страшной гадостью и станет ужасна. А трудно – стар, и почти не могу. Вчера ходил, думал, страдал и молился, и, кажется, не напрасно».

«Все так же тяжело. Помоги, Отец. Облегчи. Усилься во мне, покори, изгони, уничтожь поганую плоть и все то, что через нее чувствую. Сейчас разговор об искусстве и рассуждение о том, что заниматься искусством можно только для любимого человека. И пожелание сказать это мне. И мне не смешно, не жалко, а больно. Отец, помоги мне. Впрочем, уже лучше. Особенно успокаивает задача, экзамен смирения, унижения, совсем неожиданного, исключительного унижения. В кандалах, в остроге можно гордиться унижением, а тут только больно, если не принимать его, как посланное от Бога испытание. Да, выучись перенести спокойно, радостно и любить!»

«Плохо выучиваюсь. Все страдаю, беспомощно, слабо…

Сейчас была Соня. Говорили. Только еще тяжелее стало».

«Гадко, что хочется плакать над собой, над напрасно губимым остатком жизни. А может быть, так надо. Даже наверное так надо».

Софья Андреевна – сестре: «О себе ничего хорошего не могу… написать. Какая-то я вышла шальная, и только и покойна, когда играю на фортепиано. Вообще сложная и трудная вещь – жизнь человека. Сколько в ней всего неожиданного, и так мало, в сущности, хорошего! Как я рада, что ты нашла счастье в простых радостях: сажать, жить с природой и устраивать уголок красивый и удобный, который ты любишь. А я разлюбила Ясную и природу, – может быть, только пока, – и полюбила музыку и город. Напиши мне, милая Таня, и не забывай меня грешную, но очень тебя горячо любящую».

В дневнике Льва Николаевича: «Рано утром. Не сплю от тоски. И не виновата ни желчь, ни эгоизм и чувственность, а мучительная жизнь. Вчера сижу за столом и чувствую, что я и гувернантка, мы оба одинаково лишние, и нам обоим одинаково тяжело. Разговоры об игре Дузе [302] , Гофмана [303] , шутки, наряды, сладкая еда идут мимо нас, через нас. И так каждый день и целый день. Не на ком отдохнуть… Бывает в жизни у других хоть что-нибудь серьезное, человеческое: ну, наука, служба, учительство, докторство, малые дети, не говорю уж, – заработок или служение людям, а тут ничего, кроме игры всякого рода и жранья и старческий flirtation [304] или еще хуже, – отвратительно. Пишу с тем, чтобы знали, хоть после моей смерти. Теперь же нельзя говорить. Хуже глухих – кричащие. Она больна, это правда, но болезнь-то такая, которую принимают за здоровье и поддерживают в ней, а не лечат. Что из этого выйдет, чем кончится? Не переставая, молюсь, осуждаю себя и молюсь. Помоги, как ты знаешь».

«Почти всю ночь не спал. Проснулся от того, что видел во сне все то же оскорбление. Сердце болит. Думал: все равно, от чего-нибудь умирать надо. Не велит Бог умереть ради его дела, надо так глупо, слабо умирать от себя, из-за себя. Одно хорошо, это то, что легко вытесняет из жизни. Не только не жалко, но хочется уйти от этой скверной, унизительной жизни. Думал, и особенно больно и нехорошо то, что после того, как я всем Божеским: служением Богу жизнью, раздачей именья, уходом из семьи, пожертвовал для того, чтобы не нарушить любовь, – вместо этой любви должен присутствовать при унизительном сумасшествии. Это скверные, слабые мысли. Хороши мысли те, что это самое послано мне, это я должен нести, это самое нужно мне. Что это не должно, не может нарушать моей жизни служения Богу. Мои

страдания – доказательства того, как я мало живу жизнью служения Богу. Это, как все то, что выступает за броню Божественной жизни, – оно и уязвимо. Буду бороться».

«Соня без меня читала этот дневник, и ее очень огорчило то, что из него могут *потом* заключить о том, что она была нехорошей женой. Я старался успокоить ее; вся жизнь наша и мое последнее отношение к ней покажет, какой она была женой. Если она опять заглянет в этот дневник, пускай сделает с ним, что хочет, а я не могу писать, имея в виду ее или последующих читателей, и писать ей как будто свидетельство. Одно знаю, что нынче ночью ясно представил себе, что она умрет раньше меня, и ужасно стало страшно за себя. 3-го дня я писал ей, что мы особенно, вновь и понемногу (что всегда бывает особенное твердо), начали сближаться лет 5 или 4 тому назад и хорошо бы, чтобы это сближение все увеличивалось до смерти одного из нас, – моей, которая, я чувствую, очень близка».

XI

В феврале 1897 года близкие друзья Льва Николаевича, В. Г. Чертков и П. И. Бирюков, за их участие в деле духоборов были высланы – один за границу, другой в Прибалтийский край. Жестокая несправедливость правительства возмутила и Софью Андреевну. Она вместе со Львом Николаевичем ездила в Петербург на проводы и искренне сочувствовала всему, что там видела и слышала, изменив на время свое отношение к друзьям мужа.

Но такое настроение продолжалось недолго; начались снова приливы и отливы.

Софья Андреевна сообщает сестре и Л. Ф. Анненковой: «Тяжелое впечатление произвела на всех (не говорю уже о нас) эта неожиданная и незаслуженная высылка Черткова и Бирюкова, – первого в Англию, он сам этого желает, а Бирюкова в Бауск Курляндской губернии, на пять лет. Их присудили за вмешательство в дела правительственные по духоборческому вопросу. Я же думаю, что Победоносцев из ненависти к Толстому разогнал его друзей, и это противно. Что же касается дела духоборов, то если бы поехали туда бунтовать людей, то это было бы непозволительно, и этого правительство допустить не может. Но Чертков, собрав документы, хотел изложить честно и правдиво государю в сжатой записке гонения на духоборов и просить милости царя. Что же тут вредного для России? Даже понять нельзя. К радости моей и удивлению, все петербургское общество в разных слоях негодует на эти ссылки и отлично понимает источник злобы. Ну, да Бог с ними; то место в истории, которое займут Толстой и его последователи, насколько завиднее того, которое достанется на долю разных господ, вроде Победоносцева и К°. Отлично охарактеризовал простой человек двух привезенных в Бауск преступников, из которых один – Бирюков, другой – убийца: «Не поймешь, право: одного сослали за то, что убивал людей, другого за то, что не велит убивать людей». «Я очень плакала вообще, потому что считаю их одними из лучших самоотверженных и преданных друзей, и жаль было с ними расставаться».

Лев Николаевич – В. Г. Черткову: «Очень много хорошего было в вашем отъезде. Я это увидал на Софье Андреевне. На нее все, что она видела и слышала, произвело очень сильное и очень хорошее впечатление, и я знаю, что непроходящее. Я вижу, что она безоговорочно полюбила вас обоих, и мне это очень радостно, потому что полюбить вас (простить), значит полюбить добро.

Потому-то мне и тяжело было так, когда она выражала к вам недобрые чувства».

Жене: «Как только ты уехала, да еще и до того, как ты уехала, мне сделалось ужасно грустно, грустно за то, что мы так огорчаем друг друга, так не умеем говорить. Главное, потому, что у меня к тебе и вообще не было после Петербурга, а особенно в нынешнее утро, никакого другого, кроме самого хорошего, любовного чувства и никаких других соображений, меня огорчающих. Их и теперь нет. Пишу это затем, чтобы сказать тебе, что это чувство осталось и еще усилилось во мне после твоего отъезда, и я виню себя за то, что не могу выучиться обращаться с тобой не логикой, а другим – чувством… Целую тебя нежно и просто».

Софья Андреевна – Льву Николаевичу: «Я рада, что ты признал наконец, что я живу только чувством. Ты обращаешься все к моему разуму, а я хорошо знаю, что все, до чего я не умела додуматься разумом, все поправляло сердце. Прежде, чем ты измучил меня этим последним неприятным разговором, я написала детям очень горячо о том, как теперь, когда ты лишился стольких друзей, мы должны как можно ближе быть к тебе и стараться, чтоб ты не так больно чувствовал их отсутствие. И сколько раз в моей жизни было, что чем горячее я относилась к моим сердечным отношениям к тебе, тем холодней и больней ты отталкивал меня. В словах твоих не было ничего особенно оскорбительного, но в враждебном тоне, в упреках, которые чувствовались во всем, было много злобной горечи, которая как раз попадала на мое умиленное сердце и сразу охладила его. И как это жаль!»

Лев Николаевич – Софье Андреевне: «Хочется еще писать тебе после того, как ты поговорила в телефон. Грустно, грустно, ужасно грустно. Хочется плакать. Вероятно, тут большая доля физической слабости, но все-таки грустно, и ничего не хочется и не можется делать. Но не думай, чтоб ты была чем-нибудь причиной. Я потому и пишу тебе, что в этом чувстве нет ни малейшей доли упрека или осуждения тебя, да и не за что. Напротив, многое в тебе – твое отношение к Черткову и Бирюкову – радует меня. Я пишу, что логикой нельзя действовать на тебя, да и вообще на женщин, и логика раздражает вас, как какое-то незаконное насилие. Но несправедливо сказать, что нельзя ставить логику впереди чувства, [что] надо, напротив, впереди ставить чувство. Впрочем, ничего не знаю; знаю, что мне больно, что я тебе сделал больно, и хотел бы, чтоб этого не было, и мне, кроме физических причин или вместе с физическими причинами, от этого очень грустно. Это у меня пройдет. А если у тебя будет, напиши, милая, и мне будет большая радость чувствовать, что я

тебе нужен».

В дневнике: «Нынче получил письмо от Сони. Все это сблизило нас. И, кажется, я освободился вполне».

Из письма: «Нынче Софья Андреевна была у дантиста, и он нашел у нее на десне опухоль, о которой намеком выразил подозрение, что это может быть рак. Она хотя и очень мало, но смутилась, как все мы, а мне так мучительно стало жалко и страшно за нее, что я понял, как она, именно она, дорога и важна мне. Завтра покажем врачу. Разумеется, вероятность того, что это рак, есть одна против ста. Я пишу это только потому, что хочу высказать то сильное чувство, которое я испытал и которое показало мне всю ту силу связи и физической – детей и любовных страданий, которые мы пережили вместе и друг от друга» [305] .

Это в марте, а в апреле Лев Николаевич отмечает в дневнике: «Спокойствие не потерял, но душа волнуется, но я владею ею. О, Боже! Если бы только помнить о своем посланничестве, о том, что через тебя должно проявляться (светить) Божество! Но то трудно, что если это помнить только, то не будешь жить; а надо жить, энергически жить и помнить. Помоги, Отец. Молился много последнее время о том, чтобы лучше была жизнь. А то стыдно и тяжело от сознания незаконности своей жизни» [306] .

Софья Андреевна: «Милая Таня, сегодня получила с радостью твое письмо… Теперь мы поменялись ролями и ты встречаешь весну среди природы, а я сижу в городе… Я долго жила в известных рамках, с детской жизнью, с правильными переездами из деревни в город и обратно, с определенными обязанностями и привязанностями. Теперь душа моя не уживается в этих формах и условиях, и я знаю, что это дурно, неблагодарно судьбе, но я просто *не могу* находить радости ни в чем том, в чем находила раньше. Это сделалось со смерти Ванички, и этого починить нельзя. Эти два лета я утешалась музыкой и очень привязалась к человеку, который меня утешал своей превосходной игрой и своим кротким, веселым присутствием. Но и его не будет это лето. Думаю много ездить, но что Бог даст!»

Лев Николаевич – в мае: «Почти месяц не писал. Нехороший и неплодотворный месяц. Вырезал, сжег то, что написано было сгоряча».

Письмо жене через десять дней: «Как ты доехала и как теперь живешь, милый друг? Оставила ты своим приездом такое сильное, бодрое, хорошее впечатление, слишком даже хорошее для меня, потому что тебя сильнее недостает мне. Пробуждение мое и твое появление [307] – одно из самых сильных, испытанных мною, радостных впечатлений, и это в 69 лет от 53-летней женщины!.. Нынче два раза была чудная гроза с молниями\'. Лето

спешит жить – сирень уже бледнеет, липа заготавливает цвет, в глуби сада в густой листве горлинки и иволга, соловей под окнами удивительно музыкальный. И сейчас ночь, яркие, как обмытые звезды, и после дождя запах сирени и березового листа».

Ответ Софьи Андреевны: «Получила сегодня твое ласковое письмо, милый Левочка, и потом все радовалась… Я думала, что сколько раз в нашей супружеской жизни были эти волны: подъема и упадка наших отношений. С какой сильной душевной энергией и радостью я всегда встречала эти подъемы. И мне казалось сегодня, что и на закате нашей жизни он опять возможен и был бы опять радостен. И что теперь не надо портить наших хороших отношений ни чтением дневников жестоких, ни ревнивыми мыслями, ни упреками, ни презрением к занятиям твоим или моим, надо *беречь* отношения. Уж так много безвозвратно утеряно, и так болезненно прикосновение ко всему наболелому в прошедшем… Все это я думала. А что сделает жизнь, это еще Бог знает!» Письмо сестре через две недели: «В Ясной страшно скучно и одиноко. После того, как вы перестали жить, как умер Ваничка, еще не было такого унылого и одинокого лета. Чертковых тоже нет; гостящих приятных людей, как покойный Страхов и как был эти два лета Танеев, тоже нет… Так вот, милая Таня, моя безотрадная жизнь, и писать не хочется ни к кому. Да и еще есть разные осложнения, всего не напишешь. И теперь все будет хуже и хуже, печальнее и печальнее».

Последние записи относятся к маю 1897 года. А 8 июня Лев Николаевич хотел совсем уйти из дома. Неизвестно, почему он не выполнил этого намерения. Он написал жене два письма. Одно, видимо, для нее лично, другое – «официальное» – должно было служить ответом на недоумения, которые возникли бы во всем мире. Предполагая оставить жену, Лев Николаевич позаботился об ограждении ее от досужих толков и сплетен, понимая, что его шаг произвел бы большой шум, большую сенсацию. Софья Андреевна получила эти письма лишь после смерти Льва Николаевича. Первое осталось никому не известным, оно не сохранилось. Второе приводится здесь полностью.

«Дорогая Соня, уже давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог; уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хотя того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас; продолжать же жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать – уйти; во-

первых, мне, с моими все увеличивающимися годами все тяжелее и тяжелее становится эта жизнь, и все больше и больше хочется уединения, а, во-вторых, потому что дети выросли, влияние мое уже в доме не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие.

Главное же то, что, как индусы под 60 лет уходят в лес, как всякому старому, религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью.

Если бы открыто сделать это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы остался, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, и в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня, и не сетуй на меня, не осуждай меня.

То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты *не могла,* буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а, напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты, со свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать, и дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде нашей жизни, последние 15 лет мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому, что не мог иначе.

Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной, а благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня. Любящий тебя Лев Толстой».

Осень 1897 года.

Лев Николаевич пишет: «С ужасом думаю о поездке в Москву». «Боюсь, что ты досадуешь на меня на то, что я не приезжаю, и надеюсь, что ты понимаешь, как мне, несмотря на разлуку с тобой, хорошо и прямо нужно жить в тихом уединении, как теперь, чтобы сделать все то, что я могу и должен сделать в последние, а может, и последний год, а может быть, и не год, а месяц моей жизни. Здесь я как будто и скучаю, и часто ничего не

делаю, делаю пасьянс, читаю газету, и результат тот, что и в голове уясняется и на бумаге пишется то, что, думается, нужно… Что ты? Напиши же мне про себя хорошенько, чтоб я чувствовал тебя».

Софья Андреевна: «Этот вопрос: сержусь ли я, что ты не едешь, мне разрешить всегда трудно. Ты совершенно прав, говоря, что тебе важно уединение для твоей работы, что тебе не долго, может быть, осталось жить и ты дорожишь и временем и досугом своим, – весь мир, все человечество, которому ты служишь своим писательством, найдут, что ты совершенно прав. Но мне, как отдельной личности, как жене твоей, надо делать большие усилия, чтоб признать, что то, что немного лучше или хуже, меньше или больше написано статей, важнее моей личной жизни, моей любви к тебе. Мое желанье жить с тобой и находить в *этом* счастье, а не *вне* этого. Это я пишу тебе как рассуждение, а не как вызов. Теперь я приспособилась и не скучаю и жить хорошо и без тебя. Мне даже часто кажется, что когда мы врознь телом, мы больше вместе душой, а как сойдемся материально, так больше разойдемся душевно. Твой аргумент, что, может быть, не долго осталось жить, и я могла бы в свою пользу сказать: то тем более надо бы последнее время доживать *вместе.* Но последнее время, особенно после чтения биографии Бетховена, я прозрела окончательно, что люди, служащие искусству, получающие за это высший дар – *славу,* уже не могут отказаться от этого соблазна и откидывают все, что стоит на дороге к этой славе и мешает этому служению. У Бетховена, к счастью, не было семьи, и потому он был прав. Все это я передумываю и переживаю. Ты хотел меня *почувствовать,* а я боюсь, что тебе неприятно то, что я пишу. Но как-нибудь надо относиться ко всем обстоятельствам жизни, и не остановишь ни работы мысли, ни борьбы разных чувств… Часто думаю о тебе и чувствую, как мимо меня проходят все твои дни и мысли, и интересы, – уходят в статьи, повести, в Англию, в чертковские письма и т. д. Прежде твои писанья сливались со мной, и я везде себя чувствовала».

«Таня говорила даже, что ты говорил, будто жизнь твоя в Москве – *самоубийство.* Так, как ты ставишь вопрос, что ты приезжаешь для меня, то это не самоубийство, а я тебя убиваю, и вот спешу тебе написать, что ради Бога, не приезжай; твой мучительный приезд лишит нас обоих спокойствия и свободы. Ты будешь считать себя постепенно *убиваемым,* я буду считать себя *убийцей.* Хороша жизнь во имя любви… Теперь я тебя ждать больше не буду. Всякое напряжение душевное мне стало невыносимо. Буду проводить вечера в концертах, сколько возможно. Это одиночество в толпе с слушанием музыки я очень

стала любить. Будь здоров и счастлив».

Ответ Льва Николаевича: «Твое рассуждение о том, что гораздо важнее и нужнее мне быть в Москве с тобой, чем то, что что-то такое будет написано немножко хуже или лучше, поразительно своей несправедливостью. Во-первых, вопрос совсем не в том, что важнее; во-вторых, живу я здесь не потому, что будут немного лучше написаны какие-нибудь сочинения; в-третьих, присутствие мое в Москве, как ты очень хорошо знаешь, не может помешать ни Андрюше, ни Мише жить дурно, если они этого хотят. Никакой строжайший отец в мире не может помешать людям с выросшими бородами жить так, как они считают хорошим; в-четвертых, если бы даже вопрос стоял так, что важнее: написать то, что я пишу и что, я по крайней мере думаю, и надеюсь (иначе бы я не работал), будет читаться миллионами, а на миллионы может иметь доброе влияние, или жить в Москве без всякого дела, суетно, тревожно и нездорово – то и тогда всякий решит вопрос в пользу неезды в Москву.

Это не значит, что я не хочу приехать в Москву, не хочу сделать все, что могу, чтобы сделать твою жизнь более хорошею, или просто сам не желаю быть с тобой; напротив, я очень желаю этого; но это значит, что рассуждения твои очень несправедливы, так же, как и рассуждения твои, которые ты почерпнула из чтения биографии Бетховена, что цель моей деятельности есть слава. Слава может быть целью юноши или очень пустого человека. Для человека же более серьезного и, главное, старого цель деятельности не слава, а наилучшее употребление своих сил… Как бы я хотел, милая Соня, чтобы ты приняла это письмо с той же любовью бескорыстной, с полным забвением себя, а с одним желанием блага тебе, которое я испытываю теперь».

Эти письма написаны в конце ноября. В декабре семейные отношения неожиданно еще более осложнились. Под влиянием истерии, обострившейся за последний месяц, в Софье Андреевне поднялась нелепая ревность к издательнице одного литературного журнала, в который Лев Николаевич послал свою статью. Софья Андреевна очень возбуждена, неприятна для окружающих. Она успокоилась только тогда, когда статья была из редакции возвращена.

Об этом в дневнике Льва Николаевича: «Тоскливое, грустное, подавленное состояние тела и душевных сил, но я знаю, что я жив и независимо от этого состояния, только мало я чувствую это *я*. Нынче было письмо от Тани о том, что Соня огорчена отсылкой предисловия в… Я ужасно боюсь этого… Тоска, мягкая, умиленная тоска, но тоска. Если бы не было сознания жизни, то, вероятно, была бы озлобленная тоска. – Думал: мне было очень

тяжело от страха раздражения и тяжелых столкновений, и я молился Богу; молился, почти не ожидая помощи, но все-таки молился: «Господи, помоги мне выйти из этого. Избавь меня». – Я так молился. Потом встал и прошел до конца комнаты и вдруг спросил себя: да не уступить ли мне? – Разумеется уступить. И Бог помог, – Бог, который во мне, и стало легко и твердо. Вступил в тот Божественный поток, который тут, подле нас всегда течет и которому мы всегда можем отдаться, когда нам дурно».

«Вчера… я слышал от Сони то, чего никогда не слыхал: сознание своей вины. Это была большая радость. Благодарю тебя, Отец. Что бы ни было дальше. Уж это было, и это большое добро».

Случайный, но характерный эпизод. И опять возврат к прежнему.

1898 год.

Из дневника Льва Николаевича: «Соня уехала вчера в Петербург. Она все так же неустойчива».

«С вчерашнего дня состояние душевное очень тяжелое. Не сдаюсь, не высказываюсь никому кроме Бога. Я думаю, что это очень важно. Важно молчать и перетерпеть. То страдания перейдут к другим и заставят их страдать, а то перегорят в тебе. Это дороже всего. Много помогает мысль о том, что в этом моя задача, мой случай возвыситься – приблизиться немного к совершенству. – Приди и вселися в меня, чтобы затихли мои скверны. Пробудись во мне. – Все хочется плакать».

Софья Андреевна: «Ты все время был уныл и точно чего-то не договаривал, – пишет Софья Андреевна мужу, – а у меня все время потому был какой-то камень на сердце. Если б я только могла, как *хотела* бы я тебя сделать веселей, счастливей, помочь тебе заниматься, быть веселым, здоровым, спокойным. Видно, я уже теперь не умею и не могу этого сделать. И это для меня большое страданье. Если б ты знал, как я всегда, всей душой *стараюсь».*

«Какое мне утешение, что ты со мной так хорош в письмах; мне не нужно (хотя бы и то хорошо) нежностей, а нужна искренность, натуральность. Теперь я тебя хорошо чувствую, и мне это необходимо. Надеюсь, что встретимся не по-прошлогоднему. Как все это наболело».

Лев Николаевич: «Физическое здоровье хорошо, но душевное плохо. Боюсь не выдержать задаваемого экзамена. А я еще других учу».

«Все так же не сплю, но в душе укладывается и, как всегда, страдание на пользу».

«Опять все по-старому, опять так же гадка моя жизнь. Пережил очень много, экзамена не выдержал. Но не отчаиваюсь и

хочу переэкзаменовки».

«Никому не читать. Я плох. Я учу других, а сам не умею жить. Уж который год задаю себе вопрос, следует ли продолжать жить, как я живу, или уйти, и не могу решить. Знаю, что все решается тем, чтобы отречься от себя, и когда достигаю этого, тогда все ясно. Но это редкие минуты».

Софья Андреевна: «Милая Таня, до сих пор не собралась написать тебе, так трудно и шумно жилось это последнее время. Проводив тебя в Ясенки, я, со свойственной мне теперь слабостью, проплакала всю дорогу домой, почувствовав себя опять одинокой и беспомощной. Дома все хотела заглушить свое горе работой какой-нибудь или музыкой, и никак не могла. Потом повторились неприятности, целую почти ночь меня промучали, после чего взятое все вместе: и разлука с тобой и разлад с Левочкой, – я на другое утро не встала уж с постели от невралгии, какого-то оцепенения и нежелания жить. Почти двое суток я пролежала в темной комнате, без еды, без света, не в состоянии ни говорить, ни глотать, ни думать, ни чувствовать. Тут Левочка удовлетворился и с тех пор стал необычайно весел, но и со мной ласков и осторожен».

Разговор, о котором упоминается в письме, был вызван поездкой Софьи Андреевны в имение Масловых, Селище, Орловской губернии, где гостил С. И. Танеев.

Тогда же, ночью, Лев Николаевич подробно записал этот диалог. Он убеждал Софью Андреевну дать себе отчет в том, хорошо ли исключительное чувство старой замужней женщины к постороннему мужчине. Она доказывала, что ничего плохого и исключительного нет, что есть лишь утешение в музыке.

В этой записи точно передано истерическое состояние Софьи Андреевны с противоречиями, раздражением, враждебностью, искренними и притворными слезами. И Лев Николаевич еще раз понял, что ее жизнь не поддается законам разума и что все само собой понемногу пройдет своим особенным непонятным ему женским путем. Так и было.

Письма Софьи Андреевны: «Ссор и разговоров больше не бывает; только раз, после моей болезни, Левочка опять начал по поводу портрета что-то говорить злое. Но я так жалостно просила его пощадить меня после болезни, – я еще так была слаба, – что он утих. Теперь он очень добр, весел, с барышнями болтает, гуляет, рассказывает длинные истории, много пишет… Боюсь ужасно возобновления историй и страданий Льва Николаевича, а избегнуть видеть разных людей мне невозможно. Очень это тяжелое осложнение в моей жизни».

«Ты спрашиваешь о том, как я справляюсь с своими

душевными делами? Никак. Стараюсь быть как можно больше с Левочкой, с детьми, в Ясной Поляне. Но дела и Миша меня заставили ехать в Москву, и в четыре дня моего пребывания там, я три раза видела того человека, которого и рада была видеть, и мучилась, что это огорчило бы Левочку. Как я ни анализирую себя, как строго ни спрашиваю себя, ответ один: я никого не могу любить больше Левочки, и никогда не могла. Но если у меня отнять возможность видеть и слышать игру Т[анеева], то мне будет очень тяжело. Кстати, он был у нас в Ясной один день, после уже 28-го [308] , и играл целый вечер: Шумана, Бетховена, Шопена, Аренского, Рубинштейна. Играл так, что Левочка и Машенька, сестра, говорили, что совершеннее, лучше, серьезнее и содержательнее они никогда игры не слыхали. Это был общий восторг, и *с ним* обошлись очень ласково. Я от волнения заболела на другой день и в жару пролежала сутки».

Лев Николаевич: «Мне очень хорошо последнее время на душе. Очень все добры ко мне».

Софья Андреевна: «Пишу тебе из Ясной, куда приехала навестить Левочку, Таню и Веру. Трогательно обрадовался мне муж, даже совестно, до чего он ласков и любит меня до сих пор. Живут они тут серо, т. е. тесненько, грязно, погода всю осень отвратительная, но веселы они бесконечно… Левочка спешит кончить «Воскресенье», много работает и совсем здоров. Не знаю уж, когда он переедет в Москву; очень ему не хочется, но *для меня* он переедет, когда я хочу. Подумаю еще об этом, не знаю, насколько я душевно сильна, чтоб прожить одной еще почти два месяца. Без него на меня находят прежние мои тревоги и безумия, при нем я, как при нянюшке, спокойна и совершенно разумна, потому и гораздо счастливее».

Письмо мужу: «Очень мне жаль, милый друг, что твое вдохновение ослабело, и меня мучает, что не я ли тому причиной и мой приезд? Что делать, и я живой человек с моими слабостями и жизненными требованиями, и некуда меня девать, – такое назначение мое быть твоей женой и мешать, а иногда и помогать тебе».

Три года смятения, три года болезни. Судьба дважды обрушилась на Софью Андреевну. В то время, как личное горе привело Льва Николаевича к новым откровениям, ее оно истощило до конца. А когда было потеряно равновесие, она лишилась и последней поддержки: непосредственное сострадание сменилось в отношении к ней непосредственным гневом. Здоровому человеку понятны все проявления болезни, но принять их живым сердцем он не может. Старается, но не может, так как затронуты те стороны жизни, которые имеют свои законы, свои

требования.

Весь опыт жизни претворяется Толстым в духовные ценности, уводящие его порою от всего земного. Отношение к жене теряет мало-помалу свою исключительность и приравнивается к прочим человеческим взаимоотношениям. С большим трудом и медленно осуществлялось это на деле, но внутренне вполне определилось. И можно сказать, что под конец духовный мир Толстого достиг такого высокого строя, при котором исчезло всякое разграничение. Толстой вышел за пределы пола, в жене хотел он видеть только человека.

Но теперь, почти в глубокой старости, судьба снова разбудила в нем чувства мужа к жене, отношения мужчины к женщине. Под влиянием неожиданного удара, в ответ на него, поднялось давно забытое, и Лев Николаевич, 70-летний старик, временами стал испытывать от присутствия жены сильное, радостное волнение. Не сострадание, не жалость и прочие альтруистические и религиозные чувства породили это состояние. Источник его в другой области.

Хотя истерическая возбужденность Софьи Андреевны раздражала и других родственников, но Льва Николаевича она задевала больше всего именно как мужа. В его непосредственных переживаниях главную роль играли не гнев, не сострадание религиозного человека к греху, к несчастью ближнего, а чувство личного оскорбления. За последние 18 лет семейная обстановка была крайне тяжела, но никогда она не осложнялась с этой стороны. Все несогласия возникали по другим поводам, и они были так сильны, что внутренняя связь, казалось, постепенно исчезала. Но судьба проверила и еще раз подтвердила, что никакие разногласия во взглядах на жизнь не могут уничтожить иррациональных взаимоотношений между мужем и женой. В этом случае надстройка была очень сложной и трагичной, но стоило задеть основу отношений, и все сразу прояснилось.

Знакомство с семейной жизнью Толстых, казалось бы, давало право решить, что Лев Николаевич внутренне так далеко отошел от жены, что в последний период его связывала с ней уже не простая человеческая любовь, а любовь религиозная, сознание ответственности перед Богом. Но отношение к событиям, только что пережитым им, показало, что не только долг и жажда подвига удерживали его при жене, заставляя переносить мучительную обстановку. Оно показало, что другим сильным, быть может, бессознательным импульсом было то чувство, – постаревшее, израненное, но живое, – которое зажглось в нем почти 40 лет тому назад, и что даже новый взгляд на семью, установившийся со времени «Крейцеровой сонаты», не мог уничтожить прежних

ощущений, и они, загнанные внутрь, продолжали существовать одновременно с отрицавшими их отвлеченными построениями и новыми душевными склонностями.

Случилось это на закате жизни, и отсюда можно заключить, насколько сильна и глубока была связь между мужем и женой в прежние годы.

В привычное течение неожиданно влилась чуждая ему струя, и так же, как влилась, – вопреки разуму и непонятным для мужа женским путем, – взволновав глубину, пропала.

Для Льва Николаевича этот эпизод был новой темой тех беспрерывных мучений, которые он переносил в семье последние 16–18 лет. Для его жены событие имело трагические последствия. Утратив равновесие, Софья Андреевна не нашла в себе сил его восстановить. Истерия, не проявляясь более в резкой форме, тем не менее глубоко пустила корни, развиваясь изнутри с тем, чтобы через 12 лет стремительно прорваться наружу и привести к роковому концу.

XII

Раньше чем перейти к описанию следующих лет семейной жизни Толстых, будет уместно коснуться вопроса о детях. Семья постепенно распадалась, старшие уходили в свои семьи, младшие вырастали. Соответственно своим душевным качествам и определившемуся характеру каждый занимает особое место по отношению к отцу.

Склонности и образ жизни некоторых сыновей причиняет родителям много волнений, иногда даже страданий. Они воспитаны в обычной барской обстановке, и влияние отца парализовано средой. Заботы матери также бессильны удержать и направить бурные инстинкты молодости. Софья Андреевна страдает как мать, как всякая мать; Льву Николаевичу больно за сына, страшно за человека и тяжела духовная отчужденность. Он пытается убеждать, хочет передать детям свою веру в другую жизнь, радуется каждому намеку на перемену.

«Очень тяжело живется. Все нет охоты работать, писать. Все мрачное настроение. Третьего дня Андрюша без всякого повода наговорил мне грубостей. Я не мог простить. То не хотел здороваться с ним, то стал выговаривать ему, но он опять еще хуже стал говорить, и я не выдержал и ушел, сказав, что он мне чужой. Все это дурно. Надо простить, простить совсем и тогда помогать ему».

Андрюша «стал ходить ко мне в комнаты… – поговорить. В нем большая слабость, но очень много добродушия, так что я очень рад, что его полюбил. Вчера он уехал. Жалко его; но пути, которыми идут люди все к одной и той же цели, все различны».

«Ты храбришься, а в душе у тебя очень нехорошо и тяжело, потому что, хотя ты и не высказываешь это никому, даже и самому себе, ты знаешь, что ты живешь дурно, делаешь дурно, и губишь не только свое тело, но свою бессмертную душу, – пишет Лев Николаевич сыну Андрею. – И ты знаешь это в глубине души, потому что у тебя есть самое дорогое и важное качество, которое ты заглушаешь своей дурной жизнью, но которое дороже всего на свете и за которое я не только жалею, но часто люблю тебя, это качество – доброта. Если бы ты был злой, ты бы не замечал того, что ты делаешь дурно, а теперь ты видишь, что другим делаешь больно, и, хотя хочешь заглушить это, страдаешь от этого и за это страдание еще больше сердишься на себя и других, и тебе очень тяжело. *Один выход из этого* в том, чтобы серьезно, *искренне обсудить свою жизнь и судиться и признать себя плохим* и слабым и не храбриться, а напротив, смириться. И только первую минуту

будет тяжело, а потом станет легко…

Мне все кажется, что ты скоро дойдешь до того предела, когда почувствуешь, что ты идешь не туда, куда надо, что тебе опротивеет эта жизнь. (Думаю, что и теперь бывают минуты тоски, уныния и сознания того, что скверно все). И вот тут-то мне хотелось бы, чтобы ты знал, что есть другая совсем жизнь, – жизнь внутренняя, божественная, исполнения воли Бога, служения Богу и людям, делания добра, и эта жизнь – не слова, а действительно есть, что она незаметна извне для других, и только для того, кто живет ею, что она не всегда владеет человеком, а только временами, но что эта жизнь радостна и дает такую твердость и никогда не ослабевает; а напротив, все больше и больше захватывает человека и что стоит только раз испытать ее, чтобы уж навсегда находить в ней прибежище от всех бед. Жизнь эта в том, чтобы стараться быть лучше, добрее – не перед людьми, а перед собою и перед Богом. Я иногда болею о тебе, милый Андрюша, а иногда надеюсь особенно на то, что ты дойдешь до конца пустой и вредной и дурной жизни мирских соблазнов и *опомнишься* и станешь жить хорошо и совсем переменишься. Дай Бог, чтобы это скорее случилось, и чтобы жизнь тебе была не мукой, как теперь, а радостью».

Письмо сыну Михаилу: «Все молодые люди твоего возраста, живущие в тех условиях, в которых ты живешь, все находятся в очень опасном положении. Опасность эта состоит в том, что в том возрасте, когда складываются привычки, которые останутся навсегда, как складки на бумаге, вы живете без всякой, без всякой нравственной, религиозной узды, не видя ничего, кроме тех неприятностей учения, к которому вас принуждают и от которого вы стараетесь так или иначе избавиться, и тех самых разнообразных удовлетворений похоти, которые вас привлекают со всех сторон и которые вы имеете возможность удовлетворить. Такое положение вам кажется совершенно естественным и не может казаться иным, и вы никак не виноваты, что оно кажется вам таковым, потому что вы в нем выросли, и в таком же положении находятся ваши товарищи; но положение это совершенно исключительно и ужасно опасно…

Если вы и слышите или видите, что есть какие-то люди, которые что-то исповедуют странное, ходят скверно одетые, едят дурно, не пьют, не курят, то по всему, что вы видите, слышите и читаете даже про них, вы убеждаетесь, что это какие-то чудаки, от которых вы вперед решаете, что ничего нужного вам не узнать. И потому не интересуетесь ими. Так это для всех молодых людей нашего времени; для тебя же и Андрюши и всех наших уже несомненно решено, что вы везде можете искать решения

вопросов, возникающих в вас, но только не среди «темных». Они чудаки и все».

«Во мне же вы видите писателя, который прекрасно написал бал и скачки и охоту, но который что-то странное и неинтересное говорит и пишет теперь и никак уже не укажет того, что нужно нам, простым молодым людям, делать. Вы, близкие мне, особенно тупы и жестоки в этом отношении. Вы, – как люди, стоящие слишком близко к предмету и потому не видящие его, тогда как им только стоит протянуть руки, чтобы взять его». «Ты, я думаю, ни разу не заглянул ни в одну из моих книг, кроме романов».

«Вот это-то мне особенно больно и вот это-то самое разъединение между нами, – мною и всей молодежью, – разъединение искусственное, устроенное врагами добра, и хотелось бы мне разрушить этим письмом. Толстовцы, темные, Поша, Чертков – чудаки; вегетарианство, оборванцы, религия – горшки носить. И готово, и все решено. Решено, что все это – фантазии, непрактичные, неприложимые вообще к жизни, годные для чудаков, но никак уже не для нас, для простых молодых людей, не хотящих ничем отличаться, а хотящих жить, как все. Вот этот-то взгляд на то, что я исповедую, на то, на что я посвятил все свои силы и посвящу до конца своих, особенно мучителен мне».

Из дневника Льва Николаевича: «Странное мое положение в семье. Они, может быть, и любят меня, но я им не нужен, скорее encombrant [309] . Если нужен, то нужен, как всем людям. А им в семье меньше других видно, чем я нужен всем. От этого: «Несть пророк без чести»… «За эти дни важно было то, что я, не помню уж по какому случаю, кажется после внутреннего обвинения моих сыновей, я стал вспоминать все свои гадости. Я живо вспомнил все, или, по крайней мере, многое и ужаснулся. Насколько жизнь других и сыновей лучше моей. Мне не гордиться надо и прошедшим, да и настоящим, а смириться, стыдиться, спрятаться, просить прощения у людей [здесь в подлиннике зачеркнуто: и Бога]. Написал: у Бога, а потом вымарал. Перед Богом я меньше виноват, чем перед людьми: он сделал меня, допустил меня быть таким. Утешение только в том, что я не был зол никогда; на совести два-три поступка, которые и тогда мучили, а жесток я не был. Но все-таки гадина я отвратительная. И как хорошо это знать и помнить. Сейчас становишься добрее к людям, а это – главное, одно нужно».

Несколько иначе сложились у Толстого отношения с сыном Львом. В первое время Лев Львович увлекался идеями отца, вел с ним беседы на эти темы, считал себя его последователем. Но Лев Николаевич, как ни приятно ему было найти единомышленника в

своей семье, недоверчиво относился к этому увлечению, видел в нем что-то искусственное, поверхностное. В дневнике он отметил такой случай: «У Левы просил прощения за то, что огорчил его. Начался во время чая, при Дунаеве [310] , разговор об образе жизни, времени repas; он упрекал мать, а я сказал, что он с ней вместе. Он сказал, что они все говорят (и необыкновенно это), что нет никакой разницы между Машей, Чертковым и им. А я сказал, что он не понимает даже, в чем дело, сказал, что он не знает ни смирения, ни любви, принимает гигиенические заботы за нравственность. Он встал с слезами в глазах и ушел. Мне было очень больно и жалко его и стыдно. И я полюбил его».

Перед Львом Львовичем вставал даже вопрос об отказе от военной службы по религиозным убеждениям. Но вера его была поверхностной, он явился в полк и по болезни был освобожден [311] .

Возможно, что на душевное состояние Льва Львовича повлияло тяжелое физическое недомогание, развившееся после перенесенного им на голоде в Самарской губернии тифа. Но он быстро отходил от своих прежних увлечений, и вскоре вполне определилось его новое отношение к отцу. Лев Львович взял на себя роль идейного противника отца. Теперь он вызывающе держится с Львом Николаевичем, пишет книги против него, выступает в правой печати с резкой полемикой против «толстовства». Не говоря уже о том, какое неприятное впечатление производит это на общество [312] , деятельность сына, его отношение угнетающе действуют на Льва Николаевича.

«Лева… приучает меня к доброте, несмотря на причиняемую боль своими глупыми, бездарными и бестактными писаниями.

Письмо сыну: «Я получил твое письмо, Лева, и, к сожалению, почувствовал, что не могу тебе писать просто и искренно, как я желаю относиться ко всем людям, а особенно к сыну. Твое непонятное для меня и очень тяжелое недоброе отношение ко мне сделало то, что из невольного чувства самосохранения стараюсь, как можно [меньше] иметь общения с тобой. Будем надеяться, что это пройдет, как только пройдет такое недоброе отношение. Исправлять же это объяснениями не надо. Объяснения никогда не улучшают, а только ухудшают отношения. Прощай, желаю тебе того внутреннего блага, вследствие которого устанавливаются без заботы об этом самые дружеские отношения со всеми людьми… Пожалуйста, прими это письмо, как только можешь добрее и ничего мне не пиши об этом».

Из дневника А. Б. Гольденвейзера 1902 года (о крымской болезни Толстого): «Из детей в Гаспре не было одного Льва Львовича, которому Лев Николаевич продиктовал письмо…

Читавшие письмо ко Льву Львовичу говорят, что это предсмертное прощальное письмо было глубоко трогательно. Письма этого отправить не пришлось, так как Лев Львович приехал в Гаспру сам. Когда он вошел ко Льву Николаевичу, Лев Николаевич сказал ему, что ему трудно говорить, а все, что он думает и чувствует, он написал в своем письме, и передал письмо сыну. Лев Львович прочел письмо тут же в комнате Льва Николаевича, потом вышел в соседнюю и на глазах всех сидевших там… разорвал письмо умирающего отца на мелкие кусочки и бросил в сорную корзину» [313] . Но как только намечается минутное сближение, Лев Николаевич пишет сыну: «Очень радостно сближение духовное с чужим человеком, а тем более радостно со своим близким, которого по привычной слабости мы привыкли считать более близким, чем другие люди. Мне радостно то, что я вижу теперь тебя всего. Нет в душе твоей уголка, который бы я не видел, или хотя бы не мог видеть. И это понятно, потому что в твоей душе горит тот истинный свет, который освещает жизнь людей. Помогай тебе Бог беречь и разжигать его. Вижу теперь ясно твои слабости, и они не раздражают, как прежде, даже не огорчают, а трогают. Мне жалко тебя за них, потому что знаю, что ты борешься с ними и страдаешь от них».

Совсем иные отношения у Толстого с дочерьми. Дочери приносят ему радость, согревают его своею лаской. Они – «теплая ванна для чувств». С ними жить ему легко, зато расставаться трудно. Спокойно и одобрительно относясь к женитьбе сыновей, Лев Николаевич болезненно переносит уход дочерей из семьи.

В 1897 году Мария Львовна выходит замуж за Н. Л. Оболенского [314] . Толстому ясно, что этот шаг изменит жизнь дочери, что круг интересов ее сузится и что она навсегда отказывается от тех идеалов, которыми прежде жила. Но любовь его к Марии Львовне так велика, что он старается скрывать боль, хотя и проговаривается часто, не хочет упрекать и ободряет ее. Говорит с ней прежним языком, языком единомышленника.

«Сейчас прочел твое письмо к Тане, милая, очень любимая Маша. Ты там пишешь, что жалеешь, что написала мне о своем душевном состоянии во всей его путанице. А я так очень рад и благодарен тебе. Все это я понимаю и ничего не имею сказать против твоего намерения, вызванного непреодолимым, как я вижу, стремлением к браку. Что лучше, что хуже, ни ты, ни я, никто не знает; я говорю не про брак, а про того или другого мужа. Но я тебе уже прежде как-то, помню, говорил про то, или не тебе, а Тане, что брак есть дело мирское, и, как мирское дело, по-мирски должен быть обдуман. И по твоей жизни в последнее время, рассеянной и роскошной более, чем прежде, и по жизни и

привычкам Коли, – вы не только не будете жить по МариииАлександровски [315] , но вам нужны порядочные деньги, посредством которых жить. Одна из главных побудительных причин для тебя, кроме самого брака, т. е. супружеской любви, еще дети. Дети и нужда – это очень трудно и уже слишком явно – перемена независимости, спокойствия на самые тяжелые страдания. Как вы об этом судите?… Намерена ли ты просить дать тебе твое наследство? Намерен ли он служить и где? И, пожалуйста, откинь мысль о том, чтобы государственная служба твоего мужа могла изменить мое отношение к нему и твое отступление от намерения не брать наследства могло изменить мою оценку тебя. Я тебя знаю и люблю дальше и глубже этого, и никакие твои слабости не могут изменить мое понимание тебя и связанную с ним любовь к тебе. Я слишком сам был и есмь полон слабостей и знаю поэтому, как иногда и часто они берут верх. Одно только: лежу под ним, под врагом, в его власти и все-таки кричу, что не сдамся, и, дай справлюсь, опять буду бороться с ним. Знаю, что и ты так же будешь делать. И делай так. Только «думить надо, большой думить надо» [316] … Кроме смерти, нет ни одного столь значительного, резкого, все изменяющего и безвозвратного поступка, как брак».

«Два раза начинал тебе письмо и разрывал: и оттого, что я не в духе, и оттого, что сложно, неясно у меня в душе отношение мое к твоему положению. Ты верно угадала, что я вижу в этом падение, да ты это и сама знаешь. Но, с другой стороны, я радуюсь тому, что тебе жить будет легче, спустив свои идеалы и на время соединив свои идеалы с своими низшими стремлениями (я разумею детей). Мое же чувство к тебе – к тебе духовной, к тому, что я люблю в тебе, – остается совсем то же, потому что я знаю, что это духовно не изменится. А впрочем, кто вас знает. Исчезнуть не может, но затумaниться может. Ну, поживем если, то увидим. Одно несомненно, что я теперь люблю тебя такой, какая ты и какой я».

«Маша замужем, и мне жалко, жалко. Не такая она, чтоб этим удовлетвориться. Она слаба и болезненна; боюсь, что уже кается, хотя не говорит. Да и нельзя говорить, потому что он очень хороший, чистый, честный, чрезвычайно правдивый человек».

«Маша для меня вроде как человек пьяный. Я знаю, что она поймет меня, но не теперь. Теперь с ней говорить нельзя, пока она не выспалась и не переболела похмельем… Избави нас Бог от этих опьянений. Эти опьянения не хуже религиозности, патриотизма, аристократизма ставят преграды между людьми, мешают тому единению, которого хочет Бог. Живешь рядом, вместе всю жизнь и живешь как чужой. Так у меня теперь с Машей

и ее мужем. Не мог я ей сказать, что этот ее брак «a failure» [317] , несмотря на то, что он прекрасный юноша. А не говорю этого, остается невысказанное. И жалко так дожить».

«Чувствую ли я разъединение с тобой после замужества? – пишет Лев Николаевич дочери. – Да, чувствую, но не хочу чувствовать и не буду» [318] .

Его письма к Марии Львовне спустя семь лет после замужества, во время ее беременности: «Милая Машенька, не писал тебе потому, что вдали от тебя, не переставая, испытываю чувство страха как-нибудь потревожить тебя. Хожу все по отношению тебя на цыпочках. Ну, что будет, то будет, а что будет, то и должно быть. Теперь близко решение, и я с большим волнением жду… Ужасно странно, таинственно это зарождение жизни в другой жизни и независимость судьбы этой жизни от того существа, в котором она зарождается. Странно потому, что нам кажется, что это почти одна жизнь в одном теле, а в действительности это такая же независимая от тебя жизнь теперь, какою она будет, если проживет до 20, 30 лет. Надеюсь, что Коля не даст тебе этого письма, а я на цыпочках также уйду, как пришел. Прощай, душенька, целую тебя».

После неудачных родов Лев Николаевич пишет дочери:

«Грустно, но хорошо то, что ты пишешь. Подкрепи тебя Бог. С другими я боюсь употреблять это слово, Бог, но с тобой, я знаю, что ты поймешь, что я разумею то высшее духовное, которое одно есть и с которым мы можем входить в общение, сознавая его в себе, непременно нужно это слово и понятие. Без него нельзя жить. Мне вот сейчас грустно. Никому мне этого так не хочется сказать, как тебе… Ты вот пишешь, что недовольна своей прошедшей жизнью. Все это так надо было и приблизило тебя к тому же… О тебе скажу, что ты напрасно себя коришь. На мои глаза, ты жила хорошо, добро, без нелюбви, а с любовью к людям, давая им радость, первому мне. Если же недовольна и хочешь быть лучше – давай Бог… О твоих родах иногда думаю, что правы шекеры… Они говорят, что кирпич пусть делают кирпичники, те, которые ничего лучшего не умеют делать, а мы (они про себя говорят) из кирпичей строим храм. Хорошо материнство, но едва ли оно может соединиться с духовной жизнью. Нехорошо тут ни то, ни се: поползновение к материнству и чувственность, с которой труднее всего в мире бороться молодым. Но все-таки все идет к хорошему, к лучшему».

В 1899 году Татьяна Львовна выходит замуж за М. С. Сухотина [319] , который на много лет ее старше и имеет взрослых детей от первого брака.

Льва Николаевича это пугает, и жалко ему расстаться с

заветной мечтой, что старшая дочь, названная в честь Т. А. Ергольской, повторит пример самоотверженной девственницы. Но в нем говорит и отцовская ревность, он негодует и жалуется Марии Львовне:

«Пошел на Козловку и встретил около границы едущего Сухотина и пригласил его с собой. Таня же ездила в Бабурине за ванной. Все было хорошо, но, возвращаясь назад с Козловки, мы встречаем Таню в шарабане, едущую навстречу. Я, разумеется, не поехал, а она поехала с ним, а теперь, перед ужином, ушла в сад. Ужасно жалко и гадко. Я ей скажу, но я знаю, что это бесполезно…

У меня ощущение, что в последнее время все женщины угорели и мечутся, как кошки по крышам. Ужасно это жалко видеть и терять перед смертью последние иллюзии. О, какое счастье быть женатым, женатой, но хорошо, чтобы навсегда избавиться от этого беганья по крыше и мяуканья…

Весна удивительна по красоте. Я сейчас ходил на Козловку и принес кашки – клевер белый и красный. А теперь полная луна между пришпектом и липовой аллеей поднимается, и свищут и чокают десятки соловьев».

«Сейчас говорил с Таней, очень любя, очень ругал ее за ее эгоистическую жизнь. Вопрос ее не между ею и Сухотиным, а между ею и Богом. Несчастие всех нас, и ее особенно, то, что мы забываем то, что жизнь для себя, для своего счастья есть гибель. Она забыла и погибает. Я мучаюсь в той мере, в которой это забываю».

После свадьбы Татьяны Львовны Софья Андреевна пишет сестре: «Ты не можешь себе представить, до чего мы с Левочкой горюем и тоскуем, проводив Таню. И знаешь, если б я была одна огорченная, мне было бы легче, а горе Левочки удвояет мое собственное. Обвенчали мы ее с Сухотиным 14-го утром. Народу было очень мало… всего человек тридцать. Венчали в нашем приходе. Таня не надела даже вуали и цветов, а простоволосая. Был завтрак, шампанское, конфеты, цветы, фрукты. Но было так мрачно, точно похороны, а не свадьба. Когда Таня пошла прощаться с Левочкой, он так плакал, что страшно было на него смотреть. Я ее благословила с Сашей и крепилась при ней. Но когда она уехала в церковь, и я вошла в ее опустевшую комнату, на меня нашло такое безумное отчаяние, я так рыдала, точно после смерти Ванички. И как сердце мое не разорвалось!

Весь день мы все плакали. Ночевала Таня дома, а Сухотин у своей сестры. На другой день все обедали у нас рано, в три часа, и потом проводили молодых (?) на железную дорогу. Левочка тоже ездил, и много, много было провожающих, – Таню все

особенно любили. Домой вернулись в опустевший дом, и опять все плакали. На другой день Левочка пришел обедать, посмотрел на прибор и стул рядом с ним (никто не решился его занять) и с такой печалью сказал: «А Таня не придет». А сегодня после обеда опять, как будто с шуточкой, а в сущности очень горько, сказал: «Ну, теперь пойдемте все к Тане». Не ожидала я, что так мы все будем по ней грустить».

Из дневника Льва Николаевича: «Таня уехала зачем-то с Сухотиным. Жалко и оскорбительно. Я 70 лет все спускаю и спускаю мое мнение о женщинах, и все еще и еще надо спускать. Женский вопрос! Как же не женский вопрос? Только не в том, чтобы женщины стали руководить жизнью, а в том, чтобы они перестали губить ее».

XIII

Вскоре после отъезда Татьяны Львовны обычная жизнь восстанавливается в осиротевшем доме, с теми же заботами, с прежними занятиями.

Интересы Льва Николаевича и Софьи Андреевны неизменно продолжают быть обособленными. Ее энергия направлена на семью, его внимание сосредоточено на религиозных вопросах. Приближающаяся старость убавляет силы Софьи Андреевны и придает особую благостность настроениям Льва Николаевича. Внешняя обстановка тяготит его, но он умеет находить радость в другой области. Отношения между мужем и женой спокойные, дружественные.

Софья Андреевна пишет сестре: «Жизнь меня забрала так, как давно не забирала. Требованья семьи и людей относительно меня возрастают не по дням, а по часам. Я думала, что с отсутствием Тани опустеет мой дом. Вышло наоборот: никогда не было столько посетителей и гостей и живущих, как в нынешнюю зиму. С утра до ночи и ежедневно я никогда ни одной минуты не бываю одна, и это подчас невыносимо утомительно».

«Мне очень, очень хорошо, – пишет Лев Николаевич в дневнике. – Были тяжелые настроения, но религиозное, чувство побеждало… До умиления трогает природа – луга, леса, хлеба, пашни, покос. Думаю, не последнее ли доживаю лето. Ну, что ж, и то хорошо. Благодарю за все, – бесконечно облагодетельствован я. Как можно всегда благодарить, и как радостно».

«Грешен тем, что и прежние дни, и в особенности нынче чувствую Sehnsucht [320] к смерти: уйти от всей этой путаницы, от своей слабости, не скажу – своей личной, но условий, в которых особенно трудно вступить в новую школу… А может быть, это-то и нужно. И на это-то я и живу еще, чтобы здесь, сейчас бороться со злом в себе (а потому и кругом себя). Даже наверно так. Помоги мне то, что может помочь. Плачу почему-то, пиша это. И грустно, и хорошо. Все невозможно, кроме любви. И все-таки, как праздника, именно праздника, отдыха, жду смерти. От Маши милое письмо. Как я люблю ее, и как радостна атмосфера любви и как тяжела обратная». – «Как само собой растет тело младенца, так сам собой растет дух старика, освобождаясь от страстей».

«От Сони хорошие письма. Очень жаль ее».

«У нас все хорошо, – сообщает Софья Андреевна сестре, – Левочка очень бодр и здоров, пишет все статью «Новое рабство» о рабочих, капиталах и проч.».

В день 38-й годовщины их свадьбы, находясь в Москве, она отправляет Льву Николаевичу письмо в Ясную.

«Сейчас встала, и первое, что мне захотелось сделать, это написать тебе, милый Левочка, и вспомнить тот день, который соединил нас на многие, прожитые вместе годы. Мне стало очень грустно, что мы не вместе сегодня, но зато я гораздо глубже, умиленнее и лучше отношусь сердцем к воспоминаниям нашей жизни и к тебе, и мне захотелось поблагодарить тебя за прежнее счастье, которое ты мне дал, и пожалеть, что так сильно, полно и спокойно оно не продолжилось на всю нашу жизнь… Целую тебя, и давай еще подольше поживем вместе. Твоя Соня Толстая».

24 февраля 1901 года было опубликовано постановление Синода об отлучении Толстого от церкви. Софья Андреевна немедленно отправляет митрополиту Антонию свое искреннее резкое письмо в ответ на это постановление [321] . Решение церкви оскорбляет ее, она встает на защиту мужа, и на этот раз ее сочувствие на стороне разночинцев, студентов, всех тех, кто разделяет ее негодование. Отлучение совпало со студенческими волнениями, и уличные демонстрации Софью Андреевну не пугают, наоборот, она вполне одобряет их.

Сестре она пишет: «Милая Таня, мы пока еще в Москве и пережили эти дни здесь много интересного. После ваших киевских студентов взбунтовались наши московские. Но совсем не по-прежнему. Разница в том, что раньше студентов били мясники, и народ им не сочувствовал. Теперь же весь народ: приказчики, извозчики, рабочие, не говоря об интеллигенции, все на стороне студентов. 24 февраля было воскресенье, и в Москве на площадях и на улицах стояли и бродили тысячные толпы народа. В этот же день во всех газетах напечатано было отлучение от церкви Льва Николаевича. Глупее не могло поступить то правительство, которое так распорядилось. В этот день и в следующие мы получили столько сочувствия и депутациями и письмами, адресами, телеграммами, корзинами цветов и проч. и проч. Негодуют все без исключения, и все считают выходку Синода нелепой. Но лучше всего то, что в этот день, 24 февраля, Левочка случайно вышел гулять, и на Лубянской площади кто-то иронически про него сказал: «Вот он, дьявол в образе человека!» Многие оглянулись, узнали Льва Николаевича и начали кричать ему: «Ура, Лев Николаевич! Здравствуйте, Лев Николаевич! Ура! Привет великому человеку!» и все в этом роде. Левочка хотел уехать на извозчике, а они все стали уезжать, потому что толпа и крики «ура» усиливались. Наконец, привел какой-то техник извозчика, посадили Левочку, народ хватался за вожжи и лошадь. Конный жандарм вступился, и так Левочка прибыл домой».

Все это время Льву Николаевичу очень нездоровилось. Еще летом 1900 года он писал: «Я было захворал, но теперь поправился. Все эти частые заболевания очень хорошо приготавливают к большой перемене, на которую смотрю в самые счастливые минуты совершенно безразлично, а в дурные с вожделением.

«Он всю зиму хворал, – то одно, то другое, – и похудел очень». Неопределенная болезнь часто возвращалась, и летом 1901 года положение ухудшилось.

«Ты спрашиваешь, милая Таня, о Левочке, – пишет Софья Андреевна сестре. – Мне грустно тебе и отвечать на это, так как я должна тебе писать правду. Он этот год вдруг совсем постарел, исхудал, упал силами, постоянно чем-нибудь хворает. То болят ноги, встать с места больно, то руки болят, сводит пальцы, то желудок не варит. Иногда всю ночь стонет, ревматизмы ли это или перерождение артерий, или плохое кровообращение, трудно узнать. Ему теперь делают соленые горячие ванны, и пьет он воды. Верхом не ездит, ходит мало, ест очень осторожно».

В конце июня Лев Николаевич слег в постель. Софья Андреевна сообщает сестре: «Очень болен Левочка. У него сделалась лихорадка, два вечера был жар, и это имело такое дурное влияние на его сердце, что оно совсем отказывается служить. Хинином остановили на сегодня лихорадку, сейчас 8 час. вечера, и жару нет. Но температура утром была 35,9 а пульс 150. Это считается очень дурным признаком. Доктор живет неотлучно до завтра вечера и говорит, что завтрашний день все решит. Если сердце угомонится, то Левочка может еще на этот раз встать; но во всяком случае жить долго не может. Съезжаются понемногу дети: Сережа, Илья с семьей, Маша с Колей здесь. Выписали телеграммой бедную, беременную Таню, Андрюшу и Мишу. Лева в Швеции, и ему еще не давали знать.

Я не верю и не могу еще верить, что Левочка плох. Сколько раз я пугалась и все обходилось хорошо. Но на меня нашло какое-то оцепенение, я точно пришибленная хожу, все отупело и остановилось во мне. Иногда сижу или лежу ночью возле него, и так хочется ему сказать, как он мне дорог и как я никого на свете так не любила, как его. Что если когда внешне, наваждением каким-то, я и была виновата перед ним, но внутренне крепко сидела во мне к нему одному серьезная, твердая любовь, и никогда ни одним движением пальца я не была ему неверна. Но говорить ничего нельзя, волновать его нельзя, и надо самой с собой сводить эти счеты 39-летней, в сущности, очень счастливой и чистой брачной жизни, но с виноватостью, что все-таки не вполне, не до конца мы делали счастливыми друг друга. Все это я

тебе пишу, как другу, как одной из тех, которые и любили и понимали нас, и мне хотелось просто свое тяжелое сердце излить кому-нибудь. Если будет хорошо, слуху не будет, а если – конец, то весть облетит скоро весь мир».

Из дневника Софьи Андреевны: «Сегодня он мне говорил: «Я теперь на распутье: вперед (к смерти) хорошо и назад (к жизни) хорошо. Если и пройдет теперь, то только отсрочка». Потом он задумался и прибавил: «Еще многое есть и хотелось бы сказать людям». Когда дочь Маша принесла ему сегодня только что переписанную Н. Н. Ге статью Льва Николаевича последнюю, он обрадовался ей, как мать обрадовалась бы любимому ребенку, которого ей принесли к постели больной, и тотчас же попросил Н. Н. Ге вставить некоторые поправки, а меня попросил собрать внизу в его кабинете все черновые этой статьи, связать их и надписать: «черновые последней статьи», что я и сделала». «Вчера утром я привязываю ему на живот согревающий компресс, он вдруг пристально посмотрел на меня, заплакал и сказал: «Спасибо, Соня. Ты не думай, что я тебе не благодарен и не люблю тебя…» И голос его оборвался от слез, и я целовала его милые, столь знакомые мне руки и говорила ему, что мне счастье ходить за ним, что я чувствую всю свою виноватость перед ним, если не довольно дала ему счастья, чтоб он простил меня за то, чего не сумела ему дать, и мы оба, в слезах, обняли друг друга, и это было то, чего давно желала душа моя, – это было серьезное, глубокое признание наших близких отношений всей 39-летней жизни вместе… Все, что нарушало их временно, было какое-то внешнее наваждение и никогда не изменяло твердой, внутренней связи самой хорошей любви между нами».

Сам Толстой в июле писал брату Сергею Николаевичу и в дневнике: «Мне во время всей моей болезни было очень, очень хорошо. Одно смущало и смущает меня, что так ли это было бы, если бы за мной не было такого, облегчающего болезнь – боли, ухода. Если бы я лежал во вшах, на печи с тараканами, под крик детей, баб, и некому было бы подать напиться… У меня теперь чувство, как будто на последней станции от того места, куда я еду не без удовольствия, по крайней мере, наверное без неудовольствия. Нет лошадей, и надо дождаться, пока приедут обратные или выкормят. И на станции недурно, и я стараюсь с пользой и приятностью провести время. Кстати, отдохнешь, почистишься, и веселей будет ехать последний перегон».

«Болезнь была сплошной духовный праздник и усиленная духовность, и спокойствие при приближении к смерти, и выражение любви со всех сторон».

Эти записи сделаны в дни выздоровления. О счастливом

исходе болезни Софья Андреевна уведомляет близких: Лев Николаевич «поправился лучше, чем можно это было ждать. Он опять пишет, гуляет, спит и ест хорошо и даже пополнел немного. Слава Богу! А все осталось какое-то болезненное чувство; никогда во всей жизни своей я так ясно не представила себе возможность, что его не будет». «Чуть-чуть не угасла всем нам дорогая жизнь. Но теперь, слава Богу, Лев Николаевич хорошо поправляется и опять работает. На осень доктора посылают нас в Крым, куда поедут с нами все три дочери. Тепло хорошо действует на Льва Николаевича, и четыре доктора советовали ему продлить действие тепла подольше».

Но еще до переезда в Крым, в конце августа, дружеские, сердечные отношения неожиданно осложнились. Марья Львовна, гостившая во время болезни Льва Николаевича в Ясной Поляне, сообщила однажды отцу, что ее очень беспокоит вопрос завещания и что она хочет просить его подписать выписку из дневника от 27 марта 1895 года, где Лев Николаевич, на случай смерти, изложил свои пожелания относительно похорон, рукописей и дальнейших изданий его сочинений. Выписка была сделана Марией Львовной.

По словам Н. Л. Оболенского, Лев Николаевич, узнав, что Софья Андреевна также включена в это завещание, «очень удивился, что написал это, хотел вычеркнуть ее и даже сказал Маше: «Ты, пожалуйста, скажи, чтобы отдать только Черткову» […]. В эти же дни он сильно заболел, так что дело отложилось. Когда он уже поправился, было это в августе или конце июля, Маша дала ему завещание, он перечел и сказал: «Пусть мама останется, а то, если я ее вычеркну, это ее обидит, а написано это было в хорошую минуту, пусть так и останется». И подписал, отдавши Маше на хранение. Никто, кроме нас трех, этого не знал. Но тут же как-то Илюша спросил, есть ли какое распоряжение отца на случай его смерти. Маша не сочла себя вправе скрывать и сказала, что есть и подписано, и хранится у нее.

Я даже помню, почему зашел разговор: Софья Андреевна хотела после смерти Льва Николаевича подавать прошение государю, чтобы похоронить его по церковному обряду, и когда мы возмутились и сказали – Таня, кажется, или кто-то, – что ведь у папа в дневнике есть распоряжение об этом, то Софья Андреевна сказала: «Ну, кто там будет копаться, искать». Вот вследствие этого-то Илюша и спросил. Мы его очень просили держать это втайне, но он неизвестно почему рассказал Софье Андреевне, что есть завещание у Маши. Нас тогда уже не было в Ясной, это было в конце августа. Тут разгорелось, говорят, Бог знает что… Про Софью Андреевну уже и говорить нечего. С ее

стороны я объяснил это только опасением, что у нее пропадут доходы с сочинений».

Запись дневника не имела формального значения, но она морально связывала Софью Андреевну, и будучи превращенной теперь в самостоятельный документ, запись особенно подчеркивала различие во взглядах мужа и жены. Возможно, что предусмотрительный трезвый шаг третьего лица, расположенного к отцу, а не к матери, сделанный секретно как раз в те печальные и трогательные дни, когда Софья Андреевна вся отдавалась своей любви к мужу, была нераздельно с ним, больно поразил ее, обнажив рану, поставив точки над и. Вернулись прежняя возбужденность, старые упреки и обвинения. Конечно, Софья Андреевна была раздражена и тем, что нарушились ее затаенные мечты, но все же нельзя откинуть другой стороны вопроса – обиды старой верной жены, по-своему искренне любившей мужа, которой в лучшие минуты пришлось так резко столкнуться с враждебным ей течением.

Было очень тяжело. Лев Николаевич кратко сообщает Марии Львовне: «Спасибо, Машечка, за письмо. Мама его прочла, и я вижу, что ей стало неприятно, что ты ей не написала, и вообще она на тебя сердится, и, кроме того, кто-то ей рассказал, что ты дала мне подписать мое посмертное желание, и она сейчас пришла в ужасном раздражении об этом говорить. Так что я писал с тем, чтобы ты ей написала, а теперь думаю, что лучше не надо».

5 сентября Толстые выехали в Крым и поселились на южном берегу, в имении гр. С. В. Паниной.

В Гаспре Лев Николаевич прожил с семьей до 25 июня 1902 года. Всю осень здоровье было неустойчивым, часто возвращалось прежнее недомогание, а 25 января 1902 года Лев Николаевич опасно заболел воспалением легких. Близкие и родные пережили немало тревог, но духовная жизнь Толстого болезнью нарушена не была, физическая слабость его не угнетала, а уносила ввысь.

«Должно быть, конец этой жизни. И отлично». «Телесный я спорит с духовным, отвращаясь от смерти. Но мне очень хорошо». «Болезнь не мешает, а скорее способствует работе и внешней и внутренней».

Брату Сергею Николаевичу он телеграфирует: «Радостно быть на высоте готовности к смерти, с которой легко и спокойно переменить форму жизни. И мне не хочется расставаться с этим чувством, хотя доктора и говорят, что болезнь повернула к лучшему. Чувствую твою любовь и радуюсь ей».

«Всю телеграмму он продиктовал Марии Львовне и только сам подписал «Левочка», разволновался и заплакал. Эта форма его имени – «Левочка» – употреблялась в его семье и напоминала

ему его детство».

Софья Андреевна сообщает сестре: «Процесс болезни так неопределенен, так медлен, что ни один доктор ничего предсказывать не берется… Воспаление держится в левом легком, близко от сердца, и всякую минуту может перейти на стенки сердца, которое и так стало очень плохо в нынешнем году. Когда вчера утром Левочка себя почувствовал лучше, он встретил доктора словами: «А я все еще не сдаюсь». Всякое ухудшение вызывает в нем мрачность; он молчит и думает, и Бог знает, что происходит в его душе. Со всеми нами, окружающими, он очень ласков и благодарен. Но болеть ему очень трудно, непривычно, и, по моему мнению, умирать ему очень не хочется. Сила мысли так еще велика, что больной, еле слышно его, а он диктует Маше поправки к своей последней статье или велит под диктовку записывать кое-что о болезни и мысли свои в записную книжечку… Доктора искренно говорят, что ничего вперед знать нельзя.

Сама я то перехожу к надежде полной, то на меня находит отчаяние, я часами плачу и ничего не могу делать. А то возьму себя в руки, чтоб до конца бодро ходить за Левочкой. По ночам сижу одна и чего, чего над ним не передумаю! Вся жизнь проходит с мучительной болью воспоминаний, и раскаяние за все то, чем я Левочку в жизни мучила, и бессилие что-либо вернуть или поправить, и просто жалость к страданиям любимого человека, – все это истерзало мое сердце. А то так устанешь, что тупо ко всему относишься. Часто бывает и религиозный подъем в смысле «да будет воля твоя!». А то кажется, что я не переживу Левочку, точно отрывается от меня половина, и боль эту не переживешь».

В тот же день Лев Николаевич пишет своему другу и единомышленнику М. А. Шмидт: «Как радостна близость к смерти. Не говоря о любви окружающих, находишься в таком светлом состоянии, что переход кажется не только не странным, но самым естественным. Доктора говорят, что могу выздороветь, но когда я в хорошем духе, мне жалко терять, что имею».

Софья Андреевна не замечает торжественности настроения Льва Николаевича и болезнь его воспринимает только как личное горе, как угрозу потери любимого мужа. Ей страшно за Льва Николаевича, грустно видеть его физическую беспомощность. В марте, когда всякая опасность миновала, она пишет А. Б. Гольденвейзеру: «Конечно, никогда уже я не буду жить той полной содержания и интереса жизнью, которой жила в Ясной Поляне и Хамовническом переулке, это *кончено* навсегда для всех, кто хоть какое-нибудь принимал участие в этой жизни. И это

невыносимо жаль. Во всяком случае, жив ли будет еще несколько лет Лев Николаевич, жизнь его будет дряхлого старика, которого надо беречь, которому запрещены будут всякие волнения, движения, лишнее общение с людьми и т. д. Он, как малый ребенок, будет ложиться спать рано, есть кашки и молоко, гулять с провожатым, не будет разговаривать, не будет слушать музыку, и вообще должен беречь свое сердце, которое стало легко возбудимо и потому опасно для жизни. В настоящее время Лев Николаевич все еще лежит, но последние следы воспаления проходят. Скоро совсем пройдут. Он читает уже сам книги, письма и газеты; сам ест и пьет. Но так еще слаб, что поднимаем и переворачиваем *его* всегда мы вдвоем, а сам он не может».

Едва Лев Николаевич оправился от тяжкой болезни, как в середине апреля снова захворал брюшным тифом. Душевное состояние его остается прежним, хотя минутами и заметна усталость.

«Как ясно, когда стоишь на пороге смерти, что это несомненно так, что нельзя жить иначе. Ах, как благодетельна болезнь! Она хоть временами указывает нам, что мы такое и в чем наше дело жизни. «Да будет воля того, по чьему закону я жил в этом мире (в этой форме) и теперь, умирая, ухожу из этого мира (из этой формы). Волю эту я знаю только по благу, которое она дала мне, и потому, уверенный в ее благости, спокойно, и, поскольку верю, радостно отдаюсь ей».

«Слабость и тоска». «Тиф прошел, но все лежу. Жду третьей болезни и смерти. В очень дурном настроении… Сейчас молюсь. И молитва, как всегда, помогает».

В письме к сестре Софья Андреевна сообщает о своем настроении: «Да, милая Таня, тяжелое мы пережили время; хуже этой зимы, после смерти Ванички, я ни одной не помню, во всей моей жизни. И, как контраст нашей жизни, наглый Крым цветет миллионами роз, белых акаций и множества других цветов, море синее с лодочками и пароходами, все зелено, ярко, свежо. И все это видишь из окон нашей тюрьмы, из которой никогда нельзя выйти, да и не хочется выходить. Весь интерес, все цели, заботы, труд, все направлено на то, чтоб облегчить Левочке его тяжелое положение. И я уверена, что все это от Крыма; это такое зараженное, инфекционное место, что не чаешь, когда выберешься. Тиф у Левочки прошел, это прямо чудо, что он выздоровел от двух смертельных болезней. Прямо *выходили».*

С возвращением Толстых в Ясную Поляну вернулись прежние хозяйственные заботы, и энергия Софьи Андреевны все так же направлена на укрепление материального благосостояния семьи. Она предпринимает осенью очередное издание и, в целях

обеспечения его, убеждает Льва Николаевича взять у Марии Львовны подписанную им в прошлом году выписку из дневника о завещании и отдать документ ей. Переговоры ведутся в атмосфере очень тяжелой. В эти дни Н. Л. Оболенский пишет цитированное выше письмо с изложением всей истории завещания, в свою очередь Софья Андреевна в таком же раздраженном тоне делает пространную запись в дневнике. Письмо Оболенского к В. Г. Черткову датировано 8 октября 1902 года. 10 октября Софья Андреевна отмечает в дневнике: «Когда произошел раздел имущества в семье нашей, по желанию и распределению Льва Николаевича, дочь Маша, тогда уже совершеннолетняя, отказалась от участия в наследстве родителей как в настоящее, так и в будущее время. Зная ее неправдивую и ломанную натуру, я ей не поверила, взяла ее часть на свое имя и написала на этот капитал завещание в ее пользу. Но смерти моей не произошло, а Маша вышла замуж за нищего – Оболенского и взяла свою часть, чтобы содержать себя и его. Не имея никаких прав на будущее время, она, почему-то тайно от меня, переписала из дневника своего отца – 1895 года – целый ряд его желаний после его смерти.

Там, между прочим, написано, что он страдал от продажи своих сочинений и желал бы, чтобы семья не продавала их и после его смерти. Когда Лев Николаевич был опасно болен в июле прошлого, 1901 года, Маша тихонько от всех дала отцу эту бумагу, переписанную ею из дневника, подписать его именем, что он, больной, и сделал».

«Мне это было крайне неприятно, когда я об этом случайно узнала. Отдать сочинения Льва Николаевича в общую собственность я считаю и дурным и бессмысленным. Я люблю свою семью и желаю ей лучшего благосостояния, а передав сочинения в общественное достояние, мы наградили бы богатые фирмы издательские, вроде Маркса, Цейтлина [322] (евреев) и другие. Я сказала Льву Николаевичу, что если он умрет раньше меня, я *не* исполню его желания и *не* откажусь от прав на его сочинения, и если бы я считала это хорошим и справедливым, я *при жизни* его доставила бы ему большую радость отказа от прав, а после смерти *это* не имеет уже смысла».

«И вот теперь, предприняв издание сочинений Льва Николаевича, по *его* же желанию оставив право издания за собою и не продав никому, несмотря на предложение крупных сумм за право издания, мне стало неприятно, да и всегда было, что в руках Маши бумага, подписанная Львом Николаевичем, что он не желал бы продавать его сочинений после его смерти. Я не знала содержания точного и просила Льва Николаевича мне дать эту

бумагу, взяв ее у Маши».

«Он очень охотно это сделал и вручил мне ее. Случилось то, чего я никак не ожидала: Маша пришла в ярость, муж ее кричал вчера Бог знает что, говоря, что они с Машей собирались эту бумагу *обнародовать* после смерти Льва Николаевича, сделать известной наибольшему числу людей, чтобы все знали, что Лев Николаевич не хотел продавать свои сочинения, а жена его продавала».

Лев Николаевич перестает быть таким радостным, каким был во время болезни. Он часто с умилением вспоминает торжественные минуты умирания, но окружающая обстановка, видимо, снова угнетает его, и мрачное настроение иногда возвращается.

«Очень тяжелый день. Болит печень, и не могу победить дурного расположения», – записывает Лев Николаевич ночью в дневнике.

Софья Андреевна по-своему оценивает это состояние.

«Ведь на днях ему 74 года. Духом он довольно мрачен, непроницаем, необщителен, неприветлив ни с кем, точно все виноваты, что он дряхлеет», – сообщает она сестре 11 августа.

29 сентября, кончая тетрадь дневника, Лев Николаевич отмечает: «Два года и четыре месяца. Много пережито и все хорошее».

К концу осени здоровье вполне восстановилось. Лев Николаевич «очень поправился, пополнел, и всегда довольный и даже радостный. Пишет статью «[Обращение] к духовенству» и к ней приложение – духовную «легенду» художественную». Жизнь пошла по-прежнему.

Спустя несколько месяцев, уже в 1903 году, Софья Андреевна пишет сестре: «У нас неперестающая суета и народ. Чем больше живешь на свете, тем все больше наваливается разных отношений, обязательств, знакомств, труда. Я решительно никого не приглашаю, а все время гости, гости без конца, и мне иногда от усталости просто плакать хочется. Не говоря уже про детей и внуков – это и естественно и приятно – но родственников, чужих, иностранцев, всякого народа толчется в Ясной непрерывно. Забота о помещении, еде, лошадях и экипажах, постелях занимает столько времени и соображения, что жить некогда».

«Живу я с Левочкой скоро 41 год, и какой-то у меня безумный вечный страх, что он без меня умрет. Куда ни поеду, все спешу, мучаюсь, и даже, приехав, заболеваю от нервного переутомления… Левочка здоров, бодр, много гуляет, к сожалению, опять много верхом ездит и лихорадочно, спешно работает свою умственную работу, точно спешит при жизни

сделать как можно больше».

«Ты мне как-то писала, что нам с тобой мало жить осталось. Что мне-то о себе думать! Я отжила содержательно и полно свою жизнь и теперь все кончила. Вот Левочке жаль уходить из жизни, хоть ему и 75 лет. Он так мог бы еще много работать».

XIV

Следующие годы не богаты внешними событиями, но духовная работа Толстого идет очень напряженно. Вопрос об участии в окружающей жизни, вопрос о семье не перестает волновать его. Временами ему «совестно за роскошную жизнь», и он упрекает себя, что «нет ни духовных, ни физических сил изменять». В другие минуты смиряется, надеясь, что жертва приносит добро. «Я покорился совершенно соблазнам судьбы и живу в роскоши, которой меня окружают, и в физической праздности, за которую не перестаю чувствовать укоры совести. Утешаюсь тем, что живу очень дружно со всеми семейными и не семейными и кое-что пишу, что мне кажется важным. Очень много есть такого».

Но при общении с единомышленниками Лев Николаевич опять больно чувствует свое внешне фальшивое положение.

«Как ни кажется странно и недобро то, что я, живущий в роскоши, позволяю себе советовать вам продолжать жить в нужде, я смело делаю это, потому что ни на минуту не могу усомниться в том, что ваша жизнь есть жизнь хорошая, перед совестью, перед Богом, и потому самая нужная и полезная людям, – пишет Лев Николаевич М. С. Дудченко [323] , – а моя деятельность, как бы она ни казалась полезной людям, теряет, хочется думать, что не все, но уже, наверное, самую большую долю своего значения вследствие неисполнения самого главного признака искренности того, что я исповедаю».

«Когда я узнаю про таких людей как вы и про то, что с вами случилось, я всегда испытываю чувство стыда, зависти и укора совести, – пишет Лев Николаевич своему последователю Я. Т. Чаге, отказавшемуся от военной службы [324] . – Завидую тому, что прожил жизнь, не успев, не сумев ни разу на деле показать свою веру. Стыдно мне от того, что в то время, как вы сидите с так называемыми преступниками в вонючем остроге, я роскошествую с так не называемыми преступниками, пользуясь материальными удобствами жизни. Укоры же совести я чувствую за то, что, может быть, своими писаньями, которые я пишу, ничем не рискуя, был причиною вашего поступка и его тяжелых материальных последствий. Самое же сильное чувство, которое я испытываю к таким людям, как вы, это любовь и благодарность за все те миллионы людей, которые воспользуются вашим делом. Знаю я, как усложняется и делается более трудным ваше дело, вследствие семейных уз… но думаю, что если вы делаете свое дело не для людей, а для Бога, для своей совести, то тяжесть дела

облегчается, вы найдете выход и довершите дело. Помогай вам Бог».

Сам Лев Николаевич «не для людей, а для Бога» продолжает свое великое дело. Он «давно махнул рукой на то, что в этом доме делается», и в те дни, когда барская обстановка не усложнена новыми деталями, Толстой обретает душевное спокойствие и радость жизни, весь отдаваясь творчеству.

1904 год в этом отношении особенно благоприятен. В дневнике почти отсутствуют записи личного характера. Прежде, когда семейные несогласия заставляли Льва Николаевича напрягать усилия для внутреннего равновесия, он всегда касался в дневнике этой стороны жизни, напоминая себе о посланничестве, о сохранении достоинства посланника Божия, о терпении. Теперь все записи носят отвлеченный характер. Углубляясь в неизбежные при определениях смысла религии метафизические вопросы, Толстой записывает сложные рассуждения о природе вещества и сознания, пространства и времени. Постоянно он возвращается к разрешению этих проблем, старается изложить их и нередко в конце отмечает: «не вышло», «не ясно», «запутался», «надо передумать». Следуют новые попытки. Даже война не прерывает хода мыслей Толстого: параллельно с краткими заметками об этом событии целые страницы дневника посвящены вопросам чисто философским. Личной жизни уделено лишь несколько записей. Они говорят об умиленном настроении, о душевном покое. Легко себя чувствует и Софья Андреевна. Но у нее свой мир.

«Теперь у нас так тихо, дружно. Левочка совсем здоров… много пишет, и я очень занята всякими делами». «Левочка мой очень бодр и весел, ездит много верхом и ходит пешком, ведет необычайно правильную жизнь, что его и поддерживает. Но я бы так не могла жить – скучно!» Записи Льва Николаевича: «На душе хорошо. Соня слаба, и мне ее очень любовно жалко». «Два дня тому назад был в удивительном, странном настроении: кротком, грустном, смиренном, покорном и умиленном. Хорошо».

«Вчера вернулся из Пирогова. Сережа [брат] кончается… Дома хорошо, и мне хорошо. Разобрался в письмах и в календаре. И на душе хорошо».

«Несколько раз за это время охватывало чувство радости и благодарности за то, что открыто мне». «Я… удивляюсь на свое большое счастье». «Мне очень хорошо».

Таким же умиленно-радостным, торжественным настроение мудреца остается и в следующем, 1905 году. Порою окружающая жизнь больно задевает его, но он тут же смиряется, в душе обращая зло в добро.

«Испытываю чувство любви ко всем, ко всему, и мне особенно хорошо. Боюсь, что много в этом физического, но все-таки это – великое благо. Господь, не отнимай у меня этого, приди и вселися»…

«Здоровье Сони неопределенно. Скорее, вероятно, что не дурного. С ней очень хорошо».

«Пропасть народа, все нарядные, едят, пьют, требуют. Слуги бегают: исполняют. И мне все мучительнее и мучительнее, и труднее и труднее участвовать и не осуждать». «Сидим на дворе, обедаем 10 кушаний, мороженое, лакеи, серебро, и приходят нищие, и люди добрые продолжают есть мороженое спокойно. Удивительно!!!» Временами у Софьи Андреевны проявляется нарочитая откровенность, и ее обнаженные взгляды не могут не мучить Льва Николаевича. Однажды, в разговоре о земельном вопросе она подчеркнула свое полное расхождение с мужем, заметив, что «она против проекта Генри Джорджа потому, что ее дети, которые жили до сих пор земельной собственностью, лишились бы ее».

Издательские дела также заставляют Толстого вспоминать о тяжелой действительности.

Он отмечает в дневнике: «Вчера нагрешил, раздражился о сочинениях, – печатании их. Разумеется, я кругом виноват. Хорошо ли, дурно ли это, но всегда после такого греха – разрыва любовной связи – точно рана болит. Спрашивал себя: что значит эта боль? И не мог найти другого ответа, как только то, что открывается (посредством времени) сущность своего существа. Считаешь его лучшим, чем оно есть».

В 1906 году общественные волнения вносят много драматизма в яснополянскую жизнь. Некоторые из сыновей, реакционно настроенные, не стесняются открыто высказывать свои взгляды в присутствии отца, тем глубоко оскорбляя его. Они вместе с матерью принимают меры к охране усадьбы, ставя Льва Николаевича в невыносимо тяжелое положение. Одинокий в семье, он ищет радости общения с теми, кто понимает его.

В тяжелые минуты он пишет Марии Львовне: «Милая Маша, скучно по тебе, особенно в последнее время. Очень было тяжело. Теперь лучше стало. Дошел даже до того, что два дня тому назад вышел из себя, вследствие разговора с Андрюшей и Левой, которые доказывали мне, что смертная казнь – хорошо, и что Самарин, стоящий за смертную казнь, последователен, а я нет. Я сказал им, что они не уважают, ненавидят меня и вышел из комнаты, хлопая дверями, и два дня не мог придти в себя. Нынче, благодаря молитве Франциска Ассизского (Frere Leon) и Иоанна: «не любящий брата не знает Бога», опомнился и решил сказать

им, что я считаю себя очень виноватым (я и очень виноват, так как мне 80 лет, а им 30) и прошу простить меня. Андрей в ночь уехал куда-то, так что не мог сказать ему, но Леве, встретив его, сказал, что виноват перед ним и прошу простить меня. Он ни слова не ответил мне и пошел читать газеты и весело разговаривать, приняв мои слова как должное. Трудно. Но чем труднее, тем лучше».

«О своей внутренней жизни, которая идет во мне более напряженно, чем когда-нибудь, я не пишу [тебе]. Пишу [об этом] в дневнике. Бывают минуты слабости, когда грустно от отдельности от всех, несмотря на физическую близость. Но это минуты слабости. Когда опомнишься, то, напротив, чувствуешь, что если то, что испытываешь и думаешь – то, что должно, т. е. тот, кто слышит тебя, и так или иначе то, что переживаешь, – не пропадет».

Из дневника: «Вчера ездил верхом по лесам, и очень хорошо думалось. Так ясен казался смысл жизни, что ничего больше не нужно. Боюсь, что это грех, ошибка, но не могу не радоваться спокойствию и доброте».

«То же дурное состояние. Борюсь с ним. Кажется, победил чувство недоброты, упрека людям, но апатия все та же. Ничего не могу работать. Вчера ездил верхом и все время спорил сам с собой. Слабый, дрянной, телесный, эгоистический человек говорит: «все скверно», а духовный говорит: «врешь, прекрасно. То, что ты называешь скверным, это – то самое точило, без которого затупилось, заржавело бы самое дорогое, что есть во мне». И я так настоятельно и уверенно говорил это, что под конец победил, и я вернулся домой в самом хорошем настроении».

Из дневника Д. П. Маковицкого (19 мая): «За чаем Лев Николаевич прочел вслух выдержку из письма С. В. Бодни, христиански настроенного 18-летнего крестьянина Полтавской губернии. Как только Лев Николаевич начал читать это письмо, Андрей Львович, за час до того приехавший из Москвы и только что рассказывавший про раздраженное настроение крестьян, встал из-за стола. Лев Николаевич спросил его, почему он не хочет послушать. Андрей Львович ответил: «Мне это неинтересно». После него уже явно демонстративно встал и ушел Лев Львович».

Из дневника Льва Николаевича (22 мая): «В это последнее время минутами находило тихое отчаяние в недействительности на людей истины. Особенно дома. Нынче все сыновья, и особенно тяжело. Тяжела неестественность условной [близости] и самой большой духовной отдаленности. Иногда, как нынче, хочется убежать, пропасть. Все это – вздор. Записываю, чтобы покаяться в

своей слабости. Все это хорошо, нужно и может быть радостно. Не могу [не] жалеть тех слепых, которые мнят себя зрячими и старательно отрицают то, что я вижу».

Из дневника А. Б. Гольденвейзера (11 июня): «У Толстых царит какой-то чуждый, неприятный дух, так что общение с ними мало радует».

Из дневника Д. П. Маковицкого (13 июля): «После обеда Лебрен [325] рассказал мне о вчерашнем споре сыновей со Львом Николаевичем. Началось с того, что Кристи [326] сказал, что какой-то славянофил, член думы, защищал смертную казнь. Лев Николаевич ужаснулся этому, как это, славянофил, который стоит за христианство, мог это говорить. Андрей Львович стал оправдывать смертную казнь. Лев Львович тоже. Задели Льва Николаевича за живое и пошло… Лев Николаевич спорил до слез и вышел, хлопнув дверью. – «Ужасно жалко было смотреть на него, какая горечь была на его лице», – сказал Лебрен» [327] .

Из дневника А. Б. Гольденвейзера (28 июля): «У Льва Николаевича тяжелая драма: Софья Андреевна и сыновья упорно не понимают и отрицают его отношение к жизни. Софья Андреевна хочет посадить в острог мужиков, срубивших несколько дубов в их лесу. Все это невыносимо тяжело Льву Николаевичу. Я знаю от Александры Львовны, что Лев Николаевич этим летом два раза был близок к тому, чтобы уйти из дому. Раз из-за сыновей, Андрея и Льва Львовичей, грубо защищавших смертную казнь, а другой раз теперь, из-за этих мужиков.

Пять-шесть дней назад я пришел в Ясную. Там кончили обед. Льва Николаевича не было уже на балконе. Чертков, П. А. Сергеенко [328] , Александра Львовна и даже Лев Львович уговаривали Софью Андреевну простить мужиков, стоявших тут же в стороне от балкона без шапок. Софья Андреевна, несмотря на все доводы, стояла на своем.

Я не выдержал и пошел вон с балкона. Я вышел в сад и увидал Льва Николаевича на верхнем балконе. Он сидел, а около него стояла Александра Львовна. Оказывается, он говорил ей, что почти готов сложить чемоданчик и уйти.

Увидев меня, он ласково сказал:

– А, здравствуйте, что же вы ко мне не зайдете?!

Я пошел наверх. Мы сели в гостиной играть в шахматы. Лев Николаевич сказал мне очень взволнованным голосом:

– Там делается что-то ужасное и для меня непостижимое!

А потом, когда Софья Андреевна согласилась на странный и, кажется, юридически неосуществимый план простить мужиков после приговора у земского начальника, Лев Николаевич сказал

ей кротко и спокойно:

– Ты лишила себя радости простить, а в них вместо доброго чувства вызовешь только озлобление. Их будут таскать по судам».

Мир в доме восстановился благодаря неожиданным событиям. Длившаяся более года болезнь Софьи Андреевны привела к большим осложнениям: оказалась киста с последовательным некрозом и начался перитонит. Доктора встали перед неизбежностью опасной операции. Все несогласия на время забыты, и семья объединяется в одном чувстве любви. Льва Николаевича радует душевная примиренность и религиозное настроение Софьи Андреевны, в нем опять пробуждается надежда на ее духовное возрождение. По контрасту с этим состоянием, ему неприятна суета докторов, приготовления к операции. Но врачи не решались ее делать без разрешения мужа, и он с большой неохотой согласился. В эти дни Лев Николаевич и Софья Андреевна переживают редкие для них минуты полной душевной близости.

Толстой записывает в дневнике: «Болезнь Сони все хуже. Нынче почувствовал особенную жалость. Но она трогательно разумна, правдива и добра. Больше ни о чем не хочу писать… Полон дом докторов. Это тяжело: вместо преданности воле Бога и настроения религиозно-торжественного – мелочное, непокорное, эгоистическое. Хорошо думалось и чувствовалось. Благодарю Бога. Я не живу и не живет весь мир во времени, а раскрывается неподвижный, но прежде недоступный мне мир во времени. Как легче и понятнее так! И как смерть при таком взгляде – не прекращение чего-то, а полное раскрытие…» «Перед операцией Софья Андреевна готовилась к смерти и прощалась со всем домом, начиная с Льва Николаевича и кончая последним слугой и служанкой, просила у всех прощения, и все плакали, умиленные ее высоким духовным настроением».

Во время самой операции Лев Николаевич ушел в Чепыж и там ходил один и молился.

«Если будет удачная операция, позвоните мне в колокол два раза, а если нет… Нет, лучше не звоните совсем, я сам приду, – сказал он, передумав, и тихо пошел к лесу», – пишет И. Л. Толстой.

«Через полчаса, когда операция кончилась, мы с сестрой Машей бегом побежали искать папа.

Он шел нам навстречу испуганный и бледный.

– Благополучно! благополучно! – издали закричали мы, увидев его на опушке.

– Хорошо, идите, я сейчас приду, – сказал он сдавленным от волнения голосом и повернул опять в лес.

После пробуждения мама от наркоза, он взошел к ней и вышел из ее комнаты в подавленном и возмущенном состоянии.

– Боже мой, что за ужас! Человеку умереть спокойно не дадут! Лежит женщина с разрезанным животом, привязана к кровати, без подушки… и стонет больше, чем до операции.

– Это пытка какая-то!»

Из дневника Льва Николаевича: «Нынче сделали операцию. Говорят, что удачна. А очень тяжело. Утром она была очень духовно хороша. Как умиротворяет смерть! Думал: разве не очевидно, что она раскрывается и для меня и для себя; когда же умирает, то совершенно раскрывается для себя: – «Ах, так вот что!» Мы же, остающиеся, не можем еще видеть того, что раскрылось для умирающего. Для нас раскроется после, в свое время. Во время операции ходил в елки и устал нервами… Соня пожелала священника, и я не только согласился, но охотно содействовал. Есть люди, которым недоступно отвлеченное, чисто духовное отношение к началу жизни; им нужна форма грубая. Но за этой формой – то же духовное. И хорошо, что оно есть, хотя и в грубой форме… Как смерть умиротворяет! Над смертью так естественна любовь… Соня открывается нам, умирая, – открывается до тех пор, пока видна… Снимаются покрова. Когда все сняты, кончается жизнь».

«Я впервые в жизни близко столкнулась со смертью, увидала и поняла ее, и принимала спокойно, серьезно, но сурово, – пишет Софья Андреевна сестре. – Суета людей на земле, особенно столичная, городская сутолока мне показались так странны, ничтожны, непонятны, что хотелось закричать всем: «Не стоит, бросьте все, не суетитесь, ведь вот-вот и всему конец». Мне жаль только было то, что торжественность, загадочность, поэзия смерти, которую я испытывала при смерти мне близких: матери, детей, совсем мною не ощущались при моем умирании. Но я и не умерла. В самые тяжкие и слабые минуты моего нездоровья мысли и воспоминания пролетали с страшной быстротой и ясностью. Оставлять после себя детей и всех, кого я любила, мне было мало жаль. Только, когда я с последним простилась с Левочкой, и он зарыдал и пошел к дверям, и худые плечи его поднимались от рыданий, и он всхлипывал и сморкался, мне стало его жаль; но я и тут только перекрестилась и не заплакала».

Болезнь благополучно кончилась, «покровы» снова надеты.

«Что вам сказать о мама: она и физически и нравственно делается прежней собой, – пишет Мария Львовна Л. Ф. Анненковой. – Теперь здоровье ее настолько хорошо, что она стала бодрым шагом ходить, громким голосом говорить, опять стала входить в жизнь, и хотя радуешься этому, как возвращению

к жизни, но параллельно с этим идет удаление от того серьезного, трогательного настроения, которое было в самое слабое физически время, и удаление от той мама, которая появилась во время умирания. И мне жаль расставаться с той и терять ее».

Уже через два дня после операции Лев Николаевич отметил в дневнике: «Ужасно грустно. Жалко ее. Величие страдания, и едва ли не напрасные. Не знаю. Грустно, грустно, но очень хорошо».

Спустя месяц: «Уж очень отвратительна наша жизнь: развлекаются, лечатся, едут куда-то, учатся чему-то, спорят, заботятся о том, до чего нет дела, а жизни нет, потому что обязанностей нет. Ужасно!!! Все чаще и чаще чувствую это».

Новое испытание опять на время сгладило обострившиеся углы. В ноябре захворала смертельной болезнью Мария Львовна. Она получила воспаление легких, и процесс протекал так бурно, что не уступал никаким средствам. Опасность определилась с первого же дня.

Записывая в дневнике тяжелый разговор с крестьянином, Лев Николаевич кратко коснулся своего беспокойства за дочь.

«В очень хорошем душевном состоянии любви ко всем. Читал Иоанна послание. Удивительно. Только теперь вполне понимаю. Нынче было великое искушение, которое так и не преодолел вполне. Догнал меня Абакумов с просьбой и жалобой за то, что его за дубы приговорили в острог. Очень было больно. Он не может понять, что я, муж, не могу сделать по-своему, и видит во мне злодея и фарисея, прячущегося за жену. Не осилил перенести любовно, сказал Абакумову, что мне нельзя жить здесь. И это недобро. Вообще меня все больше и больше ругают со всех сторон.

Это хорошо – это загоняет к Богу. Только бы удержаться на этом. Вообще чувствую одну из самых больших перемен, совершившихся во мне именно теперь. Чувствую это по спокойствию и радостности и доброму чувству (не смею сказать, любви) к людям.

Маша сильно волнует меня. Я очень, очень люблю ее».

26 ноября Мария Львовна скончалась.

Лев Николаевич потерял единственного близкого ему в семье человека. Старик отец лишался любимой дочери, последней опоры. Но личное горе не подорвало работы духа, она стала торжественнее, еще напряженнее. Не могила, а бесконечность раскрыта перед Толстым.

«Сейчас час ночи. Скончалась Маша. Странное дело: я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознания совершающегося чего-то исключительного, ни даже жалости, горя. Я как будто

считал нужным вызвать в себе особенное чувство умиления, горя и вызывал его, но в глубине души я был более покоен, чем при поступке чужом – не говорю уже, своем – нехорошем, недолжном. Да, это – событие в области телесной и потому безразличное. Смотрел я все время на нее, как она умирала: удивительно спокойно. Для меня она была раскрывающееся перед моим раскрыванием существо. Я следил за его раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области (жизни) прекратилось, т. е. мне перестало быть видно это раскрывание, но то, что раскрывалось, то есть, «где»? «когда?», – это вопросы, относящиеся к процессу раскрывания здесь и не могущие быть отнесены к истинной, внепространственной и вневременной жизни. Записать надо [идет ряд отвлеченных рассуждений, и в конце записи]: Как в минуты серьезные, когда как теперь лежит не похороненное еще тело любимого человека, ярко видна безнравственность и ошибочность и тяжесть жизни богатых. Лучшее средство против горя – труд. А у них нет необходимости труда, есть только веселье. А веселье – неловко, и остается невольно фальшивая, сентиментальная болтовня. Только что получил фальшиво-сочувственные письма и телеграммы и встретил дурочку Кыню [329] , она знала Машу. Я говорю: «Слышала наше горе?» – «Слышала». И тотчас же: «Копеечку дай». Как это много лучше и легче».

«Сейчас увезли, унесли хоронить. Слава Богу держусь в прежнем хорошем духе. С сыновьями сейчас легче. (Опять вслед за этим изложены мысли о Боге, о лжи и тщеславии, о взаимоотношении духовного и телесного в человеке.)».

«Нет-нет, и вспомню о Маше, но хорошими, умиленными слезами, – не об ее потере для себя, а просто о торжественной пережитой с нею минуте, от любви к ней».

«Живу и часто вспоминаю последние минуты Маши (не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя тому существу, которое ушло от меня). Она *сидит,* обложенная подушками, я держу ее худую, милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа – одно из самых важных, значительных времен моей жизни».

Иначе пережила смерть дочери Софья Андреевна. Не так хоронила она других своих детей. Старость ли, душевная ли отчужденность, но что-то помогало Софье Андреевне перенести это горе более спокойно, чем прежние. Ее описание печального события волнует по-иному.

«Милая Таня, не хотела я еще писать тебе, потому что очень мучительно описывать то тяжелое время и событие, которое пришлось нам пережить. Но, написав несколько *учтивых* писем в

благодарность за участие людей, мне стало грустно, что с тобой я не поделилась своими чувствами…

Две недели тому назад, в воскресенье, мы все ходили гулять, и я встретила в елочках за Чепыжем Машу, Колю, Андрюшу и еще многих. Шли они веселые, видели лисицу, и мы вместе вернулись».

«Вечером я проходила мимо Маши, она меня окликнула и сказала таким жалобным голосом: «Мамаша, мне больно, *очень* больно. При этом она показывала на левое плечо. Я спросила ее: «Что это с тобой?» Она на меня испуганно посмотрела и побледнела, потом пошла вниз и легла. Воспаление легкого пошло развиваться с беспощадной быстротой… Жар держался все время между 40,5 и 41,3».

«Весь рот запекся, речь стала непонятна и затруднена, также как дыханье. Едва можно было понять, когда она, минутами приходя в себя, говорила: «папаша, милый», или: «мамаша, как поживаете?», или «не уходи», просила она отца. В день смерти она вдруг горько, по-детски стала плакать и обнимала Колю. Я думаю, что ей не хотелось и грустно было умирать. Потом она едва внятно сказала: «умираю», закрыла глаза и как будто серьезно, сосредоточенно занялась делом умиранья. Дышала трудно, ее посадили, глаза были закрыты, исхудала она страшно. Вздохи были все реже и реже, один только раз она икнула и стихла. Голова была немного наклонена в сторону, лицо милое, покорное, такое уже выстрадавшееся и неземное. Когда она кончалась, Левочка все время держал ее руку и сидел возле нее. Потом мы поцеловали ее в лоб и положили уже мертвую. Никто в доме не решался ее одеть, умыть, закрыть глаза и завязать голову, чтобы не открылся рот; все боялись. Остались в комнате Маша, жена Сережи, и я. Позвали няню для храбрости, мы подбодрили девушек, и тогда все было сделано. Во время кончины Маши мы все находились в двух комнатах, вся семья, два доктора, Юлия Ивановна [330] , и вся почти прислуга. Тишина была мертвая. Коля все время рыдал, его очень жаль, он совсем растерялся… До кладбища несли гроб на руках и прислуга, и дети мои, и крестьяне, и все шли пешком. Беспрестанно останавливали гроб у изб и служили литию. Я проводила Машу до каменных столбов, сил у меня мало, Левочка до конца деревни, и мы вернулись домой. И вот опять идет жизнь обыденная, точно ничего и не случилось, а только где-то глубоко сидит сердечная боль, растревожившая и прежние раны. Что испытывает Левочка, я не знаю.

На вид он спокоен, занят по-прежнему своим писаньем, гуляет, ездит верхом и даже играл на днях в винт.

Маша из всех детей его любила больше всех, и в ней мы теряем ту сердечную опору, которая всегда была наготове помочь, сочувствовать всякому и тем более тому, что касалось ее отца. Ну и прощай, Таничка, довольно мне бередить свою рану» [331] .

XV

Постепенно ослабевает боль, постепенно житейские вопросы снова выступают вперед. По обстоятельствам переживаемого времени они особенно выпуклы.

Народная жизнь вышла из спокойного русла, и отношения между усадьбой и деревней обострились. Кто-то крадет капусту с огорода, ночью приезжает с телегами за овощами, пускает в сад лошадей, а загнанных кучера без разрешения выпускают обратно. Кто-то обстреливает сторожей, крестьяне уходят с работы, не платят аренды. Что делать, как управлять имением? Вопрос поставлен ребром, он не допускает отсрочки, не оставляет места для уклончивого ответа. Значение его выходит за пределы материального плана, так как психологически тут затронута судьба тех незыблемых устоев, которые Софья Андреевна призвана поддерживать, ради спасения которых она жертвовала своими отношениями с мужем. Семья зародилась в этих условиях, процветать она может только в них. Нет ничего выше интересов семьи (прежде детей, потом – детей и внуков). Так вопрос был поставлен всегда и так разрешался. В обычных условиях все шло внешне спокойно, но едва наступил перебой, как пришлось немедленно занять вполне определенную позицию. Другого выхода нет, помещице С. А. Толстой ничего не остается, как просить губернатора прислать стражников, «чтобы отобрать у крестьян револьверы и ружья и напугать их… Сделали обыск на деревне и арестовали, кажется, троих».

Вооруженная охрана оставалась на усадьбе несколько лет. Первое время она следила за проходящими, подозрительных обыскивала, спрашивала у них документы, беспаспортных арестовывала.

К таким крайним мерам Софья Андреевна, вероятно, пришла бы и раньше, если бы печальные семейные события не отвлекали ее внимания. С удвоенной энергией отдается она теперь своим занятиям. «Я чисто в смоле киплю. Хозяйство всякое просто замучило. Переменила приказчика: завтра велела сменить стражников; мучилась со сбором денег за покосы; всякую копейку сама получала; и за покос внесено мне в нынешнем году 1400 рублей, да за сад 1250. Так что я могу содержать Ясную Поляну в нынешнем году без приплаты; а то все приходилось добавлять. За аренду земли тоже получу 1400 рублей». *«Необходимо* оказалось осушить под флигелем подвал, там постоянная вода, и дом портится, и жить в нем нельзя. *Необходима* плотина нижнего пруда, который уходит. *Необходимо* учесть и уплатить 400 рублей

поденным, так как приказчик у меня хороший на дело, но плохой по грамоте. И в Москву ехать по делам тоже *необходимо».*

«Грумонтские мужики срубили 133 дуба старых и готовили их продавать в Туле. И теперь этих мужиков посадят, вероятно, и все это мучительно… а оставить без внимания такие крупные кражи невозможно». «На этих днях еще обокрали флигель: матрасы, лампы, гардины и проч., и еще мед из улей вырезали. Жить в деревне, в России, стало невыносимо. И стражники ничего не помогают».

Чем прямолинейнее Софья Андреевна отстаивает свои права, тем глубже и шире растет пропасть, отделяющая ее от Льва Николаевича. И в то время, как семейные условия помогают Толстому дойти до последних пределов смирения, внутреннего освобождения и религиозного подъема, твердость Софьи Андреевны, встречающая только пассивное сопротивление и страдания мужа, никого не побеждает и обращается во вред ей самой. Почти все молча или громко осуждают Софью Андреевну. Одни, считая ее хозяйственные приемы вполне нормальными, не могут простить ей нравственных мучений Льва Николаевича, другие ставят ей в упрек и то и другое. Одни жалеют ее, другие извиняют, но мало кто одобряет.

Что же делает она? Только то, что, по ее мнению, надо делать. Она выполняет обязанности, возложенные на нее с первого дня замужества. Она участвует в закономерном развитии жизни, не изменяя ей. Она остается до конца верной той семье, которой посвятила молодость, той среде, в которой прожила всю жизнь. Это муж отошел, изменил, а в результате во всем виноватой оказалась она. Каждый новый решительный шаг (внешняя жизнь их требует все больше и больше) подрывает ее душевное равновесие, и воспитанная годами истерия органически развивается [332] .

В минуты возбуждения Софья Андреевна доходит до нелепых обвинений. В ответ на советы Льва Николаевича отпустить стражников она возражает, что ему легко так говорить, живя на готовом. А когда он высказывает мысль, что невозможно, имея совесть, быть богатым, она раздраженно замечает, что «ничуть не тяжело… Кому тяжело, тот пусть уходит… Однако никто не уходит… Лев Николаевич имеет верховых лошадей, пользуется двумя лучшими комнатами в доме… Все любят вкусную пищу».

Но Лев Николаевич еще не теряет уверенности, что его присутствие в семье является лучшей формой служения добру. На недоумения некоторых друзей он отвечает: «Одно могу сказать, что причины, удерживающие меня от той перемены жизни, которую вы мне советуете, и отсутствие которой составляет для

меня мучение, что причины, препятствующие этой перемене, вытекают из тех самых основ любви, во имя которых эта перемена желательна и вам и мне. Весьма вероятно, что я не знаю, не умею, или просто во мне есть те дурные свойства, которые мешают мне исполнить то, что вы советуете мне. Но что же делать? Со всем усилием моего ума и сердца, я не могу найти этого способа».

«Прочел внимательно ваше письмо и совершенно согласен с вами, что я не поступил и не поступаю, как было бы желательно, т. е. по идеалу совершенства, но все-таки со всем желанием поступить соответственно кажущихся высших требований, не могу этого сделать, и не потому, что жалею вкусную пищу, мягкую постель, верховую лошадь, а по другим причинам, – не могу сделать горе, несчастье, вызвать раздражение, зло в женщине, которая в своем сознании исполняет все выпавшие на ее долю, как жены, вследствие связи со мной, обязанности, и исполняет вполне, сообразно своему идеалу, хорошо… Вы мне сказали прямо, что думаете обо мне, и я истинно благодарен вам, хотя и не могу, как хотел бы, воспользоваться вашими указаниями, потому что я был грешен и есмь грешен, и если хочу избавиться от грехов, то стараюсь избавляться от них в настоящем, а мое положение никак не могу изменить без новых грехов в настоящем».

Избегать «грехов в настоящем» порою очень трудно. «Стреляли ночью воры капусты, и Соня жаловалась, и явились власти и захватили четверых крестьян, и ко мне ходят просить бабы и отцы. Они не могут допустить того, чтобы я, особенно живя здесь, не был бы хозяин, и потому все приписывают мне. Это тяжело и очень, но хорошо, потому, что, делая невозможным доброе обо [мне] мнение людей, загоняет меня в ту область, где мнение людей ничего не весит».

«Мне было стыдно слышать рассказ киевского [333] о том, как он встретил бабу, у которой загнали лошадь и требовали рубль, и как она ругала меня и всех нас чертями, дьяволами. – «Сидят, лопают, черти…». Кроме того, говорил и про то, что мужики уверены, что я всем владею и лукавлю, прячусь за жену. Очень было больно, к стыду моему. Я даже оправдывался… Это испытание надо нести. И на благо. Впрочем, то, что это на благо, я понял, почувствовал только нынче, и то не совсем».

«С Соней тяжелый разговор о хозяйстве. Я жалею, что не сказал о грехе земли. За обедом тоже она, бедная, запуталась. Интересное существо она, когда любишь ее; когда не любишь, то слишком просто. Так и со всеми людьми». «Умиляюсь, молюсь и радуюсь, радуюсь сознанием Бога-любви в своей душе. Полон ею. Благодарю все, люблю все».

«Я прочел вслух «Единую Заповедь». Ответ – молчание и явно – скука». «Странно, что мне приходится молчать с живущими вокруг меня людьми и говорить только с теми, далекими по времени и месту, которые будут слышать меня».

Пребывание в семье становится для Толстого все мучительнее и бессмысленнее. Ему давно «хочется подвести отделяющую черту под всей прошедшей жизнью и начать новый, хоть самый короткий, но более чистый эпилог». Однако, он отказывается от душевного комфорта, не желая обрывать нитей любви, надеясь получить радость более глубокую и совершенную. Но с каждым днем это становится сомнительнее. Его влияние ни на чем не отразилось, ничего не изменило. Наоборот, жизнь семьи, взгляды ее сделались еще обнаженнее. Временами у Льва Николаевича не хватает сил, и он признается себе: «Ночь спал тяжело. Еще вчера было так тоскливо просыпаться и начинать день, что я записал где-то: «неужели опять жить?» Дни теперь приносят только новые разочарования: «Поразительны по своей наивной бесчувственности рассуждения Андрюши о том, как выгодно стало владеть имениями: хлеб, рожь, стал вдвое дороже, работа стала на 20 % дешевле. Прекрасно. Чего же желать».

«Вчера вечером было тяжело от разговоров Софьи Андреевны о печатании и преследовании судом [334] . Если бы она знала и поняла, как она отравляет мои последние часы, дни, месяцы жизни! А сказать и не умею и не надеюсь ни на какое воздействие на нее каких бы то ни было слов».

«Сейчас с Сашей говорил. Она рассказывала про жадность детей [335] и их расчеты на мои писания, которые попадут им после моей смерти, следовательно, и на мою смерть. Как жалко их. Я отдал при жизни все состояние им, чтобы они не имели искушения желания моей смерти, и все-таки моя смерть желательна им. Да, да, да, несчастные люди, т. е. существа, одаренные разумом и даром слова, когда они и то и другое употребляют для того, чтобы жить, как животные. Нехорошо: сужу их; если так живут, то, значит, иначе не могут. А я сужу».

Друзья Толстого, обеспокоенные за судьбу его духовного наследия, предлагают Льву Николаевичу обеспечить его волю посредством формального документа. Сначала мысль эта Льву Николаевичу «неприятна», он возражает, говоря, что «провались все эти писания «к дьяволу», только бы ни вызывали они недобрых чувств», ему «тяжело», «потому что надо иметь дело с правительством». Но он не видит другого выхода и, наконец, хочет решить «все самым простым и естественным способом», отдав в фиктивную собственность дочери Александре Львовне не только «писания до какого-то года» как предлагали друзья, а «и

прежние, до 82-го».

1 ноября 1909 года подписана выработанная при участии юриста первая редакция завещания [336] .

Личные отношения с Софьей Андреевной также до крайности усложнены. В прежнее время их тяжесть, являясь результатом столкновения двух противоположных мировоззрений, была тем самым логически оправданной и таила в себе возможность ее преодоления. Теперь же душевное состояние Софьи Андреевны сильно ухудшилось. В упреках, нападках, в отчаянии, во всех ее действиях стало больше проявлений истерической возбужденности, нежели разумных доводов здорового человека. Страдания Льва Николаевича теряют свою обоснованность.

Нервность Софьи Андреевны особенно обострилась летом 1909 года, в связи с предполагавшейся поездкой Льва Николаевича в Стокгольм на конгресс мира. Ей страшно отпустить мужа в далекое путешествие, она то протестует, то соглашается, угрожает, не знает, что делать, теряет под собой почву.

В эти дни Лев Николаевич записывает в дневнике: «Вчера С. А. была слаба и раздражена. Я не мог заснуть до 2-х и дольше. Проснулся слабым, меня разбудили. С. А. не спала всю ночь. Я пришел к ней. Это было что-то безумное. – Душан [337] отравил ее и т. п.»

«После обеда заговорил о поездке в Швецию, поднялась страшная истерическая раздраженность. Хотела отравиться морфином, я вырвал из рук и бросил под лестницу. Я боролся. Но когда лег в постель, спокойно обдумал, решил отказаться от поездки. Пошел и сказал ей. Она жалка, истинно жалею ее. Но как поучительно. Ничего не предпринимал, кроме внутренней работы над собой. И как только взялся за себя, все разрешилось».

«Началось опять мучительное возбуждение С. А. Мне и тяжело и жалко ее, и слава Богу, удалось успокоить».

«Нынче… разговор с С. А., как всегда, невозможный». «Пришла С. А., объявила, что она поедет, но «все это наверное кончится смертью того или другого, и бесчисленные трудности». Так что я никак уже в таких условиях не поеду».

«С. А. готовится к Стокгольму и, как только заговорит о нем, приходит в отчаяние. На мои предложения не ехать, не обращается никакого внимания. Одно спасение: жизнь в настоящем и молчание».

«Я устал и не могу больше и чувствую себя совсем больным. Чувствую невозможность относиться разумно и любовно, полную невозможность. Пока хочу только удаляться и не принимать никакого участия. Ничего другого не могу, а то я уже серьезно

думал бежать. Ну-тка, покажи свое христианство. C\'est le moment ou jamais [338] . А страшно хочется уйти. Едва ли в моем присутствии здесь есть что-нибудь, кому-нибудь нужное. Тяжелая жертва, и во вред всем. Помоги, Бог мой, научи. Одного хочу: делать не свою, а твою волю. Пишу и спрашиваю себя: правда ли? не рисуюсь ли я перед собою? Помоги, помоги, помоги».

В 1909 году мысль об уходе не один раз возникает у Льва Николаевича, и он в течение нескольких месяцев возвращается к ней.

«Сейчас вышел: одна, Афанасьева дочь [339] , с просьбой денег, потом в саду поймала Анисья Копылова о лесе и сыне; потом другая Копылова, у которой муж в тюрьме, – и я стал опять думать о том, как обо мне судят: «Отдал будто бы все семье, а сам живет в свое удовольствие и никому не помогает». И стало обидно, и стал думать, как бы уехать. Как будто и не знаю того, что надо жить перед Богом в себе и в нем и не только не заботиться о суде людском, но радоваться унижению. Ах, плох, плох. Одно хорошо, что знаю [это], и то не всегда, а только нынче вспомнил. Что ж плох, постараюсь быть менее плохим… Уехать нельзя, не надо, а умереть все-таки хочется, хоть и знаю, что это дурно и очень дурно».

«Вчера ничего не ел и не спал, как обыкновенно. Очень было тяжело. Тяжело и теперь, но умиленно-хорошо. Да, – любить делающих нам зло, говоришь, – ну-ка, испытай. Пытаюсь, но плохо. Все больше и больше думаю о том, чтобы уйти и сделать распоряжение об имуществе. Теперь утро, пришел с прогулки. Не знаю, что буду делать. Помоги, помоги, помоги. Это «помоги» значит то, что слаб, плох я. Хорошо, что есть хоть это сознание».

«Хоть и неприлично говорить это и глупо и часто несправедливо, мне кажется, что я скоро уйду, и я не отгоняю эту мысль, она и полезна и приятна».

8 августа Лев Николаевич сообщил по секрету М. А. Шмидт о своем намерении уйти из дома. Тогда же он спросил Д. П. Маковицкого, нужен ли паспорт за границей и как перейти границу без паспорта: «Узнайте, как можно переправиться через границу. Хочется уединения; удалиться от суеты мирской, как буддийские старики делают. Вам одному говорю».

Только год спустя Лев Николаевич убедился окончательно в необходимости оставить семью. А теперь он имеет еще силы бороться с этим соблазном, в нем теплится надежда на счастливое разрешение создавшегося положения, он ищет подтверждений, иногда их находит.

«Неприятные известия, что Соня взволновалась предложением ехать до Москвы врозь. Пошел к ней. Очень жаль

ее; она, бедная, больна и слаба. Успокоил не совсем, но потом она так добро, хорошо сказала, – пожалела; сказала: «Прости меня». Я радостно растрогался».

«Приятно было вчера или третьего дня в то время, как я как раз думал о том, как я счастлив, сказать пришедшей здороваться Соне, что я счастлив, и причина этого – и она».

«Соне немного лучше, но она очень жалка. Вот где помочь, а не отворачиваться, думая о себе».

«Вчера в середине дня было состояние умиления до слез, радости сознания жизни, как части, – проявления Божества, – и благодарности кому-то, чему-то великому, недоступному, благому, но сознаваемому. Вчера же Соня говорила мне, огорчаясь, о том, как в дневниках моих она видит мое недовольство ею. Я жалею об этом, и она права, что я in the long run [340] был счастлив с нею, не говоря уже о том, что все хорошо. Хорошо и то, что я жалею, что огорчил ее. Она просила написать о вымарках в дневнике, что они сделаны мною. Очень рад сделать это».

Тяжело, мучительно Софье Андреевне.

Она чувствует, что близким к Льву Николаевичу людям стала в тягость. Ее из учтивости слушают и избегают ее. С ней нет ничего общего, ее присутствие переносят как тяжелую необходимость. В глазах многих из них Софья Андреевна есть не что иное, как болезненный нарост, который по соображениям моральным нельзя удалить. В своем доме она чужая. Оживленный разговор при появлении Софьи Андреевны сразу замолкает, когда она уходит, начинается задушевная беседа, какая может быть только без нее [341] . Ее горе никого не задевает, ее радости никого не трогают. С мужем, с которым ее связывают 47-летние узы, нет равных отношений. Она для него испытание, преодоление зла, путь к другой жизни, в то время как он для Софьи Андреевны – начало всего, основа ее семейного здания.

Интересы Льва Николаевича объединяют около него посторонних семье людей, и Софья Андреевна остается в этом кругу ненужным придатком. Она протестует против них, они восстановлены против нее. Лучшие радости Льва Николаевича не с ней, а с ними. Если даже Софья Андреевна и пытается подойти к ним, хотя бы на мгновение, хотя бы одним только движением, но искренне разделить их интересы, то ее участие как-то излишне, никому не нужно, – интересы и цели жизни безнадежно различны, и нет никаких точек соприкосновения. На стороне Софьи Андреевны несколько сыновей, но и те приносят матери больше огорчений, чем радости.

Печальный конец светлого счастья порожден Львом

Николаевичем, изменившим источнику счастья – любви. Иначе не может думать Софья Андреевна. Мир ее создан любовью, он стал нарушаться тогда, когда новые настроения мужа отодвинули его чувство на задний план. В этой перемене Софья Андреевна видит причину своего горя, и ее мысль сосредоточивается на этом убеждении. При каждом случае, в разговоре шутливом или повышенном, она с волнением останавливается на прошлом, нападает на Льва Николаевича. Вот две сцены из жизни. Они очень характерны.

Однажды Софья Андреевна, недовольная, что друзья Льва Николаевича увели его на прогулку, не дав ему возможности отдохнуть после работы, раздраженно говорила окружающим, что оберегала Льва Николаевича и убережет. Не она его взяла, а он ее. В дневнике в двух местах записано, что если она не выйдет за него, то он застрелится. А с его страстной натурой сделал бы это. И тут же обратилась с вопросом к сестре Льва Николаевича, как она думает, застрелился ли бы.

Другой случай: «С. А. Стахович прочла несколько стихотворений Тютчев а… Одно из прочитанных С. А. Стахович стихотворений Тютчева, «Последняя любовь», Л. Н. не одобрил.

– В нем самое низменное чувство представляется возвышенным, – сказал он.

– Вот! – заметила С. А., не поднимая головы от шитья. – Я всегда говорила, что он любви не понимает и никого никогда не любил.

И несколько раз возвращалась она к этим словам.

– Нет, каково же мне было прожить с ним 46 лет, когда он считает, что любовь – низменное чувство!.. Самое лучшее в жизни есть любовь, не будь любви, я бы давно повесилась с тоски.

Л. Н. молча перелистывал Тютчева, нашел стихотворение «Декабристы» и прочел вслух. Оно не понравилось ему первой и второй строфой.

– Низменное чувство! – тихо с негодованием произнесла С. А.

– Ты что? – переспросил Л. Н.

– Я все о твоих словах, что любовь – низменное чувство. Вот Чертков свою жену как любит, как бережет, она давно и не жена его; что же, это тоже – низменное чувство?

– Да я ничего не говорю… Ничего нет дурного, а дурно то, когда возвеличивают».

Кроме одиночества и полной оторванности в настоящем, Софье Андреевне предстоит страшный суд истории. Она знает, что многие не простят ей страданий Толстого, мучительной обстановки, созданной ее отношением к деньгам, ее прямолинейностью и самостоятельностью, всеми ее действиями

во благо семьи. Это последний удар, который должна принять на себя Софья Андреевна. И настоящее, и место в истории, все разрушил отход мужа от той жизни, в которой оба они были счастливы. Софье Андреевне не только надо защитить свою правоту, но и обвинить того, кто противопоставил ее взглядам высшую правду. Она составляет свою биографию, большой труд под названием «Моя жизнь». В ней Софья Андреевна подробно описывает ушедшие годы, особенно заостряя моменты интимной жизни, подчеркивая, что у Льва Николаевича не было настоящей любви, а было только чувственное влечение, уступившее времени. В обстановке не разрушенной еще семейной жизни, вблизи мужа, она готовит оправдывающий ее документ.

Однако, как ни тяжела расплата, Софья Андреевна ни на одну минуту не сомневается в правильности своего пути. А путь этот ведет к гибели. Каждый шаг наносит новый удар и ей и Льву Николаевичу. Чем меньше у нее сил бороться, тем с большим ожесточением борется она. Истерия ее развивается с невероятной быстротой.

И уже близка роковая пропасть. Наступил 1910 год.

Список использованной литературы

Арбузов С. П. Гр. Л. Н. Толстой: Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего слуги графа Л. Н. Толстого. М., 1904.

Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом: (В октябре и ноябре 1891 г.). Смоленск, 1893.

Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. В 4 т. 3-е изд., испр. и доп. М.; Пг., 1922–1923. Т. I. 1923; Т. 2. 1923; Т. 3. 1922; Т. 4. 1923.

Богданович А. В. Три последних самодержца: Дневник А. В. Богданович. М.; Л., 1924.

Булгаков Вал. Ф. Замолчанное о Толстом // Ковчег: Сб. Прага, 1926.

Булгаков Вен. Ф. Дом Льва Николаевича Толстого в Хамовниках: Путеводитель. М.; Л., 1928.

Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого: Записи за пятнадцать лет. Т. I. М., 1922.

Гуревич Л. Я. С. А. Толстая // Жизнь искусства. 1919. 22–23, 25–27 нояб.

Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым: Записи бывшего секретаря Л. Н. Толстого. М., 1912.

Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым: Воспоминания и дневник бывшего секретаря Л. Н. Толстого, 1907–1908. 2-е изд., испр. и доп. М., 1928.

Гусев Н. Н. Биография Л. Н. Толстого. Т. 1: Молодой Толстой (1828–1862). М., 1927.

Гусев Н. Н. Биография Л. Н. Толстого. Т. 2: Л. Н. Толстой в расцвете художественного гения (1862–1877). М., 1927.

Зародыш великой трагедии или шутка? (Беседа о «Фарфоровой Софье Андреевне» с Н. Н. Гусевым и В. Г. Чертковым) // Красная газета. Веч. вып. Л., 1926. 25 янв.

Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне: Воспоминания. В 3 ч. М., 1925–1926. Ч. 1. 1846–1862. 1925; Ч. 2. 1863–1864. 1926; Ч. 3. 1864–1868. 1926.

Лазурский В. Ф. Воспоминания о Л. Н. Толстом. М., 1911.

Лебрен В. А. Толстой: (Воспоминания и думы). М., 1914.

Мертваго А. П. Первая любовь Л. Н. Толстого // Утро России. 1911, 12 июня.

Письмо графини С. А. Толстой и ответ митрополита Антония //Лит. вестн. 1901. № 4.

Попов Е. И. Жизнь и смерть Е. Н. Дрожжина, 1866–1894 / С предисл. Л. Н. Толстого. Берлин, 1895.

Попов П. С. Роман Л. Н. Толстого с В. В. Арсеньевой и повесть

«Семейное счастье». «Огонек», 1928, № 7.

Роллан Р. Жизнь Толстого. Берлин, 1923.

Серон А. Граф Лев Толстой. М., 1896.

Серон А. Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого: Записи г-жи Анны Серон. СПб., 1895.

Снегирев В. Ф. Операция (Из записок врача). Международный Толстовский альманах, составленный П. Сергеенко: О Толстом. М., 1909.

Старинин И. И. Около мудреца. Рус. ведомости. 1911. 16 нояб.

Страхов Н. Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862–1885). Спб., 1885.

Тихомиров Л. А. Воспоминания Льва Тихомирова. М.; Л., 1927.

Толстая С. А. Дневники, 1860–1891. М., 1928.

Толстая С. А. Женитьба Л. Н. Толстого // Рус. Слово, 1912. 23 сент.

Толстая С. А. Четыре посещения гр. Льва Николаевича Толстого монастыря «Оптина пустынь» // Толстовский ежегодник 1913 года. СПб., 1914.

Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1914.

Толстой Л. Л. Правда о моем отце. Л., 1924.

Толстой Л. Н. Дневник молодости Льва Николаевича Толстого. Т. 1. 1847–1852. М., 1917.

Толстой Л. Н. Дневник Льва Николаевича Толстого. Т. 1. 1895–1899. М., 1916.

Толстой Л. Н. О половом вопросе: Мысли Л. Н. Толстого, собранные В. Чертковым. Крайсчерч, 1901.

Толстой Л. Н. Письма графа Л. Н. Толстого к жене, 1862–1910. 2-е изд., испр. и доп. М., 1915.

Фарфоровая куколка: Неизданное письмо-сказка Л. Н. Толстого. Письмо Л. Н. Толстого к Т. А. Кузминской от 21 марта 1863 г. // Красная нива. М. 1926. № 4.

Фарфоровая Софья Андреевна: Загадочное в жизни Л. Н. Толстого // Красная газета. Веч. вып. Л., 1926. 23 янв.

Цявловский М. А. Кто такие Иртеньевы? Огонек. 1928. № 3.

Чертков В. Г. Уход Толстого. М., 1922.

Шутка или трагедия: О «фарфоровой Софье Андреевне» // «Красная газета». Веч. выпуск. Л., 1926, 26 янв.

Примечания

1

С 14 лет до женитьбы – до 34 лет.

2

«Воспоминания».

3

Мысли Л. Н. Толстого о половом вопросе, собранные В. Г. Чертковым.

4

«Записки маркера».

5

И. Н. Гусев. Биография, т. I, гл. VI. В этой части «Воскресения» очень много автобиографического. В первом наброске, сделанном 26 декабря 1889 г., Нехлюдов выведен под фамилией Валерьяна Юшкина, племянника тетушек Юшкиных. В первый раз фамилия эта была написана в рукописи «Юшков» и тут же исправлена на «Юшкин». Л. Н-ч был племянником П. И. Юшковой. Но здесь, вероятно, описано не первое падение автора, а позднейшая страница его жизни. Молодая девушка («Катюша Маслова») была, кажется, из Ясной Поляны или из другой ближайшей деревни, а его *роковой* шаг был сделан не там. Но возможно также, что Толстой имел намерение описать в романе свое первое падение, и оно отразилось на этих страницах. – И. И. Старинину он сообщил, что все произошло в Кизическом монастыре под Казанью. А в Казани Толстой жил у Юшковых *(И. И. Старинин.* Около мудреца // «Русские ведомости», 16 ноября 1911 г.)

6

«Юность», гл. III.

7

«Юность», гл. XXXII.

8

Мелочи могут привести к серьезным последствиям… *(фр.)*

9

Дунечка – Темяшева; провела детство в семье Толстых. О ней Л. Н-ч пишет в «Воспоминаниях»: «Она была не умная, но хорошая, простая девочка, а главное, – до такой степени целомудренная, что между нами, мальчиками, и ею никогда не было никаких, кроме братских отношений».

10

В подлиннике описка: «совесть».

11

В подтверждение автобиографичности этого рассказа приводим выдержку из дневника от 18 июня 1903 г.: «В еврейский сборник. Веселый бал в Казани, влюблен в красавицу, дочь воинского начальника-поляка; танцую с нею, ее красавец старик-отец ласково берет ее и идет на мазурку. И на утро, после влюбленной бессонной ночи, звуки барабана и сквозь строй гонят татарина, и воинский начальник велит больней бить».

12

Сведения заимствуем из письма дочери Молоствовой Ел. Ник. Тиле к Ел. Вл. Молоствовой от 4 ноября 1914 г. Зин. Модест, родилась 21 ноября 1828 г., скончалась 10 февраля 1897 г. в Казани. Она всю жизнь мечтала о встрече с Л. Н-чем, всей душой увлекаясь его учением. О Молоствовой более подробно в статье А. П. Мертваго («Утро России», 12 июня 1911 г.) и в комментариях к I тому «Дневника Молодости», с. 211–214.

13

П. И. Бирюков. Биография, т. I, гл. VII.

14

Письмо Т. А. Ергольской, 12 января 1852 г. *(перев. с фр.).*

15

Письмо Т. А. Ергольской, 26 июня 1852 г. *(перев. с фр.).*

16

«Внук дяди Ерошки у Льва Толстого», запись А. П. Кулебякина со слов Д. М. Сехина, внука «дяди Ерошки».

17

Приводим из цитированной статьи характерные воспоминания «Марьяны» о ее знакомстве с Л. Н-чем: «Я ему все-таки много тогда кое-чего промеж разговоров других сказала. Там сама словечко брошу, там жду, что он скажет. Не дождусь, в огород убегу или дома по хозяйству мотаюсь, как бешеная: сердце отгуливаю. Иной раз обидным какое слово его покажется, али просто не понравится, – всплакну тайком, а ему и виду не покажу. А то и сама, бывало, ожгу его по-нашему – по гребенскому, больней прутины таловой, чтоб не выламывался: бары-то эти, фазаны (наезжие на Кавказ дворяне. – Примеч. Кулебякина) все один на одного похожи были, а он из них же, только лучше других. А вижу – напрасно взъелась, и жалко станет, а то еще хуже: досадно и на самое себя и на всех. Отвернусь, али кошка подвернется – кочергой хвачу, да к соседке побегу семячки лузгать на завалинке. А он потом один, аль с товарищем, идет – посматривает боком, да к нам, к нам, ровно ничего и не было. А мы наших ребят позовем, да другие девки еще понаберутся, и пошли шутки, смех, пословицы. Офицеры-то видят – компания не ихняя – и уйдут, а мы про них же им вслед зубоскалим. Сердцу-то я своему воли не давала – не наш он был все-таки, боялась. А потом у меня свое пошло, а его и вовсе из думки выронила. А что ты меня про Лев Николаича спрашивал – любила ли я его, али он меня или других кого, – не знаю, право. Что было, то сказала тебе. Почитай, и ничего такого, чтобы любовью настоящей назвать, и не было. А кого он еще у нас полюбил – не спрашивала ни его, ни других. Кабы люди знали что-нибудь, сказали бы. Може и полюбил, да не долюбил видно: уехал и след простыл, може оно

и к лучшему вышло» (Архив К. С. Шохор-Троцкого).

18

Мы не предполагаем полностью отрицать автобиографичность повести. Без сомнения, Оленин во многом походит на автора. В дневнике имеются подтверждения тому; например, запись 20 мая 1851 года, – по приезде на Кавказ: «Последнее время, проведенное мною в Москве, интересно тем направлением и презрением к обществу и беспрестанной борьбой внутренней» – вполне совпадает с настроением Оленина. А вот параллель между дневником и повестью. Дневник 13 ноября 1852 г.: «Прекрасно сказал Епишка, что я какой-то нелюбимый. Именно так я чувствую, что не могу никому быть приятен, и все тяжелы для меня». «Казаки», гл. XXVIII: «Нелюбимы мы с тобой, сироты, – вдруг сказал дядя Ерошка и опять заплакал».

19

«Утро помещика».

20

А. А. Оболенская, урожд. Дьякова. Род. в 1831 (1830?) г., ум. 8 декабря 1890 г. в Петербурге. С 7 января 1853 г. замужем за кн. Андр. Вас. Оболенским (1825–1875).

21

Сергей Тимофеевич Аксаков.

22

«Семейная хроника».

23

Александр Михайлович Сухотин (1827–1905), участник Крымской кампании.

24

Дневник, 22 мая 1856 г.

25

Сергей Михайлович Сухотин (1818–1886). Был женат на сестре А. А. Оболенской, Марии Алексеевне Дьяковой (ум. 1889).

26

Софья Павловна Колошина (1828–1911(7), дочь декабриста П. И. Колошина. Детская любовь Л. Н. Толстого. Описана в «Детстве» под именем Сонечки Валахиной.

27

Однако он не забыл Оболенскую. И позднее новые встречи опять волновали его. 6 ноября 1857 года Толстой отметил в дневнике: «А. прелесть. Положительно женщина более всех других прельщающая меня. Говорил с ней о женитьбе. Зачем я не сказал ей все». Через день (8 ноября): «Отличная». 1 декабря: «А. держит меня на ниточке, и я благодарен ей за то. Однако по вечерам я страстно влюблен в нее, и возвращаюсь домой полон

чем-то, счастьем или грустью, – не знаю». В дни увлечения С. А. Берс он записал: «Влюблен как в С[оничку] К[олошину] и в А.» (Дневн., 30 авг. 1862 г.).

28

«Анна Каренина», I, гл. XXVIL.

29

Валерия Владимировна Арсеньева родилась 23 февраля 1836 г. в им. Судаково, недалеко от Ясной Поляны, 8 января 1858 г. вышла замуж за А. А. Талызина (1820–1894), которого с четырьмя детьми после нескольких лет супружества оставила, выйдя вторично за Н. Н. Волкова. Скончалась 24 января ст. ст. 1909 г. в Базеле, где и погребена.

30

Дмитрий Алексеевич Дьяков (1823–1891), друг молодости Л. Н-ча.

31

«Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелестного, святого идеала женщины, каким была его мать» («Анна Каренина», I, гл. XXVII).

32

«Я воображаю ее в виде маленького провиденья для крестьян, как она в каком-нибудь попелиновом платье с своей черной головкой будет ходить к ним (крестьянам) в избы и каждый день ворочаться с сознанием, что она сделала доброе дело, и просыпаться ночью с довольством собой и желанием, чтобы поскорее рассвело, чтобы опять жить и делать добро» (из письма к Арсеньевой, 19 нояб. 1856 г.). Сравн. «Утро помещика», гл. XVIII.

33

Письмо Ергольской, 17 апреля 1857 г. В первый год замужества С. А. Толстая записала в дневнике: «Перечитывала его письма к В. А. Еще молодо было, любил не ее, а любовь и жизнь семейную. А как хорошо узнаю я его везде, его правила, его чудное стремление ко всему, что хорошо, что добро. Ужасно он милый человек. И, прочтя его письма, я как-то не ревновала, точно это был не он и никак не В., а женщина, которую он должен был любить, скорее я, чем В. Перенеслась я в их мир. Она хорошенькая, пустая в сущности, и милая только молодостью, конечно, в нравственном смысле, а он все тот же, как и теперь, без любви к В., а с любовью к любви и добру. Ясно стало мне и Судаково… и фортепиано, сонаты, хорошенькая, черненькая головка, доверчивая и не злая. Потом молодость, природа, деревенское уединение. Все понятно и не грустно, потом читала я

его планы на семейную жизнь. Бедный, он еще слишком молод был и не понимал, что если прежде сочинишь счастье, то после хватишься, что не так его понимал и ожидал. А милые, отличные мечты»… (10 апреля 1863 г.) Роман с Арсеньевой нашел отражение в повести Толстого «Семейное счастье». Об этом см. в биографиях (Бирюков, т. I, гл. XVI; Гусев, т. I, гл. XIII), а также в статье П. С. Попова «Роман Л. Н. Толстого с В. В. Арсеньевой и повесть «Семейное счастье» («Огонек», 1928, № 7).

34

Тютчева Екатерина Федоровна (1835–1882), дочь Федора Ивановича Тютчева (1803–1873).

35

Кн. Щербатова Прасковья Сергеевна (1840–1924). С 1859 г. замужем за гр. Уваровым Алексеем Сергеевичем (1825–1884).

36

Чичерина Александра Николаевна (1839–1918). С 1871 г. замужем за Нарышкиным Эм. Дм.

37

Дневник, 25 января 1858 г.

38

Бар. Менгден Елизавета Ивановна, урожд. Бибикова (ум. 1902 г.). Первый муж кн. Оболенский Дм. Ник. (1820–1844). Затем замужем за бар. Менгден Вл. Мих. (1826–1910).

39

Кн. Львова Екатерина Владимировна (1834–1912). С 1858(?) г. замужем за кн. Гагариным Ал. Григ.

40

Письмо А. А. Толстой, 18 августа 1857 г. Второе многоточие подлинника.

На следующий день Л. Н-ч отмечает в дневнике: «Вчера написал нежное письмо Толстой». Александра Андреевна в ответ на него сообщает: «По странной случайности, я все это время думала о семействе Львовых, с которым maman и сестра Соня познакомились в Москве и были им очарованы. Я сказала себе, что вы должны взять себе жену оттуда. Вот где роскошь не имела расслабляющего влияния на воспитание… До тех пор, пока вы хоть немножко находитесь под влиянием вашей старой тетки, я никогда не позволю вам, дорогой Лев, остаться старым холостяком и прошу вас не строить относительно этого никаких планов» (29 авг. 1857 г., *перевод с фр.)*.

41

Кн. Львова Александра Владимировна (1835–1915). Начальник Моск. Ал-дровского и Ник-ского институтов.

42

В семье Львовых сохранились воспоминания об этом увлечении Толстого. Л. Н-ч бывал у Львовых в Москве и в их имении Спасском Клинск. у. С Александрой Владимировной дело, видимо, шло к сближению. Но однажды в словах Л. Н-ча Львовой что-то показалось неприятным, и она резко дала ему это почувствовать. Тут же все оборвалось, и на следующее утро Л. Н-ч уехал из Спасского. С его отъездом связана такая подробность. В это утро сестра Ал. Вл. – ны, Мария Вл., комната которой находилась под террасой, услыхала какую-то возню на террасе и, взглянув, увидала, что Толстой связывал два стула друг с другом. Он оставил их, так и уехал на станцию не простясь. По другому семейному преданию, это сближение прекратилось после того, как Л. Н-ч попытался однажды начать объяснение (происходило это между двух дверей). Ал. Вл., застигнутая врасплох, не дала его договорить и Л. Н-ч уехал. Когда Ал. Вл. через три года узнала о помолвке Толстого, ей стало дурно. Львовы находили некоторое сходство между объяснением Л. Н-ча с Ал. Вл. Львовой и объяснением брата Левина с Варенькой. (Сообщено нам племянницей Львовой, М. С. Волковой). Возможно, что рассказанный здесь эпизод совпадает по времени с записью дневника Л. Н-ча от 9 октября 1859 г. Судя по этой записи, Л. Н-ч был у Львовых в августе.

43

Кн. Трубецкая Екатерина Николаевна (1840–1885). Вышла замуж за кн. Орлова Н. А. (1827–1885).

44

Михаил Михайлович Сухотин (1825–1881).

45

«Правда ли, что Толстой женится на дочери Тютчева? Если это правда, я душевно за него радуюсь», – 24 февраля 1858 г. из Рима писал Фету Тургенев. («Щук. сб.», т. 8, стр. 435. – *Гусев Н.* Биогр., т. II, с. 279).

46

В дневнике 30 января 1858 г.: «П. Щербатова прелесть. Свежее этого не было давно». Об этом увлечении Л. Н-ч писал П. И, Бирюкову (24 ноября 1903 г.). «Едва ли она знала что-нибудь. Я был всегда очень робок».

47

Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Ч. I. С. 75.

48

Любовь Александровна Берс, урожд. Ислявина (1826–1886), мать сестер Берс, подруга М. Н. Толстой.

49

Дневник, 26 мая 1856 г.

50

Дневник, 17 сентября 1858 г.

51

Елизавета Андреевна Берс (1843–1919). В 1868 г. вышла замуж за Гавриила Емельяновича Павленкова (ум. 1892). В 80-х гг. вышла за своего двоюродного брата Александра Александровича Берса (1844–1921).

52

Дневник, 30 августа 1862 г. Ал-дра Ал-евна Дьякова-Оболенская.

53

Дневник, 31 августа 1862 г.

54

«Лицо в повести С. А. Берс, напоминавшее Льва Николаевича». (Примечание С. А. Толстой к «Письмам графа Л. Н. Толстого к жене».)

55

«Анна Каренина», V, гл. XIV

56

Ольга Александровна Исленьева (1845–1909), тетка С. А-ны.

57

Герман Андреевич и Юлия Федоровна Ауэрбах. Жили близ Тулы, в имении Горячкино.

58

Толстые гостили в Москве.

59

Дневник С. А-ны, 14 января 1863 г.

60

«Анна Каренина», V, гл. XIV

61

Александр Михайлович Исленьев (1794–1882), дед С. А-ны по матери.

62

В письмах ко Л. Н-чу есть несколько намеков. В одном письме С. А-на говорит: «Левочка, друг милый, не приходит ли тебе иногда в голову, что лучше бы было на ней жениться? Нет, это я пишу глупости. Это вычеркни из моего письма» (8 декабря 1864 г.). Из дневника С. А-ны: «На Таню сердита, она втирается слишком в жизнь Левочки. В Никольское, на охоту, верхом, пешком. Вчера прорвалась в первый раз ревность. Нынче от нее больно. Я ей уступаю лошадь и считаю это хорошо с моей стороны… Они на тяге, в лесу, одни. Мне приходит в голову Бог знает что» (3 мая 1865 г.). Приводим еще одну иллюстрацию

ревнивого отношения С. А-ны к женщинам. – В детски наивном письме к сестре С. А-на раскрывает свое тревожное настроение. Написано оно вскоре после ее приезда в Ясную Поляну, 12 октября 1862 г. «Милая Татьяна, не могу не писать тебе, слишком хочется, а писать пока не в состоянии, потому что думаю Бог знает о чем. Сейчас мы пришли из школы. Ходили туда с Ольгой. Ты знаешь, я очень ее люблю. Но не мила она мне теперь. Ты знаешь, какая я ревнивая всегда была. Ну, злит меня все; что она с ним играет, что она ему нравится. Ты знаешь, что я же не могу думать, что он меня не любит, но так неприятно. Я рада, что она уезжает в воскресенье утром. Я теперь все собираюсь серьезно музыкой заняться, да жду отъезда деда и Ольги. Так мне хочется во всем решительно ему быть приятной, да плохо удается. Он все хочет, чтобы я гуляла, а мне лень. Да это легко, сегодня я уже много ходила. А музыка, это трудно… Так мне завидно, голубчик Таня, что Ольга играет с ним, и вот когда воистину раскаялась, что ленилась учиться музыке… Я люблю его больше, а он уже остановился. Верно, больше любить не может». С. А. сама иногда сознавала неосновательность своей ревности, но не могла преодолеть ее. В дневнике есть упоминания об этом. О ревности к А. А. Оболенской-Дьяковой есть указание у Т. А. Кузминской («Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», ч. I, с. 152, 159).

63

Здесь С. А-на цитирует дневник Л. Н-ча от 10–13 мая 1858 г.

64

С. А. Стахович сообщила нам некоторые подробности. Это случилось в день ее приезда в Ясную Поляну. Софья Андреевна только что окончила разборку бумаг JL Н-ча и передала для прочтения Софье Александровне несколько последних рукописей, в том числе рукопись «Дьявола», объяснив ей, что это, вероятно, рукопись какого-нибудь неизвестного автора, присланная Л. Н-чу для просмотра. Сама Софья Андреевна ее не читала. Софья Александровна с первых же строк узнала писание Толстого, тут же сказала об этом Софье Андреевне, но та отвергла ее предположения, так как ей хорошо было известно, что Л. Н-ч никогда никакой повести под таким названием не писал. Но она взяла рукопись и, прочитав ее, поняла все. В тот же день у нее был тяжелый разговор с мужем. Софья Андреевна была до крайности возбуждена, и Л. Н-ч тогда же отметил в дневнике, что Софья Андреевна нашла «Дьявола», и «в ней поднялись старые дрожжи». (Дневн., 13 мая 1909 г.)

65

Возможно, что в «Дьяволе» нашло отражение также и другое событие, имевшее место в начале восьмидесятых годов. Л. Н-ч

обратил внимание на одну крестьянку (прислугу) и готов был идти к ней на свидание. Он уже отправился, но сын окликнул его, спрашивая об уроках. Л. Н-ч опомнился, вскоре рассказал обо всем В. Н. Алексееву и просил Алексеева следить за ним и не давать ему возможности оставаться одному. (Об этом в «Воспоминаниях» В. Н. Алексеева и в письме Толстого В. Г. Черткову от 25 июня 1884 г.)

66

Татьяна Александровна Ергольская.

67

Наталья Петровна Охотницкая, бедная дворянка, старушка, проживавшая у Толстых.

68

Письмо А. А. Т-ой, осень 1863 г. Здесь уместным будет привести утверждение Л. Н. о значении эмоциональных переживаний, которое на 4-м месяце женатой жизни так было сформулировано им: «Прежде я думал и теперь женатый еще больше убеждаюсь, что в жизни, во всех отношениях людских, основа всему работа – драма чувства, а рассуждение – мысль, не только не руководит чувством и делом, а подделывается под чувство. Даже обстоятельства не руководят чувствами, а чувство руководит обстоятельствами, т. е. дает выбор из тысячи фактов». (Дневник, 25 января 1863 г.)

69

Н. Н. Страхов («Критические статьи»), у которого заимствуем резюме взглядов Толстого, выраженных им в статье «Несколько слов! по поводу книги «Война и мир», называет этот взгляд «наивностью, которую по всей справедливости можно назвать гениальной».

70

Роллан Р. Жизнь Толстого.

71

Слово «мороз» вписано рукою С. А. Толстой.

72

Алексей Степанович Орехов (ум. 1882), слуга Л. Н-ча. Был с ним на Кавказе и в Севастополе.

73

«Толстой и о Толстом», 2, М., 1926. «Красная Нива», № 4, январь 1926 г. «Красная газета» (вечерний выпуск), № 21 от 23 января 1926 г.

74

«Красная газета» (вечерний выпуск), Л., 25 и 26 января 1926 г., № 22 и 23.

75

С. А-на написала сестре: «Он выдумал, что я фарфоровая, такой поганец! А что это значит – Бог знает. Что ты думаешь о его сумасшедшем письме? Очень любопытно бы знать поскорей» (письмо Т. А. Кузминской от 23 марта 1863 г.).

76

В Бирюлеве Толстые ночевали по дороге из Москвы в Ясную Поляну.

77

Дневник С. А. Т-ой, 8 мая 1863 г. Что отношения Толстых были очень неровны и что это вызывалось многими причинами, мы знаем. Но насколько неверно было восприятие С. А-ной настроений мужа, можно судить по одной записи Л. Н-ча того же времени: «Я ее все больше и больше люблю. Нынче 5-й месяц, и я испытываю давно не испытанное сначала чувство уничтожения перед ней. Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею, несмотря на то, что она вся отдается мне. Я не владею ею, потому что не смею, не чувствую себя достойным. Я нервно раздражен и потому не *вполне* счастлив. Что-то мучает меня. Ревность к тому человеку, который вполне стоил бы ее. Я не стою». (Дневник Л. Н. Т-го, 24 марта 1863 г.)

78

Дневник С. А. Т-ой, 22 мая 1863 г.

79

Письмо Т. А. Кузминской, 23 марта 1863 г.

80

Приводим только запись дневника Толстого от 8 января 1863 г., часть содержания которой в своем комментарии С. А-на объясняет, как следствие болезненных проявлений ее беременности: «С утра платье. Она вызвала меня на то, чтобы сказать против, я и был против, я сказал – слезы, пошлые объяснения… Мы замазали кое-как. Я всегда собой недоволен в этих случаях, особенно поцелуями, это – ложная замазка… За обедом замазка соскочила – слезы, истерика. Лучший признак, что я люблю ее, я не сердился, мне было тяжело, ужасно тяжело и грустно. Я уехал, чтобы забыть и развлечься… Дома мне с ней тяжело. Верно, незаметно много накипело на душе. Я чувствую, что ей тяжело, но мне еще тяжелей, и я ничего не могу сказать ей – да и нечего… *Она меня разлюбит.* Я почти уверен в этом. Одно, что меня может спасти, ежели она не полюбит никого другого, и я не буду виноват в этом. Она говорит: *я добр.* Я не люблю этого слышать, она за это-то и разлюбит меня».

81

Письмо Т. А. Кузминской, 2 апреля 1863 г.

82

Повивальная бабка.

83

М. И. Абрамович, акушерка из Тулы.

84

Мой дорогой *(фр.)*.

85

Поздняя беременность С. А-ны – вторая.

86

И. И. Орлов, учитель Яснополянской школы.

87

Анатолий Львович Шостак, троюродный брат С. А-ны. Увлечение Татьяны Андреевны. Об этом в ее книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», ч. II.

88

Изобразительные (изящные) искусства *(фр.)*.

89

С. А-на вспоминает последнюю охоту, на которой Л. Н-ч вывихнул руку. Он уехал лечиться в Москву, куда и адресовано письмо.

90

Горничная П. Н. Толстой, бабушки Л. Н-ча (1808–1896).

91

Дневник, 6 марта 1865 г.

92

Сокращенное с французского – мадам, госпожа, сударыня.

93

«Так называл Л. Н-ч своих племянниц Варю и Лизу, дочерей М. Н. Толстой, по следующему поводу: в Ясную Поляну изредка приезжала монахиня тульского монастыря, Марья Герасимовна, крестная мать Марии Николаевны (сестра Л. Н-ча). Раз, приехавши из Тулы, она рассказала, что в газетах напечатано, что прилетели огромные – не то птицы, не то драконы, зовут их Зефироты. Сначала Л. Н. говорил про меня (С. А-ну) и сестру Таню: «Жили, жили с тетенькой покойно и прилетели к нам эти Зефироты». Потом он перенес это название и на племянниц. (Комментарий С. А. Толстой к «Письмам Л. Н. Толстого к жене», с. 11.)

94

Равновесие *(фр.)*.

95

Увеселительная прогулка *(фр.)*

96

Григорий Аполлонович Колокольцев, знакомый семьи Берс;

был офицером полка, стоявшего близ Тулы.

97

Письмо жене, 27 ноября 1864 г.

98

«Что за сильное чувство матери, а как мне кажется не странно, а естественно, что я мать. Левочкин ребенок, оттого и люблю его». – «Я люблю детей своих до страсти, до боли. Всякое малейшее страдание приводит меня в отчаяние, всякая улыбочка, всякий взгляд радует до слез» (из дневника С. А-ны от 14 июля 1863 г. и 27 августа 1866 г.).

99

Толстые только что взяли гувернантку, англичанку Ханну Терсей, прожившую в их доме около шести лет. Все письмо полно описаний ее работы в семье Толстых. Так характерны эти переходы от детей к роману.

100

«Лева читает военные сцены в романе; я не люблю этого места в романе», – отмечает С. А-на в дневнике 16 июля 1865 г.

101

Письмо жене, 7 декабря 1864 г.

Из дневника С. А-ны от 12 ноября 1866 г.: «Мы часто с ним говорим о романе, и он почему-то (что составляет мою гордость) очень верит и слушает мои суждения».

102

Из письма С. А-ны к сестрам: «Девы, скажу вам по секрету, прошу не говорить, – Левочка, может быть, нас опишет, когда ему будет 50 лет» (11 ноября 1862 г.).

103

Большая часть писем С. А-ны полна описаний прозы семейной жизни. Некоторые из них просятся на страницы «Эпилога». «Спроси хоть папа или еще кого-нибудь о Сереже. Я почти уверена, что у него лишаи… А уж о поносе и говорить нечего. Сейчас слышу самые неприятные для меня звуки и запахи. Трудно мне достается этот мальчик (дальше о родных С. А-ны и затем). Не знаю, что испортило Сережу (я все на одно съезжаю) – оспа или тетенька. Вообрази, у него понос, а она без моего ведома послала ему котлетку, да еще с горошком» (мужу, 28 ноября 1864 г.). – «Главное-то я и не пишу тебе, что у Сережи понос прошел совершенно, жару тоже почти нет, и вообще ему гораздо лучше… Похвастала было, что у Сережи понос прекратился, а к вечеру ему стало опять хуже» (ему же, 30 ноября 1864 г.). – «У Сережи с Таней страшный понос. Кто бы мог подумать, что мое несчастье будет от поносов» (Т. А. Кузминской, 19 марта 1865 г.). Разве здесь не чувствуется вся Наташа – жена – мать?

104

А. А. Эрленвейн, учитель Яснополянской школы и школы в д. Бабурине, близ Я. П-ны.

105

Рассказывают, что еще в детстве, в пылу ревности, Л. Н-ч столкнул с балкона мать своей будущей жены Л. А. Берс. Будучи женихом, он ревновал С. А.– ну к окружавшим ее молодым людям (см. Воспоминания Т. А. Кузминской). В день объяснения он почувствовал «ревность к ее прошедшему» (дневник, 20–24 сентября 1862 г.). Это состояние снова проснулось в первый приезд молодых в Москву. 3 января 1863 г. Толстой записал в дневнике: «Она говорит о ревности: уважать надо. – Уверенность и т. д., и это – фразы, а все боишься и боишься… Присутствие П. неприятно мне; надо его перенести наилучше. Мы одиноки в Москве. Надо сделать авансы, а вдруг будет горе и хуже, а теперь так хорошо!» Ревность проявлялась и в дальнейшем, о чем ниже. Об этом случае с Эрленвейном см. у Кузминской. «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», ч. II, с. 121. Цитированная выдержка из дневника С. А-ны «о народе» также может свидетельствовать об исключительно ревнивой натуре С. Аны, а не об ее низких душевных качествах.

106

«Засуха не выходит у меня из головы» (письмо жене). «Последнее время я своими делами доволен, но общий ход дел, т. е. предстоящее народное бедствие голода, с каждым днем мучает меня больше и больше. Так странно и даже хорошо и страшно. У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях, рады, что жарко и тень, а там этот злой черт голод, делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб и трескает копыта у скотины и всех проберет и расшевелит, пожалуй, так, что и нам под тенистыми липами, в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде – достанется. Право, страшная у нас погода, хлеба и луга» (письмо Фету, 16 мая 1865 г.).

107

Ив. Серг. Аксаков (1823–1886). Женат с 12 января 1866 г. на Анне Фед. Тютчевой (1829–1889), дочери Фед. Ив. Тютчева.

108

Дневник, 25 октября 1860 г. «Тысячу раз я говорю себе: «оставим мертвым хоронить мертвых», надо же куда-нибудь девать силы, которые еще есть, – тогда же писал он Фету. – Но нельзя уговорить камень, чтобы он падал наверх, а не вниз, куда

его тянет. Нельзя смеяться шутке, которая наскучила. Нельзя есть, когда не хочется. К чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью подлости, лжи, самообманывания и кончатся ничтожеством, нулем для себя. Забавная штучка! «Будь полезен, будь добродетелен, будь счастлив, покуда жив», говорят века друг другу люди да мы, и счастье, и добродетель, и польза состоят в правде. А правда, которую я вынес из тридцати двух лет, есть та, что положение, в которое нас поставил кто-то, есть самый ужасный обман и злодеяние, для которого бы мы не нашли слов (мы, либералы), ежели бы человек поставил бы другого человека в это положенье. Хвалите Аллаха, бога Браму. Такой благодетель! «Берите жизнь, какая она есть». «Не Бог, а вы сами поставили себя в это положенье». Как же! Я и беру жизнь, какова она есть: как самое пошлое, отвратительное и ложное состояние… А что поставил себя не я, в том доказательство, что мы столетия стараемся поверить, что это очень хорошо, но как только дойдет человек до высшей степени развития, перестанет быть глуп, так ему ясно, что все – дичь, обман, и что правда, которую все-таки он любит лучше всего, что это правда ужасна. Что как увидишь ее хорошенько, ясно, так очнешься и с ужасом скажешь, как брат: «Да что ж это такое?» (16 окт. 1860 г.).

109

Прасковья Федоровна Перфильева, ур. гр. Толстая (1821–1887), троюродная сестра Л. Н-ча.

110

Сестра Л. Н-ча, М. Н. Толстая.

111

Рестораны в Москве и Петербурге.

112

Из дневника С. А-ны, запись от 23 июля 1863 г.: «Я падаю духом – ужасно. Я машинально ищу поддержки, как ребенок мой ищет груди. Боль меня гнетет в три погибели. Лева убийственный». На другой день: «Боль усиливается, я как улитка сжалась, вошла в себя и решилась терпеть до крайности. Ребенка люблю очень; бросить кормить – огромное несчастие, отравит жизнь… (В конце записи). Иду на жертву к сыну». 3 августа: «Говорила с ним. Стало как будто легче, именно оттого, что, о чем я догадывалась, стало уже верно. – Уродство не ходить за своим ребенком; кто же говорит против? Но что делать против физического бессилия. Я чувствую как-то инстинктивно, что он несправедлив ко мне. За что еще и еще мучить? Я озлобилась, мне даже не в таком хорошем свете кажется сегодня ходить за мальчиком; а так как ему хотелось бы стереть теперь меня с лица земли за то, что я страдаю, а не исполняю долга, так и мне

хотелось бы его не видеть за то, что он не страдает и пишет. Вот с какой стороны мужья бывают ужасны. О ней я не подумала. Мне даже в эту минуту кажется, что я его не люблю. Разве можно любить муху, которая каждую минуту кусает. Поправить дело я не могу, ходить за мальчиком буду, сделаю все, что могу, конечно, не для Левы, ему следует зло за зло, которое он мне делает. И что за слабость, что он не может на это короткое время моего выздоровления потерпеть. Я же терплю и терплю в 10 раз больше еще. Мне хотелось писать оттого, что я злюсь. Дождь пошел, я боюсь, что он простудится, а больше не зла – я люблю его. Спаси его Бог».

113

Дневник, 6 октября 1863 г. На другой день С. А-на отметила в дневнике: «Он говорит: «Возрождаюсь…» Что-то в нем переделывается» (7 окт. 1863 г.). Через 10 дней: «Я не верю в то, что он опустился. С терпением жду, когда кончится это временное, неспокойное состояние его духа и недовольство собой. Мне радостно бывает, когда я вижу, что ему нравственное лучше, и я боюсь его состояния. Эта нравственная работа в нем сокращает его жизнь, а она мне так необходима».

114

Л. Н-ч усиленно работал над «Войной и миром».

115

Т. А. Кузминская. Моя жизнь… Ч. 3. Гл. XX.

116

«Благодарствуй за твои все распоряжения и с пчелами, и с коровами, – это прекрасно. Нынче я в Петровском-Разумовском купил телку по 3-му году за 50 рублей. Тотчас по получении этого письма вышли в Москву мужика (получше, – Василья, я думаю), и женщину (не поедет ли нянина дочь?), чтобы привезти ее. Ежели не поедет, то послать другую дворовую женщину, нанять; или Иван шорник не поедет ли? Телка прелестная и никогда не водилась. Страшно, чтобы не заморили ее, и потому одному мужику или двум мужикам нельзя поручить. Это трудно решить, и ты мне прости, что я задаю тебе такую задачу: но как-нибудь, общим советом, устройтесь» (письмо жене, 20 июня 1867 г.).

117

Самое позднее *(фр.)*.

118

Александрина *(фр.)*

119

Трудно установить, в какой день Л. Н-ч был в Арзамасе (Нижегородская губ.); из дома он выехал 31 августа. В ночь на 5(6?) сентября С. А-на мучилась мрачными предчувствиями:

«Вчера ночью, в нервном состоянии, не могла отвязаться от черных мыслей о тебе. Только лягу, что-то стучит; я думаю: это предвещает, что что-то случилось с Левочкой, и стук странный, глухой. Потом думаю: стуку нет, а это я с ума схожу. И мальчика уложила, а сама все в каком-то страхе, прислушивалась, приглядывалась и задумывалась» (из письма к мужу от 6 сентября 1869 г.).

120

С. А. Т-ая. «Мои записи разные для справок», 14 февраля 1870 г.

121

П. А. Берс (1849–1910), брат С. А-ны.

122

Именье, где жила сестра С. А-ны. Ел. А. Павленкова.

123

Приток р. Бузулука.

124

Кн. Сергей Семенович Урусов (1827–1897), товарищ Л. Н-ча по Севастополю.

125

Присяжный поверенный в Самаре.

126

«С бритой головой, в чепце, после родильной горячки» (примеч. С. А. Т-ой).

127

Александр Николаевич Бибиков, помещик, сосед Т-ых; его имение было в трех верстах от Ясной Поляны.

128

В Нижнем Новгороде.

129

Дочь Кузминских.

130

Елизавета Валерьяновна, племянница Л. Н-ча (род. 1852), и ее муж, кн. Леонид Дмитриевич Оболенский (1844–1888); повенчаны в январе 1871 г.

131

Марья Дмитриевна Дьякова – дочь Д. А. и Д. А. Дьяковых.

132

Софья Робертовна Войткевич (ум. 1880) – гувернантка дочери Дьяковых, с 1876 г. – вторая жена Д. А. Дьякова.

133

Варвара Валерьяновна Толстая (1850–1922), племянница Л. Н-ча. В 1872 г. вышла замуж за Ник. Мих. Нагорнова (1845–1896).

134

Константин Александрович Ислявин (1827–1903), дядя С. А-ны.

135

Цитированная запись дневника С. А-ны указывает на то, что еще зимою, т. е., вернее всего, вскоре после рождения дочери Марии, отношения С. А-ны и Л. Н-ча изменились. Здесь приведена вся переписка этого года и выявлены все настроения. Видимо, тут же, после родов, С. А-на высказала свое нежелание иметь детей, что тогда же неприятно удивило Л. Н-ча. Но серьезно встал вопрос лишь по возвращении его из Самары, когда появились к тому реальные основания. Следует отметить, что С. А-на вспоминает об этом в дневнике как раз в то же время – в августе.

136

Интимный дневник, 20 августа 1910 г.

137

Философия «Войны и мира» – религиозная философия. В то время Л. Н-ч сказал как-то жене: «Меня упрекают в фатализме, а никто не может быть более верующим, чем я. Фатализм есть отговорка, чтоб делать дурное, а я верю в Бога, в выражение Евангелия, что ни один волос не спадет без воли Божьей, оттого и говорю, что все предопределено». (С. А. Т-ая. «Мои записи разные для справок», 24 февраля 1870 г.)

138

«Философия чисто умственная есть уродливое западное произведение», – писал он Н. Н. Страхову 13 сентября 1871 г.

139

Николай Валерьянович Толстой (1851–1879), племянник Л. Н-ча.

140

Дьяков.

141

П. И. Юшкова.

142

Подъем, задор, пыл, огонь *(фр.)*.

143

Письмо Фету, 16 марта 1872 г. Под «задушевным сочинением» Л. Н-ч подразумевает начатый им роман из эпохи Петра I. Замысел и первые наброски относятся к 1870 г.„а в 1872 г. он снова вернулся к нему и работал над романом до марта 1873 г.

144

Владелец типографии, в которой печатались «Война и мир» и «Азбука».

145

Неуклюжий, неловкий *(фр.)*.

146

Вспыльчивый *(фр.)*.

147

Надежность, уверенность, безопасность *(фр.)*.

148

Родившийся в июне 1872 г. сын Петр.

149

Родился 13 июня 1872 г.

150

«Анну Каренину».

151

Брат С. А-ны, Влад. Андр. Берс (1853 – февраль 1874).

152

Для встречи с А. А. Толстой.

153

Протеже *(фр.)*.

154

Гр. Д. А. Толстой (1823–1889), министр народного просвещения.

155

Буквально *(фр.)*.

156

Письмо Л. Н. Т-му, 6 августа 1874 г.

Л. Н-ч уехал в Самару со старшим сыном Сергеем. С дороги он написал жене два коротких деловых письма и в одном, между прочим, отметил: «С Сережей тоски у меня не будет. И все время я как в семье».

157

Гувернантка.

158

Пелагея Ильинична жила в последние годы в Туле, в монастыре. Этой осенью она переехала в Ясную Поляну, где вскоре и слегла.

159

«Леон, я не хочу умирать, мне так хорошо с вами» *(фр.)*.

160

Т. А. Ергольская, воспитательница Л. Н-ча. Умерла годом раньше, 20 июня 1874 г. В годы молодости Толстого их связывала самая тесная дружба; ей посвящены лучшие страницы «Воспоминаний».

161

С. А. Толстая. «Мои записи разные для справок». В тот же день С. А-на записала: «Сегодня пришел Л. Н-ч с утренней

прогулки и говорит: «Как я счастлив». – Я спросила: «чем?» – Он говорит: «Во-первых, тобой, а во-вторых, своей религией. И не Бобринский, не гр. А. А. Толстая обратила меня своим христианством, а материалист Захарьин (доктор) и вчерашний (наш гость) Левицкий, Захарьин своим искренним желанием быть религиозным, а Левицкий чтением рассказов о русской истории с новой, оригинальной и прекрасной точки зрения – именно, религиозной» (там же).

162

«Исповедь», III.

163

«Вместо того ужаса перед жизнью, который так хорошо выражает Шопенгауэр, вместо той возможности страдания и гибели, которую мы окружены со всех сторон и каждую минуту, Вы видите в мире Бога живого и чувствуете его любовь», – писал Толстому Н. Н. Страхов в сентябре 1876 г. – Но это было пока только знание, а сама жизнь вызывала ужас.

164

Павел Дмитриевич Голохвастов (1839–1892), историк.

165

Л. Н-ч уехал с племянником, Н. В. Толстым.

166

М. Н. Катков (1818–1887), издатель «Русского Вестника».

167

Сергей Петрович Боткин (1832–1889), лейб-медик.

168

Мать С. А-ны.

169

По рассказам *(фр.)*.

170

По убеждению *(фр.)*.

171

Во втором письме, на которое ссылается Л. Н., есть что-то недосказанное: «Сегодня утром, наконец, Боткин был у меня и подтвердил все уже прежде сказанное и самое утешительное: «Я редко встречал такие надежные и крепкие легкие, и скажите им, чтобы они продолжали жить нормально философским образом. Они поймут, что это значит. А главное не мудрствовать лукаво» (27 января 1877 г.). Эти слова, без сомнения, относятся к области интимных отношений. В этом году вопрос о беременности так же, как и 6 лет тому назад, разрешился не легко. Чувствуя себя физически слабой, С. А-на под влиянием совета докторов склонялась к мысли избежать новых родов, которых она очень боялась. Л. Н-ч не переменил своего взгляда и настойчиво

возражал С. А-не. Снова возник вопрос о разрыве. Для разрешения своих сомнений он обратился к известному старцу Амвросию, что было одним из поводов первого его посещения Оптиной Пустыни в 1877 году. Приблизительно в это же время Толстой писал ту часть «Анны Карениной», в которой Анна сообщает Долли скрытый за многоточием совет докторов о противозачаточных средствах, полученных ею после болезни. Перебой в нормальном ходе семейной жизни должен был быть очень мучителен Л. Н-чу. Он осложнялся общим подавленным его состоянием. И, быть может, именно теперь, а не в 1871 году, впервые возник страшный вопрос о разрыве. Окончательно этого разрешить мы не можем, а отметим только, что все скоро улеглось, С. А-на, хотя и не без ропота, примирилась, опять забеременела, и отношения сами собой наладились. Это был временный перебой. Вероятно, как и в первый раз, он оставил след, не изменив, однако, отношений коренным образом. В эти месяцы С. А-на писала сестре: «Я до сих пор не привыкла к мысли, что будет еще ребенок… родов боюсь очень» (28 сентября). «Левочка все занимается музыкой и пока больше ничем. Мне кажется, его смущает мое тяжелое положение, и он боится за меня. Что же, его была воля»… (28 ноября. Многоточ. в подл.) Сам Л. Н. писал Н. Н. Страхову (11 ноября): «Два главные предлога моей грусти, это моя праздность, постыдная и совершенная, и состояние жены, – болезненная, беременная, и предстоящие в декабре роды. Менее важный предлог, это – мучительная эта война».

172

Вторая часть письма об «Анне Карениной».

173

Вера, убеждение *(фр.)*.

174

Гр. Алексей Павлович Бобринский (1826–1894), последователь Редстока.

175

Ложный стыд *(фр.)*.

176

Л. Н-ч чувствовал в то время необходимость веры для жизни, но он не мог принять ту веру, которую видел вокруг себя. Александра Андреевна предполагала, что «ложный стыд» мешает ему признать церковь.

177

Я держусь на плаву *(фр.)*.

178

Не ставим себе задачей со всею точностью проследить этапы этого процесса, имея перед собой только одну цель – описание

семейной жизни. Возможно, что здесь мы допускаем хронологическую ошибку, как бы относя выдержку из «Исповеди» к началу 1877 г. Как видно из писем к А. А. Толстой и Фету, Л. Н-ч пришел уже в этом году к некоторым положительным заключениям (необходимость веры), а его отчаяние достигло предельной степени в то время, когда он не видел еще никакого выхода, т. е. верней всего, не позднее 1876 г. Но в эти месяцы Толстой писал VIII часть «Анны Карениной», где он изложил то, что позднее повторил в «Исповеди». Некоторые детали семейной жизни Левиных крайне важны для нашей темы, и, в подтверждение их автобиографичности, мы сочли необходимым дать параллельные выдержки из «Исповеди» и романа. (В связи с вопросом об автобиографичности интересно отметить совпадение фамилии «Левин» с именем «Лев».) Те общие соображения, которые будут приведены теперь, не касаются определенного момента – месяца или года, а имеют в виду весь этот период духовных исканий.

179

«Исповедь», IV.

180

«Там я монахам расскажу все причины, по которым не могу верить», – писал Л. Н. А. А. Т-ой (февраль 1877 г.). Другие мотивы поездки указаны выше.

181

А. М. Кузминский (1843–1917), муж Татьяны Андреевны.

182

Письмо жене, июль 1877 г. Беседы о религии, разумеется, иногда были между ними. Об одной из них С. А. записывает в Дневнике (14 ноября 1878 г.): «Сегодня утром, после дурной ночи с кошмарами и снами, пила чай с Левочкой. Это так редко бывает, и мы затеяли длинный философский разговор о значении жизни, о смерти, о религии и т. д. На меня подобные разговоры с Левочкой действуют всегда нравственно успокоительно. Я по-своему пойму его мудрость в этих вопросах и найду такие точки, на которых остановлюсь и утешусь во всех сомнениях. Я бы изложила его взгляды, но не могу, особенно теперь, – устала и голова болит». В этом случае, при поездке в монастырь, возможно, сказались и временные разногласия, предшествовавшие посещению Толстым Оптиной Пустыни.

183

С. А. Толстая. «Мои записи разные для справок», 26 декабря 1877 г.

184

Письмо Т. А. Кузминской, 15 сентября 1877 г. В этом письме

о «постылых яснополянских стенах» нашли отражение, кроме общего мрачного настроения Л. Н-ча, также, вероятно, и те осложнения, которые предшествовали беременности С. А-ны и самая беременность ее. Она переносила ее на этот раз особенно трудно и нервно.

185

Письмо А. А. Т-ой, начало января 1878 г. «Rey отказали, потому что он стал груб и несносен до крайности и завел амуры с Анни. Анни и M-lle Gachet тоже скоро заменим одной пожилой гувернанткой, но это пока еще секрет». – M-r Rey отказали после Нового Года, но мы никак не могли его выжить, а между тем Gerard (новый гувернер) тоже ждать не согласен. Итак, Rey, которому ужасно не хотелось уходить, наконец, 17-го со слезами уехал». (Из писем С. А-ны к сестре от 14 и 23 января 1878 г.)… Лев Львович рассказывает, что этот гувернер «выводил (его) отца из себя. Однажды отец в порыве ярости кричал на него: – «Я вас выброшу из окна, если вы будете продолжать вести себя подобным образом». («Правда о моем отце»).

186

Письмо А. А. Т-ой, начало января 1878 г. Гр. В. А. Перовский (1794–1857) с 1833 по 1842 гг. был оренбургским военным губернатором, с 1851 по 1857-й – оренбургским и самарским генерал-губернатором.

187

Алексей Алексеевич Бибиков (1837–1914), тульский и самарский помещик. В то время управлял имением Толстых в Бузулукском уезде.

188

Я имею, ты имеешь, он имеет. До, ре, ми, фа, соль, ля, си *(фр.)*.

189

Вот чем живет Толстой в эти дни: «Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтоб они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа… Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это – томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя веселием, и насладись добром;

но и это – суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселии: что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать, под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела (…). И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость… Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце своем: и меня постигнет та же участь, как и глупого, – к чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это – суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! – мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился я под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня… Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его – скорби и его труды – беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это – суета. Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего… Всему и всем одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению; и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более счастья вовеки ни в чем, что делается под солнцем». *(Помещено в «Исповеди», гл. VI.)*

190

Общественный спектакль *(фр.)*.

191

«Исповедь», XVI.

192

«Отрочество», гл. XXII. «Этьен был мальчик лет 13-ти… с

испитой физиономией, впалыми, посинелыми внизу глазами… точно такой, какой мог быть по моим понятиям мальчик, которого секут розгами. Синеватые впадины под глазами по неопытности своей я приписывал другой причине» *(«Анна Каренина»,* VI, гл. XXX). «Проходя через сени хор, он [Левин] встретил ходившего взад и вперед унылого гимназиста с подтекшими глазами» *(«Смерть Ивана Ильича»,* гл. VIII). «[Вошел сын Ивана Ильича], гимназистик… с ужасною синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич». Из письма к жене (январь 1877 г.): «Дети были хороши и веселы, кроме Илюши, которого лицо гадкое меня поразило с утра. Я целый день был в мрачном духе, и нездоровилось, и мысль об Илюше меня мучила… Сию минуту, после долгих колебаний, я решился еще раз говорить с Илюшей. Он плакал, и я плакал. И, Бог даст, останутся следы». Такой разговор отца с сыном записан И. Л. Толстым. – «Мои воспоминания», гл. XII, с. 203.

193

В первом письме к Н. Н. Страхову (19 марта 1870 г.), правда, оставшемся неотправленным, Толстой прямо так и пишет: «… Эти несчастные всегда были и есть, и, по-моему, было бы безбожием и бессмыслием допускать, что Бог ошибся, устроив это так, и еще больше ошибся Христос, объявив прощение одной из них… Для чего они необходимы, нетрудно понять, если мы только допустим то, что всегда было, что род человеческий развивается только в семье. Семья только в хамом первобытном и простом быту может держаться без помощи магдалин, как это мы видим в глуши, в мелких деревнях; но чуть только является большое скопление в центрах… так являются они, и всегда соразмерно величине центра. Только земледелец, никогда не отлучающийся от дома, может, женившись молодым, оставаться верным своей жене и она ему, но в усложненных формах жизни мне кажется очевидным, что это невозможно (в массе, разумеется). Что же было делать тем законам, которые управляют миром?… По закону экономии сил явилось среднее – появление магдалин, соразмерное усложнение жизни. Представьте себе Лондон без своих 70 тысяч магдалин. Что бы сталось с семьями? Много ли бы держалось жен, дочерей чистыми? Что бы сталось с законами нравственности, которые так любят блюсти люди? Мне кажется, что этот класс жизни необходим для семьи при теперешних усложненных формах жизни… Тот, кто жил с женщиной и любил ее, тот знает, что у этой женщины, рожающей в продолжении 10, 15 лет, бывает период, в котором она бывает подавлена трудом… В этом периоде женщина бывает как в тумане напряженная, она должна выказать упругость энергии непостижимую… В этом-то периоде

представьте себе женщину, подлежащую искушениям всей толпы неженатых кобелей, у которых нет магдалин».

194

Жене он пишет: «[У одной] французский очень хороший и музыка, – 600 рублей, и манеры хороши… но по чистоте не совсем мне нравится: желал бы меньше занятую собой… Другая… французский и английский, старая, сухая и очень приличная. Французский язык хуже первой, но степенна очень, даже слишком. Очень хочет поступить. Просит 800, пойдет за 600. Если выбирать, то из двух я все-таки возьму [первую]» (август, 1880 г.).

195

Василий Николаевич Бестужев-Рюмин (1835–1910), начальник Тульского оружейного завода (1876–1889).

196

Николай Андреевич Кислинский (1864–1900), молодой тульский помещик, товарищ Сергея Львовича.

197

Пышная *(фр.)*.

198

«Записки христианина». – Под таким названием был начат дневник в 1881 г.

199

В. И. Алексеев (1848–1919), учитель старших сыновей Толстых, совета которого спрашивал Л. Н-ч, сочувственно говорил с ним о письме. «Слова эти слышала графиня Софья Андреевна за дверьми из своей комнаты. Вдруг дверь отворяется, вбегает взволнованная графиня и с сердцем, повышенным голосом говорит мне, указывая на дверь: «Василий Иванович, что вы говорите… Если бы здесь был не Лев Николаевич, который не нуждается в ваших советах, а мой сын или дочь, то я тотчас же приказала бы вам убираться вон» (В. И. Алексеев. «Воспоминания»). С. А-на писала сестре: «На днях была еще неприятность и В. И-чу я грубо намекала о неуместности его вмешательства. Левочка на меня дуется, а я прошу Бога, чтоб скорее кончилась эта жизнь слишком темного кружка» (12 марта 1881 г.).

200

Из общества *(фр.)*.

201

Андрей Александрович Сабуров (1838–1916) с апреля 1880 г. по март 1881 г. был министром народного просвещения. Ему было нанесено оскорбление действием одним студентом, после чего он вышел в отставку.

202

В ночлежном доме Л. Н-ч раздавал нищим деньги.

203

«Так что же нам делать?», II–III.

204

Павел Александрович Бакунин (1820–1900), брат Михаила Александровича Бакунина, новоторжский уездный предводитель дворянства, философ и литератор. («Основы веры и знания», 1886 г.) Л. Н. Толстой заезжал к нему в с. Прямухино, по дороге к Сютаеву, которого он навестил в его родной деревне Шевелино.

205

Василий Кириллович Сютаев (1819–1892), крестьянин д. Шевелино Новоторжского у. Тверской губ., с которым Лев Николаевич, по его словам, был единомышленником «во всем до малейших подробностей». (Письмо В. И. Алексееву, 5(?) октября 1881 г.)

206

Николай Федорович Федоров (1828–1903), библиотекарь Румянцевского музея. С ним Толстой вел часто беседы на религиозные и философские темы и с большим уважением относился к нему. В дневнике он записал: «Николай Федорович – святой. Каморка. «Исполнять? – Это само собой разумеется». Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели». (5 октября 1881 г.).

207

Высший свет *(фр.)*.

208

По этому поводу С. А-на писала сестре 2 мая 1882 г.: «У нас все пока благополучно, а Левочка, на днях заявив о том, что Москва есть большой н… (так в подлиннике) и зараженная койка (клоака?), вынудив меня согласиться с этим и даже решить не приезжать больше сюда жить, вдруг стремительно бросился искать по всем улицам и переулкам дома и квартиры для нас. Вот и пойми тут что-нибудь самый мудрый философ!» В последние годы жизни С. А-на часто указывала на то, что сам Л. Н-ч желал переехать из Я. П-ны в Москву. Это не так. Приведенные выше документы с несомненностью подтверждают, что переезда в Москву требовала С. А-на в интересах старших детей, а новый дом, действительно, приобретен по желанию Л. Н-ча. У Арнаутова он куплен за 27 тысяч рублей, на переоборудование его израсходовано 10 тысяч рублей. Об истории хамовнической усадьбы Толстого, начиная с XVIII века, приготовлена к печати работа Вен. Фед. Булгакова.

209

Сергей Петрович Арбузов (1849–1904), служащий Толстых, автор «Воспоминаний бывшего слуги гр. Л. Н. Толстого» (М.,

1904).

210

Александр Алексеевич Щербатов (1829–1902).

211

Платье из тюля *(фр.)*.

212

Здесь: алансонские кружева *(фр.)*.

213

Екатерина Петровна Ермолова (1829–1910), фрейлина. С 1899 г. – камер-фрейлина.

214

Наталья Афанасьевна Шереметева, ур. Столыпина (1834–1905), жена Василия Алексеевича Шереметева (1834–1884).

215

«В чем моя вера».

216

По тексту письма его следует датировать 21 июня 1883 г. Но в примечании к письму Л. Н-ча к жене № 179, поставленному под датой 15 июня, С. А-на приводит цитату из этого письма, считая, что письмо № 179 является ответом на него. «Письма гр. Л. Н. Толстого к жене», М., 1915, с. 198–199.

217

А. А. Бибиков.

218

31 октября в Москве, в Денежном переулке.

219

В октябре 1882 г. С. А-на писала сестре: «Такая на меня апатия нашла, что и не помню, когда так было. А все это больше потому, что я, кажется, опять беременна, и это убило бы и не такую сучку, как я».

220

«К моему плохому духу примешивается еще мой обычный, ежемесячный страх беременности», – писала С. А-на мужу 3 октября 1883 г.

221

С. А-на была уже беременной; дочь Александра родилась 18 июня 1884 г.

222

Гр. Анатолий Владимирович Орлов-Давыдов (1830–1905), президент Московской дворцовой конторы.

223

Влас Анисимович Воробьев, крестьянин д. Ясная Поляна, дворник на барской усадьбе.

224

Кн. Владимир Андреевич Долгоруков (1810–1891). С 1856 г. до кончины был московским генерал-губернатором.

225

Главную, пожалуй, единственную роль сыграла беременность. Об этом свидетельствуют следующие выдержки из писем С. А-ны к сестре: «Лето мне нынешний год ничего не доставит, кроме скуки и болезни» (5 февраля 1884 г.). – «Жаль, что мои роды не кончатся до вашего приезда. Хорошо бы эту мерзость проделать в одиночестве» (22 марта). – «Не на радость нынешний год, а на муку еду в Ясную. Лучшее время – купанье, покос, длинные дни и чудные летние ночи я проведу в постели, с криком малыша и пеленками. Иногда на меня находит буйное отчаяние, я готова кричать и приходить в ярость. Кормить я не буду, возьму кормилицу, и все купила уже в Москве на дешевых товарах, чтоб ее одеть» (апрель?).

226

Это прелесть *(фр.)*.

227

Л. Н-ч вспоминает первые, тогда мимолетные расхождения с женой в вопросе о супружеских отношениях. В эти дни для него все окрашено в черный цвет и он подводит под одну черту и прошлое и настоящее.

228

Он записал в дневнике спустя 5 лет, 24 сентября 1889 г.: «Я знаю, как я виноват, Хоть вспомнить мою похоть мерзкую после Саши». Это обстоятельство подтверждает, что все оценки, сделанные в дневнике Л. Н-ча 1884 г. следует рассматривать, как восприятие жизни одной из действующих сторон, а не как объективное отражение событий. Не осталось документов С. А-ны за эти месяцы, но ее тяжелая жизнь выступает рельефно. Она – такое же страдающее лицо, как и муж, занимающее с ним равное место во всей этой трагедии. И было бы большой ошибкой на основании дневника Л. Н-ча видеть в ней только злую волю, жертвой которой является муж.

229

Anna Seuron, гувернантка детей Толстых, автор крайне странных воспоминаний о Л. Н-че. На русском языке, в переводе с немецкого, изданы в 1895 г., спустя два месяца после первой их публикации в Берлине. («Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого». Записки г-жи Анны Серон. СПб., 1895.) Другое издание появилось в 1896 г. *(Анна Серон* Граф Лев Толстой. М., 1896).

230

Л. Н-ч писал жене: «Влас достал мне яиц, и я насовал их в

карман, и, вместо того чтоб дать их Власовой матери, пошел их жрать» (9 декабря 1884 г.).

231

Письмо жене, конец января 1885 г.

232

Леонид Дмитриевич Урусов (ум. 1885), тульский вице-губернатор. В последние годы близко сошелся с семьей Толстых. Во многом разделял взгляды Л. Н-ча и был первым переводчиком «В чем моя вера?» на французский язык. Незадолго до его смерти Л. Н-ч ездил с ним в Крым. В тяжелые для С. А-ны годы она была очень дружна с Урусовым, и в этих отношениях было что-то волновавшее, притягивавшее, позволявшее забывать на время суровую действительность. Через год после его смерти С. А-на отметила в дневнике: «Перечитывала вчера письма Урусова, и больно ужасно, что его нет. Доискивалась в них того, что и при жизни его хотелось всегда знать: как он относился ко мне? Знаю одно, что с ним всегда было хорошо и счастливо, а чем это давалось, не знаю» (26 октября 1886 г.). Спустя пять лет: «Вспомнила покойного У Так мне стало грустно, невыносимо грустно, что он умер, что я навсегда, наверное, лишилась тех утонченных, чистых, умалчивающих, но, несомненно, более, чем дружеских отношений, не оставивших ни тени укора совести и наполнявших столько лет жизнь тем, что делало ее счастливой» (дневник, 27 декабря 1890 г.).

233

Исаак Борисович Фейнерман (1862–1925) – в то время единомышленник Л. Н. Толстого. Впоследствии под псевдонимом Тенеромо опубликовал ряд статей и воспоминаний о Толстом.

234

А. П. Иванов (1836–1912), бывший офицер, опустившийся на московское «дно». Ал. Петр, часто приходил в Ясную Поляну и помогал Л. Н-чу перепиской его рукописей.

235

Тот, кто оправдывается, сознает себя виноватым *(фр.)*.

236

Отказался Залюбовский на призыве в Москве. Сначала он был зачислен в 14 арт. бригаду в Кишинев, где продолжал отказываться от исполнения воинских обязанностей, затем провел месяц в киевском военном госпитале, в отделении для душевнобольных, и был признан душевно-здоровым, несколько раз был определен в другие воинские части, два раза судим военным судом и после отказа от караульной службы в Асхабаде был сослан в Екатериноградский дисциплинарный батальон на один год, почти все время находясь в карцере (одиночном

заключении). Через 21/2года со времени отказа от присяги Залюбовский был отпущен на свободу.

237

Адам Васильевич (1833–1901) и Анна Михайловна (1835–1899) Олсуфьевы, близкие знакомые семьи Толстых. Л. Н-ч ездил в их имение Никольское-Обольяново Дмитровского у. Московской губ.

238

Козел отпущения *(фр.)*.

239

Вера Сергеевна Толстая (1865–1923), племянница Л. Н-ча, дочь С. Н. Толстого.

240

Название театра марионеток, присвоенное ему балаганными артистами.

241

Нил Федорович Филатов (1847–1902), известный московский врач, специалист по детским болезням.

242

Агапит Федорович Беляев (р. 1853 г.), известный московский врач, специалист по горловым болезням.

243

Анна Степановна Суколенова (1828–1917), крестьянка д. Судаково, Тульск. у. и губ. Была няней у младших детей Толстых: Андрея, Михаила, Алексея, Ивана и Александры.

244

П. А. Берс, брат Софьи Андреевны.

245

В Покровском, под Москвой, семья Берс проводила лето. Сюда приезжал к ним и Л. Н-ч до женитьбы. Об этом подробно у Т. А. Кузминской «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», ч. I.

246

Позднее Толстой назвал ее просто «О жизни», придя к заключению, что смерти нет.

247

Посетители и друзья Л. Н-ча, которых С. А-на называла «темными» в отличие от светских знакомых.

248

Об этом подробно в «Воспоминаниях» В. И. Алексеева.

249

Это могло быть только в самом начале. Уже в 1889 г. по поводу знакомства с новым лицом, увлекавшимся его идеями, Толстой отметил в дневнике 23 августа: «Не верю. Похож на Фейнермана. Больше ради славы людской, чем Божьей».

250

Дмитрий Дмитриевич Свербеев (1845–1920), тульский вице-губернатор.

251

Толстой писал в «Так что же нам делать?» (гл. XXXVIII): «Для человека нашего круга, кроме того, чтобы не лгать перед другими и собой, нужно еще покаяться, соскрести с себя вросшую в нас гордость своим образованием, утонченностью, талантами и сознать себя не благодетелем народа, передовым человеком, который не отказывается поделиться с народом своими полезными приобретениями, а признать себя кругом виноватым, испорченным, никуда ненужным человеком, который желает исправиться и не то что благодетельствовать народ, но перестать оскорблять и обижать его». «Я слышу часто вопросы хороших молодых людей, сочувствующих отрицательной части моего писания и спрашивающих: ну, так что же мне делать? Что делать мне, кончившему курс в университете или в другом заведении, для того, чтобы быть полезным?» «Молодые люди эти спрашивают, а в глубине души у них уже решено, что то образование, которое они получили, есть их великое преимущество, и что служить народу они желают именно этим своим преимуществом. И потому одно, чего они никак не сделают, это – то, чтобы искренно, честно отнестись критически к тому, что они называют своим образованием. Если же они сделают это, то они неизбежно будут приведены к необходимости отречься от своего образования и к необходимости начать учиться снова, а это-то и нужно. Они никак не могут решить вопроса – что делать? – потому, что вопрос этот стоит для них не так, как он должен стоять».

252

Мания усовершенствования мира *(нем.)*.

253

Шутливо составлено на латинский лад, означает что-то вроде «очень резвый».

254

С. А-на писала мужу 28 марта 1889 г.: «Ты всегда старательно обходил вопрос о семейных обязанностях; а, право, если б не эти обязанности, которые я не выдумываю, а всем существом ощущаю, я посвятила бы себя на служение благу, т. е. на то, чтоб, как ты говоришь, не игнорировать бы несчастья низших классов, а старалась бы помогать, насколько умею. Но я не могу дать вырасти негодяями и необразованными – детей, данных мне Богом, во имя блага чуждых мне людей. Может быть, к старости исполню свою заветную мечту». Конечно, у С. А-ны не было такой

«заветной мечты», в письме это только «фраза», но С. А-на точно сформулировала свой «долг».

255

«Ведь это ужасно. Моя жизнь, которую я всю отдаю тебе и детям, вдруг развратная… За что ты ненавидишь и казнишь жену, которая тебе все отдала?… Вся жизнь моя была отдана семье. Всех сама кормила, воспитывала; последний год вся тяжесть воспитания, управления делами, все на мне… Ты христианин, ты хочешь делать добро, говоришь, что любишь людей. За что же ты казнишь ту женщину, которая отдала тебе всю свою жизнь?… Я вижу, что твое христианство сделало то, что ты возненавидел семью, меня. А для чего, не понимаю… Я не могу думать и рассуждать. Я ночи не сплю, я весь дом веду, и вместо того, чтобы мне помочь, ты мне говоришь то, чего я не понимаю». – Почти то же говорила С. А-на. (Цит. из драмы: «И свет во тьме светит», I и IV действ.)

256

23 ноября 1888 г. Л. Н-ч записал в дневнике: «С женой тяжелые отношения, распутать которые может только смиренная жизнь, как узел, – только покорное следование всем клубком за ниткой».

257

«В чем моя вера?», гл. VI и XII.

«Брак у нас не только не запрещен, но поощряется нашими стариками-учителями», – говорит Толстой устами Памфилия из «Ходите в свете, пока есть свет» (гл. IV).

258

«О брачной жизни я много думал и думаю», – писал Лев Николаевич Черткову 17 ноября 1888 г.

259

К выводу о целомудрии Толстой пришел почти сразу. 3 апреля 1889 г. он начал писать «Крейцерову сонату», а 9 апреля отметил в дневнике: «Читал шекеров (американская секта). Прекрасно. Полное половое воздержание. Как странно, что я теперь, когда занят этими вопросами, получил это». «Знаете ли вы их учение? – писал он В. Г. Черткову 11 апреля. – Особенности против брака, т. е. не против брака, а за идеал чистоты сверхбрака. Это вопрос, который занимает меня и именно как вопрос. Я не согласен с решением шекеров, но не могу не признать, что их решение много разумнее нашего принятого всеми брака. Не могу, главное, скоро решить вопроса, потому что я старик и гадкий, развращенный старик». 13 апреля в дневнике: «Надо предложить шекерскую жизнь». В своих выводах о браке Толстой был непреклонен. Тому же Черткову, которого он прежде

убеждал жениться и который оспаривал теперь крайние выводы «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия», он писал 25 апреля 1890 г.: «Я не мог в «Послесловии» сделать то, что вы хотите и на чем настаиваете, – как реабилитацию честного брака. Нет такого брака… Я не то, что доволен «Послесловием». И форма изложения, и порядок, и мера – все неверно, но мысли, высказанные там, верны, искренни, и я с величайшим напряжением и радостью открывал их». Размеры книги не позволяют более подробно остановиться на исключительно интересном вопросе об отношении Толстого к половой проблеме до 1889 г. и после, а также дать анализ «Крейцеровой сонаты» в смысле ее автобиографичности.

260

«Крейцерова соната».

261

«Послесловие к «Крейцеровой сонате».

262

«Крейцерова соната».

263

Дневник, 23 сентября 1889 г. Помещено в «На каждый день» (10 февраля) и с небольшими изменениями в «Пути жизни» (Половая похоть).

264

Алексей Митрофанович Новиков (1865–1925) с осени 1889 г. в течение трех лет жил в Ясной Поляне учителем младших детей Толстых. Впоследствии профессор, доктор медицины.

265

Вероятно, Павел Петрович Арбузов, сапожник, живший в д. Ясная Поляна.

266

Михаил Фомич Крюков (1854-191?), буфетчик, потом камердинер и позднее управляющий имением Толстых.

267

«Крейцерову сонату».

268

В. Лазурский. Воспоминания о Л. Н. Толстом. М., 1911.

269

Вот настоящее… к «Крейцеровой сонате» *(фр.)*.

270

Установленный день *(фр.)*.

271

Непостоянная *(фр.)*.

272

Лев Николаевич отметил в дневнике 6 августа 1892 г.:

«Раздел кончен». По официальным документам прохождение дела по инстанциям представляется в следующем виде: 7 июля 1892 г. Л. Н-ч впервые приехал с семьей в Тулу для возбуждения дела о разделе. Оформление его поручено С. А-не. 8 июля С. А-на получила выпись раздельного акта. 9-го эта выпись была представлена в Тульск. губ. Чертежную. 10-го С. А-на подала прошение нотариусу Окружного суда. 28 сентября дело было закончено.

273

Владимир Константинович Истомин (ум. 1914), правитель канцелярии московского генерал-губернатора.

274

Елена Григорьевна Шереметева, ур. гр. Строганова (1861–1908).

275

Кн. Дмитрий Александрович Хилков 11858-1914), помещик, гусарский офицер. В 1880-х годах, под влиянием взглядов Толстого, оставил военную службу и продал за бесценок землю крестьянам. В 1889 г. за пропаганду против духовенства был сослан в Закавказье. В начале 1890-х гг. перешел на сторону социалистов-революционеров. В начале русско-германской войны поступил добровольцем в армию, убит под Львовом.

276

Гр. Иван Давидович Делянов (1818–1897), министр народного просвещения.

277

Николай Яковлевич Грот (1852–1899), редактор журнала «Вопросы философии и психологии».

278

Письмо Н. Н. Ге (сыну), 16 мая 1893 г.

279

Дневник, 22 декабря 1893 г.

280

Павел Иванович Бирюков.

281

Михаил Александрович Новоселов, духовный писатель и публицист. С середины 1880-х гг. до 1894 г. последователь Толстого, участник толстовских общин, сотрудник Л. Н-ча на голоде. Позднее приблизился к православию, напечатал ряд статей и издал серию брошюр в религиозно-православном духе.

282

Евгений Иванович Попов (р. 1864). Сблизился с Толстым в 1880-х гг., много работал в «Посреднике». Автор книги об Е. Н. Дрожжине.

283

Письмо Т. А. Кузминской, 8 апреля 1894 г. С в о и разделяют настроение С. А-ны. Т. А. Кузминская сообщает мужу по приезде в Ясную: «Левочка очень приятен, темных никого, я счастливо попала» (26 августа 1894 г.). Еще в 1890 г. С. А-на любопытным письмом ответила на попытки одной из «темных» обращения ее в их веру. В письме сказалось все: и желание уколоть, и желание оправдаться, и фраза, и искренность. «Вы пишете, Леонида Фоминишна, что я не поняла эту истину, которую он проповедует. Почему вы думаете, что *не поняла?* Разве трудно понять то, что истина? Но я не могу только *понимать*. Я должна непременно *проводить* в жизнь. И без всяких уступок и компромиссов. Я, извините меня, я не понимаю, как можно, поняв ту истину, о которой вы говорите, хоть пять минут оставаться в той жизни, в которой живете вы и Лев Николаевич. Я бы все бросила и жила бы, как нищая, и умерла бы за свои убеждения. Раз я этого не могу – у меня не хватает сил – то я задалась мыслью прожить в том положении, в какое поставила меня воля Бога, наилучшим образом. Чтобы дети мои и все, кто меня окружает, были счастливы; чтоб жить, сколько можно, для ближних. Насколько я этого по слабости и грехам моим не достигаю, настолько я грешна. Вот моя истина; думаю, что дай Бог и так-то прожить, не задаваясь неисполнимыми задачами» (письмо Л. Ф. Анненковой, 20 сентября 1890 г.).

284

Письмо В. Г. Черткову, 12 мая 1894 г. Тогда же (15 мая) Толстой записал в дневнике: «Целую неделю и больше нездоров. Началось это, мне кажется, с того дня, как меня расстроила печальная выходка Сони о Черткове. Все это понятно, но было очень тяжело. Тем более, что я отвык от этого и так радовался восстановившемуся, даже вновь установившемуся доброму, твердому, любовному чувству к ней. Я боялся, что оно разрушится. Но нет, оно прошло и то же чувство восстановилось. Ее нет. Она приезжает послезавтра».

285

Евдоким Никитич Дрожжин (1866–1894), сельский учитель, отказавшийся от военной службы по религиозным убеждениям. О нем книга Е. П. Попова: «Жизнь и смерть Е. Н. Дрожжина», с предисловием Л. Н. Толстого, (изд. Ф. Готгейнера, Берлин, 1895; изд. В. Черткова, Англия, 1898; изд. «Свободного Слова», Christchurch, 1903.)

286

Михаил Васильевич Булыгин (р. 1863) знаком с Л. Н. Толстым с 1886 г.; в то время разделял его взгляды. В 1894 г. по

приговору уездного члена тульского окружного суда сидел в Крапивенском арестном доме за непривод лошадей на пункт для военно-конской переписи. Его навещал Л. Н-ч.

287

Дмитрий Ростиславович Кудрявцев, помещик Николаевского уезда Херсонской губернии. Напечатал на гектографе и распространял ряд запрещенных произведений Толстого, за что и был арестован.

288

И. И. Горбунов-Посадов (р. 1864), издатель «Посредника».

289

Дмитрий Александрович Кузминский (р. 1888), сын Татьяны Андреевны.

290

Владимир Петрович Глебов (1848(50?)-1926) и его жена Софья Николаевна (р. 1854(5?), сестра кн. С. Н. Трубецкого.

291

Выход, выражение *(англ.)*.

292

Злость, обида *(фр.)*.

293

Дневник, 25 апреля 1895 г. Эту мысль Л. Н-ч предполагал вложить в новое художественное произведение. Запись дневника он заканчивает следующими словами: «Вот что надо бы высказать в романе матери».

294

Ужин *(фр.)*.

295

Сергей Львович Толстой 9 июля 1895 г. женился на Марии Константиновне Рачинской (1865–1900).

296

О степени физического недомогания и психической неуравновешенности С. А-ны можно судить по ее письму к мужу от 24 сентября 1896 г.: «Когда вчера осталась одна в вагоне, я вдруг так затосковала, что хотела из Тулы опять вернуться в Ясную. Потом стало мне жутко, не людей, а себя. Показалось, что я тут, в купе, умру, что у меня голод сделался, а есть нечего, что я в темноте останусь, а зажечь нечего, что я упаду и убьюсь – дверь выхода так близко – и всякий вздор. Начала я читать свой глупый, французский роман, стояла у открытого окна и озябла. Когда стало холодно и темно, я легла и стала вся дрожать и решила, что я простудилась и умру».

297

Из письма Л. Н-ча жене: «К твоей музыке я из всех семейных

отношусь более сочувственно. Во-первых, я сам прошел через это в твои годы и знаю, как это отдохновляет» (февраль 1896 г.).

298

Сергей Иванович Танеев (1856–1915), композитор, пианист, ученик Н. Г. Рубинштейна и П. И. Чайковского.

299

С. И. Танеев с большим уважением относился к Льву Николаевичу, любил беседовать с ним и в лаконических записях дневника всегда отмечал эти разговоры. Их беседы касались, главным образом, искусства. В этом вопросе Сергей Иванович остался вполне самостоятельным и влиянию Толстого не поддался.

300

Prosper St. Thomas, гувернер Л. Н-ча. Изображен в «Отрочестве» под именем St. Jerome. Случай, упоминаемый здесь, описан в гл. 14–16 этой повести.

301

В 1866 г. – 30 лет тому назад. Юноша – командир 65-го пехотного Московского полка, стоявшего тогда близ Тулы.

302

Элеонора Дузе (1858–1924), знаменитая итальянская драматическая актриса.

303

Иосиф Гофман (р. 1876), пианист-виртуоз. В России имел исключительный успех с первых выступлений в 1896 г.

304

Флирт, ухаживание *(англ.)*.

305

Письмо В. Г. Черткову, 11 марта 1897 г.

306

«Опухоль на десне С. А-ны была ложная тревога» (письмо В. Г. Черткову, 22 марта 1897 г.).

307

«Ранним утром чудного майского дня» (примечание С. А. Т-ой).

308

28 августа *(ст. стиль)* – день рождения Льва Николаевича.

309

Неудобный, стесняющий *(фр.)*.

310

Александр Никифорович Дунаев (1850–1920), директор Московского торгового банка. В 1886 г. познакомился с Л. Н. Толстым. Был близок ему по взглядам.

311

Отказ сына от подвига, его малодушие вызвало радость матери. Она писала сестре в Петербург, где Лев Львович предполагал отбывать воинскую повинность: «Ужасно всех нас обрадовало известие, что Леву отпустили совсем. Надеюсь, что болезни у него все-таки никакой нет. Бог послал ему счастье за то, что мать пожалел и ничем не огорчил, пошел в солдаты с камнем на *своем* сердце, но снял его с *моего.* Все это я говорю совершенно искренно и прошу тебя ему передать вместе с моими к нему нежными чувствами» (письмо Т. А. Кузминской, 23 декабря 1892 г.). О своем намерении отказаться от военной службы Л. Л-ч рассказывает в «Правде о моем отце». Книга эта мало правдивая и дает плохой биографический материал. Но ради полноты описания приводим выдержку: «Тяжелый нравственный вопрос угнетал меня в то время – вопрос об отбывании воинской повинности, вызывавший во мне отпор, так как я был тогда последователем толстовского учения. – Нет, не могу, не имею права быть солдатом, – говорил я. – Но кем быть, чем существовать, если, покинув университет и науку, я пойду по усыпанному терниями и страданиями пути неохристианства? – Я часто говорил об этом с отцом, и он отвечал мне то же, что и другим своим последователям: советовал хорошенько подумать прежде, чем действовать. Никогда не дал он мне вполне определенного совета. Когда же, наконец, я решил отбывать воинскую повинность, отец интересовался более полком, в который я поступал, чем волновавшими меня религиозными вопросами. Поступил я в императорские стрелки. Командир полка, угадав мое положение, созвал врачебную комиссию для освидетельствования меня. Найдя состояние моего здоровья слабым, меня освободили, что было, разумеется, следствием соглашения комиссии с командиром полка, желавшим таким способом избавиться от моей «опасной персоны». (Перевод с французского; «La vérité sur mon pere», ch. IX. На русском языке в плохом переводе А. В. Андреева: *Л. Л. Толстой.* Правда о моем отце. Изд. «Книжный угол», Л., 1924.)

312

М. О. Меньшиков писал Л. Ф. Анненковой 4 сентября 1898 г.: «Оставил я его [Л. Н-ча] невеселым; нехорошо ему живется, одиноко, и некоторые близкие, вроде Льва Львовича, систематически отравляют ему существование. Лев Львович опять уже выступил против отца в «Новом Времени» по поводу декларации государя о всеобщем разоружении. Гадкое и жалкое зрелище».

313

А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. Т. I. М., 1922.

314

Кн. Николай Леонидович Оболенский (р. 1872), сын кн. Леонида Дмитриевича и Елизаветы Валерьяновны Оболенских. С 1907 г. женат вторым браком на Наталии Михайловне Сухотиной (1882–1926), падчерице Татьяны Львовны Сухотиной.

315

М. А. Шмидт, последовательница Л. Н-ча, имела скромное хозяйство в пяти верстах от Ясной Поляны, в д. Овсянниково, и все необходимое для жизни добывала собственным трудом. О ней Толстой записал в дневнике 18 февраля 1909 г.: «Не знал и не знаю женщины духовно выше Марии Александровны».

316

Выражение башкирца Михаила Ивановича (Мухедина), говорившего так во время игры в шашки. Его Л. Н-ч любил часто приводить.

317

Неудача, провал *(англ.)*.

318

Письмо М. Л. Оболенской, осень 1897 г.

319

Михаил Сергеевич Сухотин (1853–1914), сын Сергея Михайловича и Марии Алексеевны Сухотиных.

320

Стремление *(нем.)*.

321

Письмо с ведома Софьи Андреевны сразу получило широкое распространение в России в гектографированном виде, за границей – на русском языке и в переводах – в газетах, журналах и сборниках. Ввиду этого «решено было, в виде противодействия распространению одностороннего мнения, обнародовать как письмо графини, так и ответ владыки. Сперва оба эти документа были изготовлены на гектографе и раздавались в Синоде, а затем уже решено было напечатать их в прибавлении к «Церковным Ведомостям» (№ 17 за 1901 г. Сведения сообщены св. Ф. Н. Орнатским «Петербургской Газете». См. «Литературный Вестник», 1901, кн. IV). После этой публикации оба письма были перепечатаны в газетах. Л. Н-ч писал Марии Львовне 8 апреля 1901 г.: «Письмо мама очень хорошо подействовало на нее. Ничего нельзя предвидеть. У нас, мужчин, мысль влияет на поступки, а у женщин, особенно женских, поступки влияют на мысль. Она теперь иначе судит и иначе принимает многие суждения».

322

Издательство «Просвещение».

323

Митрофан Семенович Дудченко (род. в 1867 г.), последователь Л. Н. Толстого, живущий с конца 1880-х годов на земле, участник толстовских общин.

324

Яков Тимофеевич Чага в 1903 г. отказался от военной службы по религиозным убеждениям. Был сослан в Якутскую область на 18 лет. Вернулся из ссылки по манифесту 1905 г.

325

Виктор Анатольевич Лебрен, француз по происхождению. Познакомился с Толстым в конце 1890-х гг., единомышленник его, автор книги: «Толстой – воспоминания и думы» (изд. «Посредника», М., 1914).

326

Владимир Григорьевич Кристи, молодой бессарабский помещик, сочувственно относившийся к взглядам Л. Н. Толстого.

327

Об этом случае Л. Н-ч писал Марии Львовне. Приведено выше.

328

Петр Алексеевич Сергеенко (р. 1854), литератор, автор нескольких статей и книг о Л. Н. Толстом.

329

Прасковья Тимофеевна Лохмачева, крестьянка дер. Ясная Поляна. Ум. в 1911(?) г.

330

Ю. И. Игумнова, подруга Татьяны Львовны по школе живописи и ваяния. Жила ряд лет в Ясной Поляне, помогая Л. Н-чу в разборе корреспонденции и в переписке его рукописей.

331

Письмо Т. А. Кузминской, 3 декабря 1906 г. Ил. Льв. Толстой в своих «Воспоминаниях» рассказывает, что Л. Н-ч простился с покойницей у каменных столбов и пошел по прешпекту домой. «Я посмотрел ему вслед: он шел по тающему мокрому снегу частой старческой походкой, как всегда резко выворачивая носки ног, и ни разу не оглянулся» (гл. XXIV, с. 242). Приведенное письмо С. А-ны, написанное спустя шесть дней после похорон, опровергает реальность этого рассказа: у столбов прощалась с гробом мать, а Л. Н-ч проводил его до конца деревни. Это один из многих примеров, подтверждающих необходимость очень осторожного обращения с воспоминаниями и документами позднейших периодов.

332

В 1907–1909 гг. не было значительных семейных событий,

которые могли бы, как в предыдущем 1906 г. нарушать течение жизни. Она быстро пошла к роковому концу. В этой главе постараемся, не останавливаясь на отдельных периодах, кратко изложить те основные настроения, которые сложились в семье за эти годы. Они явились результатом жизни почти тридцати лет.

333

Жашкевич, парикмахер из Киева. Об этом эпизоде есть упоминание в дневнике Д. П. Маковицкого, 2 сентября 1909 г.

334

Вероятно, разговор этот был вызван появившейся в издании Н. С. Аскарханова (Петербург) хрестоматией, в которой было помещено несколько произведений Толстого.

335

Необходимо отметить, что Татьяна Львовна, Сергей Львович и Илья Львович вполне благородно держали себя по отношению к отцу, и в этом разговоре они не подразумевались.

336

О том, как составлялось и подписывалось это завещание, см. в дневнике А. Б. Гольденвейзера, запись 3 ноября 1909 г. (Вблизи Толстого. Т. I, с. 353).

337

Д. П. Маковицкий.

338

Сейчас или никогда *(фр.)*.

339

Агафья Афанасьевна Михеева, яснополянская крестьянка, дочь Афанасия Николаевича Агеева, крестьянина д. Казначеевка, разделявшего взгляды Толстого, пробывшего несколько лет в ссылке за «богохульство».

340

В конце концов, в конечном счете *(англ.)*.

341

Из письма С. А-ны Е. В. Молоствовой, 19 июля 1907 г.: «Мы окружены теперь многими последователями и друзьями Льва Николаевича… Я постоянно чувствую, что все эти друзья Льва Николаевича… сейчас бы разбежались, если б его не было. И мне это очень часто грустно; видно, я сама этому виновата». Из дневника Д. П. Маковицкого, 16 марта 1909 г.: «Л. Н. пожелал уйти к себе. Вл. Гр. [Чертков] отвез его в кресле. Была такая спокойная беседа, какая бывает тогда, когда отсутствует С. А-на». «Уехала С. А-на. Все в доме почувствовали себя свободнее и спокойнее» (там же, 29 января 1910 г.). «С. А-ны. нет, и в доме какая-то тихая гармония» (там же, 1 апреля 1910 г.).